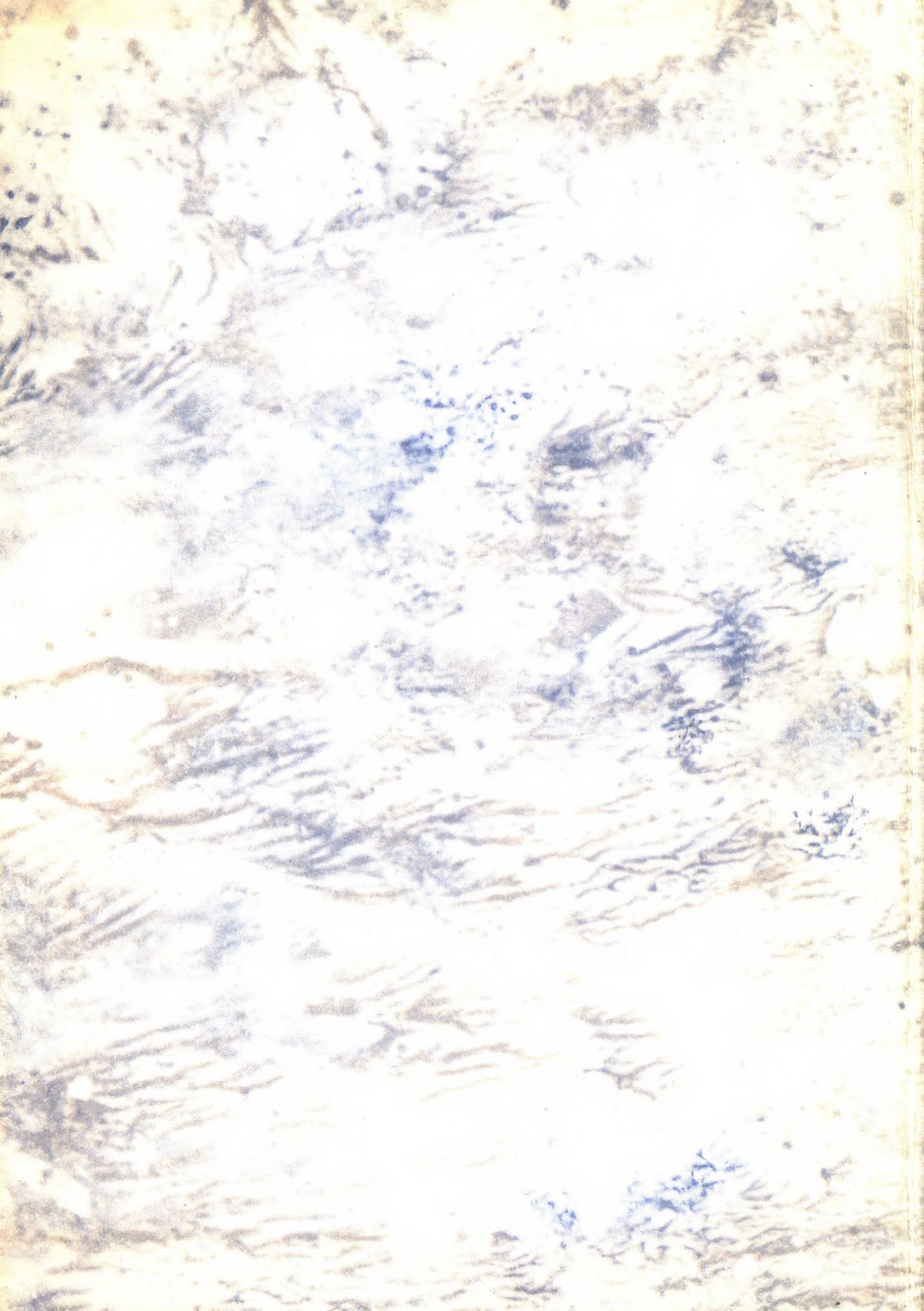
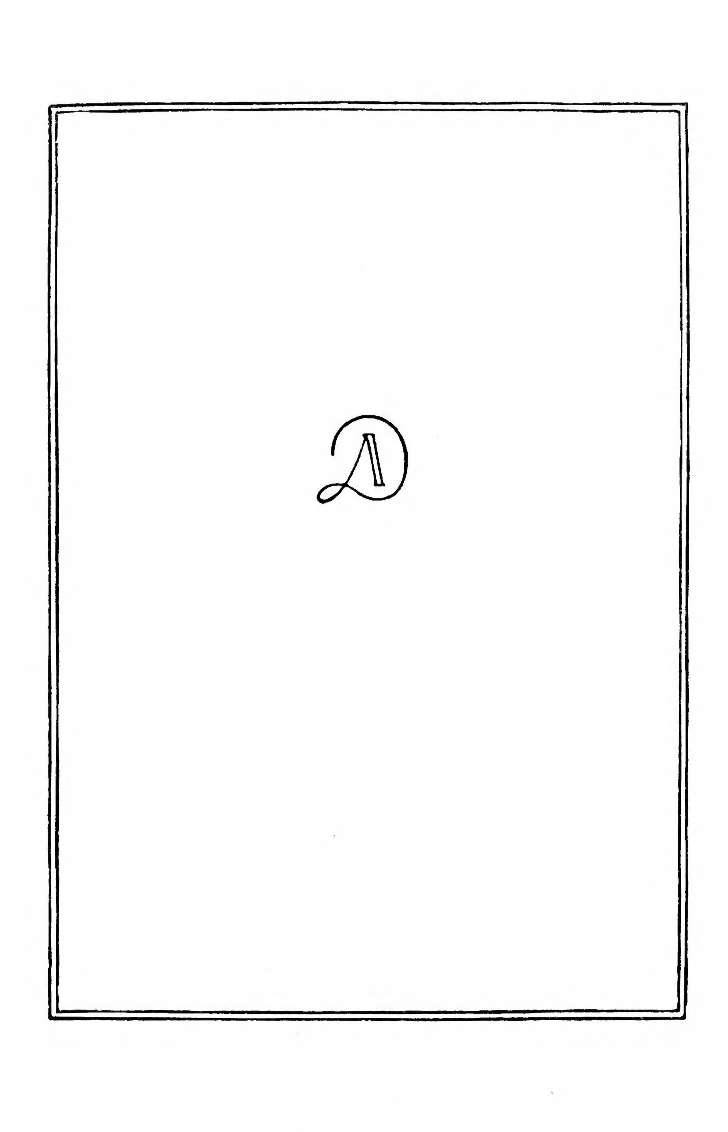
Зоя Воскресенская



Издательство «Детская литература»







Собрание сочинений в 3ˣ томах

ТОМ

3

МОСКВА
„Детская литература"
1975

Зоя Воскресенская

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Рассказы

•

ПАРОЛЬ — НАДЕЖДА

Повесть

Р 2
В76

Оформление Л. Датько

Воскресенская З. И.

В76 Собрание сочинений, т. 3. Рисунки И. Незнайкина и В. Панова. М., «Дет. лит.», 1975.

607 с. с ил.

В третий том Собрания сочинений писательницы Зои Ивановны Воскресенской входит цикл рассказов «Сердце матери» и повесть «Пароль — Надежда».

В $\frac{70803-534}{М101(03)75}$ подписное **Р2**

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Рассказы

Мама!

Самое прекрасное слово на земле — мама.

Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным.

И сколько бы ни было тебе лет — пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.

«Мамочка!» — ласково называл Владимир Ильич свою мать в детстве.

«Дорогая мамочка»,— обращался он к ней в письмах из тюрьмы, из ссылки, из эмиграции.

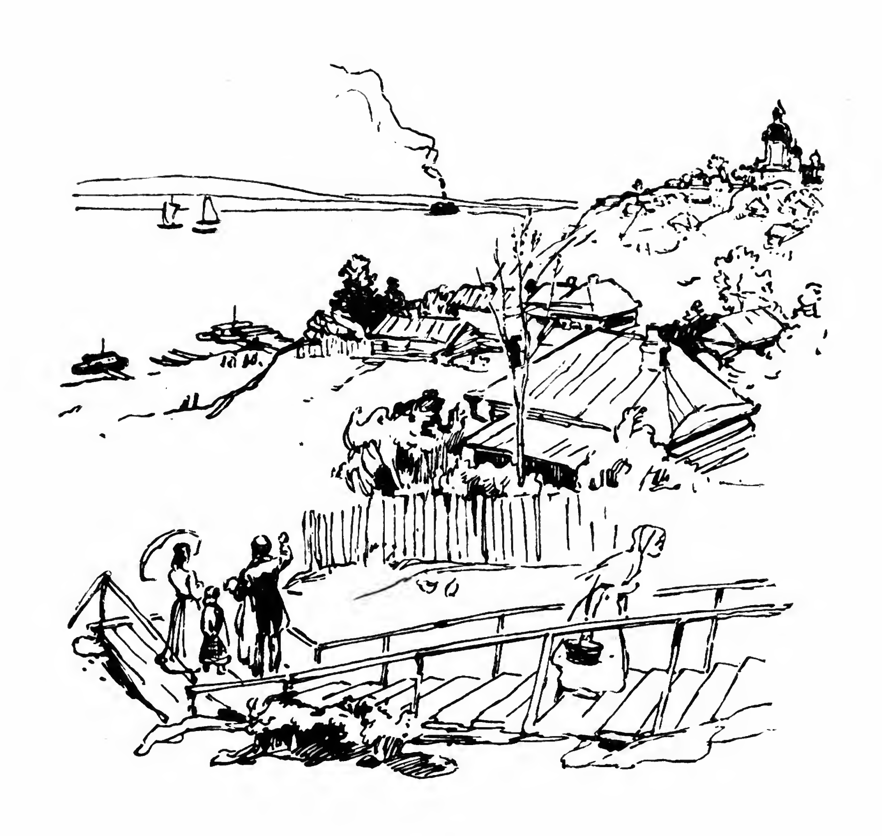
«Берегите нашу мамочку, не оставляйте ее одну»,— напоминал он сестрам и брату.

Мать Владимира Ильича Ленина — Мария Александровна Ульянова прожила большую жизнь: восемьдесят один год.

Она не состояла в организации революционеров, царские жандармы не заключали ее в тюрьму, не угоняли в ссылку. Но она воспитала всех своих детей революционерами, пошла за ними, стала их верным единомышленником и на склоне лет могла сказать: я горжусь своими детьми!

Дети ей отвечали большой любовью, вниманием и заботой.

В Ленинграде, на Волковом кладбище, на могиле Марии Александровны всегда живые цветы. Люди приносят их в знак благодарности и глубочайшего уважения к великому жизненному подвигу этой замечательной русской женщины, подарившей миру его гения — Владимира Ильича Ленина.



НА СТАРОМ ВЕНЦЕ

Волга течет на юг, Свияга — на север. Четыреста верст упрямо пробирается Свияга рядом с великой рекой, увлекая за собой мелкие речушки, прокладывая свою дорогу к неведомому морю. Но за Казанью Волга преграждает ей путь. Некуда деваться своенравной реке, она смиряется, и теперь уже Волга несет ее воды обратно на юг.

Между Волгой и Свиягой раскинулся город Симбирск.

На Старом Венце, что кручей взвился над Волгой, в конце Стрелецкой улицы стоит двухэтажный деревянный дом и из-под насупленных резных наличников всеми окнами смотрит на Волгу.

В этом доме на втором этаже живет семья директора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова. Старшей дочке Ане одиннадцать лет, и она главная помощница у мамы: накрывает на стол, моет посуду, нянчится с годовалым братишкой Митей. Саше — девять. Но он рослый, сильный мальчик, может и воды из колодца принести, и нащепать лучины для самовара. И еще есть обязанность у Ани и Саши — присматривать за младшими: братишкой Володей и сестренкой Олей. Оба быстрые, шустрые, не ходят, а летают; глаза устанут следить за ними, особенно за Володей.

Мама больше всего боится, чтобы Володя не прошмыгнул за калитку. Однажды чуть не случилась беда. Аня с Сашей были в гимназии, мама хлопотала на кухне. Выглянула во двор — нет Володи. Выбежала за ворота и чуть не упала от страха. Младший сын ее сидел на дороге и играл в камешки, а прямо на него неслась, раскосив налитые кровью глаза, чем-то напуганная лошадь. Володя и крикнуть не успел, почувствовал только, как его обдало жаром, перед глазами мелькнули копыта. Лошадь перескочила через мальчика и поскакала дальше. Мама схватила малыша и плакала, и смеялась. И с тех пор всегда волнуется, когда Володя исчезает. А двор у дома крохотный, пыльный, обсаженный редкими акациями. Единственное развлечение — качели.

Аня с Сашей заняты делом — начались занятия в гимназии; они сидят в комнате, готовят уроки. А Володя с Олей качаются на качелях. Володе хочется взлететь высоко-высоко и через забор увидеть светлые воды Волги.

Лицо у Володи разгорелось, на носу ярче выступили веснушки, кудри прилипли ко лбу. У Оленьки разметалась коса, и бант, как цветок, голубеет в пыли под качелями.

— Я вижу Волгу! — кричит Володя.— Я вижу ее уже до середины!

Он приседает, сильно толкает доску — Оля на другом конце взлетает вверх, визжит от страха и восторга, поворачивает голову назад: ей тоже хочется увидеть Волгу.

Мама вышла на крыльцо, подозвала малышей к себе, усадила рядом на ступеньку в тени, чтобы остыли, отдохнули. Раскрыла книжку с картинками. Брат и сестра сидят не шелохнувшись, глядя то на картинки, то на мамино лицо, и, зажав коленями ладошки, поеживаются, когда мама читает что-то страшное, или весело хохочут — когда смешное.

— А теперь давай играть в буквы,— просит Володя.

Мама вытаскивает из коробки картонные буквы.

— Это буква «М», а это «А». Приложим одну к другой. Вышло «МА». И еще раз «МА» — получилось «МАМА».

— Вот и я угадала буквы.— Оля проворно складывает слово.

— Тебе, Олюшка, рано учиться,— ласково говорит мама.— Володюшка у нас уже взрослый, ему пять лет.

Но Оля всегда делает то, что делает брат.

И вот уже оба разыскивают буквы и составляют волшебное слово «МАМА».

— Показывай другие буквы,— торопит Володя, но мама посылает их играть в кубики. Хватит заниматься науками.

Сделано большое открытие. Теперь слово «мама» можно смастерить из стручков акации, начертить палочкой на песке. Оля выкладывает слово из кубиков. Володя подобрал у крыльца кусочек угля, зажал его в кулаке и думает: где бы ему написать это слово, чтобы всем было видно.

Подошел к калитке, нажал плечом. Калитка слегка скрипнула и распахнулась. Страшно и интересно. Страшно потому, что налево за высокой каменной стеной стоит тюрьма. Там всегда что-то скрежещет, звякает, оттуда всегда слышатся грубые окрики и печальные песни.

Интересно потому, что впереди Волга — широкая, сверкающая, и в нее смотрится солнце. Рыбачьи лодки, как семечки, рассыпаны по воде, а между ними дымит, пыхтит, вспенивает воду белый пароход.

Володя перебежал площадь. Узкая тропинка огибает утес и извилистой лентой спускается вниз. Володя приподнялся на цыпочки, аккуратно начертил угольком на камне большие буквы: «МАМА».

Теперь это слово, наверно, увидят и на другом берегу. Спуститься бы и посмотреть снизу. Ну, всего несколько шагов...

Сверху с удочками на плечах мчались мальчишки, взбивая ногами клубы пыли, и Володе захотелось с ними. В воду он не полезет. Это мама с папой строго-настрого запретили. Но посмотреть снизу на утес и самому прочитать «МАМА» можно? Совсем близко увидеть пароход тоже интересно! А если ловко бросить камешек, то он полетит над водой и будет ронять светлые круги и в центре самого большого круга исчезнет. А если поставить ногу к самому краешку воды, то волна лизнет носок сандалии, и он заблестит как начищенный...

Вот она, Волга, где-то далеко-далеко, на другом краю, соединяется с небом. А здесь у берега, наверно, и папе будет с ручками.

Володя оперся ладонями о колени, наклонился — смотрится в воду, ждет, пока проплывет рыбешка или прикатит волна от лодки, и тогда отражение в воде сморщится, глаза и уши запрыгают и расплывутся в разные стороны. Смешно!

Солнце скатилось на край неба и стало растекаться по Волге. У ног Володи заплясали солнечные зайчики. Он хотел зачерпнуть в ладонь зайчика и услышал тяжелое дыхание. Кто это так тяжело и шумно дышит? Река? Нет, это позади него. Он оглянулся и замер. По берегу медленно двигались бурлаки. Вытянув вперед подбородки, обросшие бо-

родами, они руками разгребали воздух; обутые в лапти ноги глубоко зарывались в песок.

Почему им так тяжело? Володя пригляделся и увидел, что люди запряжены. Так мальчишки запрягают друг друга, когда играют в лошадки. Но это были взрослые мужчины, и им было не до игры. Замасленные, грязные лямки опоясывали им грудь, врезáлись в тело и сзади были привязаны к толстому канату.

Володя повел глазами по канату и увидел, что другой его конец прикреплен к огромной барже, нагруженной кулями из рогожи. На барже стоял дом с окнами, и из трубы шел дым.

Совсем близко от Володи, тяжело ступая, прошел запряженный человек. Он облизывал сухие губы и громко, с хрипом, дышал. Глаза смотрели и не видели: он чуть не задел Володю.

Бурлаки с трудом передвигали ноги, баржа легко плыла против течения.

Володя вздохнул и оттянул рубашку от груди, словно тоже тащил эту баржу и лямка давила ему грудь. Чьи-то руки схватили его за плечи и подняли в воздух.

— Как тебе не стыдно! — услышал Володя голос Саши.— Мамочка волнуется, мы все тебя ищем.

Усадив брата на закорки, Саша стал подниматься наверх.

— Я пойду сам,— запротестовал Володя и спрыгнул с Сашиной спины.

Взявшись за руки, братья долго взбирались в гору.

Володя оглянулся назад.

Над Волгой плыли кудрявые облака — золотые, красные, сиреневые — и, как в зеркале, отражались в реке. Бурлаков уже не было видно.

У камня, на котором Володя написал «МАМА», виднелась светлая фигура.

— Ма-моч-ка-а! Нашелся-а! — кричал Саша.

И Володе стало стыдно, что он «нашелся», а не пришел домой сам.

— Володя! Как можно? — сказала с укоризной мама.

Сказала «Володя», а не «Володюшка». Значит, очень сердита.

Опустив голову, Володя шагал рядом с мамой.

На площади стало совсем темно. В зарешеченных окнах тюрьмы виднелись круглые пятнышки света. Тюрьма была такая же большая, как баржа. Только она стояла на месте.

...На столе шумел самовар. Володя сидел между Аней и Сашей и усиленно дул в блюдце с чаем. Ему очень хотелось, чтобы мама назвала его «Володюшкой», и не терпелось спросить Сашу про бурлаков, но Саша увлеченно разговаривал с сестрами.

Завтра приедет папа из губернии, Володя должен сам рассказать ему о своем проступке. А это ох как нелегко! Володя тяжело вздохнул.

— Володюшка, закрой окно, стало совсем прохладно,— сказала мама, и в глазах ее снова появились веселые искорки.

НОВЫЙ ДОМ

В то памятное августовское воскресенье день начался необычно. Илья Николаевич ходил по маленьким комнатам квартиры, внимательно оглядывал их, измерял складным аршином длину и ширину буфета, рояля, своего письменного стола, потирал от удовольствия руки и чему-то улыбался себе в усы. И мама была радостно взволнована.

Дети с недоумением поглядывали на родителей, понимая, что предстоят какие-то важные события.

— Скоро мы переедем в новый дом. Вот где вам будет раздолье,— объявил папа, когда вся семья собралась за стол.



Дети еле дождались конца завтрака.

Папа посадил на плечи Митю, мама взяла на руки Маняшу, и все отправились вниз по Покровской улице.

Калитка открылась в сад. Но разве это был сад? Несколько одичавших яблонь и малинник вдоль забора вперемежку с бузиной и высоким репейником.

Сад отделялся от двора полуразвалившимся сараем и флигелем, возле которого лежало огромное дубовое бревно.

Саше и Володе понравились раскидистые вязы, что росли у кухни, возле конюшни и в центре сада.

Володя мигом оседлал толстый сук.

— Готовый конь с зеленой гривой. Н-но!

Вошли в дом, разбежались по комнатам, аукались, и голые стены отзывались веселым эхом.

Дом просторный, с двумя застекленными верандами, антресолями. Но и семья стала большая — шестеро детей.

Прежде всего решили выбрать папе служебный кабинет. Мама обошла весь дом еще раз и решила, что для кабинета больше всего подходит комната с пятью окнами, три из которых выходят на веранду и два на улицу. Здесь Илья Николаевич будет встречаться со своими помощниками, принимать учителей, родителей.

Но Илья Николаевич возразил:

— Мне больше нравится средняя комната, а здесь поселится мама.

— В таком случае это будет гостиная,— решительно сказала мама.— Поставим сюда рояль, дети будут заниматься музыкой, по вечерам можно потанцевать, попеть.

— Наконец-то у нас будет шумная комната! — обрадовались Володя и Оля.

Самую большую комнату отвели для столовой.

— Здесь дети могут учить уроки, играть в шахматы, читать.

— Это будет тихая-претихая комната,— решила Оля.

— Тем более, что, когда я ем, я глух и нем,— добавил Володя.

На антресолях, куда вели крутые деревянные лесенки, четыре маленькие комнаты с низкими потолками; одна из них была, скорее, лестничной площадкой.

— На антресолях разместим детей,—решили родители.— Аня кончит гимназию, будет работать учительницей, ей нужен свой угол. Вторая комната — для Саши; он устроится в ней со своими коллекциями, гербариями, колбами и пробирками. Третья — спальня для малышей.

— Я буду с малышами? — спросил Володя дрогнувшим голосом.

Мама задумчиво посмотрела на сына. Володе уже девятый год. Будущей осенью пойдет в гимназию.

— Куда же тебя определить — к старшим или к младшим? — спросила она.

— По-моему, Володю пора зачислить в старшие,— рассудил Саша.— Ему нужен свой «кабинет», и я предлагаю устроить его на лестничной площадке.

Володя с благодарностью взглянул на старшего брата.

— Совершенно верно,— обрадовалась мама.— Там уставятся и кровать, и стол, и книжная полка.

Володя горячо обнял маму.

— Что же это получилось? — вдруг забеспокоилась Аня.— Комнаты наверху — для нас, гостиная внизу — для шумных игр, столовая — для тихих, а где же у нас поселятся папа с мамой?

Мама засмеялась:

— О себе я подумала прежде всего. В передней поставим ширму, получится прелестная комната. Из окна чудесный вид на сад, и вы всегда перед глазами. А папа будет спать у себя в кабинете.

Аня с Сашей понимали, что родители прежде всего заботились о них, детях, и не думали о своих удобствах.

Началась веселая, хлопотливая пора переезда, устройства на новом месте. Пятый раз переезжала семья Ульяновых в Симбирске на новую квартиру, но на этот раз переезжала в свой дом.

Все свободное от учения время дети проводили за работой в саду и во дворе. Выкорчевали старые яблони и на их месте посадили молодняк. Выдрали лопухи и крапиву, расчистили дорожки. Пришел столяр, и Саша с Володей помогали распиливать дубовое бревно, твердое, как чугун. Работали и рубанком и молотком, и скоро в столовой выстроились двенадцать тяжелых, добротных стульев.

Зимой во дворе соорудили снежную горку с ледяным раскатом до самого крыльца, лепили снежные бабы, забот-

ливо окучивали молодые деревца снегом, чтобы они не замерзли.

Весной сад и двор нельзя было узнать. Ровная площадка во дворе покрылась травой, распушились зеленью молодые деревца, вылезли из земли синие крокусы, белые нарциссы.

В сарае появилась корова Красавка — кормилица детей.

И Саша понял, почему маме так понравился двор и сад, когда они пришли сюда впервые. Мама умела заглянуть в будущее, она тогда уже увидела пустырь, превращенный в прелестный сад.

В семье Ульяновых наступила счастливая пора.

Мария Александровна сидит у раскрытого окна, штопает рубашку, поглядывает во двор. Старшие дети кончили учить уроки, только Аня в беседке — зарылась в книги, готовится к выпускным экзаменам. Из трубы летней кухни валит рыжий дым. Это Саша занимается опытами по химии. В открытом настежь каретном сарае Володя и Митя тренируют мускулы на турнике и кольцах. Маняша сладко спит в тени под вязом.

Мария Александровна вспоминает свое детство — детство без матери. Умный, добрый отец, чопорная строгая тетка, взявшаяся воспитывать ее, Машеньку, и четырех ее сестер. Жили дружно, росли трудолюбивыми, но без матери — как без солнца. Даже сейчас, когда самой Марии Александровне уже за сорок, ей очень не хватает матери. Навсегда сохранились в памяти мягкая, ласковая рука мамы и глаза, добрые и чуть грустные...

Надвинулись прозрачные майские сумерки. Вернулся Илья Николаевич с учительских курсов. Вся семья собралась за столом.

Наступает самое интересное время. Папа рассказывает о новых школах, о замечательных самоотверженных людях — сельских учителях. После ужина он сядет с Сашей играть в шахматы, Аня с мамой будут решать головоломные

ребусы, а Володю пошлют спать. Во всем его приравняли к старшим, а вот спать он должен идти с младшими, в девять часов.

Оля косится на маятник — ему все равно, о чем рассказывает папа. Похожий на круглую луну, маятник раскачивается из стороны в сторону и хоть бы на минуточку остановился. Нет, качается, подгоняет большую стрелку. Скоро она поднимется вверх, как грозящий указательный палец, часы начнут бить девять раз, и уже после этого мама ни за что не разрешит задержаться.

Часы зашипели, и раздался громкий плач.

— Олюшка взвыла,— смеется Аня.— Значит, пришла пора спать.

Аня берет Митю и Олю за руки и ведет в детскую комнату. Володя поднимается к себе в «кабинет». Мама в гостиной раскрывает рояль. Ее пальцы быстро-быстро бегают по клавишам, торопят, чтобы дети в такт музыке поднимались по ступенькам наверх. Аня помогает малышам раздеться.

Митя покорно укладывается в кровать.

Оля решительно заявляет:

— Я спать не буду. Буду всю ночь лежать с открытыми глазами,— и тут же, всхлипнув, засыпает.

Володя сидит на кровати и, поддерживая веки пальцами, чтобы не закрылись глаза, слушает мамину колыбельную. Мама поет:

Будешь жить ты в скромной доле,
Жизнью тихой, трудовой,
Жизнью тихой, неизвестной
Проживешь до смерти ты,
Только будь работник честный
И беги неправоты...

Володя уперся локтями в колени, чтобы не соскользнули пальцы, не закрылись глаза. Закроются глаза — перестанут слышать уши. А он так любит мамину песню!

Иль, быть может, на природу
Прозорливый кинешь взор,
Человеческому роду
Разодвинешь кругозор.
Неизвестную от века,
Тайну мира подглядишь,
Новой силой человека
Для боренья одаришь.

«Какая это тайна? — думает Володя.— Как можно подарить человеку новую силу? Надо спросить маму».

Может быть, тебя, мой милый,
Ждут печали и нужда,
Спи, дитя, сбирайся с силой
Для борьбы и для труда...

«Нет, нет, спать я не буду. Буду сидеть всю ночь и думать о тайне. Как ее подглядеть? Какая она?»

И в младенческом покое
Слушай песенку мою,
Спи, дитя мое родное...

«Нет, нет, спать я не буду. Как хорошо поет мама!..»

Пальцы устали поддерживать веки. Руки опускаются, ноги скользят по простыне. Володя сваливается на бок и уж никак не может открыть глаза.

Баю-баюшки-баю...

СЕКРЕТ

В конце февраля в доме на антресолях поселялся Секрет. Он был беспокойный: стучал молотком, тарахтел швейной машинкой, визжал, как пила, и похрипывал, как лобзик.

Стоило детям в столовой хоть на минуту остаться без

родителей, Секрет соединял их головы и начинал таинственно шептать.

С появлением мамы он исчезал, и дети садились по местам с самым равнодушным видом.

Аня, Саша, Володя и Оля дали друг другу слово беречь Секрет и папе с мамой его не выдавать. Здесь же были Маняша и Митя. На Маняшу можно было положиться — ей два года, а Мите хоть и шесть, но он никак не может смириться с тем, что о Секрете не должна знать мама. Вечером Митя не вытерпел, подошел к маме и прошептал:

— Мамочка, а у нас есть секрет. Хочешь, скажу?

Мама строго посмотрела на младшего сына.

— Нет, я и слушать не буду. Секрета выдавать нельзя, его надо беречь.

По вечерам мама не заходила к детям наверх, чтобы не столкнуться с Секретом. Она сидела в столовой, вязала и улыбалась. Когда Аня попросила разрешения оставить себе деньги, заработанные за уроки, мама не спросила, зачем они ей понадобились. Она даже не заметила, что швейная машинка переехала из столовой в Анину комнату. Папа сидел у себя в кабинете и, заткнув уши, работал, чтобы не слышать, как Секрет прошивает стуком швейной машинки весь дом.

За ужином родители не замечали ни золотистых стружек, запутавшихся в кудрях Володи, ни висевших на шее у Оли прядей цветных ниток, ни забинтованного у Саши пальца, ни перемазанного красками лица Мити. И папе почему-то в эти вечера не хотелось сыграть с Сашей в шахматы...

Только часы ни с чем не считались. Им не было дела ни до какого Секрета. И если бы они не били по вечерам девять раз, мама и не вспоминала бы, что детям пора спать.

Секрет помогал готовить уроки особенно тщательно, он не мог допустить, чтобы из-за него дети схватили, чего доброго, плохую отметку.

Накануне торжественного дня Секрет должен был спуститься с антресолей вниз, и мама с папой ушли к знакомым.

Саша с Володей принялись натирать воском крашеные полы и чистить себе и сестрам ботинки. И полы и ботинки сверкали как зеркальные. Аня и Оля крахмалили, наглаживали братьям воротнички, рубашки и себе ленты. Митя наводил порядок в игрушках. Маняша сидела в детской, и, чтобы ей не было скучно, Оля дала ей поиграть своим Секретом. В этот вечер Маняша никому не мешала.

И когда, казалось, все было готово и до прихода родителей оставались считанные минуты, разразилась беда.

Оля с плачем прибежала к Ане.

— Смотри, что Маняша натворила. Где она только ножницы разыскала?

Аня ахнула, и сестры побежали к братьям за помощью. Володя увидел заплаканное лицо Оли, вынул из кармана платок, вытер ей слезы.

— Не плачь,— уговаривал он свою подружку.— Саша сейчас что-нибудь придумает.

Саша не умел огорчаться и всегда находил выход из положения, даже когда Секрет, казалось, был непоправимо искалечен.

Саша принялся рисовать. Аня подбирала нитки. Володя вдевал нитки в иголки. Оля вытерла насухо глаза и принялась за работу. Беда была ликвидирована, а Секрет после поправки стал еще красивее.

Шестого марта Секрет заставил маму спать дольше обычного, чтобы дети ушли в гимназию до того, как она проснется.

Уроки в этот день тянулись необыкновенно долго. Зато когда они закончились и Саша с Володей встретились у Мариинской гимназии с сестрами, чтобы вместе идти домой, всем им показалось, что солнце светит совсем по-весеннему и улицы сверкают в праздничном инее, а Володя прислушался и нашел, что галки сегодня поют, как скворцы.

В доме пахло праздником.

Мама, одетая в свое лучшее платье, сидела с папой в столовой и ждала детей. Сверху доносился веселый переполох.

И вот они, шестеро детей, спускаются по лесенке и тремя парами входят в столовую. Впереди идут Маняша с Митей, за ними Оля с Володой и затем Аня с Сашей. У каждого за спиной Секрет, который они сейчас откроют маме.

Заполнили комнату, остановились. Шесть пар сверкающих глаз с восхищением смотрят на свою маму. Она сегодня такая красивая! Ей так идет синее платье с белым воротничком и волосы белые, как кружево, над высоким лбом! На лице улыбка, и в карих глазах поблескивают солнечные искры. Папа в парадном сюртуке стоит за стулом мамы, сияющий, торжественный.

Аня вышла вперед.

— Дорогая наша мамочка,— говорит она звонким, срывающимся голосом.— Мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы ты всегда была здорова, всегда счастлива, всегда улыбалась.

— Спасибо, дорогие мои, спасибо! — И у мамы срывается голос и в глазах блестят слезы.

— Маняша, иди,— шепчет Аня.

Маняша бежит к маме, подает на блюдечке крохотный колобок. Она сама его состряпала.

— Попробуй,— предлагает она маме и живо взбирается к ней на колени.

— Ах, как вкусно! — откусила мама кусочек, а остальное Маняша запихала себе в рот.

Митя, выпятив важно губы, несет на ладонях конверт, разрисованный диковинными цветами и неведомыми зверюшками. Все самые яркие и веселые краски и все свое умение вложил Митя в рисунок. А как старательно выведены на листке четыре слова: «Дорогая мамочка. Поздравляю. Митя»!

Мама прочитала вслух и передала письмо папе:

— Смотри, какое чудное поздравление!

И папе очень понравился Митин подарок.

Оля положила маме на колени думочку. На зеленой подушке, как на лугу, пестрели вышитые полевые цветы и в середине большой красный мак.

— Очень красивая подушка,— залюбовалась мама,—настоящий весенний луг.— Особенно понравился маме мак.— Этот лепесток словно ветром отвернуло, и мак совсем как живой.

У Оли отлегло от сердца: как раз под этим лепестком и была злосчастная дырка, вырезанная ножницами Маняшей.

Маняша взглянула на подушку и уткнулась лицом маме в грудь.

Володя вздохнул. Подушка затмила все подарки. Понравится ли маме его подарок? Он поставил на пол маленький светлый домик с круглым окошечком.

— Мамочка, этот скворечник я приделаю к вязу возле кухни. В нем поселятся скворцы и будут петь тебе песни. Они ведь скоро прилетят.

— Какая прелесть! — обрадовалась мама.— В детстве у меня перед окном был точно такой же скворечник. С тех пор я очень люблю скворцов. Спасибо, Володюшка!

Саша развернул лист белой бумаги и вынул дощечку. Нет, это когда-то была дощечка, а лобзик и пилка в руках Саши превратили ее в тонкое кружево с красивыми зубцами и причудливо изогнутыми веточками и цветами.

— Это дощечка для резки хлеба,— сразу поняла мама.— Как раз мне ее и не хватало. Но она такая красивая, что, право, жалко на ней резать хлеб. Я буду ее очень беречь.

Наконец пришла очередь Ани. Она раскрыла свой секрет. Теплая байковая кофточка, желтая, как цыплячий пух, была отделана коричневым воротником и манжетами. Ма-

терию Аня купила на свой первый трудовой заработок. Сама скроила и сшила.

Мама примерила кофточку и не захотела ее снимать. Уж очень она ей понравилась.

Где-то хлопнула дверь. Папа засмеялся:

— Это господин Секрет убежал.

И сразу стало шумно и весело. Шестеро детей уселись за стол. На одном конце Мария Александровна, на другом — Илья Николаевич.

— А у меня тоже подарок — всем нам по случаю дня рождения нашей мамочки.

Папа вынул из конверта большую фотографию, на которой была снята вся семья.

Дети вспомнили, как осенью папа водил их всех в фотографию, и как долго их там усаживали и не велели дышать и моргать, и как Маняша испугалась фотографа, когда он накрылся черной пеленкой.

И вот перед ними готовая фотография.

— Как хорошо, что у нас есть мама! — сказал папа.— Она заботится о всех нас и очень нас любит. Скажем ей спасибо за это. И мы все тоже крепко любим ее.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

В папином кабинете Аня и Саша занимаются астрономией. Сейчас они увидят, как ночь сменяется днем и почему наступает весна, а за ней лето, осень и зима.

Вместо солнца светит керосиновая лампа с рефлектором.

Земной шар величиной с Маняшин мячик вращается вокруг своей оси и вокруг солнца-лампы. Совсем крохотная луна, прикрепленная к длинному стерженьку, обращается вокруг земли.

Этот астрономический прибор — теллурий папа выписал и недавно получил из Петербурга.

— Вообразим, что я на луне,— говорит Аня.— Я лечу вокруг земли.— Аня закрыла глаза.— Какая красавица земля в солнечном свете!

— А ты переберись на другую половину луны и посмотри, что там,— шутит Саша.

Илья Николаевич сидит рядом, показывает Саше, как надо управлять теллурием.

— Когда-нибудь пытливый ум человека заглянет и на другую сторону луны,— говорит Илья Николаевич.— А сейчас мы устроим с вами солнечное затмение...

Рядом в гостиной горит только одна настенная лампа над роялем, оставляя большую часть комнаты в полумраке. Окна запушены изморозью. В передней весело потрескивают дрова в печке. Мама с младшими детьми готовится к увлекательной поездке.

Володя бегает из папиного кабинета в гостиную и обратно и не знает, на что ему решиться. Хочется самому сменить зиму на весну, и трудно устоять против соблазна прокатиться на тройке.

Наконец он уступает просьбам младших при условии, что ямщиком будет он, Володя.

Мама, Оля и Митя готовятся к путешествию: сдвинули вместе четыре стула — это сани. Впереди Маняшин высокий стул — козлы. Широкое низкое кресло с тремя зубцами на спинке отлично заменяет тройку вороных.

Володя запрягает лошадей: накручивает веревочки на зубцы кресла, подтягивает подпруги. А лошади застоялись, им не терпится пуститься в путь. Кучер сердито покрикивает на них.

Мама с Маняшей усаживаются на заднее сиденье, Оля и Митя — на переднее. Оля закуталась в теплый платок, Митя повязал башлык, Маняша натянула на голову капор. Даже мама повязала голову платочком. Путь предстоит

дальний. Мороз лютый. Ямщик подтягивает кушак, надевает рукавицы и спрашивает густым басом:

— Далеко ли ехать, сударыня?

— Сегодня мы поедем в страну Добра и Радости,— отвечает Мария Александровна.— Знаете ли вы туда дорогу?

Володя задумался.

— Кажись, это за Подтянутой губернией, уездом Терпигоревым, Пустопорожней волостью?

— Да, да,— подтверждает мама.— Дорога туда нелегкая. Мы встретим много препятствий и опасностей. Ну, в добрый час! Закутайтесь получше, дети,— говорит мама,— поднимается ветер.

Оля натянула на самые глаза платок, Митя потуже завязал концы башлыка, и Маняша закрыла уши капором.

— Смотрите, какие мохнатые ели стоят по обе стороны, они закутались в снег, как в вату, чтобы не замерзнуть. А на пригорке ель совсем розовая — это ее закатное солнце освещает.— Мама показывает рукой на окно, разрисованное инеем.

И не темная, застекленная веранда, а зимняя сказка возникает перед глазами детей. В белой дымке инея проносятся леса, их сменяют поля, и по ним до самого горизонта тянутся синие дороги.

— Смотрите,— кричит Оля,— солнце из золотого совсем стало красное, на него смотреть можно!

— Быть непогоде,— басит ямщик и постегивает кнутиком лошадей.

Маняша таращит большие черные глаза — где это мама и Оля увидели солнце?

— Смотри-ка, Маняша, из-под елочки выпрыгнул зайчик.— Мама показывает в сторону фикуса.

— Не вижу,— простодушно отвечает Маняша.

— Ну как же не видишь? — удивляется Митя.— Он на двух лапках сидит, передними мордочку моет.

— Он какой, серый или белый?

— Белый как снег, а ушки у него розоватые,— фантазирует Оля.

— Теперь вижу,— покорно соглашается Маняша, поглядывая на фикус,— только ушки у него зеленые.

— Н-но, милые, н-но, вороные! — покрикивает ямщик и оглядывается на пассажиров.— Сейчас через огненную реку переезжать будем, только отважные могут перебраться через нее, трусливые пусть заранее выходят.

Дети смотрят на маму. Митя говорит:

— Мамочка, вчера няня меня куриным пером пугала, такая страшная большая тень ползла на стене, а я закрыл глаза и не испугался.

— Ну, вот ты и стал смелее,— говорит мама,— сумеешь через огненную реку переехать.

Володя обернулся и, прищурив левый глаз, внимательно посмотрел на Олю.

— Может быть, барышне страшно, она не поедет дальше? Вон красный туман над рекой, сейчас мы ринемся в пламя.

— Я не страшусь!— гордо ответила Оля.

Митя вобрал голову в плечи, закрыл лицо руками, ямщик погнал лошадей во весь опор, и вот уже вокруг ревет пламя, спирает дыхание, огненные языки тянутся к лицу и рукам.

— Н-но, милые, н-но, вороные! — Ямщик разгоняет дым и пламя перед лицом, что есть силы стегает лошадей.

— Ну, вот и проскочили огненную реку!

Все облегченно вздыхают.

Теперь Митя твердо знает, что ему нечего бояться тени какого-то куриного пера.

— Нам бы засветло проехать мимо башни Змея Горыныча,— беспокоится мама.— Он видит только ночью. У него один глаз, и тот загорается, когда восходит луна.

— Ямщик, мы проедем башню засветло? — опасливо осведомляется Митя.

— Приложим все наше старание,— отвечает ямщик и вдруг натягивает вожжи: — Тпру-у, тпру-у!

— Почему остановились? — спрашивает Мария Александровна.

— Пристяжная распряглась. Вот подтяну хомут, почищу под дугой бубенчики, чтобы веселее звенели, и поедем дальше.— Володя подтянул веревочки на крайнем зубце кресла. Взобрался на козлы, погоняет лошадей.

— Сорока на сучке сидит, нас в гости приглашает,—подмечает Митя.

— Лисица ее под деревом караулит, ишь, плутовка, как хвостом машет,— добавляет Оля,— ласково так машет, но ты, сорока, ей не верь...

— Я вижу, белочка на дерево карабкается,— придумывает уже и Маняша,— карабкается, как наша Оля.

— Н-нно, милые, н-нно, вороные, живей! Овса, что ли, не ели? Держитесь крепче, господа хорошие, сейчас под горку понесемся! — кричит ямщик.

Седоки схватились за спинки стульев, ветер в лицо бросает пригоршни снега, слепит глаза, но вот лошади вынесли сани в поле, побежали рысцой.

— Солнце скрылось, взошла луна.— Оля зачарованно глядит в потолок.

— Я вижу звезды! — убежденно говорит Митя.

— Видите большой ковш наверху, что это? — спрашивает мама.

— Большая Медведица,— хором отвечают Оля, Митя и Володя.

— Я не хочу медведицу, я хочу медвежонка,— заявляет Маняша.— Где он?

— А вот и медвежонок,— прыгает от радости на сиденье Оля,— вылезает из берлоги, протирает глаза. Слышите, как ревет?

— Слышу,— испуганно шепчет Маняша.

— А что это за огоньки мелькают? — спрашивает Оля,



поглядывая в переднюю, где на крашеном полу пляшут отсветы огня от печки.

— Это светятся папины школы,— отвечает мама.

— Вот мы проехали деревни Заплатово, Дырявино,— объясняет ямщик.— Чуть подале за ними будут Разутово, Знобишино, а под горой Горелово, Неелово...

— Неурожайка то ж,— заканчивает Оля знакомые стихи Некрасова и, вглядевшись в даль, спрашивает:— Что это за зарево над лесом?

— Это горят зубцы на башне Змея Горыныча,— отвечает мама.

Оля вскрикивает, кувырком слетает со стула и проворно отползает в темный угол комнаты.

— Ямщик, остановите лошадей, девочка из саней выпала,— тормошит мама за плечи Володю.

Он с трудом останавливает разогнавшихся лошадей, спрыгивает с козел, привязывает вожжи к дереву и, поставив козырьком ладонь над глазами, пробирается сквозь метель, идет разыскивать девочку. И вдруг раздается тягучий, страшный вой.

— Это наш Володя воет! — Маняша захлопала в ладоши.

— Нет, это волки,— догадался Митя. Он закусил зубами палец и отчаянными глазами следит за ямщиком.— Ямщик, держитесь правее, девочка лежит под елкой. Волки идут прямо на нее,— почти плачет Митя.

Ямщик пробирается через густой кустарник, сугробы под ногами все глубже. Даже Маняша стала беспокоиться и поторапливать его. Наконец ямщик разыскал девочку; она уже замерзала в снегу. Он поднял ее, обнял за плечи, тащит к саням, оттирает ей снегом руки, а волки вокруг воют всё громче и громче.

— Волки...— стонет Оля.— Чуть не съели меня. Голодные, худые, желтыми зубами лязгают, глаза зеленым огнем горят.

— Один... два... три...— считает Митя.— Сейчас я их убью.— Он вскидывает воображаемое ружье на плечо, прицеливается.— Бах!..— кричит он.— Упал, упал, задрыгал ногами. Бах! Второй под горку кубарем покатился.

— Бах! — не выдерживает ямщик.— Третьего, матерого, я убил.

— Володя, ты же ямщик. У тебя нет ружья,— напоминает Оля.

— В такую дальнюю дорогу ямщик может взять с собой ружье,— возражает мама.— У нас очень хороший кучер, смелый и добрый. Видите, как он умело правит лошадьми. Удалось бы ему проскочить башню Змея Горыныча, а там недалеко и до цели.

— А какая она, страна Добра и Радости? Мамочка, расскажи! — просят дети.

— В этой стране живут сильные, красивые люди. Они не знают, что такое ложь, трусость, зависть. Им неведомы болезни, войны, голод, им раскрыты все тайны мира. Они научились управлять солнцем, силами природы, их главные правители — Разум и Дружба.

Кучер опустил вожжи, повернулся и блестящими глазами смотрит на маму, подперев руками голову.

— Мамочка, а почему эти люди не могут сделать счастливыми всех? — спросил он.

— Вот когда будет побежден Змей Горыныч, тогда люди этой страны подарят всем счастье.

— Володя,— с упреком говорит Оля,— ты все время забываешь, что ты ямщик. Гони лошадей, не то попадем в лапы к Змею Горынычу.

— Н-нно, голубчики, н-нно, милые!— Володя прищелкивает языком.— Сударыня! — вдруг поворачивается он к Марии Александровне.— Дальше пути нет. Слышите, как храпят кони? Поднялся буран, зги не видно.

— Может быть, повернуть обратно?— спрашивает мама, обращаясь к детям.

— Нет, нет! — кричат Оля, Митя и Маняша.

— Обратно пути нет,— басит ямщик,— все дороги за нами замело.— Он приподнялся на козлах, вглядывается в даль.— Сюда бредет Змей Горыныч,— фантазирует Володя, глядя на рояль.— У него три ноги, в пасти несметное число белых и черных зубов и огромный огненный глаз. Он бредет и лижет землю, и позади него мертвый след тянется. Мужчины, выходите из саней, встретимся с врагом...

Из саней выпрыгнул Митя. Володя разочарованно посмотрел на него.

— Оля, ты тоже будешь мужчина,— сказал он сестре.

За Олей потянулась Маняша.

— А вы женщина,— сказал ей ямщик,— сидите с мамой, мы будем вас защищать.

На крышке рояля трепетало отражение от лампы. Но это был уже не рояль, это был Змей Горыныч о трех ногах, и в его раскрытой пасти сверкали белые и черные зубы.

— Вперед! — крикнул ямщик.— Оля, поражай его в пасть, я отрублю ему заднюю лапу. Ого-го-го!

Володя, Оля и Митя с воплями ринулись навстречу врагу. Маняша прыгала в санях, ей тоже хотелось вступить в бой.

Шум сражения оторвал Сашу и Аню от солнечного затмения. Даже папа не мог усидеть у себя в кабинете.

— Сударыня! — крикнул из-под Змея Горыныча кучер.— Укройте вашего ребенка. Змей Горыныч может его ослепить!

Папа занял позицию за фикусом — заряжал воображаемую пушку.

— Р-рраз! Р-рраз! — поражал врага Володя. Внезапно руки его рванулись к толстой ножке рояля — это его схватил Змей. Володя извивался, отчаянно отбивался ногами, старался высвободить руки из лап чудовища.

Саша подполз под рояль и стал наносить Змею удары в брюхо.

Оля положила пальцы на клавиши и завопила:

— Змей Горыныч укусил меня за руку. Я тяжело ранена.

Аня отвела раненую к саням, а сама кинулась помогать товарищам. Но Оле скучно было сидеть в санях, и она снова вступила в бой, воюя левой рукой.

— Бу-ум! — раздалось из-за фикуса, и папа хлопнул бумажной хлопушкой. О, это был меткий удар!

— Папа выбил Змею глаз. Ура-а-а! Ура-а-а! — кричал Митя.

— Молодец наш папочка! — похвалил нового бойца ямщик.

Саша помог Володе высвободить руку, и они вместе отрубили Змею Горынычу лапу.

Маняша соскользнула со стула, побежала добивать Змея.

Мама села за рояль и стала импровизировать музыку боя.

...Вот он, Змей Горыныч, надвигается, огнедышащий, страшный. Против него идут люди с чистыми сердцами... Пальцы быстро бегают по клавишам. Удар! Змей ослеплен... Он в ярости, но люди стали зорче, решительнее. Удача прибавляет им силы. Удар! Еще удар!.. Змей стонет... ухает... корчится... подыхает...

Сильные аккорды на басовых клавишах.

— Совсем подох...— смеется Володя, вылезая из-под рояля.

Папа опустил за шнур лампу-«молнию» и зажег ее. В гостиной стало светло и празднично. Змей Горыныч исчез.

Мамины руки ведут на рояле мелодию чистую, светлую. Усталые бойцы стоят вокруг мамы, сидят у ее ног и чувствуют себя очень счастливыми.

КАРПЕЙ

Аня проворно обрывала мелкие ягоды.

— Я как в малиновое варенье попала. Ты чувствуешь, какой чудесный запах?

Саша не отвечал. Он охотился за бабочкой. Такой в коллекции у него не было. Алые крылья с черными пятнами мелькали перед глазами. Но едва Саша поднимал сачок, бабочка исчезала и, словно дразня и увлекая, появлялась в чаще малинника. Саша упорно пробирался за бабочкой, царапая руки и лицо о колючие кусты. И вот она уже бьется в сачке.

Подошла Аня с корзиной, полной ягод.

— А у тебя пусто?

Саша только сейчас вспомнил, что обещал принести Мите целый туесок малины.

— Я быстро соберу,— сказал он смущенно.

Аня помогала брату наполнить туесок.

В малиннике было душно, парило. Кусали комары.

— Хорошо, что Володю с собой не взяли,— сказала Аня, обмахиваясь веткой.— На него комары набрасываются, как на сахар.

— Его даже малина не соблазнила, когда он вспомнил, сколько здесь комаров,— засмеялся Саша.

Неожиданно над головой загрохотал гром. Наползала черная туча.

— Пойдем скорее,— заторопился Саша,— не то промокнешь и опять будешь кашлять.

— Давай лучше под деревом постоим: все равно до дома добраться не успеем.

— Нет, мы переберемся на другой берег Ушни и зайдем к Карпею. Это близко.

Выбрались из малинника, сбежали по крутому берегу к реке, где у ивы была привязана лодка. Река потемнела, сморщилась. Туча сизым крылом закрыла солнце.

От берега до избы Карпея бежали по лугу, перепрыгивая через ряды скошенной травы.

Карпей еще в окно увидел детей и широко распахнул дверь в избу.

— Добро пожаловать, дорогие гости! Вовремя приспели.

Карпей был охотник и рыболов. Жил бобылем. В хате у него стоял стол да скамейка, зато стены сплошь были увешаны пучками трав, сетями, вершами, капканами. В избе пахло свежим сеном.

Ульяновы любили этого статного, красивого и доброго старика. Илья Николаевич называл его поэтом в душе. Карпей прожил долгую жизнь, много видел и умел хорошо рассказывать.

— Вовремя приспели,— повторил Карпей.— Я только что из лесу воротился, мед добывал.

Карпей принес из чулана деревянную чашку, полную коричневатых медовых сот.

Аня и Саша макали куски хлеба в мед и, запрокинув головы, ловили ртом золотистые капли.

Дед Карпей заглянул в туески, похвалил — хорошую малину собрали.

— А какой сегодня день-то? — хитро прищурившись, спросил он.

— Четвертое августа,— ответили разом брат и сестра.

— Вот то-то! Сегодня день Авдотьи-малиновки. Аккурат в этот день малина доспевает. Потому и удача вам.

За окном лил дождь, шумный, светлый.

— Ишь припустился,— прислушался Карпей.

Аня выглянула в окно. Сквозь сетку дождя за Ушней видно освещенное солнцем поле.

— Грибной дождь!

— Ан нет! — возразил Карпей.— Грибной дождичек мелкий, теплый, с парком, а этот с холодком. Грибной дождик позавчера сеялся. Сеногноем его еще зовут, много сена губит. А этот дождь спорый, значит, скорый.

— Когда мы за грибами пойдем? — спросила Аня, страстная грибница.

— Денька через два. Самая пора маслятам. В бор пойдем, сосны там прямые, словно свечки стоят, под ногами мох, как перина.

Дождь действительно закончился быстро.

— Я вас через Ушню провожу,— сказал дед.— После дождя река бурливая, не ровен час, душегубку опрокинет.

Саша разулся.

— Я пойду босиком, а ты в лодке мои сухие сандалии наденешь,— сказал он сестре.

Аня пыталась возражать, но Саша сумел убедить, что это устраивает именно его — походить по мокрой траве босиком.

Карпей и Саша вели лодку против течения. Густые заросли ивняка сменил сосновый бор, звонкий, как гусли. Дождя здесь не было, но парило, пахло смолой и земляникой. За лесом раскинулось поле, и через него пролегал Владимирский тракт.

Карпей вгляделся в пыльное марево и велел Саше подгребать к берегу.

По Владимирской дороге медленно двигалась группа людей.

— Святая Владимирка, людскими косточками мощенная.— Карпей снял картуз, перекрестился.— Сколько каторжников в Сибирь по ней прогнали. Тыщи. Не многие обратно воротились... Гляньте, как они скованы промеж себя.

Каторжан было двенадцать человек, шли они по двое в ряд. Между обоими рядами покачивался железный прут, и к нему прикованы цепи от наручников.

Люди двигались по дороге, как серые тени, едва отличимые от пыльного тракта.

Аня и Саша, сцепившись за руки, в молчании следили за этой процессией, пока она не скрылась в лощине.

— Страшно как, когда живых людей железными цепями сковывают.— Аня не сдерживала слез.

Карпей вытер ладонью вспотевший лоб, надел картуз.

— Я, девочка, видел виды и пострашней...

Он присел на корму, вынул из кармана берестяную табакерку.

— Не забыть мне одного утра. Осенью это было. Шел я на охоту, шел по этой самой Владимирке и уж хотел в лес своротить, вижу, вдали пыль клубится. Партию ведут. Пригляделся — нет, не арестанты. Больно мелкий народ. Подождал, пока ближе подойдут. Гляжу — глазам не верю. Детей гонют, ведут, как взрослых арестантов, строем. Только что без кандалов... На каждом шинель надета и полы за пояс подсучены, чтобы по земле не волоклись. Идут босиком, а через плечо у каждого сапоги, за ушки связанные, висят. Все детишки по восемь — десять лет. Самому старшенькому не боле четырнадцати, как тебе, Сашенька...

Карпей затянулся козьей ножкой. Ветер подхватил синее облачко дыма.

— Какие глаза на меня глянули, сердце сковали. Большие, черные, по-младенчески открытые, ни слезинки в них, а му́ка страшная. Впереди махонький идет, вот такой...— Карпей показал рукой чуть повыше кормы.— Ему бы на коленях у мамки сидеть, в бирюльки играть, а он шинель пудовую на плечах тащит... Поглядел на меня круглыми черными глазами,— только дите так в душу заглянуть может. «Что за ребятишки?» — спрашиваю солдата, а у самого от ужаса зубы лязгают. «Жиденят ведем,— отвечает солдат.— По царскому указу в Сибирь гоним, да уж не знаю, сколько до места доведем. Почитай, половину вдоль дороги закопали. Хлипкий народ. Маета с ними». Сообразил я тогда, что это еврейских детей на царскую службу гонют. Двадцать пять лет полагалось им солдатчины отбыть. «Позволь, говорю, служивый, хлеб мой им отдать».— «Не порядок это»,— буркнул солдат и погнал их вперед. Я стар-

шенькому успел краюху сунуть... Солдаты идут и следят, чтобы ровными рядами по уставу шли, чтобы с ноги не сбивались. Для порядка мертвых из списка чиркают, для порядка несколько душ на место приведут. Вот какой он, царский порядок! — гневно закончил Карпей.

— За что это их? — спросил тихо Саша побледневшими губами.

— По царскому указу. По царскому порядку.

— Подлость это,— прошептала Аня, вытирая слезы.

Дети попрощались с Карпеем. Шли молча, оба потрясенные. Саша остановился, оглянулся на Владимирку.

— Ты права! Подлость это... Низость... Ненавижу царя!

Пришли домой.

Пятилетний Митя еще с крыльца увидел сестру и брата и кинулся им навстречу. Схватил туесок с малиной, взвизгнул от радости.

Саша поднял братишку на руки, заглянул в его блестящие черные глаза, такие радостные и счастливые, доверчивые глаза ребенка, которого все любят и ласкают. Прижал к себе и осторожно опустил на землю.

Вечером Саша, Аня и Володя сидели на крылечке, смотрели на тусклые огоньки деревни, за которой проходила Владимирка. Саша поведал Володе о том, что они видели по дороге и слышали от Карпея.

Аня, повернув лицо к Саше, громко прочитала:

Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется.
И, верю, тотчас отзовется
На неподкупный голос мой...

Саша, обхватив за плечи Аню и Володю, привлек к себе и, переводя глаза с одного на другого, взволнованно ответил:

По духу братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба.

Десятилетний Володя хорошо знал эти стихи Плещеева, которые так часто напевал отец. У Саши они звучали особенно призывно, и Володя, старавшийся во всем подражать брату, вместе с ним и сестрой громко пел:

И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной!

Все трое встали и уже кричали во весь голос в темноту, туда, где пролегал Владимирский тракт:

И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной!

Из комнаты вышла мама.

— Тсс... тише... Что с вами? Нельзя так громко. Это запрещенная песня.

— Эту песню всегда поет папа,— ответил Саша.

— Значит, она правильная,— добавил Володя.

— Нам хочется, чтобы ее услышали все, и те, которых ведут по этой дороге...

Мария Александровна смотрела на возбужденные лица детей, на их горящие глаза. Как они остро чувствуют несправедливость!

— Песня потому и запрещена,— сказала мама,— что призывает к честности, к неподкупной любви к родине. И стихи Некрасова, которые записаны у папы в тетрадке, тоже рассказывают правду, потому и запрещены, потому и нельзя их читать при посторонних.

— Это может повредить папе,— понимающе заметила Аня.

— Да. Вот, скажут, чему директор народных училищ учит своих детей.

— Но разве папа делает неправильно? — допытывался Володя.

— Нет, он делает правильно, вам надо знать правду,— ответила Мария Александровна.— А пока сберегите эти стихи в сердце своем.

СТАРОЕ КРЕСЛО

В папином кабинете стоит большое кожаное кресло. Оно всегда холодное и неуютное. Даже в жаркий день на него неприятно садиться. Поэтому и сидишь в нем в наказанье. Чуть шевельнешься — кресло сердито скрипит, словно тоже осуждает за твой проступок.

Митя сидит в кресле, слушает, как тикает будильник. Раньше мама заводила в нем музыку, чтобы можно было знать, когда пройдут положенные минуты наказания, и, как только зазвучит мелодия «Во поле березонька стояла», можно было соскочить с этого кресла и идти играть. А сегодня мама музыку не завела. Просто сказала, что Митя должен сидеть в кресле тридцать минут, подумать о своем проступке и выучить урок из арифметики.

А Мите думать не хочется.

Мите хочется в столовую, где братья и сестры мастерят сейчас елочные игрушки. Митя тоже мог бы оклеивать орехи золоченой бумажкой — фольгой, а вместо этого сидит в кресле, и даже будильник ему не подскажет, когда можно сойти.

Сегодня на уроке арифметики учительница крутила на картонных часах жестяные стрелки и спрашивала, который час. Спросила и Митю. Он ответить не мог и получил двойку. А не ответил, потому что Красавка отелилась. Митя весь вечер просидел на кухне возле теленка. Теленок смешной: не успел родиться, как уже старался встать на ноги, а они расползались у него в разные стороны. Митя пригибал ладонью голову теленка к миске с теплым молоком и совал ему палец в рот. Теленок принимался сосать молоко с пальца, а язык у него шершавый, щекочется. Нос у теленка розовый, с темным круглым пятном между ноздрями, глаза большие и скучные. Наверно, ему плохо без своей мамы. И Красавка жалобно мычала в хлеву, звала к себе своего маленького.

Мария Александровна сказала, что дети будут кормить теленка по очереди и нечего всем сидеть вокруг него. Он только что появился на свет, и ему надо дать хорошенько поспать.

Все пошли учить уроки, а Митя украдкой пробрался на кухню и все кормил теленка. И сейчас ему не терпится посмотреть на него, умеет ли он уже стоять на ногах. Но Митя должен сидеть в кресле и повторять урок из арифметики. А Мите не хочется учить уроки.

Мама сказала, что сидеть в кресле он должен полчаса и что может сойти без четверти пять. Когда это будет без четверти пять?

Митя сидит и думает.

Вокруг циферблата точки и черточки. Митя знает: между двумя точками — одна минута, а между черточками — пять минут. Большая стрелка помедлит, прицелится и перепрыгнет с одной точки на другую, а маленькая толстая стрелка стоит на месте и, кажется, вовсе не движется. Полчаса — это тридцать минут. Где же будет большая минутная стрелка, когда наступит без четверти пять?

Скрипнула дверь, и в кабинет заглянула смешная мордочка кота в большой шляпе с пером.

— Мяу!

— Володя, я знаю, что это ты. Пойди сюда, покажи мне, где будет большая стрелка, когда наступит без четверти пять.

— Мяу, милый мальчик, если я подскажу тебе, ты никогда не выучишь урока по арифметике. Соображай сам. Мяу! Мяу! — И Кот в сапогах исчез.

Митя вздохнул. Успеют ли теперь ему сделать маску зайчика? Он смотрит на часы. Даже вспотел от напряжения, и кресло кажется ему горячим. Несколько раз он проверял себя, прежде чем убедился, в каком месте минутная стрелка подаст ему знак к свободе.

За стеной в столовой слышен громкий смех. Звонче всех

смеется Маняша. Мычит теленок на кухне. Его, наверно, забыли покормить. А стрелки застыли на месте. Наверно, часы вовсе остановились, и теленок может умереть от голода, и все игрушки будут сделаны без него, Мити. Позвать маму? Сказать ей, что часы остановились? Митя смахивает слезы с глаз, они мешают следить за стрелкой. Митя считает. Осталось сидеть семь минут. Это уже точно. С проверкой решал.

Опять мычит теленок. Сможет ли он поголодать еще семь... нет, только пять минут?

Нигде так медленно не идет время, как в этом кресле. День пробежит — не заметишь, а в кресле каждая минута тянется, тянется, и конца ей нет.

Но наконец-то долговязой стрелке осталось перепрыгнуть с точки на черточку. И тогда будет без четверти пять. Но стрелка замерла и не думает перепрыгивать. Митя отвел глаза в сторону — может быть, он пригвоздил стрелку взглядом, загипнотизировал ее и она больше не стронется с места.

— Митя, сколько времени? — раздается голос мамы в дверях кабинета.

Стрелка испуганно вздрогнула и перескочила на длинную черту против цифры «9».

— Без четверти пять, мамочка. Полчаса прошло.

— Совершенно верно,— сказала мама.— Ты подумал над своим уроком из арифметики?

— Нет, не успел,— смущенно признался Митя,— я все время думал о том, когда можно будет встать с места.

— А сколько времени сейчас?

— Без тринадцати минут пять,— бойко ответил Митя, едва взглянув на часы.

— Ну, вот и отлично,— похвалила мама.— Иди покорми теленка — он, бедный, проголодался,— а потом будешь оклеивать орехи фольгой.

Митя соскользнул с кресла.

НА КОНЧИКЕ НИТКИ

Мама сидит на диване. Перед ней стоит Маняша. На руках у девочки растянут моток ниток. Мама сматывает нитки в клубок, берет две тоненькие блестящие спицы и показывает дочке, как надо вязать.

Едва заметно шевелятся мамины руки, и с левой спицы на правую, словно голубое ожерелье, нанизываются петли.

Маняше все понятно. Теперь она свяжет Мите шарф, и брат больше не будет болеть ангиной.

Дочка берет из маминых рук спицы, крепко сжимает их в пальцах, но поддеть и вытянуть кончиком спицы петлю не так-то просто.

— Вот если бы кончики были загнуты крючками, тогда было бы легче,— говорит Маняша.

А такими гладкими спицами могут управлять только мамины руки — они всё умеют. Не прекращая вязания, мама может заглянуть в учебник и объяснить задачу. Слушать, как Оля играет на рояле, и уловить неправильно взятую ноту. Спросить у Володи про дела в гимназии и продолжать считать петли.

Легко шевелятся кисти рук у мамы, указательный палец все постукивает да постукивает о кончик спицы. У нее все легко и просто. А Маняша ковыряет спицами и зевает до слез. Обернулась — чему это так заразительно смеются Володя и Оля? — и вязанье выпало из рук. Мурка спрыгнула с дивана и подцепила его лапкой, и со спицы, как капельки, соскользнули петли и пролились на пол извилистой ниткой.

Маняша тяжело вздыхает.

— Мамочка, мне не хочется вязать,— говорит она, откладывая спицы в сторону.— Я лучше буду учиться шить.

— И шить ты научишься и вязать,— отвечает мама.— Нужно все уметь делать.

— А зачем? — простодушно спрашивает Маняша.

— Мамочка, а если человеку не нравится какое-нибудь занятие, зачем же его заставлять? — заступается за сестру Оля.

Мама покачала головой.

— Человек должен уметь все делать, чтобы обслужить себя. Тогда он будет независимым, ему не потребуется просить других. А занятие в жизни надо выбрать то, которое по душе.

— Поэтому ты и Митю учишь шить на машинке? — спросила Оля.

— Да, он учится быть самостоятельным.

После обеда мама опять засадила Маняшу за работу.

— Это волшебный клубок. Когда весь вывяжешь, на кончике нитки получишь сюрприз.

— А нельзя сейчас размотать клубок и посмотреть, что там?

— Нет, сюрприз надо заработать.

Маняша старается. Руки уже не так напряжены, и петли перебегают с одной спицы на другую почти как у мамы, только медленнее.

К вечеру можно было видеть, что Маняша вяжет шарф, голубой, пушистый.

Клубок с каждым днем становился меньше, шарф — длиннее.

И каждый раз, вернувшись из гимназии, Митя торопит Маняшу с уроками, хочет, чтобы она поскорее кончила вязанье.

На Свияге устроили каток, а мама без теплого шарфа не пускает. И Маняша поэтому не ходит на каток. Дети катаются парами: Володя с Олей, Митя с Маняшей.

Сегодня Маняша закончит шарф. Клубок сильно похудел и из круглого стал угловатым. Интересно, что это там, на кончике нитки?

Спицы в Маняшиных руках ходят легко и быстро. Теперь она может взглянуть на Мурку, когда кошка крадется

к корзиночке, в которой бьется клубок, и отогнать ее ногой. Митя сидит на диване и торопит сестру.

— Потерпи немножко, совсем чуть-чуть осталось,— говорит ему Маняша.

Вот и последний ряд. Шарф закончен. Нитка натянулась.

Маняша тянет нитку — на кончике привязана маленькая дощечка шоколада.

Сюрприз!

Когда же мама сумела запрятать в клубок шоколадку, ведь она наматывала нитки вместе с ней, Маняшей?

— Мамочка, ты волшебница! — восхищается Маняша.

— А по-моему, волшебник тот, кто умеет простую нитку превратить в очень красивый и теплый шарф.

Мите шарф тоже очень понравился, он сразу повязал его на шею.

Оля и Володя в полном снаряжении ждут у дверей.

В шоколадке четыре дольки. Маняша отламывает и протягивает одну Оле, другую — Володе, третью — Мите, а четвертую разламывает пополам: маме и себе.

Сейчас все четверо побегут на каток.

Как много радости на кончике нитки!

ЛУЧШАЯ ОТМЕТКА

Весело возвращаться домой из гимназии в сентябрьский погожий денек: пышные сады расцвечены багряными красками, воздух напоен запахом созревающих яблок и горьковатых астр. Дома ждут братья и сестры, веселые игры, прочитанная до самого интересного места книга, гигантские шаги во дворе. А вечером вернется из губернии папа, и ему можно будет с гордостью показать свой дневник, в котором красуются круглые пятерки.

По дороге Володя завернул к женской гимназии, подождал, пока выбежит Оля.

— Ну как? — задал он обычный вопрос.

Оля весело помотала головой, отчего ее коса, похожая на тугую рыбку, описала в воздухе полукруг.

— Из истории двенадцать, и из физики двенадцать,— пропела она тоненьким голоском.

— А у меня из латыни — пять,— сказал Володя.

Пять — это высшая отметка в мужской гимназии, а двенадцать — в женской. Схватившись за руки, брат и сестра, цокая башмаками по деревянному тротуару, помчались вниз по Покровской улице.

— Ты знаешь, как я волновалась за физику? — вдруг остановилась Оля.— Сижу за партой и ничегошеньки не помню, а когда учительница вызвала к доске, в голове все пришло в порядок. Ух, как я рада, что не срезалась!

— Ты же вчера свою физику при луне повторяла,— засмеялся Володя.— Я вылез на балкон и видел, как ты пальцем на стекле формулы выводила.

Володя по-хорошему завидовал сестре, ее усидчивости и терпению. Вот кто умел упорно трудиться!

— Нас кто-то ждет у калитки,— сказала Оля.

Володя прищурил левый глаз.

— Да, какой-то парнишка. Я его не знаю.

Подошли ближе. У изгороди стоял мальчик лет двенадцати, ровесник Володе. Видно было, что он пришел издалека: лапти на ногах совершенно разбиты, длинный кафтан покрыт пылью, за спиной болтается мешок.

— Ты к нам? — спросил Володя.

— Я к главному учителю Ульянову. Люди сказали, что он живет здесь.

— Здесь, здесь,— живо подтвердил Володя.— Это наш папа. Почему же ты не входишь?

— Боязно. Мой отец стращал, что в Симбирске в каждом дворе злая собака.

— У нас никакой собаки нет. Заходи, заходи.— Володя распахнул калитку; Оля прошмыгнула первой и побежала вперед.— Только папу тебе придется ждать, он вернется вечером. Зачем он тебе? — полюбопытствовал Володя.

— В школу мне надо. Учиться.

— Как зовут тебя?

— Иваном.

— Меня зовут Володя, сестру — Оля. Будем знакомы.

— Твой отец сердитый? — спросил Ваня и замедлил шаг.

— Увидишь сам.

Мама с Олей накрывали на стол в беседке, а Володя с Ваней пошли мыться в сарай. Натаскали из кадушки воды, нагретой солнцем. Ваня с любопытством смотрел, как Володя мылил себе голову и как у него под пальцами вырастала пушистая снежная шапка.

И Ваня захотел такую же шапку. Он никогда не видел мыла и не знал его волшебных свойств. Володя фыркал — и Ваня фыркал. Володя обливался из ведра — и Ваня обливался. А потом, вымытый, чистый, с довольным видом, осматривал себя в Володиных холщовых брюках и в серой рубашке.

За обедом мама подкладывала Ване самые большие куски. Ваня уплетал за обе щеки и рассказывал, что он давно, еще с весны, решил учиться. А отец не пускал в школу — незачем, говорит, бурлаку учиться. Бурлак бедный, ему ничего не надо знать; если будет много знать, невзлюбит свою жизнь. Отец у Вани бурлак, и дед был бурлаком, а Ваня хочет стать учителем. Люди сказали, что занятия в школе начинаются осенью, когда пожелтеют листья. Вот Ваня и ждал, пока береза под окном вызолотит свои листочки. Ночью он тайком ушел из дому искать школу. Много деревень прошел — нигде нет школы. Люди сказали, что в Симбирск надо идти, к главному учителю Ульянову, он поможет...

Володя внимательно слушал, подавшись вперед, ссутулив плечи, сдвинув брови, и только тихонько произносил: «Гм... гм... да... да...»

После обеда Володя с Олей повели Ваню к себе наверх, показали ему книжки с картинками.

— Вот это Библия! — воскликнул Ваня, разглядывая книжку.

— Какая Библия? — удивился Володя.— Это «Хижина дяди Тома». Самая лучшая книжка на свете.

— Нет, Библия,— настаивал Ваня.— Я сам видел такую штуку в церкви, только еще красивее.

Брат с сестрой переглянулись. Они поняли, что мальчик никогда не держал в руках книги. Володя был потрясен. Он ровесник Ване и успел прочитать много-много книг, а этот чудесный мир был закрыт для сына бурлака.

Ваня вертел в руках книгу, перелистывал ее, как слепой, ощупывал пальцами строчки, и глаза его оживлялись, когда он встречал картинку.

— Хочешь, почитаю? — предложила Оля.

— Почитай. Покажи, как ты это делаешь.

Ваня слушал и следил за Олиным пальцем. Палец двигался по строчкам-бороздкам, и все бороздки были одинаковые, и каждая страница похожа на аккуратно вспаханное поле. Как же эта девочка высматривает в этих бороздках такие интересные истории, и почему, как ни пялит глаза Ваня, он сам ничего этого не видит.

Володя сидел рядом и старался углубиться в латынь. И не мог. Его подавляло смутное чувство недовольства собою, какое-то сознание вины перед Ваней. Илья Николаевич часто рассказывал детям об ужасающей нищете и бесправии в деревне. А теперь Володя сам услышал это от мальчика. Чем порадовать Ваню? Подарить ему свою любимую книгу? Но Ваня не умеет читать. Отдать свои сокровища — коллекцию перышек? Но он не умеет писать. Выпросить у Саши для Вани календарь?.. Нет, не то, не то...

Вечером приехал Илья Николаевич. Он был на открытии двух новых сельских школ, вернулся в отличном настроении, и ему не терпелось поделиться своей радостью с Марией Александровной, с детьми.

— Папочка, тебя ждет мальчик Ваня,— начал было Володя.

Но отец уже все знал от мамы.

— Мы поговорим с молодым человеком, а ты иди к себе.

Володя и Оля уселись на рундуке в передней и с нетерпением ждали решения отца.

Ваня вышел из кабинета счастливый. Он ничего не говорил, только смеялся.

Смеялись его глаза, губы и даже кончик сморщенного носа.

Володя побежал к отцу:

— Папочка, как хорошо, что ты определил Ваню в школу! Он такой счастливый.

— Нет,— ответил Илья Николаевич,— он опоздал, и ребята в занятиях ушли далеко вперед.

— Но он опоздал не по своей вине. Ему сказали, что занятия в школе начинаются, когда пожелтеют листья на деревьях. Вот он и ждал, а потом искал школу. Он шел до Симбирска две ночи и два дня. Разве можно, чтобы он вернулся домой ни с чем?— Перед глазами Володи стояло улыбающееся лицо Вани.— Папочка, разве ты не хочешь, чтобы он учился?

— Ты сам понимаешь, что нельзя задерживать целый класс из-за одного ученика.— Илья Николаевич внимательно смотрел на сына.

Володя вдруг весь вспыхнул, зарделись щеки, заискрились глаза.

Он подошел ближе к отцу.

— Он догонит, папочка. Мы поможем ему — я и Оля. Даю тебе слово.

Складка на лбу у Ильи Николаевича разгладилась, густые брови вскинулись вверх, губы дрогнули в улыбке.

— Вот именно этого я и ждал от тебя. Я буду просить, чтобы Ваню приняли в школу.

Володя порывисто обнял отца и помчался наверх...

Над садом висел серп луны, по небу плыли облака, оставляя за собой рассыпанные звезды. Огромные вязы в саду сильными изогнутыми сучьями, казалось, подпирали небо.

Володя стоял на балконе, вцепившись руками в перила, вглядывался в Млечный Путь.

На балкон выбралась Оля:

— Я показала папе свой дневник. Он посмотрел на двенадцать по физике и сказал: «Это еще не самая лучшая твоя отметка». А какая же может быть лучше, Володя? — Оля заглянула в лицо брату.

Володя молчал.

— О чем ты думаешь?

— О Ване... Ты слышишь? — Володя указал рукой вниз.

Через двор, по дорожке, посыпанной лунным светом, шли папа, мама и старшие — Аня и Саша. Илья Николаевич смеялся особенно задушевно, и, как маленький колокольчик, звенел голос мамы.

— Ты слышишь? — повторил Володя.— Папа рассказывает про Ваню и радуется, словно открыл новую школу. Вот бы научиться так радоваться...

Володя схватил Олю за руку.

— Я знаю, знаю, что такое лучшая отметка! — Оля посмотрела на брата, на его сияющее лицо.— Лучшая наша с тобой отметка будет первая пятерка Вани. Правда?

Володя спрыгнул с перил и заглянул в окно. Ваня спал, крепко ухватив обеими руками «Хижину дяди Тома», которую Володя получил в подарок за успехи в учении.

СОЧИНЕНИЕ

В доме тихо. Слышится только, как потрескивают дрова в печке да пронесется вдруг по комнатам дуновением легкого ветра мелодичный звон часов. За окном двор и сад в белом зимнем убранстве. С отяжелевших ветвей березы опадают пушистые снежные хлопья и рассыпаются в воздухе серебристой пылью.

Тихо и спокойно на сердце у Марии Александровны. Мелькает иголка в ее руках. На столике растет стопка починенного и аккуратно сложенного детского белья. Сделав последний стежок и закрепив нитку, Мария Александровна воткнула иголку в подушечку, подошла к окну. С высокой ледяной горки, крутясь волчком, скатывается вниз на круглой ледянке Маняша. Митя стоит наверху, ждет своей очереди.

Мать постучала наперстком в стекло, позвала малышей домой. А сама пошла в столовую накрывать стол к обеду.

Заскрипела дверь с черного хода, зашуршал веник: Митя и Маняша очищают друг друга от снега. Не раздеваясь, заглянули в столовую.

— Вот и мы,— заявила Маняша.

— Вот и мы,— повторил Митя.

Оба как из снежной купели, на пунцовых щеках, на ресницах блестят капли от растаявших снежинок.

— Раздевайтесь-ка скорее,— улыбается мать.— Сейчас наши гимназисты придут, будем обедать.

— А потом спать?— вздыхает Маняша.

— Немножко отдохнете.

Стук-стук-стук...— стучат каблучки по ступенькам.

— Оля идет!— взвизгивают малыши и несутся навстречу сестре.

Оля целует Митю и Маняшу.

— Ой, как вам снег щеки нагрел!

— Не нагрел — наморозил,— поправляет Маняша.

Распахивается дверь с улицы на веранду, кто-то скачет через две ступеньки: раз, два, три, четыре... Это Володя.

В тесной передней возня, смех. Володя затеял с Митей борьбу — кто сильнее, Маняша рассказывает, как летела «вот с такой высоченной горы», перевернулась и «чуть не утонула в сугробе».

Но вот слышно, как кто-то сбивает с башмаков снег на веранде.

— Саша пришел!

И в передней сразу водворяется порядок.

Мария Александровна улыбается. Пришел наставник, старший брат Саша, и всё, как по мановению волшебной палочки, становится на свои места.

— Саша, у меня валенки не снимаются, помоги...— жалобно просит Маняша.

Саша наклонился, Маняша обхватила брата за шею и повисла на нем.

Володя расчесывает волосы перед зеркалом и искоса поглядывает на брата. Не получается у него такая же прическа. У Володи волосы светлые, с рыжинкой, и закручиваются в разные стороны, а у Саши шапка темных волос, блестящих, чуть волнистых и послушных.

Маняша уже сидит у старшего брата на закорках, Оля потерлась щекой о его плечо и произнесла свое привычное, ласковое «мур-мур». Никому другому Саша не позволил бы таких «телячьих нежностей», это можно только двум младшим сестрам.

— Мыть руки — и за стол!— говорит Саша, осторожно опуская Маняшу на пол, и бежит наверх положить на место портфель с книгами.

Последней приходит Аня.

И вот все за столом. Нет только Ильи Николаевича, он в разъезде по губернии. Когда отца нет дома, его во всем заменяет Саша.

Зоркий глаз матери подметил, что старший сын чем-то

взволнован. Вот уже шестнадцатый год пошел ему, а мать не может вспомнить, чтобы он чем-то огорчил ее. Он не любит ласкаться, как все другие ее дети, всегда ровен, спокоен и послушен. Но покорным назвать его нельзя. «Я — сам» — это были его первые сознательные слова. «Я сам буду есть ложкой... сам справлюсь с пуговицей... сам зашнурую ботинки... сам застелю постель... сам решу трудную задачу. Я — сам». Однажды она увидела, как Саша — ему было тогда три года — складывал из кубиков картинку. Пыхтел, мучился — не мог подобрать кошке ногу. Мать долго следила за мальчиком и решила помочь ему, взяла кубик, перевернула и поставила на место. У кошки появилась четвертая лапа. А Саша вдруг обмяк, вскинул темные глаза на мать, и она прочла в них упрек: она оборвала его пытливую мысль. «Я ведь хотел сам»,— тихо сказал он. И это был урок для молодой матери.

Саша отличался отменным здоровьем, был сильным мальчиком, но эта сила таилась в нем, он словно стеснялся ее. С младшими был осторожен, никогда не повышал голоса, но все дети его беспрекословно слушались. Даже Аня уступила ему старшинство в семье, часто советовалась с ним, спрашивала его мнение.

Саша аккуратно ходил с отцом в церковь, знал наизусть все молитвы, хотя постоянно старался понять их суть и както долго допрашивал отца, что такое «иже еси на небеси». С третьего класса гимназии увлекся книгами по физике, астрономии, в летней кухне стал заниматься химическими опытами. И вот недавно, когда Илья Николаевич собирался в церковь, Саша подошел к отцу и мягко, как только он умел, но решительно сказал: «Папа, я не пойду в церковь».—«Ты чем-то занят, мой мальчик?» — спросил отец. «Нет»,— коротко ответил сын. И еще несколько раз отец звал его в церковь, и наконец Саша сказал: «Я больше не буду ходить в церковь». Отец понял, что это не каприз ребенка, а решение юноши, решение зрелое. «Ну что ж, неволить не буду»,— вздох-

нул он. Саша видел, что отец огорчен, но даже ради него, любимого отца, он не мог поступиться собственными убеждениями.

Сегодня Саша чем-то обеспокоен, что-то упорно решает для себя, даже не расслышал вопроса Володи — пойдет ли он завтра на каток. Обычно все дети рассказывали, что произошло в гимназии. Так было и на этот раз. Только Саша молчал.

После обеда Володя с Олей повели малышей наверх укладывать спать. Мария Александровна с Аней убирали со стола. Саша взял из рук сестры тяжелую стопку тарелок и понес на кухню.

— Мне кажется, у Саши какие-то неприятности,— сказала мать.— Но не будем у него выпытывать. Если найдет нужным — расскажет сам.

Саша вернулся в столовую. Преодолел минутное колебание и спросил:

— Мамочка, Аня, у вас есть несколько минут? Я хотел бы прочитать вам свое сочинение.

Мать и сестра охотно согласились послушать.

Саша побежал на антресоли за тетрадкой и привел с собой Володю.

Мария Александровна подкрутила фитиль в лампе, чтобы было светлее. Все уселись за стол. Саша раскрыл тетрадь. Володя заглянул в нее. Густо исписанные лиловыми чернилами глянцевитые страницы привлекали внешним видом.

— Нам задали сочинение на тему: «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству». Я написал так, как понимаю свой долг перед обществом и государством,— сказал Саша.

— За этим сочинением ты и засиживался последние ночи?— спросила сестра.

— Да. Очень много думал — ради чего человек живет? Ради чего живу я? Сегодня нам раздали тетради. Господин Керенский поставил мне за сочинение четверку.

— Тебе четверку?— изумился Володя.— Это несправедливо!

— Не спеши судить,— ответил Саша.— Меня огорчила не отметка, а озадачило замечание Федора Михайловича, что у меня в сочинении отсутствует главная мысль, а какая, он не сказал.

— Почитай, дружок, может, вместе и разберемся.— Мария Александровна взяла корзиночку с вязаньем — руки у нее всегда должны быть заняты.

Саша разгладил ладонью лист тетради.

— Сначала у меня идет краткий конспект. Я его опускаю. Начну с текста: «Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела».

— Трудолюбивый человек не может быть не честен,— горячо возразил Володя.— Раз он любит труд, хорошо работает, значит, он честен.

— Володя, не перебивай,— остановила его Аня,— пусть Саша дочитает до конца.

Саша внимательно посмотрел на брата, словно взвешивая, доступно ли Володе то, над чем он сам долгими ночами мучился.

— Я не случайно поставил на первое место честность,— заметно волнуясь, ответил Саша.— Если человек честный, он выберет себе такое занятие, чтобы от него было больше пользы народу, обществу, а нечестный человек прежде всего будет думать о собственной выгоде. Такой труд может принести обществу вред. Ты согласна, мамочка?

Мария Александровна отложила вязанье в сторону. Ответила не сразу.

— Да, Саша, ты прав. Возьми хотя бы купца Никитина. У него вся семья работает от зари до зари. Сами мешки в амбары грузят. Осенью скупают зерно, а весной продают втридорога. Какая уж тут польза обществу!

Саша просиял.

— А ты согласен? — спросил он младшего брата.

— Вполне, — ответил Володя, глядя влюбленными глазами на Сашу, — читай, читай дальше.

— «Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности; для этого он должен еще уметь трудиться, то есть ему нужны любовь к труду и твердый, настойчивый характер. Трудолюбие необходимо каждому трудящемуся человеку; труд по какому-либо внешнему побуждению не принесет и половины той пользы, которую принес бы свободный и независимый труд...»

— Вот это я не совсем понимаю, — сказала Аня. Она стояла, прислонившись к кафельной печке.

— Труд раба, труд по принуждению, подневольный труд не может принести той пользы обществу, какую ей может дать человек свободный, избравший себе профессию по своему желанию, — ответил Саша.

Мария Александровна вдруг по-новому увидела своего старшего сына. Какие глубокие мысли волнуют его! И эти мысли так близки и Ане и даже одиннадцатилетнему Володе. Он, младший, обычно непоседа и пересмешник, сейчас замер, оперся на сплетенные пальцы подбородком, не шевельнется, и только живо и заинтересованно искрятся чуть прищуренные глаза.

Аня подошла к брату, заглянула через плечо в тетрадь, еще раз перечитала.

— Но я не могу выбрать профессию по своему желанию, значит, я не свободный человек?

— Да, ты не свободный человек, — резко произнес Саша.

И эта жесткая нотка осуждения относилась вовсе не к сестре, а к кому-то другому, кто сковывает свободу сестры, поняла Мария Александровна.

— Дальше я это объясняю. — Саша перевернул страницу. — «Любовь к труду должна простираться не только на легкие и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда

кажется непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые представляют ему собственные недостатки и слабости: для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать себе твердый и непреклонный характер».

Мне кажется, что я ответил на твой вопрос,— обратился к сестре Саша.

— Да, твердого и непоколебимого характера мне как раз и не хватает,— призналась Аня,— но даже если бы он у меня был, как я могу изменить «внешние обстоятельства», как я могу изменить законы и порядок в нашем государстве?

Саша пожал плечами.

— Я считаю, что если действительно хочешь принести пользу обществу, то нельзя останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями.

— Но как их преодолеть, эти препятствия?— почти с отчаяньем спросила Аня.

— Не знаю — как, но знаю только, что это необходимо.— И, уловив недоумевающий и встревоженный взгляд матери, продолжал читать:— «Умственное развитие необходимо человеку так же, как и нравственное; без него деятельность человека может получить ложное направление и не будет приносить никакой пользы людям. Но и верно направленный труд умного и трудолюбивого человека может приносить различные результаты, смотря по тому, насколько производительно он выполняется...»

Володя прикоснулся к Сашиной руке.

— Извини, что перебиваю, но объясни, что значит производительно выполнять труд?

— Слушай до конца. «Для того чтобы деятельность человека приносила полезные результаты при возможно меньшей затрате труда и сил, для этого человеку нужно основательное

знание того дела, которое будет предметом его занятий. От степени образованности вообще и, в частности, от знания своего дела много зависит та польза, которую принесет человек обществу». Теперь понятно? — спросил Саша брата.

Володя утвердительно кивнул головой.

— Понятно. Надо отлично знать дело, за которое взялся, чтобы трудиться было легко и чтобы от этого труда было больше пользы. Так?

— И к этому необходима широкая образованность,— добавил Саша. Он закрыл тетрадь. Некоторое время все молчали.

— Я бы никогда не смогла так глубоко и логично сформулировать идеал служения обществу, как сделал это ты,— сказала растроганная Аня.

— И за такое сочинение четверка! Я сразу сказал, что это несправедливо. Несправедливо! — горячился Володя.

— Я ничего не упустил в своем сочинении? — спросил Саша, обращаясь главным образом к матери.

— По-моему, это отличное сочинение. Но может быть, в нем были грамматические ошибки?

— Нет. Грамматических ошибок не было. Но мне кажется, что Федор Михайлович снизил мне балл за то, что я не внял его подсказке, когда он задавал нам это сочинение: «Соблюдать заповеди господни, служить верой и правдой царю». Это, очевидно, он считал главной мыслью сочинения.

— А почему ты не написал этого? — осторожно спросила мать, стараясь подавить тревогу, вдруг возникшую в сердце.

— Я написал то, что входит в программу моей жизни,— уклончиво ответил Саша.

— Я бы на месте господина Керенского поставил кол себе, преподавателю словесности, за то, что ничего не понял.— Володя взял в руки тетрадь.— Саша, разреши прочитать мне самому еще раз.

— Бери, но читать будешь, когда выучишь все уроки.

Володя прижал тетрадь обеими руками к груди и понесся к себе наверх.

— Как ты думаешь, папа одобрит мое сочинение? — спросил Саша мать.

— Думаю, что папе будет интересно проследить ход твоих мыслей. Глубокие и правильные суждения.

— Спасибо, мамочка!

Аня и Саша ушли. Мать осталась одна.

К чувству гордости за сына, озабоченного в свои пятнадцать лет вопросом, как принести пользу людям, примешалась тревога. Почему Саша не включил в свое сочинение тезис «служение царю»? Ведь еще года не прошло, как был убит царь Александр II. И сейчас во всех школах и гимназиях стараются внушить и укрепить любовь и преданность к царю. Поэтому и задали сочинение на такую тему. Саша этот вопрос в своем сочинении обошел. Случайно? Но из его суждений можно понять, что «служение царю», как и «служение богу» не входит в заповеди его жизни.

«Надо поговорить с Сашей»,— решила Мария Александровна и поднялась к нему наверх.

Он сидел за большой грифельной доской, испещренной алгебраическими формулами.

— Тебе много задали уроков? — спросила мать, когда Саша поднял на нее глаза, ясные глаза, в которых она не увидела и тени смятения.

— Как обычно,— спокойно ответил он.— Вот я стараюсь найти самый короткий и простой способ решения этой задачи. Сижу над ней второй вечер... Я тебе нужен?

— Нет, нет. Я хотела только сказать, что ужинать мы сегодня будем позже, подождем папу.

«Зря я тревожусь»,— попрекнула себя Мария Александровна и заглянула в комнату меньшего сына. Володя, шагая по комнате, учил стихи из латыни.

Проснулись малыши и затеяли в своей комнате игру. Оля в гостиной села за рояль, разучивает новую пьесу.

Мария Александровна прошла в столовую, вынула из корзиночки вязанье, прислушалась к детским голосам, к звукам рояля. Тревога матери утихала, утаившись в глубине сердца.

ПАПИНА ВИШНЯ

Никогда не светит солнце так ярко, как в марте, никогда не бывает небо таким просторным и чистым, как в марте, и чем ярче сияет солнце, тем злее ночной мороз.

За ночь мороз старательно затягивает лужи узорчатым ледком, развешивает по краям крыши бахрому сосулек, сковывает сугробы. А солнце, отоспавшись за зиму, весело расправляется по-своему: растапливает ледяные пленки на лужах, острым лучом отпиливает сосульки, и они падают с хрустальным звоном. Сугробы дряхлеют, оседают, уходят в землю.

Длинным днем хозяйничает солнце, короткой ночью — мороз. И морозу не хватает ни времени, ни сил, чтобы восстановить то, что разрушило солнце. А солнце расчищает дорогу весне, которая идет с юга на север и скатывает снеговой ковер с земли.

Ледяная горка во дворе Ульяновых побурела и стала рыхлой, тропинки в саду почернели, углубились, и по краям нависли хрустящие льдистые кромки.

Митя и Маняша с нетерпением ждали, когда братья и сестры придут из гимназии. Мама сказала, что пора белить стволы деревьев, чтобы защитить их от вредителей, горячего солнца и мороза...

И вот после обеда три брата и три сестрички бегут в летнюю кухню. Там у Саши припасены известь, ведра. Малыши с любопытством смотрят, как Саша и Аня отмеряют известь, разводят ее в ведре с водой. Каждый получает кисть, и Саша указывает, кому какое дерево выбеливать.

Володе достается старый вяз, что растет у беседки, Оля белит свою любимую осинку у забора, Аня — яблоньки, Мите и Маняше достается по вишневому деревцу. Папину вишню будет белить сам Саша.

Это деревце Илья Николаевич привез из деревни года три назад. Оно плохо приживалось, болело, чуть не погибло. Но Саша с Аней прочитали в книгах, как его лечить, чем подкармливать. И вишня выжила...

До позднего вечера работали дети. И в темноте стволы засветились, как снежные столбики.

В Володин день рождения прогремел первый гром, пролил веселый светлый дождь, и этот молодой гром разбудил сад к жизни. Наутро все деревья окутались зеленой дымкой, а еще через несколько дней в ветвях словно запуталось легкое облако: зацвели вишни. И если подойти поближе, то услышишь, как деревце гудит.

Когда Маняша увидела в первый раз, сколько пчел налетело на вишню, она испугалась — повредят пчелы цветы и не будет ягод. Но Саша ее успокоил: пчелы хоботком аккуратно выбирают из сердцевины цветка сладкий нектар и лапками переносят пыльцу с цветка на цветок, чтобы завязались вишни.

Саша сидел у себя в комнате и готовил уроки. Все в доме уже спали. Вдруг порыв ветра распахнул форточку, и в комнату роем белых комаров влетели снежинки, ледяной ветер пахнул в лицо.

Саша побежал в комнату Володи:

— Володя! Проснись! Беда!

Володя сел на кровати, протер глаза и в следующую секунду начал одеваться и успел догнать Сашу, когда он вышел на крыльцо.

Пахло зимой, снегом и свежей зеленью. Северный ветер обрывал лепестки цветов, смешивал их со снегом, пригибал

к земле ветки молодых деревьев. Мороз, как ворюга, пробрался в сад и душил цветы.

Аню разбудили отсветы огня, которые плясали по потолку. Она выглянула в окно и сквозь белесую сетку метелицы увидела две тени возле костра. «Мороз! Братья спасают сад»,— поняла она. Быстро оделась и, взяв в руки башмаки, на цыпочках пробралась через детскую комнату. Скрипнула половица. Оля подняла голову с подушки:

— Аня, ты куда?

— В сад, жечь костры. Мороз.

— Я с тобой.

— Хорошо, не разбуди малышей.

Но Митя уже спустил ноги с кровати.

— Мороз! Погибнет папина вишня, мне ее жалко,— чуть не плакал он.

— Пойдем, оденься потеплее. Давай я помогу тебе зашнуровать ботинки,— наклонилась Оля к брату.

Маняша только покруче свернулась калачиком. Аня накинула на нее второе одеяло. Ветер дул изо всех сил, старался погасить костер, но он разгорался еще ярче; мороз хватал колючими пальцами молодые побеги, но теплый дым окутывал их и не давал заморозить.

Саша выбежал на улицу, постучал в соседние дома, разбудил людей, предупредил об опасности. Один за другим задымились костры в садах Симбирска.

Володя, Оля и Митя подносили поленья, пучки сена. Саша с Аней разводили новые костры. Проснулись птицы и заметались по саду. Порывом ветра из гнезда над окном сдуло птенцов. Оля подобрала их и завернула в шарф. Птенцы были голенькие — одни круглые синеватые животики и над ними широко раскрытые клювы. Воробьиха летала над Олиной головой.

— Не бойся, глупенькая,— приговаривала Оля,— я твоих птенцов отнесу на веранду, а как только взойдет солнце, согреет землю, мы их тебе вернем.

Но воробьиха не отставала от Оли и влетела в застекленную веранду.

Дружно и отважно отстаивали дети цветущий сад от мороза. А утром им помогло солнце. Оно растопило снег на крышах, отогрело деревья.

Побледневшие после бессонной ночи, но счастливые, сидели дети за завтраком и наперебой рассказывали папе и маме, как они победили мороз. А Мария Александровна и Илья Николаевич видели всё это в окно и решили дать возможность детям самим справиться с бедой. Только Маняша не могла понять, почему Дед-Мороз, которого все так ждут под Новый год с мешком подарков, весной становится таким злым и нападает на цветы и птенчиков.

Сад был спасен, только кое-где сморщились листочки, пожухли и опали. Птенчиков Саша с Володей водворили в гнезда. Снова загудели пчелы. А на вишневых деревьях на месте опадающих цветков стали появляться зеленые горошины. В загустевшем малиннике по утрам пели пеночки. Воробьи носились по саду и склевывали с деревьев жучков и гусениц.

— Молодцы воробьи, наши хорошие помощники,— хвалила Оля трудолюбивых птиц и подсыпала им пшено в кормушки.

Кончились занятия в гимназии. В саду наливались красным соком вишни, яблоки стали светлее листьев, на грядках поспевала клубника. Сад прихорошился.

Володя устроился на толстом суку вяза, грыз семечки и читал книгу. Он уселся поудобнее, сук, который нависал зеленым крылом, качнулся, и с папиной вишни взвилась стайка воробьев. Птицы покружились в воздухе и снова опустились на дерево. Они острыми клювами вырывали кусочки мякоти, вишни сморщивались и становились уродливыми. И Володе показалось, что воробьям пришлась по вку-

су именно папина вишня. Он быстро соскользнул с дерева и побежал к Саше. Позвали Аню и Олю.

Как спасти папину вишню от воробьев?

Оля предложила подсыпать им побольше пшена в кормушку.

— Дураки они, что ли, менять вишню на пшено,— пожал плечами Володя.

Как отогнать воробьев, придумал Саша. Девочки нарезали узенькие полоски блестящей бумаги — фольги, нанизали их, как флажки, на длинные нитки. Мальчики развесили эти гирлянды на деревья. Особенно тщательно опутали папину вишню. Ветер колышет полоски, они шуршат, сверкают на солнце, пугают воробьев. Покружатся, покружатся воробьи над вишней — делать нечего, летят к кормушке с пшеном.

И вот наступило 14 июля — день рождения папы. Утром Илью Николаевича пришли поздравить его помощники, учителя, школьники.

В беседке был накрыт стол, посредине возвышался именинный яблочный пирог. А возле беседки стояла папина вишня, вся обсыпанная темными блестящими ягодами. Отяжелевшие ветки клонились до самой земли.

Аня подошла к вишне с ножницами в руках. Перерезала нитку, и гирлянды с фольгой опали.

— Угощайтесь,— пригласила она взрослых.

— А я попрошу сначала отгадать загадку,— предложил Володя детям.— Кругла как шар, красна как кровь, вкусна как мед. Что это такое?

— Вишня! Вишня! — хором закричали дети.

— Давайте проверим, так ли это,— рассмеялся Володя.

И все стали обрывать сочные ягоды, ели их и очень хвалили. Маняша сама скоро стала похожа на вишню — так она перемазалась соком. И воробьи налетели и тоже лакомились, и их уже никто не отгонял. Вишен много. Хватит на всех.

В ПУТЬ

Легкий туман курится над полями. Над Волгой встает солнце, неяркое, затуманенное. Река дремлет. Южный ветерок ершит рябью воду. Медленно, бесшумно плывет по течению длинный плот, оставляя за собой приглаженный след на воде. На плоту вьется синеватый дымок от костра и сливается с белесым туманом.

У берега почерневшая от времени баржа, груженная лесом. С баржи спускаются бурлаки, не освеженные сном. Сходни скрипят и прогибаются под их тяжелой, неторопливой поступью. Лениво переругиваясь, бурлаки натягивают на плечи лямки, впрягаются в работу.

Тишина... Сонная тишина над огромной рекой, над полями.

Деятельны и не сонны только стрижи. На известняковой скале прилепились их гнезда. Как черные маленькие молнии, мелькают острокрылые птицы. Из гнезд высовываются широко раскрытые, желтые клювы птенцов. И снуют, снуют без конца работяги стрижи, рассекая крыльями туман.

Вот зачокал валек, и звонкое эхо рикошетом поскакало по воде. Зазвенела коса о брусок, сверкнула на солнце. Зашагали косари по необъятному заливному лугу, сочно захрустела трава под косой.

— Рраз-два — взяли! Рраз-два! Рраз-два! — Бурлаки подались левым плечом вперед, стараются сдвинуть с места глубоко осевшую в воду баржу.

— Рраз-два — взяли! Рраз-два! Рраз-два! — несется, как стон, над рекой.

Солнце поднимается выше, легкие космы тумана тают, оседая на траве хрустальной россыпью росы.

У рогатой коряги мужик в холщовых портах, завернутых выше колен, тащит из воды вершу. Ему помогает мальчонка лет двенадцати, голый — одна суровая нитка с медным крестом на шее.



Гриша стоит по грудь в воде, подталкивает плетенку снизу. Вот наконец верша в лодке. Отец хватает уверенной рукой рыб за жабры и кидает их на дно лодки. Мальчишка ворошит руками рыбу, хлопает панибратски сома по жирному боку. Выпрямляется во весь рост и, заслонившись рукой от солнца, глядит на косогор.

— Тять, Ульяновы идут. Бежать мне надо,— деловито говорит мальчонка, натягивая на мокрое тело штаны.

— Ого-го-го! — кричит в картонный рупор Саша, появившийся на вершине косогора, и с толстых ив соскальзы-

вают и летят ему навстречу босоногие загорелые мальчишки в выцветших рубашках.

У Саши за плечами туго набитый вещевой мешок. Ветер шевелит на голове густые темные волосы, серая рубашка, подпоясанная шнурком, облегает стройную фигуру. Рядом с ним Володя с веслами на плече, в руке ивовая корзина. Глаза у Володи лукавые, чуть раскосые и широко распахнутые. Он с гордостью посматривает на брата, которого окружили мальчишки.

— Александр Ильич, у нас все готово!

— Александр Ильич, прикажете паруса ставить?

— Ленька сегодня опять дрался, не берите его с собой!

Володе нравится, что мальчишки тоже признают в Саше старшего и называют его по имени и отчеству.

У берега на привязи покачиваются старые плоскодонные лодки. Володя принес с собой дощечки с надписями «Неустрашимый», «Вольный», «Стремительный» и теперь вместе с мальчишками прикрепляет их к бортам лодок.

На траве под суковатой ольхой расположились Илья Николаевич, Мария Александровна, Митя и девочки.

Аня поставила корзину на землю и, чуть подавшись вперед, что-то шепчет реке, словно здоровается с ней. Оля в восторге поет, тащит за руку Митю, а Митя боится оторваться от маминой руки. Черноглазая Маняша сидит на плече у папы; ей лучше всех видна Волга.

К лодкам бегут мальчишки с веслами, удочками на плечах.

Гриша, запыхавшись, спрашивает Илью Николаевича:

— Здрасте! Александра Ильича не видели?

— Здравствуй, Гриша! Саша внизу с ребятами оснащает лодки.

— Не лодки, Илья Николаевич, а пакетбот. И не с ребятами, а с матросами,— резонно замечает мальчик.

— Прошу прощения,— серьезно отвечает Илья Николаевич.

Гриша бежит вниз.

Володя уже ждет своего приятеля.

— Что это у тебя под рубашкой трепыхается — наверно, птица? — заинтересованно спрашивает Володя.

— Не-е, сомище — во! У тятьки стащил,— хвастается Гриша и вытаскивает из-за пазухи рыбу. Сом не так уж велик.

— Это зачем же? — спрашивает Володя.

— Известно зачем — уху варить будем.

— Ишь Христос нашелся, одной рыбой хочешь целую флотилию накормить! — Володя взял из рук Гриши извивающегося сома и поднес к носу. Сморщился: — Плохо пахнет!

— Пошто? — удивился Гриша.— Она ж живая!

— Живая, а воняет. Потому что ворованная. Беги к отцу и отнеси, не то Саше скажу.

Гриша разочарованно вздохнул. Но делать нечего. Капитан флотилии Александр Ильич шутить не любит. Спишет с корабля, и останется Гриша с рыбой на суше.

Мальчик побежал, оглянулся, смерил глазами расстояние до флотилии и до коряги и решил схитрить. Швырнул сома в Волгу и побежал обратно к ребятам.

А матросы уже занимали места на пакетботах.

— Аня-а! — кричит Саша в рупор.

— Сейчас! — отвечает ему сестра, торопливо что-то дописывает, подбегает к маме и передает ей тетрадь.

— Мамочка, я стихи сочинила. Про Волгу. Прочтешь, когда мы отплывем. Пожалуйста, не сейчас.— Аня целует мать, машет рукой сестре и отцу, бежит вниз, ухватив подол длинного ситцевого платья.

Оля потерлась о плечо матери:

— Мур-мур...

— Иди, иди,— торопит Мария Александровна дочку,— слушайся во всем Аню, как меня.

— Обещаю! — кричит уже на ходу Оля.

Митя вскочил на ноги.

— Мамочка, папочка, разрешите мне тоже ехать. Я во всем буду слушаться Сашу.

Илья Николаевич взглянул на Марию Александровну и крикнул Володе, чтобы он взял с собою Митю.

— Я тоже хочу путешествовать,— решительно заявляет Маняша.

Мария Александровна привлекла ее к себе.

— Тебе надо еще немножко подрасти... и нам с папой будет очень скучно.

Саша отдает команду:

— Сниматься с якоря! Приготовиться к поднятию парусов!

— Маняша! Мамочка! Папа! Ого-го-го! — кричит Володя.

— До свида-а-нья,— машут платками девочки.

Мальчишки поднимают паруса. Веселый гомон затихает. Лодки отчаливают.

— Счастливого плаванья! — разносится над рекой бас Ильи Николаевича.

— В добрый час! — напутствует детей Мария Александровна.— Итак, дети отправились в путь,— с легкой грустью говорит она.— Даже мне захотелось пуститься вместе с ними.

— И мне,— признается Маняша.

Илья Николаевич поднимает дочку на плечо. Лодки, как белые лебеди, проплывают под парусами мимо утеса. Возникает песня — мальчишеская, звонкая, задорная. Разносится по реке и удаляется вместе с лодками.

На берегу наступает непривычная тишина. Становится чуть грустно, что умолк гомон ребячьих голосов, угасла песня.

— Уже волнуешься? — спрашивает Илья Николаевич, поглядывая на жену.

— Немножко.

— А я совершенно спокоен.— Илья Николаевич прищурившись всматривается в голубое марево, где скрылись лодки.— Саша очень тщательно подготовился к путешествию, продумал все до мелочей. Я рад, что он немножко отдохнет от своих книг и кольчатых. Хорошо, что он решил идти вместе со всеми, а не пустился один на своей душегубке.— Илья Николаевич улыбнулся своим мыслям.— Саша у нас на верном пути. Слышишь, Машенька, сын у нас будет ученым.

— Ты доволен?

— Я горд.

Мария Александровна раскрыла тетрадь, пробежала ее глазами.

— Слушай, Илюша, какие стихи написала Аня:

...В тебе, Волга, сила родная народа,
Стремленье к свободе всей русской земли,
И именем павших за правду, за братство
Недаром зовутся утесы твои...

— Хорошие мысли... верные мысли...— Илья Николаевич одобрительно кивнул головой.

Мария Александровна села на пенек под тенью, продолжала читать.

— Аня у нас будет писательницей. Я часто думаю, кем будет у нас Оленька? Музыкантом или филологом?

— Оля талантлива, весьма талантлива,— задумчиво говорит Илья Николаевич.

Маняша, которая внимательно рассматривала муравьиную кучу, заинтересованно спросила:

— А что такое «талантлива»? Это хорошо?

— Хорошо,— смеется отец.— Это значит — умеет много и усердно трудиться.

Маняшино внимание привлекла большая стрекоза с янтарными крыльями, и она помчалась за ней.

— Беспокоит меня Володя. Горяч, упрям, насмешлив.

— У него хорошее, доброе сердце. Он очень способный

мальчик,— горячо защищает Мария Александровна сына.— Ты его редко хвалишь.

— Боюсь, Машенька, боюсь. То, чего Оля добивается упорным трудом, он делает шутя. Ему многое дано, с него надо больше спрашивать... Вот Митя, он в вас, в Бланков, он будет врачом.

— Да он и лицом все больше походит на деда,— соглашается Мария Александровна.— Какое большое счастье, что у нас столько детей. Выводить в жизнь мальчиков будешь ты, девочек — я.

— Вместе, Машенька, вместе, всю жизнь вместе. Мы оба им очень нужны, и ты и я.

— А кем буду я? — вдруг неожиданно появляется Маняша.

— А кем ты хочешь быть? — спрашивает отец.

— Я хочу быть путешественником и еще кататься на лодке,— отвечает Маняша.

— Почему бы нам действительно не прогуляться по Волге? — Илья Николаевич поднимает на руки дочку.

— Ура! — кричит Маняша.— Мы тоже поедем путешествовать, далеко-далеко.

Спускаются по косогору вниз. Илья Николаевич отвязывает лодку, раскачивает ее сильным движением и стаскивает с песка в воду.

Маняша хлопает в ладоши, радуется, что у нее такой сильный папа. Она занимает место рядом с мамой. Илья Николаевич садится на весла.

— Ты помнишь, Машенька, двадцать лет назад мы также катались на лодке и я пел тебе песни?

— Мы тогда были молоды, а сейчас нам вдвоем уже сто лет! — смеется Мария Александровна.

— Неужели сто? Да. Тебе — сорок восемь, мне — пятьдесят два. Но тогда мы были с тобой вдвоем, а сейчас нас восемь человек, восемь, Машенька. И в среднем на каждого приходится... сколько же приходится? — Илья Николаевич

быстро подсчитал: — Нам в среднем по двадцать два года каждому. Совсем немного. Мы еще молоды, очень молоды.

Сильными взмахами весел Илья Николаевич выводит лодку на середину реки. Положил весла на борт, светлые струи бахромой стекают в воду, и он, обхватив руками колени и глядя на сидящих перед ним двух Машенек, поет задушевно и молодо.

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА

Под Новый, 1886 год в семье Ульяновых, как всегда, устроили бал-маскарад. Илья Николаевич вывернул мехом наверх шубу, прицепил к бороде длинные льняные пряди. Мария Александровна смастерила из ваты шапку, и он сидел возле елки, как настоящий Дед-Мороз, только под наклеенными бровями поблескивали молодые, с огоньком глаза.

Гостиная заполнилась шуршанием роскошных костюмов из гофрированной разноцветной бумаги. Прекрасная испанка с веером, сверкая черными глазами из-под маски, ни на шаг не отходила от Кота в сапогах, который больше смахивал на д'Артаньяна. И никто, конечно, не узнавал в этой паре Олю и Володю. А Красная Шапочка — Маняша узнавала всех. В барышне-крестьянке она сразу угадала Олину подружку Сашу Щербо, в Дон-Кихоте — Митиного приятеля Алешу Яковлева и, конечно, узнала в маленьком гноме пятилетнего Сашу — сына директора гимназии. Только спутала сначала маму с Аней. Две тоненькие елочки, закутанные в зеленую бахрому, танцевали лучше всех, но у мамы-елочки из-под зеленой шляпы выбилась белая прядь волос.

Кот в сапогах был неистощим на выдумки. Он был и актером и режиссером, придумывал веселые шарады и первый запевал ломающимся голосом.

— Я совсем погибаю, милый друг...— пел Кот в сапогах подруге-испанке и, сорвавшись на высокой ноте, смеялся звонко, вытирал лапой в белой варежке слезы под маской и признавался: — Вот видишь, младая испанка, совсем погиб я...

До самого утра светились окна в доме Ульяновых. Два раза меняли свечи на елке. Кружились, изнемогая от смеха и веселья, пары. Без устали играла мама-елочка на рояле то нежные вальсы, то задорную плясовую. А сколько песен было спето!..

Спать расходились усталые, счастливые. Впереди была еще целая неделя веселых каникул...

Но кончились и каникулы.

Утром Володя, Оля, Митя и Маняша, вскинув за плечи ранцы, отправились в гимназию, Илья Николаевич пошел к себе в кабинет заканчивать годовой отчет. Мария Александровна с Аней разбирали елку, аккуратно укладывали самодельные игрушки в коробки из-под ботинок и вполголоса обсуждали, как там Саша в Петербурге, так ли весело он провел свои каникулы. Аня собиралась возвращаться в Петербург на курсы.

Елка опустела. Дождем сыпалась с нее хвоя, на ветках поблескивали осенней паутиной ниточки канители, под ногами хрустела бертолетова соль, изображавшая снег.

Аня понесла коробки с елочными игрушками на чердак. Мария Александровна взяла в передней с полки «ежик» и стала чистить стекла на лампах. Мягко ступая, зашла в кабинет Ильи Николаевича. Он сидел за письменным столом прямой, развернув плечи, так же, как учил сидеть за партой учеников, и ручку легко сжимал пальцами, и лист бумаги лежал перед ним чуть повернутым влево. Он сам делал всегда так, как учил детей.

Мария Александровна сняла с лампы стекло, подышала в него, прочистила ежиком, подровняла ножницами фитиль в лампе. За окном вьюжило, надвигались ранние зимние сумерки.

Илья Николаевич откинулся на спинку стула.

— Не зажигай пока лампу. Посумерничаем.

— Тебе пора отдохнуть,— сказала Мария Александровна.

— Я не устал, и осталось совсем немного.

Илья Николаевич перебирал на столе листы, исписанные красивым четким почерком.

— Помнишь, Машенька, шестнадцать лет назад, когда мы с тобой приехали в Симбирск, я насчитал тогда по всей губернии...

— Восемьдесят девять школ,— подхватила Мария Александровна.

— А сколько учеников в них было? — тоном экзаменатора шутливо спросил Илья Николаевич.

О, она очень хорошо помнит: две тысячи учащихся на всю губернию.

— А сейчас, Машенька, в губернии четыреста тридцать четыре школы, и учеников в них более двадцати тысяч.

В голосе Ильи Николаевича звучала гордость.

— А девочек сколько?

— Три тысячи с лишним. Маловато еще.

Мария Александровна вспомнила, как огорчало Илью Николаевича, что в школах вовсе нет девочек, и как он воевал с крестьянами, уговаривая их посылать дочерей учиться.

— Подумай, Машенька, в деревне стало в десять раз больше грамотных. А ты говоришь — «не следует ли отдохнуть». Душа радуется, когда смотришь на эти цифры. Но ой-ой-ой сколько еще надо сделать! Дожить бы до такого дня, когда все население губернии будет грамотным. А?.. Доживем?

— Конечно, доживем.

— Придется выдержать большую борьбу против похода на земские школы. Если школы превратят в церковноприходские, отдадут их под власть попов — беда, будут они выпускать полуграмотных невежд.

В передней кто-то стучал промерзшими сапогами, обивая с них снег.

В кабинет вошел вестовой Михеич, привез почту.

Мария Александровна зажгла лампу, подождала, пока огонек расползется по всей кромке фитиля, надела стекло и сверху зеленый абажур.

— Из Казани какое-то важное письмо.— Илья Николаевич вскрыл пакет, вынул толстый лист бумаги, украшенный гербом Российской империи, пробежал его глазами и тихо охнул.— Машенька,— сказал он упавшим голосом,— Машенька, наградили меня... орденом Святого Станислава первой степени.

— Поздравляю...

Мария Александровна взглянула на побледневшее лицо мужа и осеклась. Пошарила рукой стул, опустилась на него.

— Это конец, Машенька. Это третий звонок. Ведь это означает — пожалуйте в отставку, господин Ульянов. В отставку! — Илья Николаевич прислушался к этому странно и по-чужому звучащему слову. Встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.

Только теперь до сознания Марии Александровны дошел страшный смысл этих слов. Она помнит, что первым звонком Илья Николаевич назвал орден Анны, которым он был награжден за двадцать лет службы; вторым — был орден Святого Владимира, за двадцать пять лет службы, и тогда волновался, что уволят.

А теперь, после тридцатилетней работы, отправляют на пенсию, на покой.

— Неужели это мой последний годовой отчет? — Илья Николаевич посмотрел на бумаги, лежащие на столе.— Что

же дальше? В пятьдесят четыре года надеть шлафрок, комнатные туфли и наблюдать жизнь через окно? И это называется покой? Это же смерти подобно.

Никогда не видела Мария Александровна своего мужа таким растерянным и поникшим.

— Может быть, можно ходатайствовать? — неуверенно сказала Мария Александровна.

— Нет, бесполезно. Закон есть закон. Я старался о нем не думать, смотрел только вперед, надеялся на какое-то чудо. Но чуда не произошло... В отставку!.. А у нас с тобой дети еще на ноги не поставлены. Как мы, восемь душ, проживем на одну пенсию?

— Об этом не печалься,— ласково сказала Мария Александровна.— Продадим дом, снимем маленькую квартиру, я сумею экономно вести хозяйство, а там и дети закончат образование.

— Но у меня так много неисполненных планов!— горько воскликнул Илья Николаевич.— Четыреста тридцать четыре школы! А их должно быть тысяча. Сотни новых светлых школ, грамотный народ, просвещенный край. Вот о чем мечтал я. И вместо этого орден, золотой крест на широкой красной ленте, с двойной белой каймой, серебряная восьмилучевая звезда. Нарядно! Помпезно! На оборотной стороне звезды выгравировано по-латыни: «Премиандо инцитат!», что означает: «Награждая, поощряет!» Какое лицемерие! «Поощряет»! На что? На какие дела? Лишают возможности трудиться и называют это поощрением.

Крупные капли пота выступили на его высоком лбу.

Мария Александровна сидела подавленная. Слезы сжимали ей горло. Чем она могла помочь ему, чем утешить?

— Илюша, ты всегда будешь желанным гостем в школах...

— Гостем? — Илья Николаевич расстегнул ворот косоворотки.— А поставить преподавание так, как я это понимаю, мне дозволят? А новые школы разрешат строить?..

«Премиандо инцитат»! — сквозь зубы, как бранные слова, произнес Илья Николаевич.

— Не может быть, чтобы человека в расцвете его деятельности отстранили от работы. Будешь хлопотать, будешь добиваться. Тебя ценят.

— Ты видишь, как меня ценят,— усмехнулся Илья Николаевич.

— Мы найдем какой-нибудь выход, найдем. Все уладится. Ты отдохнешь, и, кстати, надо оформить дворянское звание. Ведь ты уже третий раз получаешь на него право.

— Что мне оно даст? Право на работу?

— Это звание нужно детям, оно облегчит им поступление в университет, поможет в жизни.

— Успеем, успеем.

— Так ты уже откладываешь четыре года,— с легким укором сказала Мария Александровна.

Она пыталась отвлечь Илью Николаевича, но он думал о своем. Его, привыкшего с малых лет к труду, к общению с большим коллективом людей, лишали работы, отстраняли от любимого дела...

Весть о награждении директора народных училищ орденом Станислава быстро распространилась по Симбирску.

В дом потянулись визитеры: сослуживцы, друзья, знакомые — поздравляли с высочайше пожалованной наградой.

Приехал инспектор Иван Владимирович Ишерский. Он искренне радовался. Илья Николаевич благодарил,— не хотел разочаровывать преданного друга да и знал, что Иван Владимирович не поймет его. Многие ведь считают, что чины и ордена украшают человека больше, чем его дела. Но эти шумные поздравления угнетали Илью Николаевича, он вдруг стал мнительным, ему чудилось в этих поздравлениях прощание с ним.

На третий день, 10 января, Илья Николаевич пожаловался жене:

— Что-то тошнит меня от этих поздравлений и голова болит нещадно. Не пускай ко мне никого.

Мария Александровна помогла мужу прилечь на диван, положила на голову мокрое полотенце.

— Тише, дети, папе нездоровится,— сказала она и, отозвав Володю в сторону, попросила его сбегать за врачом.

Врач не нашел ничего тревожного. Очевидно, легкое отравление и усталость. Прописал капли Иноземцева и уехал.

Мария Александровна не сомкнула глаз всю ночь. И днем металась по дому, как птица с поломанным крылом, не находя покоя.

12 января Илья Николаевич почувствовал себя лучше и снова уселся за отчет.

В этот день мела сильная метель. Дети вернулись из гимназии, прошли в кабинет отца, увидели, что он углублен в работу,— значит, здоров. Но, видно, непогода давала себя знать. Маняша и Митя капризничали, были взъерошенные, как воробьи, не могли спокойно играть, и Мария Александровна отпустила Митю к Алеше Яковлеву, а Маняшу Аня забрала к себе наверх, где они уютно устроились с Олей и Володей. Аня рассказывала им о красивейшем в мире городе Петербурге, о перламутровом отсвете белых ночей на Неве, о Саше, который работает над дипломом и отказался поехать домой на каникулы, считая, что вдвоем с Аней это будет стоить слишком дорого. На будущий год Володя и Оля кончат гимназию и тоже поедут учиться в Петербург. В семье будет четыре студента.

— Страшно ехать на поезде? — спросила Оля. Кроме Саши и Ани, никто еще из детей Ульяновых не ездил по железной дороге.

— Нет, вовсе не страшно,— уверяла Аня,— только очень тесно и душно.

— И никакой палубы нет?— поинтересовалась Маняша.

— И палубы нет. На пароходе путешествовать куда приятнее.

— Мы каждый вечер вчетвером будем гулять по набережной Невы.— Оля прижалась к сестре.

Но Володя предупредил, что он будет пропадать в библиотеке.

Мария Александровна сидела в столовой, бралась то за шитье, то за вязанье, но работа валилась из рук. «Что это со мной? Почему так тревожно на сердце? Ведь доктор сказал, что ничего опасного. Может быть, стосковалась по Саше? Но от него вчера было письмо, бодрое, ласковое. Может быть, вьюга нагоняет тоску?»

Она отложила шитье, накинула платок и вышла в сад. Ходила по скрипучим от мороза дорожкам. Яблони, покрытые пушистым снегом, стояли словно в цвету. Тронула рукой ветку — снег осыпался, оголились темные узловатые сучки.

Вернулась в дом, осторожно приоткрыла дверь в кабинет Ильи Николаевича. Он сидел за письменным столом, оглянулся. «Очень плохо выглядит»,— больно кольнуло в сердце. И снова тоска, отчаянная, до слез. Вышел к обеду в столовую, старался шутить, даже предложил Володе сыграть партию в шахматы. Но раздумал, пошел к себе.

Мария Александровна заглянула в кабинет.

Илья Николаевич лежал на широком кожаном диване съежившись, словно ему было холодно.

— Илюша! — окликнула она мужа.— Илюша, что с тобой? — присела на край дивана, провела ладонью по высокому холодному лбу... — А-а-а!..— разнесся вдруг вопль по комнатам.

Первый раз в жизни услышали дети этот отчаянный, полный ужаса крик матери.

Сбежали вниз. Мама стояла у дверей кабинета:

— Папа не умер! Нет! Он не умер! Он не может умереть!..

В доме необычно тихо. Дети сидят в столовой, тесно прижавшись друг к другу, учат уроки. Аня, закутавшись в платок, прислонилась к теплой печке. Оля шепотом учит французские глаголы, смахивает слезы с ресниц. Володя вполголоса объясняет Мите задачу. Маняша старательно выводит буквы.

В доме словно ничего не изменилось. Мама, как всегда, встает раньше всех, кормит детей завтраком, отправляет их в гимназию. По возвращении спрашивает про отметки. Но дом стал пустой и гулкий. Нет папы. Он отсутствовал часто и раньше, разъезжая по своим школам. Но тогда все жили в счастливом ожидании. Зимним вечером, заслышав фырканье лошадей под окном, всей семьей бежали в переднюю, распахивали скрипучую, промерзшую дверь. На пороге появлялся в своей большой серой шубе с пушистым заснеженным воротником папа, стряхивал с усов и бороды светлые льдинки, подставлял холодную румяную щеку для поцелуя и нетерпеливо спрашивал: «В доме все благополучно? Все здоровы?..» И вот никогда-никогда этого больше не будет. Дверь в папин кабинет закрыта. По вечерам там всегда сидит мама. Дети чувствуют, что она не с ними. Они знают, что утром, как только закрывается за ними дверь, она отправляется на кладбище, на могилу папы. По вечерам не звучит больше колыбельная песня. Рояль затянут парусиновым чехлом.

Сейчас Мария Александровна сидит в кабинете Ильи Николаевича, в его кресле, за его столом, и о чем-то думает, думает...

На столе, рядом с портретом Ильи Николаевича, лежат его часы, старые мозеровские часы. Он купил их перед свадьбой и никогда не забывал заводить. И вот теперь они остановились. Мария Александровна взяла часы и осторожно завела их ключиком. Стальное сердце забилось мерно и четко. Время продолжало свой бег. Теперь Мария Александровна будет носить эти часы до конца своей жизни.

— Я пойду погуляю,— сказала она детям, заглядывая в столовую. Мимоходом погладила Маняшу по голове, поправила косо лежавшую тетрадь у Мити.

— Мамочка, приходили Вера Васильевна и Иван Владимирович. У него какое-то важное дело, но мы решили тебя не беспокоить,— сказала Аня.— Он придет попозже.

— Да, хорошо.

— Можно мне с тобой? — спросила Аня и подняла на мать большие печальные глаза.

— Нет, ты простужена. Я скоро вернусь.

Дети переглянулись. Ничто не радовало маму, даже друзья, даже сердечная и добрая Вера Васильевна Кашкадамова.

Володя выждал, пока хлопнет дверь, быстро встал, набросил шинель и пошел следом за мамой. Нельзя оставлять ее одну.

Она шла вверх по Московской улице, освещенной луной и редкими газовыми фонарями.

Вот дом, в котором они жили двенадцать лет назад. Теперь там живут другие.

С Московской свернула на Стрелецкую. Сюда, в этот дом, они приехали из Нижнего Новгорода шестнадцать лет назад. Здесь родились Володя, Оля, Митя.

Вышла на Старый Венец.

Володя как тень следовал за матерью.

Мария Александровна остановилась над спуском к Волге. Перед ней — застывшая ледяная пустыня. Метет поземка. Затуманенная луна висит над Волгой, как одинокий газовый фонарь.

Совсем недавно они всей семьей спускались по этому откосу, шли провожать детей в далекое интересное путешествие. «Всю жизнь, Машенька, вместе, всю жизнь»,— говорил тогда Илья Николаевич. «Сто лет на двоих не так уж много»,— шутил он. А теперь все сто лет легли на нее одну.

Володя чувствует, какие думы одолевают маму, понимает, что ей нужно побыть одной, что он не должен быть свидетелем ее горестных дум. Он отходит за угол дома, сквозь голые кусты акаций смотрит во двор, на маленький флигель в три окна, где он родился. Здесь прошло его раннее детство. Он всегда был средним в семье, а теперь, после смерти отца и когда Саша в Петербурге, он стал старшим и самым сильным. Как помочь маме? Ей тяжелее всех.

— Как же дальше, Илюша? — шепчут губы матери.— Ты стоял рядом как утес. Было спокойно, солнечно. Мы все надеялись на твою мудрость, а теперь?..

Шестеро детей... Шесть дорог...

Много дорог проложено через Волгу. Далеко за рекой мерцают слабые огоньки деревень. А где она, дорога ее детей?

Когда дети были маленькие, она затевала с ними бесхитростную увлекательную игру — путешествие в страну Добра и Радости. Змея Горыныча изображал рояль... Все было легко и просто. А как в этой жизни выбрать правильный путь?

Метет поземка по Волге, заметает дороги, путает их. Луна исчезла в облаках. Ветер развевает полы мантильи. Мария Александровна не замечает ни колющего ветра, ни холода, ни ночи.

— Что делать? Как быть? — шепчут губы.— Выдержит ли сердце?

— Мамочка! — тихо окликнул ее Володя.

— Ты что, Володюшка, случилось что-нибудь?— встревожилась мать.

— Нет, мамочка, дома все в порядке. Все ждут тебя, и я пошел к тебе навстречу.

Он взял мать под руку, взял крепко по-мужски и нежно по-сыновьи.

Мария Александровна глубоко вздохнула, словно очнулась от тяжелого сна. Дети ждут. Она ушла от них в свое

горе. Но и они горюют не меньше ее. Она нужна, она очень нужна им.

— Скорее пойдем домой,— торопила Мария Александровна.

Дома ждал Иван Владимирович Ишерский.

— Я принес вам добрые вести, дорогая Мария Александровна. Может быть, это явится для вас некоторым утешением в вашем горе. Казанское попечительство сообщило, что вам предоставлена честь получить орденские знаки Святого Станислава, пожалованные вашему покойному супругу.

Мария Александровна побледнела и, взглянув на детей, пригласила Ивана Владимировича пройти с ней в кабинет.

— Я их не намерена получать,— сказала она, опускаясь на стул.

Ишерский изумленно вскинул брови.

— Но почему? Такая высокая награда. Может быть, вас смущает то, что за пожалованный орден вам надлежит внести на богоугодные дела сто пятьдесят рублей?

— Сто пятьдесят рублей? — удивилась Мария Александровна.— Как я могу отдать полуторамесячную пенсию, которую я получаю на семь человек?

— Эта недоимка числится за покойным Ильей Николаевичем, и, если не будет на то вашего доброго согласия, казна удержит эту сумму из пенсии. А орденские знаки, любезная Мария Александровна, надо принять. Большая честь, а за честь надо платить...— В голосе Ивана Владимировича зазвучали холодные нотки. Он не понимал Марии Александровны, так же как не мог никогда понять, почему Илья Николаевич откладывал оформление потомственного дворянства своей семьи.— Я уверен, дорогая Мария Александровна, что вы измените ваше решение. И еще я хотел посоветовать вам начать хлопоты о внесении вас и ваших детей в дворянскую родословную книгу.

Конечно, Иван Владимирович желал добра ей и ее детям. Но как она может объяснить, что орден Святого Станисла-

ва вторгся в их жизнь как мрачное предзнаменование, что Илья Николаевич не мог смириться с необходимостью оставить любимое дело и, может быть, это и явилось главной причиной его смерти.

— Вы правы, Иван Владимирович, я завтра же напишу прошение о присвоении нам дворянского звания, а что касается орденских знаков...

— Надеюсь, вы не заставите меня писать Казанскому попечительству о том, что вы отказались от их получения? — Ишерский нервно теребил бородку.— Что подумают о вас, о семье всеми уважаемого Ильи Николаевича. А платить на богоугодные дела вас все равно принудят.

— Что я могу поделать против насилья! — горько усмехнулась Мария Александровна.— Прошу вас сообщить куда надлежит, Иван Владимирович, что вдова действительного статского советника Мария Ульянова не пожелала принять орденские знаки Святого Станислава.

«Как горе ожесточает человека»,— подумал Ишерский.

Мария Александровна стояла, комкая в руке платок. Сердце ее стремилось к детям, оно стосковалось по ним.

ПИСЬМО

Володя подошел к дому, взялся за ручку двери и медлил повернуть. Из гостиной доносились приглушенные звуки музыки. Играла мама. Совсем недавно сняла она траурный чехол с рояля, и в дом вернулась музыка и песни. По вечерам снова слышалась колыбельная, хотя в колыбели давно уже никто не лежал и самой младшей, Маняше, шел десятый год. Все в семье любили эту песню, и с ней так же трудно было расстаться, как со счастливым детством. А сейчас мама играет что-то свое, импровизирует, словно думает вслух.



Как тяжело Володе было открыть дверь и преодолеть восемь ступенек на террасу! Он остановился у окна. Настенная лампа в гостиной освещала раскрытый рояль, белую голову матери, ее четкий профиль. Какая мама тоненькая и хрупкая, в лице ни кровиночки, даже губы совсем бледные, и только в ярких карих глазах живость, и доброта, и затаенная грусть. Над клавишами летают мамины руки. Пальцы едва касаются клавиш, а струны звучат как оркестр. Они так близки, мамины руки, что, если бы не было оконного стекла, Володя мог бы до них дотронуться. Чего бы только он не совершил, чтобы оградить маму от новых бед и несчастий!

Он сжал письмо. «Может быть, порвать — скрыть от мамы страшное известие?.. Нет, это невозможно, она узнает по глазам».

Он продолжал стоять у окна. Продлить хоть на несколько минут отдых матери, ее покой. Никогда он еще так нежно не любил мать, как теперь, после смерти отца. Володя видел, с каким мужеством она затаила в себе горе, сделала все, чтобы дети меньше ощущали потерю отца, чтобы в доме не чувствовалось гнетущего траура. Он понимал, каких душевных сил ей это стоило.

И вот снова...

В гостиную вбежала Маняша. Мама что-то у нее спрашивает, вынула из-за корсажа часы и покачала головой. Видно, тревожится, что так долго нет его, Володи. Нет, он не зайдет в дом, пока она не кончит играть.

Мария Александровна пробежалась пальцами по клавишам и медленно опустила крышку рояля.

Володя вошел в переднюю.

— Это ты, Володюшка? Что так поздно? — окликнула его Мария Александровна.

— Я был у Веры Васильевны, мамочка,— говорит он скороговоркой, проходя в гостиную и приглаживая обеими руками непослушные кудри на голове.

— Почему ты решил заглянуть к ней? Она же вчера вечером была у нас.

— Мы беседовали о петербургских арестах. В столице раскрыто покушение на царя.

— Опять покушение? — спросила Мария Александровна, вспомнив, как шесть лет назад в симбирских церквах целый день колокола били в набат по случаю убийства Александра II.— Но почему ты решил говорить об этом с Верой Васильевной?

— Она беспокоится, как там Саша и Аня.

— При чем тут они? — И смутная тревога возникает в сердце матери.

— Среди студентов идут аресты. Сашу и Аню могли захватить заодно.

— Что это тебе пришло в голову? Не могут же арестовать всех студентов?.. Володя, ты что-то знаешь? — обеспокоенно спрашивает Мария Александровна.

Володя молчит, потупив глаза, стиснув пальцы.

Мать положила руки на плечи сына:

— Володя, говори, ты не умеешь лгать.

— Мамочка, ничего страшного не произошло. Но Вера Васильевна получила от Песковских сообщение, что Саша и Аня арестованы. Я уверен, что это недоразумение,— поспешил добавить Володя, видя, как побледнела мать. Сам он понимал, что это дело для Саши может окончиться очень плохо.

— Саша и Аня в тюрьме?.. Возможно ли это? Они так далеки от всех этих дел. Саша увлечен естественными науками. Он мечтает о профессорской кафедре. Непостижимо!

— Мамочка, я поеду в Петербург.

— Нет, у тебя скоро экзамены, Володя, выпускные экзамены. В Петербург поеду я, и немедленно. Ты останешься дома с младшими. Сходи за Верой Васильевной, надо посоветоваться с ней. Я пойду к Ивану Владимировичу, он поможет.

— Вера Васильевна сама обещала прийти, а к Ишерскому я пойду вместе с тобой.

...Они шли молча. По прерывистому, тяжелому дыханию матери Володя видел, как ей тяжело. Мария Александровна не замечала прохожих, Володя отвечал на приветствия за мать и за себя вежливым поклоном.

Ишерский сам открыл дверь.

— Мария Александровна, какими судьбами? Добро пожаловать! Лена,— крикнул он жене,— гости к нам, готовь чай!

Мария Александровна опустилась на стул, сдвинула на затылок платок.

— Горе у нас, дорогой Иван Владимирович. Сашу и Аню арестовали в Петербурге. Научите, посоветуйте, что делать, к кому обратиться. Как спасти детей моих?

— Это не в связи с покушением на его императорское величество? — испуганно перекрестился Ишерский.

— Да, Песковский пишет, что в связи с этим. Но мои дети не могли стать террористами — вы их знаете. Родной Иван Владимирович, помогите!

Хозяин дома знаком руки показал жене, чтобы она не входила в комнату.

— К сожалению, я здесь не помощник,— произнес он и, сев за стол, нетерпеливо забарабанил пальцами.— Суд разберется: если они неповинны, их освободят, а если задумали поднять руку на священную особу... Будем надеяться на лучшее. Да поможет вам господь бог!..

Володя стоял за спиной матери, обняв ее за плечи.

— Мамочка решила ехать в Петербург, хлопотать. Куда вы посоветуете ей обратиться? — спросил он, прямо глядя в глаза Ишерскому.

— Не могу знать, не могу знать...

— Можете вы, по крайней мере, дать лошадь, чтобы мамочка могла добраться до Сызрани? — спросил Володя.

Ишерский встал.

— С превеликим удовольствием, но я уже отпустил кучера,— пробормотал Ишерский, избегая сверкающего взгляда юноши.

Мария Александровна тяжело поднялась со стула.

Хозяин спешил открыть двери.

— Уповайте на милость божью, на суд праведный.

Мария Александровна медленно спускалась по ступенькам, словно несла на себе новый тяжелый груз.

— И это называется прогрессивно мыслящая личность! — гневно и пылко вырвалось у Володи.

Все внутри него бушевало, протестовало.

— У него семья, Володюшка. Он опасается за ее благополучие... Ступай, Володюшка, на постоялый двор, на почту, найми ямщика, а я пойду домой. К знакомым не заходи, не надо их ставить в тяжелое положение.

Мария Александровна понимала теперь, что бороться за своих детей предстояло ей одной. В глазах симбирского общества она уже не вдова действительного статского советника, а мать государственных преступников. Но для нее, матери, ее дети не могли быть преступниками. Чистый, благородный Саша, справедливый во всем, он не мог пойти на преступление, стать террористом. Хрупкая, нежная Аня, всегда болезненная, мечтательная, увлеченная изящной литературой — и... террористка? Нет, это немыслимо.

Может быть, Иван Владимирович прав: суд разберется, освободит их.

И вдруг в памяти Марии Александровны возник вечер в Кокушкине, когда Саша, Аня и Володя, стоя на крыльце, разгоряченные, потрясая сжатыми в кулак руками, громко, как клятву, повторяли:

...И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной!..

«Сберегите эти слова в сердце своем»,— посоветовала она тогда детям. Вспомнилось гимназическое сочинение Саши. «Служба царю не входит в программу моей жизни...»

«Нет, нет, это невозможно»,— отгоняла она от себя мрачные мысли. Саша не мог состоять в тайной организации, он сказал бы об этом отцу, Аня поделилась бы с ней, с матерью. У детей не было от родителей тайн.

Нельзя, чтобы глаза застилали слезы, чтобы горе туманило рассудок. Предстоит борьба. Нужно очень много сил. От ее душевной стойкости сейчас зависит всё.

Дома ее ждала Вера Васильевна.

Мария Александровна пытливо заглянула ей в глаза. Может быть, и она... Нет, это настоящий друг, это настоящие слезы.

Молодая учительница прильнула к Марии Александровне.

— Что бы ни случилось, я всегда с вами. Да, да, поезжайте в Петербург, хлопочите, действуйте. За дом не беспокойтесь: я каждый день буду здесь.

— Спасибо, спасибо. Я уверена, что все обойдется, все кончится благополучно.

Вера Васильевна уже поведала детям — Оле, Мите и Маняше, какая грозная опасность нависла над их старшим братом и сестрой. Завтра они об этом узнают в гимназии, надо было их подготовить.

Дети ни на шаг не отходили от матери. Первый раз в жизни уезжает она от них в далекий Петербург. Их доверчивые сердца полны надежды, что маме удастся высвободить Сашу и Аню из тюрьмы и они вернутся домой.

Володя весь вечер ходил от трактира к трактиру, от постоялого двора к почте, наведывался к чиновникам, купцам, которые часто ездили в Сызрань и никогда раньше не отказывались прихватить с собой кого-либо из семьи Ульяновых.

Но весть о покушении на царя и аресте детей Ульяновых уже облетела весь Симбирск, и ни у кого не оказывалось места в санях для Марии Александровны.

Одни, отводя глаза в сторону, бормотали что-то несвяз-

ное, другие грубо отвечали, что для Ульяновых нет места не только в санях, но и на православной земле.

Трусость, животный страх видел Володя в глазах симбирских обывателей. Даже те, которые любили при случае поиграть словами «свобода, равенство и братство», не прочь были рассказать анекдот о тупости и невежестве Александра III, поплакать над горькой долей русского мужика, теперь всячески подчеркивали свои верноподданнические чувства.

Уже отчаявшись найти сани, Володя вдруг вспомнил, что у его приятеля Гриши отец занимается извозом.

Поздно ночью он постучался в окно деревянного домика.

Гриша, заспанный, взлохмаченный, прижав нос к стеклу, вгляделся в темноту и, узнав Володю Ульянова, накинул полушубок и выбежал во двор.

Выслушав Володю, вздохнул:

— Уламывать отца придется, но ты знай себе да помалкивай. Поворчит, поломается, а поедет. Человек же он!

На рассвете Володя усадил мать в сани, крепко поцеловал ее, заботливо подоткнул со всех сторон плед. Глаза у Марии Александровны были сухи, губы решительно сжаты.

Володя с Верой Васильевной долго стояли на крыльце, прислушиваясь к дребезжанию бубенчика.

Мария Александровна отправилась в долгий и нелегкий путь.

СУД

Время перевалило за полдень. Солнце заглянуло в окно и опустило в зал Сената светлую завесу, отделив скамьи подсудимых от судей, сословных представителей, обер-прокурора, свидетелей обвинения. Суд витиевато именовался особым присутствием Правительствующего Сената.

Александр Ильич поднял кудрявую голову и, прищурившись, ласково и задумчиво посмотрел на солнечный луч.

У стола перед судьями подсудимый Канчер. Он жалко, трусливо лепечет:

— Несчастный случай свел меня с ними,— и кивает головой в сторону подсудимых.— Я не революционер. Нет, нет, я не революционер. Я всегда был верным подданным его императорского величества... Поэтому я припадаю к стопам...

Брезгливая гримаса исказила спокойное лицо Александра Ильича.

— Негодяй! — сжимая кулаки, бросает в лицо предателя сидящий рядом с Ульяновым Шевырёв.

Председатель суда, или, как его здесь величают, первоприсутствующий сенатор Дейер, звонит в колокольчик. Его надменное лицо краснеет от гнева.

— Продолжайте,— говорит он по-отечески Канчеру.

— Я припадаю к стопам его императорского величества и всеподданнейше прошу даровать мне жизнь.

Тучка заслонила солнце, и светлая завеса исчезла. В зале потемнело. Канчер сел на место. Подсудимые раздвинулись в стороны. Предатель поглядел направо, налево и сжался в комок. Ему стало страшно от презрительных, негодующих взглядов его недавних товарищей. Он ерзал на скамейке и не чувствовал локтя ни с одной, ни с другой стороны.

Пройдет несколько лет, и Канчер сам наденет себе петлю на шею и повесится.

Но сейчас идет заседание суда. У дверей выстроились жандармы. На скамьях для публики чиновники, околоточные надзиратели, приставы. Их лица угодливо отражают движение каждого мускула на лице первоприсутствующего. Дейер благосклонно кивнул головой в сторону Канчера, и они кивают. Дейер с раздражением глянул на Шевырёва, и они готовы вскочить и растерзать крамольника.

Дубовые двери медленно раскрылись, и в зал заседания вошла Мария Александровна.

Она идет по проходу, ищет глазами на скамье подсудимых сына... Нашла... Боль исказила ее лицо. Он тоже ее заметил, вскочил с места, улыбнулся...

Резкий звонок и скрипучий голос Дейера прервал последнее слово Шевырёва:

— Подсудимый Ульянов, сядьте!

Александр Ильич стоит и смотрит на мать спокойно и грустно, нежно и ободряюще... Опускается на скамью только тогда, когда садится мать.

В открытую форточку влетела вместе с солнечным лучом ласточка и заметалась под потолком. Подсудимые следят за птицей. В солнечной полосе светлая голова матери, умное, печальное лицо ее.

— Генералов,— дребезжит голос Дейера,— ваше слово.

Юноша встает, подходит к столу:

— В свое оправдание я могу сказать только то, что я поступал согласно своим убеждениям, согласно со своей совестью.

Садится рядом с Александром. Они сомкнули руки.

— Подсудимый Андреюшкин. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Александр Ильич шепчет ему:

— Говори все на меня, прошу тебя.

Андреюшкин звонким юношеским голосом отчеканивает каждое слово:

— Я заранее отказываюсь от всяких просьб о снисхождении, потому что такую просьбу считаю позором тому знамени, которому я служил.

Сел на место, шепнул Александру:

— Спасибо, друг.

Дейер вызывает Ульянова.

Александр Ильич не торопясь встает, окидывает взглядом товарищей, подходит к столу. Долго молча смотрит на

мать. Мария Александровна, судорожно вцепившись пальцами в ридикюль, старается улыбнуться.

— Я отказался от защитника, и мое право защиты сводится к праву рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это «преступление».

Мария Александровна понимает, что эти слова сына обращены к ней, обращены к молодежи, что заполнила улицы вокруг здания суда.

— Я могу отнести к своей ранней молодости,— продолжает Александр Ильич,— то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае...

— Случае!..— зло выкрикивает чиновник из публики.— Поднял руку на его императорское величество и называет это «случаем».

— Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно...

«Почему же все скрыл от меня? Почему не доверил?» — с горечью думает Мария Александровна.

— Короче! — кричит Дейер.— Здесь не студенческая сходка... Вы забываете, что должны защищать себя...

Александр Ильич спокойно отвечает:

— Я защищаю свои убеждения... Я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом... Но жизнь показала, что при существующих условиях таким путем идти невозможно...

Александр Ильич смотрит на мать.

— Невозможно! — повторяет он, как бы оправдывая себя перед ней.— Если мне удалось доказать, что террор есть естественный продукт существующего строя, то он будет продолжаться...

Мария Александровна с болью смотрит на сына.

«Сашенька, прав ли ты, друг мой?» — говорят ее глаза.

Александр Ильич с убежденностью продолжает:

— Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданны своим идеям и настолько горячо сочувствуют несчастью своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело...

Дейер вскакивает с места и изо всех сил звонит в колокольчик. Обер-прокурор пронзительно смотрит на мать.

— Каков сынок? — спрашивает он ехидно.

Мария Александровна гордо поднимает голову, только слеза блестит на щеке.

— Повесить охальника! — кричат околоточные надзиратели, чиновники.— Повесить террориста!

— Смерть! Виселица! — беснуются жандармы, полицейские в зале.

Вокруг белой головы матери мелькают усы, похожие на пики, глаза, как свинцовые пули, шнуры аксельбантов, как петли виселиц...

«Не пощадят... Убьют... Не помилуют...»

Она встает. Сын не должен видеть ее слез. Она не сможет выслушать приговора о смерти сына.

Александр Ильич видит, как белая голова его матери мелькает над напомаженными шевелюрами, лоснящимися лысинами. Вверху под потолком мечется ласточка... Мария Александровна, задыхаясь, остановилась у дверей, смотрит на сына. Саша долго и скорбно глядит на мать.

— Прости! — чуть слышно шепчет он.

И мать услышала и еле заметно кивнула ему.

— Таких людей нельзя ничем запугать! — несется вслед уверенный голос ее сына.

Она выходит на улицу.

— Таких людей нельзя ничем запугать,— слышит она голос студента.

— Это герои,— говорит другой.

По улице ходят студенты в одиночку, парами. Полицейские строго следят за тем, чтобы молодые люди не собирались вместе.

— Мать! — восклицает студент, провожая Марию Александровну взглядом.

— Мать одного из тех,— шепчут вокруг.

Девушка-курсистка подбежала к Марии Александровне, схватила ее руку, целует.

Студенты срывают с головы фуражки.

Улицы сдвинулись... Душно... Дома падают... давят. Солнце сморщилось, потемнело.

Мать идет по улице.

НОЧЬ

Митя и Маняша спали в детской наверху, они еще ничего не знали.

Мама была там, в Петербурге, она узнала обо всем раньше всех.

В столовой догорала лампа, отбрасывая широкий светлый круг на стол, на разложенные на нем «Симбирские губернские ведомости».

Оля, обхватив голову обеими руками, покачивалась из стороны в сторону, изнемогая от слез.

Володя не сводил глаз со страшных строк:

> *...Приговор особого присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевырёвым и Ульяновым приведен в исполнение 8-го сего мая 1887 года.*

Володя провел ладонью по газете, словно хотел смахнуть, стереть эти строки, и никак не мог заставить себя осознать зловещий и чудовищный их смысл.

Как это может быть, чтобы Саша больше не существовал? Возможно ли, чтобы умного, светлого, справедливого Сашу казнили?..

От отчаяния и душевного протеста Володе хотелось кричать, немедленно бежать куда-то, найти убийц и уничтожить их.

И у Оли был такой же взрыв отчаяния. Володя долго готовил ее к этому известию, а когда сказал, она упала на пол и кричала, что убьет царя.

Володя сухими глазами смотрел на газету и сквозь строки видел Сашу, своего любимого брата.

Как все это могло случиться?..

Бывало, они, уединившись с братом на чердаке, горячо обсуждали прочитанные книги. Обоих увлекала героическая борьба народов всех времен. Саша много читал о французской революции и Парижской коммуне. Рассказывая Володе о судьбе коммунаров, он говорил, что настанет время и в России будет коммуна, которая победит. «Саша обязательно будет революционером»,— думал тогда Володя.

А в последний приезд на каникулы Саша был особенно молчалив, не отрывал глаз от микроскопа и был увлечен своей дипломной работой. Наблюдая за ним, Володя с разочарованием подумал, что нет, не получится из Саши революционера.

Как-то Володя застал брата одиноко сидящим в беседке. Сцепив пальцы на колене, он сосредоточенно думал. В глубоких глазах горел мрачный огонь. Володя вопросительно посмотрел на него. Саша завел разговор о маме, сестрах, просил их очень беречь и никогда ничем не огорчать. Ведь с тех пор как Саша и Аня стали учиться в Петербурге, Володя стал самым старшим...

Запустив пальцы в кудри, Володя смотрел в темный провал окна и думал, думал. И боль, жгучая, нестерпимая оттого, что не стало Саши и что он погиб такой страшной смертью, лишала сил.

Ночную тишину нарушила грубая брань на улице. Раздался громкий треск, посыпались стекла, затрепетала на ветру занавеска, по полу покатился булыжник.

Володя вскочил со стула, заслонил собою сестру.

В разбитое окно пьяный голос кричал: «Цареубийцы!.. Каторжники!»

Сверху послышался плач Маняши. Звон разбитого стекла, крики разбудили ее. Володя отвел Олю в темную гостиную, погасил лампу в столовой и побежал в детскую.

— Почему так страшно? — полусонная Маняша обняла за шею брата.— Не уходи от меня.

— Успокойся, ветром выбило стекло. Спи...

Маняша улеглась, не выпуская из теплых ладоней руки брата.

Володя поглаживал ее по плечу, прислушивался к сонному бормотанию Мити и впервые ясно осознал свою роль старшего. И спокойный сон Маняши, и здоровье мамы, и благополучие сестер теперь зависят от него, от его мужества.

Маняша выпустила руку Володи. Уснула.

Оля лежала в гостиной на диване. Лунный свет проникал в окна, и черные тени от листьев пальмы, как когтистые лапы, протянулись по полу.

— Ты спишь? — спросил Володя.

Оля не отвечала и не шевельнулась. Володя зажег спичку. В колеблющемся свете огонька лицо сестры было мертвенно-бледно. На миг ему показалось, что она умерла.

— Оля, Оленька, открой глаза.— Володя приподнял ей голову.

Оля застонала и, уткнувшись лицом в грудь брата, разразилась слезами.

— Что мы будем делать без Саши? Что будет с мамочкой? О, если бы жив был папа...

— Я не знаю, как перенес бы все это папа,— сказал как бы про себя Володя.

Сквозь рубашку он чувствовал жаркое дыхание сестры, ее горячие слезы. Он еще крепче прижал к себе Олю и молчал.

— Володенька, почему ты молчишь? О чем все время думаешь?

— О Саше... о маме... о том, как жить дальше.

Луна поднималась все выше, и черные тени сгущались, отползали к окну.

Обессилевшая от слез, Оля задремала. Володя осторожно подложил под голову диванную подушку и поднялся наверх в Сашину комнату.

На столе поблескивали пробирки, колбы. Хрупкое стекло, все Сашины вещи продолжали свою жизнь, а его самого нет.

Володя распахнул окно на балкон. Расстегнул ворот рубашки, глотнул свежего воздуха.

Мысли вихрем неслись в голове.

Что делать? Убить царя? Отомстить за Сашу и пойти его путем?.. Какую пользу принесет это народу? Шесть лет назад народоволец Гриневицкий убил царя. Вместо Александра II на престол сел Александр III. Стало еще хуже, народная нужда еще тяжелее; душится все передовое, честное. Закрываются папины школы, которые он создавал с таким трудом.

Каждый вечер, бывало, мама пела детям колыбельную песню.

И сейчас в ушах звучат ее слова:

...Неизвестную от века,
Тайну мира подглядишь,
Новой силой человека
Для боренья одаришь.

Подарить человеку новую силу. Для борьбы. Но в чем эта сила? Где она? Как уничтожить несправедливость, гнет? Нет, одному это не под силу, и сотне самых отважных героев тоже. Здесь нужна воля миллионов. А как сплотить миллионы единой волей?

«Саша... Я принимаю от тебя факел борьбы. Я пойду к той же цели, к которой стремился ты, но буду искать иной путь, чтобы победить. Саша! Всю жизнь, всего себя я отдам делу, которому служил ты...»

Свежий предутренний ветер доносил из сада запах цветущих деревьев.

Володя вспомнил, как мама в запущенном пустыре, когда они пришли в этот дом впервые, сумела разглядеть будущий сад, в котором теперь нет ни одной мертвой ветки и все цветет.

Всходило солнце. Вишневые заросли порозовели, стволы вязов отливали медью.

Послышался скрип телеги, фырканье лошадей.

Володя поспешил вниз, открыл входную дверь... и Аня почти упала ему на руки. Мама откинула вуаль, сняла шляпу и медленно-медленно стала подниматься по скрипучим ступенькам наверх. Она шла в Сашину комнату.

— Мама с Аней приехали! — тормошил Володя Олю.— Приведи себя в порядок, умойся, освежи лицо. Мама не должна видеть наших слез...

— Быстро вставайте! — забежал он в детскую. Помог Мите одеться, пытался даже заплести косу Маняше, но справиться с этим ему не удалось.— Пойдемте к мамочке!

Дети остановились у дверей в Сашину комнату. Мама лежала на кровати, уткнув лицо в подушку.

«Смерть, скорее бы пришла смерть»,— думала она.

— Мамочка! — тихо позвал ее Володя.

Мария Александровна не откликнулась. Володя подтолкнул Маняшу. Она взобралась на кровать, обняла мать за шею.

— Мамочка, повернись ко мне.

Мария Александровна присела на кровати, обвела взглядом детей: что-то похожее на тень улыбки скользнуло по ее лицу.

Все дети стояли у дверей и смотрели на нее — в глазах отчаяние и любовь, и эти глаза говорили: «Ты нам очень нужна. И мы тебе нужны».

— Пойдемте завтракать,— сказала Мария Александровна детям, сказала так, как говорила всегда.

ДОМ ПРОДАН

Все двери распахнуты. Во двор выносят мебель. На яркой зелени травы в солнечном свете столы, стулья, комоды выглядят ветхими.

Симбирские обыватели заходят в раскрытые настежь ворота, оглядывают, ощупывают вещи, покупают по дешевке домашнюю утварь. Пользуются случаем, что дом продан и обитатели его уезжают.

На подводу погрузили широкий кожаный диван, что столько лет стоял в кабинете Ильи Николаевича. Мария Александровна с детьми наблюдает с крыльца, как диван, вздрагивая на телеге, выезжает за ворота.

С этим диваном связаны дорогие воспоминания. На нем дети вместе с матерью слушали рассказы Ильи Николаевича, когда он возвращался из поездок по губернии, в зимние вечера распевали песни, учили наизусть запрещенные стихи Некрасова, Минаева, Плещеева, Курочкина, записанные Ильей Николаевичем аккуратным почерком в маленькую тетрадь.

На этом диване умер Илья Николаевич, умер за работой, за своим последним годовым отчетом...

Подводы выезжали со двора одна за другой.

Книжные полки никто не купил, и они стояли у зарос-



лей акации, сложенные одна на другую, зияя пустыми провалами.

Володя с Олей и Гришей принялись упаковывать книги. Митя и Маняша заворачивали в старые газеты посуду, помогали Вере Васильевне укладывать ее в ящики.

Мария Александровна прошлась по комнатам.

Гулко звучали шаги в пустом доме. Чужими и неуютными стали комнаты. В детской на полу, как на поле брани, валялись измятые бумажные солдатики. В Володиной комнате на обоях выделялся светлый квадрат — след географической карты. В Сашиной комнате на окне лежала разбитая колба.

Мария Александровна ходила из комнаты в комнату, еле держась на ногах от нахлынувших воспоминаний.

В гостиной остался рояль, у окна пышные цветы в кадках, в углу икона.

Мария Александровна взглянула на почерневший лик девы Марии и остановилась. В детстве и юности она свято верила, что богоматерь является заступницей от всех бед, несправедливостей. Маленькой девочкой горячо молилась, просила оставить ей мать... Мама умерла... И еще одну молитву помнит Мария Александровна: когда тяжело заболел ее третий младенец, Коленька, она обратилась за помощью к матери бога. Всю ночь молилась. К утру Коленька умер.

Постепенно угасала вера. Не уберегли иконы от преждевременной смерти Илью Николаевича, не спасли от казни Сашу. Исчезла потребность в дни горести и печали прибегать к молитве.

В гостиную зашел Володя и хотел было повернуть обратно, но увидел, что мама не молилась, нет, она стояла и о чем-то раздумывала. Володя бросил взгляд на икону. Круглые детские глаза богоматери и толстощекий младенец с глазами старца. А перед иконой стоит его мать — земная, прекрасная и сильная, нежная и мудрая. Нет, она не молилась, она размышляла...

Володя вопрос о религии решил для себя два года назад.

Это решение пришло к нему вместе с познанием мира, чтением книг, изучением таких наук, как астрономия, физика, химия.

Перед началом учения и экзаменами в гимназии служили молебен. Священник внушал гимназистам, что горячая молитва их всегда дойдет до бога, поможет избежать коварных двоек, умудрит, прибавит знаний, а богохульников накажет.

Володя накануне экзамена снял с себя крест и забросил

в заросли крапивы. Утром, по обыкновению, мылся в передней в тазу до пояса. Мария Александровна заметила, что на шее у него нет цепочки с крестом. Внимательно посмотрела на сына, ничего не сказала. Молча согласилась. Все экзамены Володя сдал на круглые пятерки...

Мария Александровна отвела глаза от иконы, заметила Володю.

— Володюшка, я решила не брать с собой иконы. Думаю отдать их в монастырь. Не нужны они нам. Если продавать — поднимется шум в городе. Хватит и того, что бьют стекла в нашем доме, что все бывшие приятели переходят на другую сторону улицы при встрече.

— Ты правильно решила, мамочка.

В тот же день к Ульяновым пришел старый монах. Он со знанием дела повертел в руках сложенные на ящиках иконы, осмотрел пробы на ризах — серебряные ли, колупнул ногтем лик девы Марии — захотел проверить, писаная икона или печатная, ловко завернул стопку икон в тряпицу и обвел взглядом углы комнат.

— А себе-то оставили что? — осведомился он.— Молиться вам надо о спасении души великого грешника Александра.

— Мы о себе не забыли,— ответил за мать Володя.—Мы отдаем лишнее.

Монах покосился на молодого человека, не зная, как понять его слова.

Потом пришли за Красавкой. Новый хозяин повел ее на веревке. Красавка мычала, упиралась всеми четырьмя ногами, мотала головой, протестовала против петли на шее. На прощание собрала мягкими губами корки хлеба с ладоней детей. Девочки и Митя с грустью прощались со своей любимицей.

Всей семьей упаковывали рояль: обвязали его тюфяками, обшили рогожей. Это был мамочкин рояль. Это был большой источник радости. Мама должна к нему вернуться,

и Оле нужно закончить музыкальное образование. Это была самая большая драгоценность в семье.

И еще швейная машинка.

Она служит маме больше двадцати лет. Сколько на ней было подрублено пеленок, сшито распашонок, рубашек, штанишек, платьев и сколько еще будет сшито, переделано, перелицовано, починено...

Машинка была старая и громко стучала, даже на улице было слышно. Дробный стук ее достигал самых дальних углов дома. Поэтому мама работала на ней только днем, когда дети были в гимназии, а Илья Николаевич в отъезде.

На этой машинке мама научила шить Аню, Олю и Маняшу.

Володя особенно тщательно упаковывал швейную машинку.

Обедали в этот день на ящиках с книгами. Маняша и Митя нашли, что так вкуснее и интереснее, чем за покрытым скатертью столом.

После обеда пошли прощаться с садом.

Во дворе трава была помята и местами вытоптана. Обрывки шпагата, мочалы, бумаг кружились по ветру. Дети заглянули в каретный сарай, в пустой хлев. Уныло висели гигантские шаги, чуть поскрипывали кольца на качелях, словно приглашали покачаться в последний раз, но никто к ним не подошел.

Только сада не коснулись сборы. Яблоки на деревьях стали светлее листьев и висели как фонарики. Ветви отяжелели, и их поддерживали со всех сторон подпорки. Урожай обещал быть богатым. У беседки доцветал большой куст жасмина, и опавшие лепестки лежали на траве, как снег. Клумбы настурций жаркими кострами горели между яблонь. Малинник был увешан начинающими розоветь ягодами. Посыпанные свежим песком дорожки придавали саду праздничный вид.

Володя зашел в беседку. Здесь они любили уединяться

с Сашей. Оля обняла шершавый ствол вяза, прижалась к нему щекой. Митя с Маняшей, взявшись за руки, бродили по дорожкам.

Мария Александровна в черном платье казалась меньше своих детей — так истаяла она за эти пять недель со дня гибели Саши. Глубоко затаив свое горе, она понимала, что дети, даже девятилетняя Маняша и тринадцатилетний Митя, прощались сейчас со своим детством.

Дальше оставаться в Симбирске было нельзя. Мария Александровна спешила к старшей дочери в Кокушкино, где Аня начала отбывать свою пятилетнюю ссылку. Тюрьма, казнь брата надломили ее, и ей так нужна была поддержка матери. Володя будет учиться в Казанском университете. Оля должна закончить музыкальное училище. Мать не пустит теперь детей одних. Будет всегда с ними.

— Мамочка, можно срезать розы? — спросила Маняша.

Розы в этом году цвели особенно обильно и, нагретые солнцем, распространяли свой нежный аромат.

— Нет, оставим сад во всей красе. Не тронем здесь ничего. Пусть он принесет людям радость.

Мимоходом, по привычке, Мария Александровна оборвала с яблонь несколько больных листьев, сунула их в жестяную банку с керосином, стоявшую у изгороди.

Последним из сада вышел Володя. Он повернул щеколду в калитке, облокотился на изгородь и долгим взглядом окинул сад, стараясь запомнить его на всю жизнь.

К вечеру от Свияги к Волге по булыжной мостовой тянулись подводы. На передней лежал зашитый в рогожи рояль. Рядом шел Володя и уговаривал ломового извозчика ехать тише — рояль вздрагивал на телеге и глухо звенел.

Мария Александровна шла с Верой Васильевной. За Володей шагали Гриша, Ваня Зайцев и Никифор Михайлович Охотников. Саша Щербо помахала Оле из переулка. Все дети Ульяновы оставляли здесь своих друзей по гим-

назии, по играм, но осторожные родители не разрешили им провожать крамольную семью.

По обеим сторонам Московской улицы деревянные домишки крепко связались друг с другом высокими заборами, прочными замками на калитках. Но в этот час все окна были распахнуты, и обитатели домов тайком выглядывали из-за кисейных занавесок, оценивали имущество на подводах, качали головами: мол, вот им и горе нипочем, все вещи, даже столы со стульями, распродали, а рояль везут с собой. Уж какие там теперь рояли...

Семья Ульяновых покидала Симбирск.

Позади, внизу, на спуске к Свияге, остался пустой дом с цветами на окнах и праздничный, цветущий сад.

ОЛЯ

Оля держит на раскрытой ладони свою золотую медаль. «За благонравие и успехи в науках» — начертано полукругом, и богиня мудрости изображена на ней.

— Наука, медицина, химия, физика, математика — все это женского рода, а вот университет мужского,— пытается улыбнуться она.

— И вовсе не мужского, а среднего,— откликнулся Володя, оторвавшись от книги.— Я мужчина, а учиться тоже не имею права. Царизму нужно, чтобы каждое существо, переступая порог российского университета, было безлико, безъязыко, бездумно и, главное, верноподданно.

Володя распахнул студенческую куртку, словно ему было душно. Только три месяца ходил он в этой куртке в Казанский университет. А потом — участие в студенческой сходке, арест, ссылка.

Володя взглянул на мать. Уронив шитье на колени, прищурившись, она о чем-то думала. Он понимал ее мысли, чувства.

Мария Александровна в молодости мечтала получить образование, много читала, изучала иностранные языки, а смогла добиться лишь звания домашней учительницы. Только теперь, в свои семнадцать лет, Володя впервые понял, какие таланты были заглушены у матери. Она одаренный музыкант, прирожденный литератор, переводчик, но все это осталось оцененным только в кругу семьи.

Старшая сестра Аня — поэт по призванию — искала путь в литературу, чтобы быть полезной обществу. А теперь перед ней захлопнулись все двери. Ни в чем не повинная, она должна отбывать пятилетнюю ссылку в глухой деревне.

Больше всего обидно за Олю. Вот она сидит и в отчаянии накручивает черный локон косы на палец. Кто еще может так трудиться, как она? Оля не работает только тогда, когда спит. Ей все под силу. В пятнадцать лет окончила гимназию с золотой медалью. «Наша краса и гордость»,— твердили преподавательницы. А что же дальше? Талантлива, но... девушка. Трудолюбива, как пчела, но... не мужчина.

Год назад царское правительство закрыло все женские высшие учебные заведения в России. «Ни к чему женщине образование»,— решили тупые царские слуги.

— Быть образованной женщиной в самодержавной России считается преступлением,— негодовал Володя.— Софья Ковалевская вынуждена бежать из России только потому, что талантлива. Любая знахарка у нас более почитаема, чем высокообразованная женщина.

— А в Швеции Ковалевская ведет кафедру механики в университете! — добавила Аня.— Может быть, нашей Оленьке поехать учиться в Стокгольм?

Мария Александровна тяжело вздохнула.

— Как Олюшка в шестнадцать лет поедет одна в Швецию?

И для учебы за границей нужны деньги, и не малые.

А где их взять? На мамину пенсию живут шестеро. Маняше и Мите здесь, в Кокушкине, учиться негде, надо ехать в Казань, но Ане и Володе не разрешают там жить. И вот все шестеро сидят в маленьком холодном флигеле, занесенном сугробами. Аня и Володя взялись обучать младших.

Оля горячо обняла мать.

— Не горюй, мамочка. Я поеду в Казань, найду себе уроки, заработаю много-много денег и отправлюсь учиться за границу.

И как ни грустно было, все рассмеялись этой наивной мечте.

— Мы что-нибудь придумаем, все уладится, все будет хорошо! — старалась успокоить мать своих детей, а сама уж и не знала, что ей предпринять.

Володя шагал по комнате, поглядывая на мать и сестер, думал об их судьбе. Три талантливых женщины! А сколько на Руси загублено женских талантов!

Оля села писать письмо своей подружке Саше Щербо в Симбирск.

Дорогая Саша! Поздравляю с Новым годом...

Она смотрит на залепленное снегом окно, кутается зябко в платок, вспоминает, как они с подругой мечтали о необыкновенно красивой и полезной жизни, которая их ждет по окончании гимназии. Детские мечты!

> *Я, собственно, не признаю праздника Нового года,*— пишет Оля,— *он никому ничего не дает, кроме признаков. Вот если бы с него можно было начать новую жизнь, бросить все старое, бесполезное, дурное, тогда бы это был праздник, а то знаешь, что впереди ждет тебя все то же, такая же скучная и бесполезная жизнь, так чему же радоваться...*

— Оленька, пойдем на лыжах пройдемся, хватит тебе писать,— предложил Володя.

...Брат с сестрой пробежались на лыжах по парку. За

калиткой в холодных лучах зимнего солнца сверкали поля, покрытые снежным настом. Лыжи сами несли вперед к чернеющей кромке леса. Володя прокладывал лыжню. Оля легко скользила за ним.

Миновали деревню Кокушкино. Убогие избы закопались по окна в сугробы, нахлобучили белые шапки снега. Из труб столбом валил желтоватый дым: избы топили соломой и навозом. Одинокие ветлы уныло раскачивали голыми ветвями, щетинилось сухое жнивье из-под снега.

Володя поджидал Олю у опушки. Воткнув палки в снег, он смотрел на избы, в которых притаилась невеселая жизнь.

Оля подбежала к брату, запыхавшись затормозила и, все еще углубленная в свои мысли, стала чертить палкой по снегу. Потом взглянула прищуренными глазами на большое красноватое солнце, клонившееся к западу.

— Вот мы вместе с Землей завершаем очередной путь вокруг Солнца,— сказала она задумчиво,— и, глупые, надеемся, что следующий круг принесет нам счастье. Земля крутится, крутится вокруг Солнца, как клубок, а счастья людям нет.

Володя молчал.

— Скажи, Володя,— повернула она лицо к брату,— будет ли настоящий Новый год, такой праздничный день, с которого у людей начиналось бы счастье, когда все беды останутся позади?

— Должен быть,— ответил Володя.— Я сам после смерти Саши не перестаю думать над этим, и кажется... кажется...

— Ты что-то знаешь? — схватила Оля за рукав брата.— Скажи!

— Нет, еще не совсем знаю... Но я привез из Казани книги Карла Маркса, удивительные книги! В них с математической точностью доказывается, что человечество найдет себе путь к счастью.

— А кто этот Карл Маркс?

— Великий ученый. Он умер пять лет назад, но жив его друг Фридрих Энгельс, который работал вместе с ним. Осталось его учение. Я пока прочитал только одну книгу — «Коммунистический Манифест» и читаю вторую — «Капитал». А написано им очень много.

— Давай изучать вместе! — горячо воскликнула Оля.

— Только изучать мало. Будем знать ты да я, а что мы вдвоем можем сделать? Карл Маркс учит, что самый передовой класс человечества — пролетариат. Но нужно, чтобы рабочие поняли свою силу, объединились, и тогда они смогут сокрушить старый мир. «Коммунистический Манифест» завершается словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ах, как много надо знать и уметь, чтобы применить учение в жизни! — вздохнул Володя.

— Ты мне дашь эту книгу?

— Да, только...— Володя приложил к губам палец.— Эти книги запрещенные. В Казани есть кружки, где их читают, обсуждают. Хорошо бы перебраться в Казань...— Володя помрачнел.— Но это невозможно.

Багровое солнце наполовину скрылось за горизонтом. Галки с криком носились над деревней, собираясь на ночлег.

— Пора домой, — спохватился Володя, — мамочка, наверно, волнуется. Мы с тобой совсем загулялись, хотя прошли не больше двух верст.

— Нет, мы сегодня прошли с тобой очень много,— ответила Оля.

...Мария Александровна не спала всю ночь. Как помочь детям получить образование, выбраться на дорогу?

Она стала все чаще уезжать в Казань. Писала прошения, просиживала многие часы в приемных губернатора, попечителя Казанского учебного округа, жандармского управления. Просила, требовала, чтобы детям разрешили переехать в Казань, жить вместе с ней, матерью.

Однажды в осенний день вернулась в Кокушкино усталая и счастливая: получено разрешение на переезд всей семьей в Казань.

Володя с утра до вечера сидел теперь в своей комнате-кухне за книгами. Столом ему служила плита, застеленная газетами. Иногда к нему пристраивалась и Оля. По вечерам Володя уходил в библиотеку и нередко возвращался домой далеко за полночь взволнованный и словно светился изнутри.

Мария Александровна не спрашивала, где был, только иногда, обняв его за плечи, тихо говорила ему:

— Будь осторожен. Будь осторожен во всем.

Однажды он вернулся из библиотеки раньше времени, схватил Олю за руки и закружил по комнате.

— Ты будешь учиться, будешь!

— Где? — спросила оторопевшая от радости сестра.

— В Гельсингфорсском университете. Туда принимают и женщин, но... для этого надо изучить шведский язык.

Немецкий, французский, английский и латынь Оля знала. Она готова была немедленно приняться и за шведский, но где найти учебники или преподавателя?

Стали искать в Казани шведа, хотя и мало надеялись на успех.

Вскоре нашелся финский студент. Он изучал в Казани родственные финскому языки — мордовский и марийский и, как все финские студенты, владел шведским.

— Я буду готовиться на медицинский факультет,— решила Оля.

И началась упорная работа.

Оля блистательно сдала экзамены за музыкальное училище и с головой ушла в изучение шведского языка.

— Я уже по-шведски сны вижу,— призналась как-то она.

Оля и спала со шведским учебником под подушкой. На руке у нее всегда висела связка карточек со шведскими сло-

вами, которые она, даже гуляя, перебирала, как четки, и проверяла свои знания.

Финский студент был поражен. Ему казалось, что эта маленькая русская девочка с озорными и умными глазами стремительно ведет его за собой в гору. Студенту часто приходилось засиживаться за книгами до глубокой ночи, чтобы найти ответы на вопросы любознательной Оли. Через полгода она уже увлекалась сказками Сельмы Лагерлёф, затем принялась за Августа Стриндберга.

Весной 1889 года твердо заявила:

— Я могу слушать лекции на шведском языке. Можно посылать прошение в Гельсингфорс.

— Наконец-то наша Оля будет студенткой! — радовались братья и сестры.

Но ответное письмо из Гельсингфорса принесло разочарование: для поступления в университет необходимо было знать не только шведский, но и финский.

Учить шестой язык? Потерять еще не меньше двух лет? Что ж! Оля готова на все. Лишь бы получить высшее образование, стать полезной людям. Но и здесь ее ждала неудача.

Казанская полиция уже разглядела во Владимире Ульянове опасного вожака молодежи и решила, что пребывание семьи Ульяновых, один из членов которой казнен за покушение на царя, нежелательно в университетском городе.

Пришлось переезжать всей семьей в деревню Алакаевку под Самарой. Найти здесь учителя финского языка было невозможно.

Володя занимался с рассвета до позднего вечера. Уходил с кипой книг в свой лесной «кабинет» в зарослях орешника, читал, конспектировал, думал. На ночь книги прятал в большую корзину в чулане, покрывал полотенцем и сверху засыпал картошкой.

«Запрещенные книги»,— понимала Мария Александровна.

Она продолжала упорно и терпеливо добиваться разрешения для Володи учиться в университете или сдавать экзамены экстерном. Два с половиной года писала прошения. Писал их и сам Володя. И на всех прошениях чиновники выводили резолюции: «Объявить об отказе министра», «В пользу Ульянова ничего не может быть сделано», «Отказать».

В 1889 году газеты сообщили отрадную весть. Передовые люди России добились наконец, чтобы царское правительство вновь разрешило высшие женские учебные заведения.

Мария Александровна мечтала о том, чтобы Оля поехала учиться в Петербург вместе с Володей.

— Я решила написать прошение директору департамента полиции,—сказала как-то сыну Мария Александровна.— Ведь они, в конце концов, решают, допустить тебя к экзаменам или нет. Читай, что я написала.

Володя пробежал глазами прошение.

> *...Я утверждаю, что как во всю доуниверситетскую его жизнь, так и за два с половиной года после исключения из университета, он* (Владимир Ильич.— Прим. авт.) *вел почти изолированную домашнюю жизнь, вполне безукоризненную в политическом отношении, не обнаруживая притом решительно никакого даже интереса к чему бы то ни было предосудительному в каком-либо отношении...*

Володя поднял глаза на мать.

— Мамочка, ты права, у меня абсолютно никакого интереса нет к чему-либо предосудительному,— и продолжал читать:

> *...Я тем настойчивее прошу Ваше превосходительство снять с моего сына так долго лежащую на нем кару, что кара эта вообще не позволяет ему найти какое бы то ни было даже частное занятие, не позволяет ни к чему приложить свои силы.*

— Да, здесь я действительно ни к чему не могу приложить свои силы. Ты хорошо написала.

— И такое же заявление я пошлю министру народного просвещения. Впрочем, нет, не пошлю, а поеду в Петербург сама...

И какой же это был радостный день, запомнившийся в семье Ульяновых на всю жизнь,— день 20 мая 1890 года, когда пришел ответ из министерства народного просвещения, разрешавший Владимиру Ульянову «подвергнуться в качестве экстерна испытаниям на звание кандидата прав в одном из университетов...».

— В Петербург! Только в Петербург! За год я пройду всю университетскую программу,— твердо сказал Володя.— А Оля будет учиться там на Бестужевских курсах.

— Но теперь я пойду на физико-математический факультет,— заявила Оля.— Я решила стать физиком...

Счастье всегда улыбается упорным, смелым, трудоспособным!

НАВСЕГДА

Старый парк окутан зеленым сумраком. По траве скачут веселые солнечные зайчики. Ветер раздвинул кроны лип, выплеснул поток света на дорожку и смел зайчишек. Сомкнулись кроны, и снова засуетились, запрыгали светлые пятна по траве, кустам боярышника, по замшелым пенькам.

Аня едва ступает по дорожке, не идет, а летит, прижав обеими руками к груди книгу, силится утихомирить радостное волнение в сердце.

Почему сегодня так хорошо и празднично вокруг, как давно-давно не было? Каждое дерево, каждая травинка в парке сегодня заодно с Аней. Клен на пригорке стоял недвижим, но вдруг встрепенулся и заиграл всеми своими растопыренными ладошками-листьями, и на березе разом затанцевали все листья. Как это Аня до сих пор не видела

красавицы елки, словно выточенной из цельного куска чудо-камня малахита? Ведь, наверно, и раньше все это было — и солнечные зайцы, и трепещущие листья, и игра светотеней.

Но ничего этого Аня не замечала. В ту весну, когда погиб Саша и она вышла из тюрьмы, для нее померкли все краски на земле, она ни разу не слышала с тех пор, чтобы в парке или в лесу пели птицы, а сегодня...

«Тьюить, тьюить...» — раздается над ее головой.

— Ля-ля! Ля-ля-ля! — звонко пропела Аня в ответ малиновке.

«Где она, малиновка?» Аня вглядывается в кусты боярышника, примечает маленькую круглоголовую птичку с белым брюшком и выпуклой рыжей грудкой. Малиновка вертится на длинной игле боярышника и продолжает свое «тьюить».

Аня присела на пенек, расправила наглаженное ситцевое платье, раскрыла книгу. Солнечный зайчик прыгнул на страницу, и сразу зарябило в глазах. Она рассмеялась, тряхнула локонами. Нет, сегодня не читается. Хочется петь, перекликаться с малиновкой. А птичка исчезла.

Закуковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, скажи мне: «да» или «нет»? — спрашивает Аня.

«Ку-ку!»

— Да! — прислушивается она.

«Ку-ку!»

— Нет!

«Ку-ку!»

— Да!..— Аня ждет, кукушка молчит.— Неужели «да»? А может быть, «нет»?

Кукушка молчит.

Аня пытается читать, но мешают медовые запахи, солнечные блики, малиновки. Как научиться сосредоточиваться так, как это умеет делать Володя? Он сидит поблизости

в своем лесном «кабинете» и упорно работает, отрывается от книги только затем, чтобы размяться на трапеции. Ничто не может его отвлечь. А Аня... «Да, Саша был прав». Однажды она спросила брата, какой, по его мнению, у нее самый большой недостаток. «Неровность характера»,— не задумываясь, ответил Саша. Как выработать ровный, невозмутимый характер, какой был у Саши, какой вырабатывает в себе Володя? «Прочитаю десять страниц и только тогда пойду домой»,— решает она. Читает «Былое и думы» — эту книгу рекомендовал Володя. Но поверх герценовских строчек бегут другие, бегут строчки телеграммы, поразившей ее два года назад. Телеграмма была адресована не ей, а царю. Аня сидела тогда в тюрьме. Уже знала о страшной гибели брата. Целыми днями стояла, прислонившись к холодной стене камеры, и единственным желанием было поскорее умереть. Впереди предстояла пятилетняя одинокая ссылка в Восточной Сибири. В двадцать два года кончалась и ее жизнь. Впереди ничего светлого. Тьма... Пришла мама на свидание к ней в тюрьму, протянула листок бумаги. «Вот, смотри, какую телеграмму Марк послал царю». Аня сначала и не поняла. «Какой Марк? Ах да, Елизаров... студент, товарищ Саши. Такой большой, застенчивый...» Танцевала с ним на студенческой вечеринке... Очень неловкий. В суголоке обронил очки, и Ане пришлось вести его на место. Без очков он был совсем беспомощный. Какую телеграмму он мог послать царю сейчас, когда Саши уже нет в живых? Равнодушными глазами пробежала исписанный листок.

Марк Тимофеевич телеграфировал в комиссию прошений царского двора.

Ваше превосходительство! Умоляю исходатайствовать перед его императорским величеством государем императором не высылать мою невесту Анну Ильиничну Ульянову в Сибирь, дозволить ей поселиться при мне. Пожалейте меня и ее мать. Освободите ее для нас. Не разрывайте невидимо связанных сердец.

Действительный студент Елизаров.

«Мамочка, зачем эта ложь? — разрыдалась тогда Аня.— Какая же я невеста Марку Тимофеевичу? Мне не нужно его жертвы. Ведь он никогда мне не говорил о своей любви».— «Не успел»,— убеждала мать.

Марк Тимофеевич сам пришел к Марии Александровне, пришел после казни Саши, когда не только знакомые, но и родственники закрыли для семьи Ульяновых двери своих домов. Он поведал матери о своей любви, о которой не успел и не осмелился сказать Ане лично. Тогда, в тюрьме, до сознания Ани не доходило, что это настоящая любовь. Слишком велико было потрясение гибелью Саши.

Хлопоты матери и телеграмма Марка Тимофеевича имели свои результаты. Ссылка в Восточную Сибирь была заменена Анне Ильиничне пятилетней ссылкой в деревню. Марк Тимофеевич остался в Петербурге заканчивать университет. Писал почти ежедневно хорошие, дружеские письма. Два года ни о чем не спрашивал Анну Ильиничну. На лето приезжал в деревню, но больше занимался с меньшими — Митей и Маняшей, которые всем сердцем привязались к этому сильному, доброму человеку. А вот теперь спросил Аню. И она ответила: «Да, согласна». Отправила письмо, и вдруг одолели сомнения. Хорошо ли сделала? Имела ли на это право?.. Кого спросить? С кем посоветоваться, пока не поздно? С мамой? Но так не хочется ее огорчать. С Володей?..

Аня собрала в горсть рассыпавшиеся по спине локоны, связала их лентой на затылке и побежала к зарослям орешника.

На дощатом столе разложены книги в бумажных желтых и серых обложках. Поверх них — камешки, чтобы озорной ветер не взъерошил страницы, не помял их. Подперев левой рукой голову и засунув пальцы в светлые кудри, Володя читает. Прищурил левый глаз, поднял лицо, покачал отрицательно головой. «Нет, нет, маэстро Гегель, по-моему, вы здесь неправы. Интересно, что по этому поводу говорят Маркс и Энгельс».

Каждое утро подтянутый и немножко торжественный отправляется он с пачкой книг в лесной «кабинет», боясь опоздать даже на минуту. Он раскладывает на столе книги — это его учителя. Их много: Кант и Гегель, Дарвин, Чернышевский и Добролюбов и, конечно, Маркс и Энгельс. Не со всеми своими учителями и не во всем согласен Володя Ульянов, а когда не может решить сам, обращается снова к Марксу и Энгельсу, ищет у них ответа, не буквального, не лобового,— ищет правильный путь к ответу. Два года после исключения из Казанского университета добивался Володя Ульянов права учиться. На каждое прошение получал отказ. А теперь готовится к сдаче экзаменов экстерном. Устроил себе университет в зарослях орешника. Студент в этой аудитории один, учителей много, и все они строги, требовательны.

Аня раздвинула кусты. Володя, упрямо закусив нижнюю губу, наносит карандашом еле заметные мелкие значки на полях книги. Быстро мелькает остро отточенный карандаш: то пригвоздит мысль восклицательным, то разворошит ее вопросительным знаком, то, как точным скальпелем, вспорет остроумной репликой. Жаркий разговор ведет девятнадцатилетний Володя Ульянов со своими учителями. Здесь, в этом лесном «кабинете», всегда оживленно.

Володя откинулся на скамейке, прислонился к стволу рябины, постукивает победно карандашом по столу, довольно улыбается. И Аня понимает: преодолена еще какая-то ступенька в его жадном стремлении познать явления жизни. Вытер ладонью вспотевший лоб, заметил кружевную косынку паутины, которую рядом с ним усердно выткал серый паучок. Один конец паутины прикреплен к столу, два других — к рябине. Володя поднял руку, хотел было стряхнуть и паука и блестевшую на солнце серебряную паутину, но пожалел искусное творение труженика, осторожно подвинулся в сторону и тут же забыл о пауке, углубился в свою работу.

Аня заколебалась. Войти к нему в «кабинет» — значило бы ворваться в огромную аудиторию, прервать интересный, жгучий разговор, отвлечь на себя внимание. А вопрос у нее очень личный.

Володя занес карандаш над книгой. Аня осторожно сдвинула ветви орешника и пошла к дому.

Навстречу по дорожке мчалась Оля.

— Анечка, куда же ты пропала? Скоро приедет Марк, мы все пойдем встречать его за околицу. И Володю надо позвать.

— Нет, нет, не мешай ему. Пусть занимается. Есть еще время.

Оля, не скрывая восхищения, смотрела на сестру. Аня тоненькая и прямая и от этого кажется высокой. Локоны, подхваченные лентой, оттеняют бледное лицо и яркие карие глаза с золотыми точечками, как у мамы. А у Оли глаза круглые, в густых, дремучих ресницах.

Для Оли старшая сестра — идеал женской красоты и изящества. Оля старается во всем походить на Аню, но с огорчением отмечает, что не может сдержать стремительности в движениях, в походке. Аня даже книгу перелистывает каким-то неуловимо грациозным движением. Оля пробовала — не выходит. И стихи Аня пишет певучие, нежные. Оля пыталась и стихи сочинять, но они получались у нее озорные, насмешливые. Бросила.

И мечтать Оля не умеет. В ярких, буйных красках осени Оле чудятся языки пламени, которые вырываются из недр, охватывают поля и леса, и Оля даже слышит, как гудит огнем земля, отдавая собранные за лето солнечные лучи. А Аня осенью грустит. В метель Оле хочется кружиться вместе со снежинками, ее всегда одолевает буйное веселье, а Аня зябко кутается в платок и об одной-единственной снежинке может написать целую поэму...

Оля вздыхает. Нет, никогда ей, видно, не стать такой величавой, прелестной и умной, как Аня.

И еще у Ани есть жених. Марк. Самый замечательный человек на свете. Если бы у Оли был жених и она любила бы его так же, как любит Аня, она радовалась бы с утра до ночи, работала бы по двадцать часов в день, каждому рассказывала бы, какой у нее чудесный жених. А Аня грустит, и книга часто праздно лежит у нее на коленях. И письма от Марка прячет. До сих пор между братьями и сестрами не было никаких тайн. Все письма читали сообща. Но конверты, на которых крупным, размашистым почерком написано: «Мадемуазель Анне Ильиничне Ульяновой»,— неприкосновенны. Правда, все знают, что вести в них хорошие. После каждого письма улыбка долго не сходит с Аниных губ.

Марк приедет совсем скоро, сегодня, а лицо у Ани встревоженное, какая-то боль щемит ее сердце. «Неужели, когда любишь, могут быть причины для страданий? — недоумевает Оля.— Неужели такой добрый, чудный Марк может вызывать какие-то грустные чувства?»

Оля шагает рядом с сестрой, поглядывает на нее. Почему Аня не поделится с ней своей тревогой? Правда, Оля почти на семь лет моложе сестры, ей только семнадцать, и в тюрьме ей не довелось сидеть, и даже в Петербурге ни разу не была. Мало видела в жизни. Но если бы Аня рассказала ей о своих терзаниях, Оля постаралась бы понять и, может быть, в чем-нибудь помогла.

Аня увидела вдали маму и ускорила шаг. «Надо оставить их вдвоем»,— подумала Оля.

— Я побегу за Володей! — уже на ходу крикнула она.

Мария Александровна срезáла цветы, готовила букет на стол к обеду в честь милого гостя.

— Мамочка! — Аня обвила руками шею матери, прижалась к ней.— Что я наделала? Почему я дала согласие? — с отчаянием прошептала она.

Мария Александровна не на шутку встревожилась. Долго и терпеливо выхаживала она свою старшую дочь после

страшных дней в тюрьме. Потрясенная казнью Саши, Аня тяжело болела и угасала на глазах матери. Но молодость взяла свое. Дочь поправилась, снова стала весела и, как матери казалось, счастлива в своей любви. И вот снова взрыв отчаяния.

— Анечка, голубушка, что с тобой, скажи мне? — Мария Александровна повела дочь к скамейке, села рядом, обняла за плечи.

— Мамочка, я не должна была давать согласия Марку Тимофеевичу.

Мария Александровна взяла в ладони голову дочери, заглянула ей в глаза:

— Любишь?

— Да,— чуть слышно ответила Аня.

— Значит, поступила правильно.

— Но ведь Марк должен будет со мной отбывать добровольную ссылку в деревне, а он всю жизнь мечтал о Петербурге. Он всегда говорил мне и...— Аня осеклась. Вот уже два года, как в присутствии матери дети не произносили имени погибшего брата, боялись разбередить ее рану.— И другим говорил,— поправилась Аня,— что никогда больше не вернется в деревню, будет жить в Петербурге. Я эгоистка, думаю только о своем счастье.

— ...и о счастье Марка,— поправила мать.— Скажи, пожалуйста, а если бы ты была на его месте, разве ты отказалась бы от него только потому, что он вынужден жить в деревне, а не в Петербурге?

— Конечно, нет! — горячо воскликнула Аня.— Я пошла бы за ним всюду, даже на каторгу.

— Так зачем же так дурно думать о Марке Тимофеевиче? Он идет за тобой в ссылку, потому что любит. Эта любовь прошла тяжелые испытания и не погасла.— Мария Александровна сидела, прищурив глаза, словно что-то видела там, в далеком прошлом...— Да, любовь — самая большая драгоценность в жизни. Поступай так, как подсказы-

вает тебе твое сердце. Вы оба молоды и не всю жизнь будете жить в деревне, не всю жизнь...— вздохнула Мария Александровна.

Аня прижалась плечом к матери.

Сомнения улетучивались, на сердце снова становилось ясно и радостно. Конечно, не всю жизнь они с Марком будут жить здесь, в Алакаевке. Кончится срок ссылки, и оба поедут в Петербург, оба отдадут свои силы, знания, всю молодую энергию делу революции, которому оба поклялись служить.

Аня поцеловала седую мудрую голову матери.

Лес, прохладный, душистый, расступился, и открылось ржаное, вызолоченное солнцем поле. За ним виднелись крыши деревни и темная зелень парка.

Марк Тимофеевич соскочил с телеги, перекинул пиджак через плечо и, чтобы сократить путь, пошел напрямик по узенькой кочковатой меже. Ветер гнал навстречу теплое дыхание ржаного хлеба. Марк Тимофеевич сорвал колосок, растер его на ладони, сдул полову и ссыпал сизо-желтые зерна в рот, со вкусом разжевал их. «Косить пора»,— подумал. И знакомое с детства беспокойство пахаря, дождавшегося урожая, проснулось в нем. Окинул взглядом поле. Урожай для здешних мест был неплохой, лишь кое-где качались на ветру прямые и надменные пустые колоски. «Сам-шест»,— прикинул он. Снял очки и сразу стал похож на могучего русского богатыря. Из-под русых усов сверкнули крупные белые зубы, густые волосы и бороду разметало ветром, и только светлая, не тронутая загаром кожа выдавала городского жителя.

Теплое дыхание земли, прохладная синева неба и радость предстоящей встречи захлестнули сердце, и сама собой полилась песня.

Вблизи закуковала кукушка. За ней вторая, третья.

Марк Тимофеевич остановился.

Откуда в поле взялись кукушки? Осмотрелся вокруг. Из ржи, как из морской пучины, вынырнули Володя, Оля, Митя и Маняша. Окружили, повисли на шее, теребят, смеются.

Марк Тимофеевич, смущенный тем, что оказались свидетели его душевного порыва, отвечал невпопад и все смотрел поверх, искал глазами. Увидел... Аня оставила руку матери и, подхватив подол длинного платья, бежала навстречу, размахивая васильками. Марк Тимофеевич поспешно надел пиджак, заправил за уши очки.

— Марк Тимофеевич, миленький, ну скажите, надолго вы к нам приехали? — допытывалась Маняша.

Он шагнул вперед и, не отрывая глаз, смотрел на Аню.

— Я приехал к вам навсегда! Правда ведь: навсегда? — спросил он Анну Ильиничну, протягивая ей обе руки.

ПРЕКРАСНЫЕ КНИГИ

Тарахтит старая швейная машинка, тонкие пальцы умело направляют под стальную лапку куски материи. Больше четверти века служит машинка Марии Александровне. Платьица и рубашки снашивались, а швы никогда не расползались. Отличная машинка, хоть и стучит очень громко.

За стуком машинки Мария Александровна не слышала, как в комнату вошел Митя, остановился за спиной матери, в смущении накручивает на палец кудрявый вихор, не решается прервать ее работу. Ждет, пока она сама его заметит.

— Ты что, Митенька? — оглянулась Мария Александровна и, увидев огорченное лицо сына, забеспокоилась: — Случилось что-нибудь в гимназии?

— Нет, мамочка, я ничего плохого не сделал. — Митя

смотрит прямо в глаза матери.— Но тебя вызывает директор гимназии, сказал, чтобы ты пришла к нему тотчас.

Мать пригладила рукой кудри сына.

— Не беспокойся. Я тебе верю. Иди обедай, а я пойду к директору.

— Наверно, ему наш классный воспитатель господин Кочкин что-нибудь наговорил. Он вчера был у меня, перерыл весь стол, просмотрел все книги,— сказал Митя.

— Не будем гадать. Пойду и выясню...

Директор Соколов, видно, ждал.

— Госпожа Ульянова,— начал он торжественно,— мы, то есть дирекция Самарской мужской гимназии, учителя и классные наставники, прилагаем все наше усердие, чтобы оградить вас от новых бедствий.

Мария Александровна внимательно слушала.

— Нам известно, что ваш старший сын Александр...

— Речь, по-видимому, идет о моем младшем сыне? — перебила его Мария Александровна и чуть приметным движением оттянула воротник от горла.

— Да, да, речь идет о Дмитрии Ульянове, гимназисте пятого класса. Но я хочу сказать, что ваш второй сын, Владимир, тоже не отличался примерным поведением. Нам известно о его участии в студенческих беспорядках в Казани. Ваша старшая дочь, Анна, находится под гласным полицейским наблюдением. Неужели вам мало страданий от старших детей, чтобы пускать и третьего вашего сына по весьма опасному пути?..

— Я вас не понимаю, господин директор,— снова прервала его Мария Александровна.— Митя плохо ведет себя? Ленится?

— Это было бы поправимо. Дело гораздо хуже,— продолжал директор.— Мы надеемся видеть в вашем младшем сыне образованного молодого человека, способного верой и правдой служить царю и нашему любезному отечеству. Но я с прискорбием должен отметить, что воспитание, кото-

рое он получает в гимназии, непоправимо разрушается дома.

— Но что же случилось, господин директор?

Соколов выдвинул ящик стола, вынул большую книгу в сером переплете, тисненном золотыми колосьями, и Мария Александровна узнала том сочинений Помяловского.

— Эта книга из нашей домашней библиотеки,— все еще недоумевая, заметила мать.

— Вот именно,— словно обрадовался директор,— эту книгу изъял из стола вашего сына наш классный наставник господин Кочкин. Весьма опытный педагог, должен заметить, пекущийся о нравственном облике своих воспитанников.

Мария Александровна поняла теперь истинную цель регулярных посещений их дома Кочкиным: за ее пятнадцатилетним сыном тоже велась полицейская слежка.

— Известно ли вам, сударыня, что сочинения господина Помяловского признаны весьма вредными для юного возраста? Это запре-щенная цензурой книга! — веско сказал директор и протянул ее матери.

Мария Александровна откинула переплет, прищурила глаза и прочитала вслух:

— «Знаете ли вы, что значит честно мыслить...»

— Что, что? — переспросил директор.

Мать закрыла книгу.

— Я прочитала первые слова на первой странице.

Директор снял пенсне и пронзительно посмотрел на Марию Александровну. Ее лицо было спокойно и непроницаемо.

— Я настоятельно прошу вас, сударыня, просмотреть вашу домашнюю библиотеку, изъять из нее вредные книги, чтобы оградить ваших детей от пагубного влияния запрещенной литературы. Вы образованная женщина и мать, и вы должны позаботиться о том, чтобы ваши дети читали только полезные книги.

— Хорошо, господин директор, я просмотрю нашу библиотеку и позабочусь о том, чтобы мои дети читали действительно прекрасные книги,— сказала Мария Александровна, вставая.

Директор проводил мать недобрым взглядом, водрузил на нос пенсне и, обмакнув перо в чернильницу, стал писать донесение попечителю Казанского учебного округа.

...Инспектор усмотрел на столе том сочинений Помяловского, признанных вредными для юношеского возраста и запрещенных. Это сочинение было взято из домашней библиотеки...

По поводу этого случая я беседовал с матерью о вреде книг отрицательного направления для юношеского возраста и просил ее закрыть своему сыну доступ в домашнюю библиотеку...

Дома Мария Александровна еще раз просмотрела книгу Помяловского.

— «Знаете ли вы, что значит честно мыслить...» — прошептала она и подошла к книжному шкафу. На полках аккуратными рядами стояли книги, и из них выглядывали синие, красные, белые закладки. Вынула наугад книгу Чернышевского, по закладке раскрыла ее. Наверно, отчеркнул Володя. Он очень любит эту книгу — «Что делать?». Любит образ Рахметова.

Велика масса честных и добрых людей, таких людей (как Рахметов.— Прим. авт.) *мало; но они в ней—теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли.*

Мария Александровна поставила книгу на место. Вот книга с закладкой Саши. Это он делал такие красивые закладки. Рылеев. «Иван Сусанин». Саша подчеркнул:

Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит...
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело
И радостно гибнет за правое дело!

Саше было восемь лет, когда он выучил наизусть это стихотворение и, обычно стеснительный в выражении своих чувств, с особым жаром и глубоким проникновением в высокий смысл слов декламировал его в кругу семьи.

Мария Александровна перебирала книги Писарева, Добролюбова, Пушкина, Некрасова... Во всех закладки ее детей.

Поставила книги на место, прикрыла дверцу шкафа.

Ни одна хорошая книга не миновала семьи Ульяновых. Все самое ценное, что создала русская и мировая литература, было прочитано в этой семье, и прежде всего матерью. Книги и рояль всегда путешествовали с ними в их долголетней скитальческой жизни. В доме не было ни одной картины. Произведения талантливых мастеров были не по средствам, а к плохоньким, дешевым произведениям не лежала душа. Предпочитали голые чистые стены и книжные шкафы, полные книг.

Мария Александровна оглянулась. В дверях стоял Митя и вопросительно смотрел на нее.

— Мамочка, зачем вызывал тебя директор?

Мать привлекла к себе сына.

— Он говорил со мной о вреде чтения плохих книг, и я обещала ему позаботиться о том, чтобы мои дети читали только прекрасные книги. Здесь,— показала она на книжный шкаф,— все книги прекрасны.

И снова застучала машинка, и из-под стальной лапки пополз шов, и разрозненные куски материи превращались в рукава, воротники, соединялись в новую рубашку.

ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА

Судебное заседание закончилось в 3 часа 10 минут.

Владимир Ильич со стесненным сердцем проводил глазами своего подзащитного Муренкова. Вобрав голову в пле-

чи, крестьянин понуро шел к выходу. Длинный, грязный армяк болтался на худом теле, как на кладбищенском кресте, на спине выпирали острые лопатки. Два года просидел он в тюрьме в ожидании судебного разбирательства, обвинялся в мелких кражах.

С великим тщанием молодой адвокат доказывал непричастность Муренкова к кражам, очищая честь человека от налипших на него обвинений. Муренков получил свободу. Но что это была за свобода? В тюрьме ему не давали умереть с голоду. На воле его ждали мучительные скитания в поисках работы, ждала угроза голодной смерти.

Муренков остановился у открытой настежь двери, боязливо оглянулся и быстро шмыгнул на улицу, словно опасаясь, что его снова могут задержать.

Владимир Ильич тяжело вздохнул.

Перед этим, на утреннем заседании, рассматривалось дело группы крестьян — Уждина, Зайцева и Красильникова. Они обвинялись в том, что проникли с целью грабежа в хлебный амбар богатея Коньякова.

Но красть они были не мастера и попались, едва только запустили руки в мешки с зерном, от одного запаха которого кружилась голова и немилосердно сосало под ложечкой. Уждин успел сунуть в рот горсть пахучих зерен, но и их заставили выплюнуть.

«Голод одолел,— говорил он на суде,— мо́чи моей больше не было глядеть на голодных ребятишек». «Голодовал больно, вот и пошел на воровство»,— сказал Красильников в свое оправдание. «Работы нет, хлебушка давно не видел»,— объяснял свой поступок Зайцев.

В глазах присяжных заседателей и судей трое голодных крестьян были шайкой грабителей; для помощника присяжного поверенного Ульянова это были впавшие в нищенство крестьяне, потянувшиеся голодными руками к зерну, которое они сами взрастили, собрали и которое ссыпал в свой амбар кулак Коньяков.

Если бы можно было здесь, на суде, все это высказать! Но должность адвоката требовала строго в рамках закона разобрать виновность подсудимых и найти смягчающие их вину обстоятельства.

Горячая речь помощника адвоката Ульянова была встречена судом хмурым молчанием. Присяжные заседатели стали на защиту своего собрата Коньякова. Удалившись на совещание, они единогласно решили, что крестьяне Уждин, Зайцев и Красильников виновны — «виновны в попытке присвоить чужое добро». Барышник Коньяков в плисовых шароварах и синем кафтане с видом обиженного дитяти поглаживал бороду. «Господь видит, что виновны», — всхлипывал он.

Но убедительность речи молодого адвоката была столь велика, что крестьянам вынесли самый «мягкий» приговор, на который только был способен царский суд.

При выходе из залы Владимира Ильича нагнал присяжный поверенный Хардин.

— Поздравляю, — потряс Андрей Николаевич руку своему помощнику. — Великолепная речь. Железная логика. Суд даже с требованием прокурора не посчитался, дал минимус...

— «Минимус»! — с иронией повторил Владимир Ильич. — Людей, которые погибают от голода, объявляют ворами, а настоящего вора — кулака Коньякова считают потерпевшим. Нищих лишают прав и состояния. Как вам нравится — голого, нищего человека лишить состояния? А?

Хардин положил широкую ладонь на плечо своего помощника.

— Не так горячо, побольше холодного рассудка, — говорил он по-отечески. — Вы своими молниеносными репликами, неопровержимыми доводами приперли суд к стенке, сделали, как мы, шахматисты, говорим, шах и мат. Теперь я могу спокойно умирать! Самара будет иметь талантливого адвоката.

Владимир Ильич рассеянно слушал похвалы шефа, он думал о своем и только произносил: «Гм... гм... да... да...»

У выхода из здания суда распрощались. Владимир Ильич сощурился от яркого апрельского солнца. По утрам еще морозило, но на пригорках солнце растопило снег, обнажилась бурая земля, сугробы почернели и осели, на южной стороне с крыш свешивались бахромой сосульки, звенела капель.

У здания суда Владимира Ильича ждали Мария Александровна, Митя и Маняша. Митя последний год носил гимназическую шинель. Маняша в свои четырнадцать лет сочетала в себе жизнерадостность подростка с девической застенчивостью и раздумьем взрослого человека.

Митя первый заметил брата, шагнул к нему и, пытливо глядя в глаза, спросил, удалось ли выиграть дело.

— Почти...— устало ответил Владимир Ильич.

Маняша хотела знать все подробности. Радостно охнула, когда узнала, что крестьянин, который обвинялся в мелких кражах, освобожден.

— Ну, а бедняков, которые хлеб у этого самого Водкина, что ли, хотели отобрать, оправдали? — допытывалась она.

— Не Водкина, а Коньякова,— поправил Владимир Ильич сестру и нахмурился.— Нет, их осудили на три года арестантских рот.

— Значит, каторга? — уточнила Маняша. Голос у нее дрожал.

— Да, каторжные работы,— ответил Владимир Ильич, глядя прямо в широко открытые, требовательные глаза сестры.

Мария Александровна понимала состояние сына и не задавала вопросов.

— Волга тронулась, — сказала она. — Пойдем посмотрим ледоход.

— А где Аня? — спросил Владимир Ильич.

— Анечка пошла по домам выявлять больных холерой,— вздохнула мать. Она очень опасалась за хрупкое здоровье старшей дочери.

Все трое выждали, пока по дороге пройдет подвода. Лошадь с трудом тащила по оголившейся мостовой груженные верхом сани. Из-под рогожи торчали голые ноги, худые, желтые и неестественно прямые.

— Люди под рогожей! — воскликнула Маняша.

— Мертвые! — ахнул Митя.

Владимир Ильич снял шапку, Митя сдернул с головы фуражку. Горькая складка залегла у губ Марии Александровны. Прижав к себе Маняшу, она скорбными глазами провожала сани со страшной поклажей.

Это были жертвы голода. Летом 1891 года Самарскую губернию, как и все Поволжье, охватила засуха. К весне 1892 года голод принял ужасающие размеры. За ним потянулись его страшные спутники — тиф, цинга, приползла холера. Обезумевшие от голода крестьяне подались в город в надежде найти работу, пропитание. Но работы не было. Голод и болезни косили людей. Смерть настигала их на трактах, на вокзалах, на постоялых дворах.

— Около миллиона людей находятся сейчас под угрозой голодной смерти. Около миллиона в одной Самарской губернии.— Владимир Ильич стиснул зубы, вытер платком взмокший лоб.

Маняша ухватила под руку старшего брата, крепко прижалась к нему. Митя, забыв надеть фуражку, шагал рядом...

Вышли на высокий берег реки.

Разбуженная солнцем Волга взломала на себе ледяной саван. По необъятному простору неслись ледяные поля с отрезками бурых дорог, наползали друг на друга, дыбились, громоздились, кружились на месте и рушились в воду. Над Волгой стоял грохот и скрежет ломающихся льдин.

Недалеко от берега на льдине с пробитыми лунками плыл шалаш, возле которого на привязи металась собака. Она то садилась на задние лапы и, подняв морду, видно, выла, то снова пыталась сорваться с веревки. Из лунок фонтанами выбивалась вода.

Как рассыпанные спички, неслись и кувыркались бревна, плыли вывороченные с корнем деревья, куски раздавленной лодки. От стремительного движения льдин и грохота кружилась голова. Казалось, что внизу неподвижная река, а ты летишь над ней с захватывающей дух быстротой, и только ветер свистит в ушах.

Вода на глазах заливала низины; на пригорке, постепенно скрывающемся под водой, столпились березы, и кружевная тень от них плясала на воде.

Владимир Ильич, не отрывая глаз, смотрел на безбрежные могучие и живые воды реки, которые праздно несли в себе огромную энергию, способную напоить все засушливые земли России, превратить их в сочные пастбища и плодородные поля, накормить досыта людей; во́ды, играючи переворачивающие тысячепудовые льдины, могли крутить лопасти огромных турбин, дать человеку тепло и свет. И эта силища пропадала зря. На берегах великого водного бассейна посевы превращались в пепел, люди из года в год умирали мучительной голодной смертью.

— Обуздать бы эту стихию, взять бы в упряжку эти миллионы лошадиных сил...— сказал как бы про себя Владимир Ильич.

Видно, и Марию Александровну одолевали те же мысли. Горе матери, потерявшей год назад дочь, отодвинулось перед народным горем, заслонило личное.

И перед глазами Маняши все еще плыли по воздуху худые ноги со скрюченными пальцами.

— Отдали бы богатеи все зерно голодающим. Неужели у них сердца нет? — спросила Маняша.

— Как бы не так! Отдали! — возразил Митя.

— Миллионеры Шихабалов, Субботин, Арханов «помогают голодающим»: продают по бешеной цене гнилую муку. Это борьба не с голодом, а с голодающими,— заметил Владимир Ильич, вспомнив сегодняшнее заседание суда.— Надо бороться с причинами, которые порождают голод... Надо решать дело всего народа!

Мать посмотрела внимательно на сына. «Дело всего народа»,— повторила она мысленно. Как же это она до сих пор могла думать, что Володя нашел себя — нашел в деле присяжного поверенного. Она гордилась тем, что ее сын защищает бедных на суде, радовалась, когда ему удавалось выигрывать дело. Но у него совсем другие мысли, другие планы. Он стремится выиграть дело всего народа. Вот почему он сидит и пишет по ночам, вот о чем спорит с товарищами, запершись у себя в комнате.

Над Волгой плыли подсвеченные закатом облака. Река погружалась во мрак, над ее черной бездной стремительно неслись льдины, зловеще грохотали в темноте.

Вернувшись домой, Владимир Ильич закрылся в своей комнате и работал до самого утра.

Зимним вечером вся семья собралась в столовой, и Владимир Ильич никуда не пошел. Он спешил закончить перевод «Манифеста Коммунистической партии» Карла Маркса.

Митя пришел в столовую готовить уроки, заглянул через плечо брата в книгу. «Пролетариер аллер лендер, ферейнигт эйх!» — прочитал он и вслух перевел:

— «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

Владимир Ильич повернул голову к брату:

— Нет, не «объединяйтесь», а «соединяйтесь».

— Смысл один и тот же,— возразил Митя.

— «Объединить» — это собрать вместе, а «соединить» — значит слить воедино. Ведь так, мамочка? Если бы Маркс

хотел сказать «объединяйтесь», он употребил бы немецкий глагол «фербинден».

— Совершенно верно,— подтвердила мать.

Она была первой учительницей немецкого языка всех своих детей и научила их любви к точному, живому слову в переводе, и до сих пор Володя и Аня в затруднительных случаях обращались к ней.

Аня сидела над переводом пьесы Гауптмана «Ткачи». «Очень нужная книга для русских рабочих, она познакомит их с положением рабочего класса на Западе»,— одобрил Владимир Ильич работу сестры.

Тут же в столовой расположились Марк Тимофеевич с газетами и Маняша с уроками.

Мария Александровна любила эти вечера, когда дети собирались вместе за столом, эту атмосферу напряженной работы мысли. Сама она сидела с журналом «Исторические записки», за которым внимательно следила, и часто рассказывала о прочитанном детям или советовала прочитать самим, что заслуживало их внимания.

Подходил час ужина. Мария Александровна отложила журнал в сторону и пошла на кухню.

Тишина в столовой прервалась разговором, сначала тихим, затем все более оживленным. Мать прислушалась.

Володя объяснял Мите:

— Революцию призван совершить рабочий класс. Питерские рабочие объединяются в марксистские кружки, готовятся к бою. Они думают и болеют за судьбу самарских и других крестьян по-настоящему, не так, как шихобаевы, и не так, как народники михайловские и иже с ними. Там, в Питере, зреет революция.

Аня что-то тихо говорила.

— Да, да, только в Петербург! — воскликнул Владимир Ильич.— Я чувствую себя здесь, в Самаре, как в палате номер шесть.

— «Как в палате номер шесть»,— прошептала Мария Александровна, присела на табуретку, скомкала в руках полотенце.— Володя стремится в Петербург.

Петербург! Пять лет назад в Петербурге был казнен Саша... Где его могила? Весь Петербург был для матери огромной мрачной могилой ее сына... В Петербурге сидела в тюрьме Аня и чуть не погибла там... Год назад в Петербурге умерла Оля...

Никогда матери не забыть дождливого майского утра, когда умирала в горячечном бреду Оля. Брюшной тиф осложнился рожистым воспалением. Володя не сообщил матери о болезни сестры. Взял все бремя на себя. Он отвез ее в больницу и просиживал там дни и ночи, отлучаясь только затем, чтобы сдать очередной экзамен в университете. Как мог он выдержать такое? В дни суда и казни Саши он сдавал экзамены за гимназию. В дни, когда умирала Оля, он нашел в себе силы, чтобы сдать экзамены за университет. Оля лежала без сознания. Черные яркие глаза подернулись перламутровой поволокой. Володя понимал — уходит из жизни талантливая, веселая сестренка Оля.

Послал матери телеграмму.

Телеграмма пришла вслед за Олиным письмом, где она писала матери, чтобы не беспокоилась о здоровье Володи, а о себе сообщала, что 8 мая приедет домой на каникулы.

Оля умерла 8 мая 1891 года, в день четвертой годовщины казни Александра.

В серый питерский день вел Володя за гробом сестры мать. Она сразу стала старенькой, у нее дрожала голова.

И с еще большей силой, чем после гибели Саши, уцепилась она всем своим материнским сердцем — любящим и эгоистическим — за своих детей, не хотела никуда отпускать от себя: ее дети гибли, когда отрывались от нее, уезжали в этот страшный Петербург. Она не могла тогда допустить, чтобы Володя остался в огромном мрачном городе, который поглотит и его, Володю.

Володя понимал отчаяние матери и сказал тогда о своем решении ехать работать в Самару: его приглашал туда в качестве своего помощника присяжный поверенный Хардин. В Самаре продолжала отбывать свою ссылку Аня, там же учились в гимназии Митя и Маняша.

Мать утешала себя мыслью, что Володя нашел свое призвание в адвокатской практике. В прошлом году на берегу Волги она поняла, что ошиблась. Сын решил посвятить себя делу всего народа... И еще одно поняла она теперь. Это дело решать можно только в Петербурге, в рабочем центре. Вот почему стремится туда Володя, вот почему ему так душно в Самаре.

Ради нее, матери, поехал он в Самару и сидит здесь. Имеет ли она право задерживать сына при себе? Ее горе, горе матери, потерявшей двух детей, останется с ней на всю жизнь, но она не должна перекладывать свое бремя на детей, не должна мешать им идти избранной дорогой...

Самовар сердито плескался и фыркал, на полу растекалась дымящаяся лужа.

Мария Александровна сняла с самовара трубу и, стараясь побороть волнение, казаться спокойной, понесла посуду в столовую.

Дети принялись убирать со стола бумаги.

Мария Александровна разливала чай и, против обыкновения, не подавала стаканы, а раздвигала их: она боялась, что дрожащие руки выдадут ее.

— Подумайте, как быстро бежит время! — сказала она с улыбкой.— Через несколько месяцев Митя сдаст экзамены. Надо подумать об университете. Лучше всего, я думаю, ему учиться в Петербурге.

Владимир Ильич зорко посмотрел на мать. Задумав ехать в Петербург, он не хотел, чтобы мать ехала вместе с ним. В Петербурге он ринется в революционную работу, будет вынужден скрываться от полиции, вести конспиративную жизнь революционера. Зачем подвергать мать новым

волнениям? Об этом он не раз говорил с Аней, и они решили, что, когда кончится срок ее ссылки, она с мужем, мамой, Митей и Маняшей поедет в Москву, а Владимир Ильич — в Петербург. Знал об этих планах и Митя.

— О нет! Я мечтаю о Московском университете, об университете, где учился Ломоносов,— твердо сказал он.

— Мы с Марком тоже хотели бы жить в Москве,— подтвердила Аня.— Марку там легче устроиться на работу, чем в столице.

— А Володе адвокатскую практику легче найти в Петербурге, чем в Москве,— подхватила мать.

Владимир Ильич сидел, помешивая ложечкой чай. Щеки его горели. Он давно ждал этого разговора и опасался его.

— Да, да,—убежденно сказала Мария Александровна,— пора нам распрощаться с Самарой, и московский климат для меня подойдет больше, чем самарский, и врачи там лучше. Как все хорошо складывается! — обвела она глазами детей.

ЖЕЛТЫЙ ЧЕМОДАН

— Что-то давно от Володи нет писем. Последнее было от пятого декабря, а сегодня уже двадцать третье. Завтра сочельник, через неделю наступит тысяча восемьсот девяносто шестой год.— Мария Александровна сняла очки, отложила книгу и вопросительно посмотрела на дочь.

Анна Ильинична давно уже заметила, что мать держит раскрытую книгу перед глазами, но не читает, не переворачивает страницы, о чем-то думает.

— Напрасно ты, мамочка, беспокоишься. Мы сами спутали ему все карты, написали, что ты собираешься к тете Ане, а ты ехать раздумала. Уверена, что в Казани тебя ждет письмо.

Неуютно было на сердце матери последние дни. И к сест-

ре в Казань отказалась ехать из-за какого-то чувства беспокойства, и здесь, в Москве, себе места не находила. Такое состояние у нее было весной, когда Володя заболел воспалением легких. Беда никогда не застигала мать врасплох, приближение ее она чувствовала издали. Однажды только обманулась. Саша в Петербурге заболел тифом, а сердце ей ничего не подсказало. Может быть, потому, что болезнь он перенес легко и заминки в письмах не было. Увидев, что Аня побледнела, подосадовала на себя — нельзя было выказывать своей тревоги. Теперь Аня будет переживать вдвойне: и за Володю и за нее, мать. В шестьдесят лет матери надо уметь уединяться и со своим горем и недугами и прикрыть панцирем сердечные раны. Иначе жизнь молодых станет невыносимой. А у них все впереди — и радости и кручины.

— Да, Анечка, ты права. Конечно, Володя послал мне письмо в Казань, а за это время переменил квартиру и последнего моего письма не получил. Как это я раньше не додумалась. Иди-ка поставь самовар, а я почитаю, уж больно книжка интересная попалась.— Мария Александровна протерла очки, раскрыла книжку.

Аня пошла хлопотать по хозяйству. Сама она волновалась за судьбу брата не меньше матери. Владимир Ильич в последнем письме к матери писал, что «комнатой не очень доволен — во-первых, из-за придирчивости хозяйки; во-вторых, оказалось, что соседняя комната отделяется тоненькой перегородкой, так что все слышно и приходится иногда убегать от балалайки, которой над ухом забавляется сосед... Останусь ли я тут еще на месяц или нет,— пока не знаю...»

Мария Александровна все поняла буквально. Сетовала на Володину хозяйку — чем может досаждать ей такой деликатный, во всем аккуратный и скромный квартирант, негодовала на соседа-балалаечника.

Для Ани же это было условное сообщение. И «придирчивая хозяйка» и «сосед-балалаечник» означали, что поли-

цейская слежка за Владимиром идет отчаянная и долго ли он продержится на свободе — неизвестно. И вот после этого письма уже больше двух недель никаких известий.

Третий год живет Владимир Ильич в Петербурге. О том, какую огромную работу он ведет там по собиранию, просвещению и организации революционных сил, знает только сестра Аня. Мария Александровна догадывается. Не зовет же он мать к себе в гости. Иногда сам появляется в Москве на короткое время и здесь постоянно чем-то занят. Летом пять месяцев был за границей. Приехал оттуда полный впечатлений, деятельный и чем-то озабоченный. Славно они провели тогда несколько вечеров на даче под Москвой. Всем Володя привез подарки: Мите — астрономический атлас, Маняше — французские книги, а ей, матери,— кружевную наколку на волосы.

Чего она, право, нагоняет на себя страх? Надо пойти выпить ландышевых капель.

Звонок в дверь.

Кто это мог быть? Митя — в университете, Маняша — в гимназии, Марк Тимофеевич — на работе. Рано им еще. Наверно, почтальон.

— Аня, Анечка, скорее открой дверь!

Анна Ильинична побежала вниз по лестнице. Отодвинула задвижку, распахнула дверь и радостно ахнула:

— Надежда Константиновна! Какими судьбами? Почему не предупредили — мы бы вас встретили.

Надя приложила палец к губам.

— Владимир Ильич арестован,— только и успела шепнуть она.

Мария Александровна стоит на площадке лестницы, смотрит вниз.

— Кто это там, Аня?

— Надежда Константиновна к нам в гости припожаловала,— и, целуя Надю в щеку, шепчет: — Не говорите маме.

— Какая неожиданная радость,— откликается Мария Александровна.— Добро пожаловать!—И, видя, что в руках Нади только ридикюль, спрашивает: — Что это вы так налегке, где же ваш чемодан?

— Приехала на один день. Сегодня же вечером обратно, в Петербург. И, кстати, куплю здесь чемодан желтый, с красивыми застежками,— это она говорит уже для Ани.

— Неужто в Петербурге чемоданов нет? — недоверчиво смотрит на Надю Мария Александровна.— Раздевайтесь. Рассказывайте. Как здоровье вашей матушки? Как там Володя? Давно ли его видели?

— Последний раз видела восьмого декабря,— отвечает Надя.

И это правда. Руководители петербургских социал-демократов собрались вечером восьмого декабря, чтобы смонтировать и окончательно отредактировать первый номер первой рабочей газеты в России. В ту же ночь Владимир Ильич и многие товарищи из руководства социал-демократической организации Петербурга были арестованы.

— Как Володя выглядит? Он не болен? — допытывалась мать.

— Нет, нет. Выглядел отлично и совершенно здоров.— Наде трудно было под пытливым взглядом Марии Александровны.— Где у вас можно помыть руки? Проводите меня, пожалуйста,— попросила она Анну Ильиничну.

На кухне Надя моет руки и шепчет Ане, стоящей рядом с полотенцем в руках:

— Владимир Ильич сидит в «предварилке» на Шпалерной... Получила от него шифрованное письмо. Позавчера был первый допрос. Следователь потребовал предъявить чемодан, с которым он вернулся из-за границы. Он дал показания, что чемодан оставил в Москве, у матери. Желтый чемодан с какими-то замысловатыми застежками... Его надо немедленно купить. Полиция может к вам явиться с минуты на минуту. Если чемодан не будет предъявлен, Владимир

Ильич будет считаться арестованным. Все дело, пишет он, в этом чемодане... Надо срочно ехать в магазин.

— Нет-нет...— шепчет Аня.— Выпейте чаю. И маму подготовим. Она должна узнать это от нас, а не от полиции.

Мария Александровна ждала их за столом.

— Что же вы, Надежда Константиновна, на один день приехали? Я думала, вы у нас погостите.

— Я приехала по делам. По поручению Владимира Ильича,— отвечает Надя.— Я должна купить для него желтый чемодан, с которым он приехал из-за границы. На всякий случай. Он считает, что им может заинтересоваться полиция, а чемодан он кому-то отдал.

Мария Александровна горько усмехнулась.

— Он его не отдал, а разрезал на куски и сжег в печке. В этом чемодане было двойное дно, в котором он привез нелегальную литературу. Прости, Анечка, но я нечаянно услышала твой разговор с Володей на даче.

Этот чемодан волновал Владимира Ильича с момента переезда границы. Таможенный чиновник вынул все вещи из чемодана, перевернул его вверх дном и щелкнул по нему пальцем.

«Ну, думаю, влетел»,— рассказывал сестре Владимир Ильич.

Таможенник не спеша аккуратно уложил все вещи в том же порядке и сказал: «Вы свободны». Владимир Ильич решил, что полиция предпочла проследить его связи и «взять» не одного его.

...Аня наливала чай. От взора матери не укрылось, что носик чайника мелко-мелко бьется о край чашки и что их гостья уж очень сосредоточенно рассматривает узор на скатерти.

— Володя арестован,— не столько вопросительно, сколько утвердительно прозвучал голос матери, заставляя Надю поднять глаза.

Аня выскочила из-за стола. Она не могла сдержать слез.

Тревожное томление матери обернулось бедой. А в беде она всегда сильна, сильнее всех ее близких.

— Он не арестован, он временно задержан,— выдавливает наконец из себя Надя.— Все дело в этом злосчастном чемодане. Мы его купим, вы его предъявите полиции, и все обойдется.

— Все обойдется,— машинально повторяет мать. «Все обойдется»,— говорила она, когда внезапно занемог Илья Николаевич. «Все обойдется»,— твердила она детям, когда получили сообщение об аресте Саши... «Все обойдется»,— когда заболела Оля...

Мария Александровна вынула из-за пояса часы Ильи Николаевича, глянула на них, щелкнула крышкой, засунула обратно.

Наде показалось, что это щелкнуло сердце матери, закрылось на замок.

— Аня, вам надо спешить. Чай вы допьете после. Немедленно идите в магазин и без чемодана не возвращайтесь. Пойдите на Кузнецкий мост, там найдете, что нужно. А я поеду в банк за деньгами. Надо действовать... Нанять адвоката... Попытаться взять Володю на поруки под залог... Все обойдется, все обойдется...

«ВЕСЬМА ВАЖНО»

Солнце над Петербургом поднималось ясное, яркое, и с первыми лучами его возникли и поползли по улицам тени. На Шпалерной мрачная тень тюрьмы покрыла и толпу женщин у кованых ворот, и девчонок, чертивших мелком на панели «классы», и мальчишек, пускавших в канавке свои первые кораблики из спичечных коробок.

Женщины, молодые и старые, в шляпках и платочках, все с узелками в руках, выстраивались в очередь. Скоро от-

кроется окошко в толстой тюремной стене, и чиновник начнет принимать передачи для заключенных.

Мария Александровна примкнула к очереди. Впереди нее стояли три девушки. Одна — пышноволосая, с красивым русским лицом, другая — тоненькая, бледная, настоящая петербургская курсистка, и третья — брюнетка с искрометными глазами,— все разные, но что-то очень хорошее, чистое объединяло их, и лица у всех трех радостные, воодушевленные.

Распахнулась дверца в стене. Тюремщик из глубины лениво буркнул:

— Подавайте, кто там!

Женщины протягивали пакеты, бутылки с молоком, называли фамилии заключенных и молча расходились, одолеваемые тяжелыми думами.

— Кому? — задал обычный вопрос чиновник пышноволосой девушке.

— Кржижановскому Глебу Максимилиановичу.

— Кем приходитесь?

— Невеста я.— Девушка протянула узелок.

— Старкову Василию Васильевичу, от невесты...

— Ванееву Анатолию Алексеевичу, от невесты...

Мария Александровна поняла теперь, почему и в этом горестном месте у девушек светятся счастьем глаза, и ей стало немножко грустно, что нет такой славной девушки, которая бы сказала: «Ульянову Владимиру Ильичу, от невесты».

— Следующий,— прервал мысли матери возглас чиновника.

Мария Александровна подала бутылку с молоком и пакет с сухарями.

— Ульянову Владимиру Ильичу, от матери,— сказала она и отошла от окна.

В тени, у тюремной стены, заметила девичью фигурку в длинной черной юбке, в узком жакете с пышными рука-

вами. Из-под маленькой неказистой шляпки на мать глядели приветливые глаза.

Мария Александровна сразу узнала ее — это Надежда Константиновна.

Надя подошла, поздоровалась.

— Мария Александровна, я получила от Владимира Ильича загадочное письмо. Он просит, чтобы я позаимствовала у вас волшебную лампу Аладдина. Это говорит вам что-нибудь?

— Нет,— недоуменно пожала плечами Мария Александровна.— Что это ему пришло в голову?

— Пожалуйста, вспомните все, что связано с этой сказкой, или с лампой, или с Аладдином. Судя по тону письма, это очень, очень важно для Владимира Ильича.

Мария Александровна потерла ладонью лоб.

— Волшебная лампа Аладдина... Лампа Аладдина...— шептала она. И вдруг улыбнулась: — Это настольная лампа, что стояла в кабинете Ильи Николаевича, но мы давно ее продали... когда покидали Симбирск.

— Но что с нею связано, почему она волшебная,— допытывалась Надежда Константиновна, взяв под руку Марию Александровну.

Обе женщины медленно пошли вдоль тротуара.

Надежда Константиновна продолжала настойчиво допрашивать.

— Очевидно, с этой лампой связаны какие-то события. Вспомните, пожалуйста, вспомните.

И Мария Александровна вспомнила.

В далеком прошлом, когда еще был жив Илья Николаевич, зимними вечерами мать затевала с детьми игры в шарады, загадки.

Однажды Мария Александровна положила на стол листок бумаги и предложила детям прочитать на нем известное четверостишие Пушкина.

Дети по очереди вертели в руках чистый листок, про-

сматривали его на свет, приставляли к зеркалу, но на бумаге не было никаких следов.

Володя унес листок в другую комнату и, вернувшись, сказал:

— Я прочитал в темноте, здесь написано: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...»

— Не хитри,— погрозила пальцем мать.

— «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» — стала декламировать Аня.

Саша сидел и, запустив пальцы в кудри, пытался разгадать мамину хитрую загадку.

— Ну что, сдаетесь? — спросила она весело.

— Сдаемся! — хором закричали дети.

— На этом листке написано четверостишие из «Руслана и Людмилы»,— торжественно объявила мать.

— Но это надо еще доказать! — возразил Володя.

— Изволь,— согласилась Мария Александровна.— Для этого мне нужна волшебная лампа Аладдина. Принесите ее из папиного кабинета.

Саша принес лампу под зеленым абажуром и поставил ее на ломберный стол. Аня спустила лампу-«молнию», погасила ее. Глаза матери лукаво щурились. Она подняла двумя пальцами листок, поводила его над лампой и, сделав таинственное лицо, прошептала:

— Появитесь, волшебные строки!

Дети затаив дыхание следили за руками матери.

— Раз, два, три...— Мария Александровна медленно опустила листок на стол, провела по нему ладонью, дунула и перевернула.

Дети ахнули.

На чуть опаленном листке ярко проступили коричневые строчки:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

— Химические чернила! — восхищенно воскликнул Саша. — Но чем ты писала?

После долгих уговоров мама наконец согласилась открыть секрет.

...— Таинственными чернилами было простое молоко. Дети весь вечер играли в почту-загадку и перепалили над лампой изрядное количество бумаги, хорошо развлеклись, — заключила свой рассказ Мария Александровна.

Надежда Константиновна неожиданно пылко обняла Марию Александровну и покрыла ее лицо поцелуями.

— Спасибо, спасибо! Я теперь все понимаю. Спасибо за чудесный подарок.

— Но я ничего не понимаю, — пожала плечами Мария Александровна.

— Это нужно ему для работы. В следующий раз я принесу ему сырое молоко.

Мария Александровна встревожилась.

— Но ему нельзя пить сырое молоко, у него больной желудок.

— Я знаю, — улыбнулась Надежда Константиновна. — Он его пить не будет. Это нужно для работы.

— Уж очень много Володя работает, — посетовала Мария Александровна, — целые дни сидит в камере за книгами. Я боюсь, он подорвет свое здоровье...

— Владимир Ильич каждое утро и вечер занимается гимнастикой, делает по сто земных поклонов, вышагивает по камере тысячу шагов. Письма пишет веселые, бодрые... товарищам по работе пишет, — поспешила добавить Надя.

Мать вздохнула.

— Чем все это кончится? Я подавала прошение в департамент полиции, просила отпустить его мне на поруки под денежный залог. Сослалась на его плохое здоровье, даже схитрила, — улыбнулась Мария Александровна, — написала, что он от рождения рос хилым и слабым ребенком.

Девушка звонко рассмеялась. Хилость и слабость так не вязались с образом живого, неутомимого Владимира Ильича.

— Была я на личном приеме в департаменте полиции,— продолжала Мария Александровна,— мне ответили, что «ввиду упорного запирательства Ульянова» в моей просьбе отказано. Дали понять, что, если он признается, зачем ездил за границу, сообщит фамилии членов «Союза борьбы», тогда к моему прошению отнесутся более благосклонно. Я заверила, что за границу он ездил лечиться по совету врачей и моему настоянию. Не поверили. Что будет? Что будет?

— Уверяю вас, ничего страшного.— Девушка понимала тревогу матери, уже потерявшей одного сына.— Им и в голову не приходит,— кивнула она на тюрьму,— что книги Владимира Ильича для них опаснее бомб, что он организует поход не только против царя, но и против всего старого мира. Я уверена, что ему дадут несколько лет ссылки.

— Несколько лет ссылки! — повторила Мария Александровна.— Легко сказать! Загонят в глухую сибирскую деревню, обрекут на полное одиночество.

— О, у него на случай ссылки грандиозные планы. Он там скучать не будет. Большую работу задумал — написать книгу о развитии капитализма в России. Владимир Ильич не знает, что такое скука, уныние. А как он умеет мечтать! — с жаром воскликнула Надя.

Мать жадно слушала. Она готова была слушать о своем сыне без конца. И Наде очень нужно было, просто необходимо, поделиться своими мыслями с родным Владимиру Ильичу человеком.

Они остановились на углу улицы.

— Мы часто ходили с ним по ночному Петербургу, мечтали вслух. Дома я всегда заставала его за письменным столом. «Вот посмотрите,— говорил он и показывал таблицу, испещренную цифрами, показывал, как художник свое произведение.— Вот она какая, Россия-то! Обратите внимание,

как бурно развивается промышленность, как растет пролетариат». И я уже не видела цифр, а видела этого нового хозяина мира — класс, призванный совершить великое дело. Только один Владимир Ильич умеет так много видеть за скучными цифрами, заставить мечтать так, что дух захватывает.

Мать с нежностью смотрела на девушку, на ее чистый профиль, на потемневшие и ставшие совсем синими глаза.

— Я видела, как этот класс-гигант встает, разрывает цепи, крушит гнилое, старое, утверждает на земле высокие идеалы. И тогда мы, взявшись за руки, шли с ним по набережной Невы и говорили о будущем. Нам никогда не хватало времени, чтобы обо всем переговорить... Но что это я, право, заболталась,— спохватилась Надя и, зардевшись, взглянула на Марию Александровну, встретила ее добрую, ясную улыбку и заторопилась.— Сейчас их поведут гулять. Давайте встанем вот здесь. Я несколько дней стояла чуть правее, и Владимир Ильич не видел меня. Такая досада!

Надя точно примерилась, где ей встать.

— Посмотрите, окно на третьем этаже, оно выходит из коридора. Когда их поведут на прогулку, он увидит этот кусок улицы. Встаньте рядом со мной.

Надя поправила бантик на блузке, быстро пробежалась тонкими пальцами по волосам и, подняв голову, чуть прикрыв глаза пушистыми ресницами, словно боясь расплескать радость, всматривалась в зарешеченное окно.

— Наверно, в этот момент их ведут,— прошептала она, взяла под руку Марию Александровну и замерла.

Мария Александровна едва заметно кивнула — украдкой здоровалась с сыном.

— Ну, а теперь можно идти,— словно очнулась Надя и, вконец смущенная, пожала плечами.— И зачем понадобилось Владимиру Ильичу, чтобы я каждый день приходила на этот угол? Право, не понимаю!

«А я, кажется, понимаю, кажется, понимаю»,— сердце матери наполнилось радостью. Она уверенно оперлась на руку Нади.

...Был субботний день, когда заключенным передавались книги и получались от них прочитанные.

Теперь у тюремного окошка встречались две матери: Мария Александровна Ульянова и Елизавета Васильевна Крупская.

Надежда Константиновна в августе 1896 года тоже была арестована по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Елизавета Васильевна очень беспокоилась за единственную дочь, с которой никогда не расставалась.

— Чем все это кончится? Какой приговор ждет Надю?— тревожилась она.

Мария Александровна успокаивала, утверждая, что обоим дадут по нескольку лет ссылки, и что в ссылке можно отлично работать, и что такие люди, как Володя и Надя, унывать не умеют. Обе матери решили ехать в ссылку вместе со своими детьми. Мария Александровна делилась с Елизаветой Васильевной своим богатым опытом — и как обмануть бдительность тюремщиков и передать зашифрованную записку, и как обнаружить в книге условные знаки и тайнопись,— советовала, чтобы Елизавета Васильевна передала дочери «Гимнастику Мюллера», и что для сохранения здоровья необходимо делать тысячу шагов по камере и по сто низких поклонов. Елизавета Васильевна внимательно прислушивалась к ее советам...

Заскрежетали ржавые петли, открылось окошко.

Мария Александровна передала книги для Владимира Ильича и получила от него прочитанную. Обе матери отошли в сторону, чтобы незаметно для тюремщика просмотреть книгу.

— Есть условный знак, означающий «весьма важно»,—

сказала Мария Александровна, листая страницы,— и второй знак, что книгу надо передать Наде.

— Как хорошо, что мы с вами здесь встречаемся и можем немедленно выполнять поручения наших детей! — Елизавета Васильевна подошла к окошку, протянула книгу и с замиранием сердца следила, как тюремщик перелистывал страницу за страницей.

Затем он небрежно кинул книгу на стол, и у матери отлегло от сердца.

Обе матери постояли, посмотрели на тюремные стены, словно видели сквозь них своих детей, и пошли на набережную Невы. Можно было вдоволь наговориться, не таясь высказать тревоги и предположения. Мария Александровна и Елизавета Васильевна хорошо понимали друг друга и за эти дни стали большими друзьями.

Надежда Константиновна поминутно смотрела на часы и с нетерпением ждала, когда в камеру принесут чай. Сидела перелистывала книгу и очень волновалась. «Какое-то важное сообщение. Неужели еще кто-то арестован? Или, может быть, Владимиру Ильичу объявили приговор?» — думала она и поглядывала на дверь.

Загремел засов, вошла надзирательница. Надежда Константиновна подставила жестяную кружку и с радостью почувствовала, как нагревается ручка: из чайника лился крутой кипяток.

Едва надзирательница закрыла за собой дверь, Надежда Константиновна схватила книгу... Сообщение на странице двадцать пятой... Вот она, эта страница. Надо спешить, пока не остыла вода. Осторожно вырвала из книги лист, оторвала от него сверху поперечную полоску, опустила в кипяток. Вынула — пусто. Оторвала еще одну полоску. Долго держала в кипятке и — вот досада! — порвала так, что на полоске проявились только верхние кончики букв. Опустила в круж-

ку третью полоску, а чай уже остывает, молочные чернила плохо завариваются. Вдруг не проявятся? Нет, вылезли нижние кончики букв.

На этих двух полосках всего одна строчка. Значит, сообщение еще впереди. Рвет полоски, опускает в кружку, вынимает, подносит ко рту, стараясь горячим дыханием проявить тайнопись. Больше ничего нет. Важное сообщение в одной строчке.

«Что это может означать?» — с нарастающей тревогой думает Надежда Константиновна, соединяет обе полоски, восстанавливает разорванную строчку. Вглядывается близорукими глазами в бледные буквы...

— Неужели правда? — шепчет она почти испуганно.

Четким крупным почерком тщательно и твердо выведено: «Я Вас люблю!»

— «Я вас люблю!» — повторяет она. Еще и еще раз читает, беззвучно смеется. Долго сидит, подняв голову, приложив ладони к пылающим щекам.

Под потолком, из глубокого проема окна, виднеется нестерпимо яркий кусочек неба, и, когда смотришь на него, не замечаешь ни шершавых грязных стен камеры, ни ржавой решетки, забываешь, что сидишь в тюрьме.

В ССЫЛКУ

Февральская метелица гудела и посвистывала по питерским улицам, наметала косые синие сугробы на панелях, обдавала снежной пылью, перехватывала дыхание.

Мария Александровна прохаживалась вдоль тюремной стены и не отрывала глаз от зеленого квадрата дверцы. Каждый раз, когда скрежетал ключ в замке и громыхал засов, она подавалась вперед, вытягивала голову — вся в нетерпении, в ожидании.



Дверца распахивалась, над высоким железным порогом сначала появлялась нога в сапоге, за ней вываливалась фигура жандарма в голубоватой шинели. Мария Александровна снова втягивала голову в плечи и опять шагала. Порой она останавливалась, с тревогой поглядывала на свои руки в вязаных нитяных перчатках и, разведя их в стороны, смотрела под ноги, словно что-то обронила. Нет, ничего не обронила, но пальцы не ощущали привычной тяжести узелка с передачей. Сегодня она пришла к тюрьме с пустыми руками, без связки книг, без бутылок с молоком, даже не взяла с собой ридикюля, чтобы вот этими свободными от ноши руками обнять сына.

Сегодня его должны выпустить из тюрьмы на свободу... Мария Александровна грустно улыбнулась. На свободу... чтобы отправиться в ссылку. Сколько он пробудет дома? Нет, не дома, а в кругу семьи. Никакого дома нет, дом был, а сейчас случайные меблирашки, хозяйские неуютные квартиры. Но разве в этом счастье? Дом там, где семья. А всем вместе, кажется, быть не суждено. Она, мать, поедет вместе с Владимиром в Сибирь, он не будет в ссылке один. Разрешение на ее поездку уже получено, но Володя об этом еще ничего не знает.

Лучики-морщинки разбежались от уголков засветившихся глаз матери. Он, конечно, будет возражать и все равно обрадуется...

Уже много раз с визгом распахивалась дверца в тюремной стене, а его все нет. Метелица запушила белым мехом ротонду, превратила козий воротник в горностай.

Более четырнадцати месяцев ходила Мария Александровна к этим воротам, протягивала в окошко узелок с передачей, четырнадцать месяцев не было и часу покоя. Чем кончится дело? Засудят на каторгу? А может быть... Как бы ни заверяли ее дети и друзья, что дело кончится ссылкой, а вот десять лет пульсирует в сердце рана. Десять лет назад она ехала с передачей к старшему сыну и еще не знала, что Саше уже не нужно молоко, что его повесили в ту ночь... И сейчас, пока не прижмет к себе Владимира, не услышит, как бьется его сердце, ничему не поверит, не успокоится.

Почему его так долго нет? А впрочем, часы не назначены, просто объявили, что выпустят из тюрьмы четырнадцатого февраля.

Прюнелевые ботинки вытаптывают елочкой тропинку вдоль тюремной стены, и, как бы ни заметала следы метелица, тропинка становится все глубже, все явственнее.

«Как это я раньше не догадалась, что мне тоже нужны валенки, в прюнелевых башмаках в сибирской деревне не

обойдешься. Все ли я подготовила для сына?» — перебирает в памяти мать. Валенки есть, и теплое белье припасла, и отцовская шуба будет хорошей защитой от сибирских морозов. Не одну сотню верст исколесил в этой шубе по Симбирской губернии Илья Николаевич и не думал, не гадал, что она пригодится среднему сыну в ссылке; и никогда отцу не приходила в голову мысль, что так страшно оборвется жизнь его старшего сына Александра...

Снова заскрежетал засов, и в темном проеме вдруг неожиданно появился он, Володя, появился весь сразу, перемахнул через порог, широко распахнул руки и озорно засмеялся. Мать подалась вперед, а ноги словно пристыли, не двигаются, рванулась раз, другой, схватила за руку сына и потащила его прочь от тюремных ворот, от этих стен.

— Скорее, скорее домой,— торопила Мария Александровна.— Аня ждет.

Владимир Ильич прижал мать, стряхивает с ее плеч снег, и мать слышит стук сердца, его сердца.

— Нам надо взять извозчика,— разомкнул наконец руки Владимир Ильич.

— Нет, нет, пойдем пешком, Сергиевская всего в полутора кварталах отсюда.

— Но мне нужен по крайней мере ломовой извозчик,— смеется Владимир Ильич.— Столько книг накопилось в камере.

Надзиратель, согнувшись под тяжестью перевязанных шпагатом тюков, протискивался через дверцу. Владимир Ильич окликнул проезжавшего мимо легкового извозчика, пересчитал тюки, уложил их в санки и протянул надзирателю монету.

— Премного благодарен, ваше высокоблагородие,— низко кланялся надзиратель.— Премного благодарен.

Владимир Ильич взял под руку мать.

— Вот видишь, только перешагнул порог тюрьмы и сразу стал высокоблагородием.

— И этот титул стоит пятиалтынный,— улыбнулась Мария Александровна.

Они шагали следом за извозчиком, санки доверху были нагружены книгами.

— Я хорошо поработал,— с удовольствием потер руки Владимир Ильич.— Когда в камере делали обыск, у жандармов не хватало терпения перебирать все книги.

Извозчик повернул со Шпалерной на Литейный проспект, прямая широкая стрелка которого терялась в затуманенной вьюжной дали.

— Какой простор! — воскликнул Владимир Ильич.— Мне кажется, что Литейный стал за это время в десять раз шире и длиннее. И как оглушительно шумно, и какая веселая метелица.

— Все было бы отлично, если бы впереди не было Сибири! — заметила с грустью мать.

— Впереди жизнь, свобода, впереди уйма дел, мамочка, и так много прекрасного впереди,— горячо откликнулся Владимир Ильич.

Извозчик въехал во двор дома на Сергиевской улице. Владимир Ильич отметил — двор проходной и из него выход на три улицы. Отлично. Все учтено, квартира выбрана по всем правилам конспирации.

Анна Ильинична, закутавшись в пуховый платок, сбежала с крыльца. Перетащили тюки. Владимир Ильич старательно отряхнул с книг снег, сложил их в углу комнаты.

— А теперь — здравствуйте! — сказал весело.

И вот уже гремит на кухне рукомойник. Владимир Ильич кидает пригоршни воды в лицо, мать стоит рядом с полотенцем, сестра держит в руках свежую рубашку, а потом все трое ходят друг за другом по комнатам.

— Прелестно, замечательно,—говорит Владимир Ильич.

— Тебе нравится наша квартира? — удивляется Анна Ильинична.

— Мне нравятся окна без решеток, мне нравятся эти чудо-двери, которые распахиваются, едва к ним притронешься, двери без железных засовов и глазков. Глазки в дверях — это мерзость. Мне все нравится, что распахивается в жизнь, в мир — большой, просторный, незарешеченный.

Наконец мать уговорила сесть за стол.

— Все чудо, великолепное чудо,—восхищался Владимир Ильич.— Рядом мамочка, Анюта, вот бы сюда Маняшу, Митю и Марка. И можно говорить простым человеческим языком, не опасаясь надзирателей. Вилка, нож — это чудо цивилизации, белая фарфоровая чашка — тоже чудо.

Разговор вперебой, обо всем, и все трое обходят главный вопрос — когда отправляться в ссылку.

— Четыреста тридцать три дня ты просидел в одиночке,— говорит мать.

— Ты считаешь, много? По-моему, маловато,— отвечает Владимир Ильич почти всерьез.— Не успел закончить работу над книгой о рынках. Сначала ужасно раздражал глазок, а потом я приноровился не смотреть на него, а только слышать, как надзиратель отодвигает задвижку, и он, наверно, страшно удивлялся, что я все время жую, а я жевал хлебные чернильницы... Кстати, Анюта, вам хорошо удалось разобрать объяснение программы партии?

— Отдельные страницы слабо проявились, надо, чтобы ты проверил.

— Это у меня молоко скисло. Ужасно досадовал.

— Как ты вырос, Володя,—с невольным уважением сказала Анна Ильинична.

— Это просто у меня лысина увеличилась,— отшутился Владимир Ильич.

— Нет, я о программе и объяснении к ней. Замечательный документ.

Переписывая с Надей проявленные горячим утюгом строчки объяснения программы партии, Анна Ильинична по-иному увидела брата. Это был уже не тот юноша в Ко-

кушкине, который со страстью накинулся на марксистскую литературу, и не тот, который, работая в Самаре, в нелегальных кружках, разбирался сам и помогал другим разобраться в русском народничестве и овладеть марксизмом. Перед ней предстал убежденный марксист, руководитель, видевший далеко вперед.

— Я представляю, как полиция с ног сбилась,— руководство «Союза борьбы» арестовано, а листовки от его имени издаются, рабочие обучаются, как вести борьбу, организовывать стачки.

— Вот, вот, это и нужно было показать — что организация существует, действует. И знаешь, Анюта, кого мы должны благодарить за все это? Мамочку!

Мария Александровна не на шутку рассердилась:

— Ну что ты говоришь, Володя, при чем тут я?

— А молоко?

— Да, но молоко тебе носили и Анюта, и Маня, и Надежда Константиновна.

— Мамочка, а ты не помнишь, что секрету молочных чернил обучила нас ты?

— Но это была простая детская игра,— пожала плечами мать.

— Весьма полезная игра,— серьезно сказал сын.

...Когда Владимира Ильича втолкнули в одиночную камеру и за ним загремел засов, мысль стала напряженно работать над тем, как наладить связь с волей, чтобы рабочие знали, что «Союз борьбы» живет и действует. Надо было заполнить время напряженной работой, сделать все, что было задумано на воле: разработать программу революционной социал-демократической партии, написать давно задуманную книгу о развитии капитализма в России, чтобы завершить идейный разгром народничества. Надо, наконец, переписываться с товарищами, оставшимися на воле. Но как это сделать? Эзоповским языком листовку не напишешь. Надежные шифры разработать не успели. Владимир

Ильич шагал по камере и мучительно думал. Думал о товарищах, думал о родных и, как бы разматывая клубок жизни, незаметно переселился в детство и вдруг вспомнил «волшебную лампу Аладдина» на ломберном столе, и мамины руки над зеленым абажуром, и коричневые строки: «У лукоморья дуб зеленый...» Его охватило счастливое волнение. Молоко! Да, это было настоящее открытие. Написал домашним, чтобы принесли сырое молоко и мягкий черный хлеб. И мама, та самая мама, которая научила этому волшебному письму, вдруг запротивилась: «Сырое молоко и черный хлеб. Ни за что. Опять обострится гастрит». Списался с Надеждой Константиновной, чтобы она взяла у его матери «волшебную лампу Аладдина». И Надежда Константиновна, умевшая, как никто, понимать Владимира Ильича, попросила Марию Александровну вспомнить все, что связано с «лампой Аладдина». Мать вспомнила. Теперь секретом расшифровки тайнописи овладели товарищи на воле. Завязалась переписка и внутри тюрьмы. Больше ста писем написал Владимир Ильич тайнописью; два печатных листа программы социал-демократической партии и объяснительной записки к ней, основные положения и выводы новой книги были написаны молоком, и первомайская листовка, и брошюра о стачках.

Когда Надежда Константиновна была арестована и тоже очутилась в камере на Шпалерной, Владимир Ильич написал ей тайнописью самое сокровенное. И все это молоком. И всему этому научила мама.

— Да здравствует молоко! — поднял Владимир Ильич стакан и залпом осушил его.

Мать наконец решилась спросить о главном:

— А когда тебе ехать в ссылку, Володя?

Владимир Ильич вздохнул:

— Сегодня вечером.

— Но это невозможно! — воскликнули Мария Александровна и Анна Ильинична.

— Да, я тоже считаю, что это невозможно. Мне позарез надо встретиться с товарищами, разработать план действий, выяснить, как здесь жили и работали без нас молодые, что-то похоже, что они решили идти по легкой дорожке, хотят свернуть движение на экономическую борьбу. Надо вырвать разрешение пробыть в Питере три дня, за три дня я все успею.

— Ну что же,— сказала мать,— для этого не нужно волшебной лампы Аладдина. Я напишу прошение и сейчас же поеду в департамент полиции. Уверена, что мне не откажут. Аня, достань визитное платье. Володя, дай чернила, только не молочные.

Мария Александровна раздвинула тарелки на столе и, обмакнув перо в чернильницу, лукаво взглянула на сына:

— Не диктуйте и не мешайте, я знаю, что надо писать.

Директору департамента полиции,— вывела она тонким почерком.— *Сын мой, Владимир Ульянов, приговоренный к ссылке, выпущен только сейчас из заключения и явился ко мне с известием, что его обязали выехать из Петербурга сегодня же вечером. Но вследствие того, что мне невозможно собрать его в несколько часов (меня не предупредили о дне высылки его), у него нет даже теплого белья на дорогу...*

Сын и дочь стояли за спиной матери и следили за бегающим пером. Анна Ильинична, прочитав последнюю строку, рассмеялась.

— Ты посмотри, Володя, сколько мама припасла тебе белья, и папину шубу, и валенки.

— Полиции это знать не обязательно,— резонно возразила Мария Александровна и продолжала писать:

...и деньги, необходимые нам на дальнюю дорогу, я могу получить только завтра в банке...

— Мамочка,— прервал ее Владимир Ильич,— почему ты пишешь «нам», надо писать «ему».

— Погоди, я потом тебе объясню.

...к тому же мне необходимо быть с ним завтра у врача, я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить сыну остаться в Петербурге до вечера 17-го.

Я умоляю Ваше превосходительство не отказать мне в этой просьбе.

Мария Ульянова.

Мария Александровна осторожно приложила розовый лист промокательной бумаги и аккуратно провела по нему ладонью.

— В добрый час! — сказала она.— А теперь я объясню, почему я написала, что деньги нужны на дорогу «нам». Я еду с тобой в Сибирь и уже получила разрешение.

Владимир Ильич протестующе поднял руку.

— Да, Володюшка, это дело решенное. И поедем мы не по этапу. Говорят, что это мучительная процедура — тащиться от одной пересыльной тюрьмы до другой, поедем за свой счет. В департаменте полиции приняли во внимание, что я стара, чтобы таскаться по этапам, и мы едем вместе.

Владимир Ильич смотрел на мать с чувством обожания и какой-то неосознанной вины.

— Мамочка,— сказал он решительно.— Ты не можешь ехать со мной в ссылку, ты нужна здесь, а я должен следовать по этапу вместе с товарищами, я не имею права на привилегированное положение.

— Это дело решенное,— повторила мать тоном, каким говорила в детстве и который означал, что никакие разговоры по этому вопросу недопустимы.— Ты не можешь быть там один.

— А я и не буду один! Я надеюсь быть там с Надеждой Константиновной. Думаю, что ее дело тоже скоро закончится и она приедет ко мне как невеста... как жена,— произнес он тихо и нежно.

Мать почувствовала, что ее оставляют силы, что-то больно задело за сердце. Ведь она ждала и радовалась мысли,

что у Володи будет жена, семья, догадывалась о любви сына к Надюше, и все же... Радость за счастье сына и горечь его потери, потери для себя. Извечная трагедия матери. Как сложно устроено материнское сердце... Но, как всегда, Мария Александровна сумела укрыть где-то в недоступном уголке души эгоистическое чувство, взглянув в глаза сыну, сказала:

— Твое счастье, Володя,— это мое счастье.

Владимир Ильич острым взглядом подметил душевное смятение матери и, когда она спросила его, может ли он выполнить ее просьбу и ехать не по этапу, понял, что это нужно ей, нужно для ее душевного покоя, что он не может огорчить ее, и твердо ответил:

— Хорошо, я поеду за свой счет.

Мать с благодарностью провела рукой по щеке сына, тоже поняла, что он поступился своими принципами ради нее.

— Надюша — прелестная девушка, умница и товарищ отличный,— ликовала Анна Ильинична.— Маняша будет в восторге, она всегда предсказывала, что вы поженитесь.

— Да, да, Надюша будет отличной подругой, лучшей жены и желать нельзя,— искренне сказала Мария Александровна и, спохватившись, заторопилась — присутственные часы в департаменте подходили к концу.

Владимир Ильич вызвался проводить ее.

К департаменту подъехали за несколько минут до конца приема.

Мария Александровна легко взбежала на второй этаж и подала дежурному офицеру визитную карточку.

— «Вдова действительного статского советника Мария Ульянова»,— прочитал офицер и, откозыряв, проскользнул за дубовую дверь. — Пожалуйста, не задерживайте его превосходительство,— предупредил офицер, распахнув дверь в кабинет.

— Ваше превосходительство,— обратилась Мария Александровна к генералу,— только очень спешное дело заставило меня еще раз беспокоить вас. Вы были столь любезны и разрешили мне следовать в ссылку за моим сыном Владимиром Ульяновым. Но ему приказано выехать из Петербурга сегодня, и для меня это было полной неожиданностью, я не собралась и не купила в дорогу самое необходимое.— Она протянула прошение.

Сановник взял двумя пальцами бумагу, пробежал ее глазами и вздохнул, раздумывая.

— Ваше превосходительство, только три дня! — умоляюще воскликнула Мария Александровна.

— Хорошо, хорошо,— с раздражением ответил генерал и, передав стоявшему рядом адъютанту прошение, продиктовал: — «Ввиду отъезда с матерью, разрешить. Упомянуть об этом в бумаге градоначальнику».

Подписывая резолюцию, генерал ворчливо заметил:

— Напрасно, напрасно в ваши годы вы отправляетесь в Сибирь. Не советовал бы. Пусть сын сам несет наказание за содеянное, не стоит баловать.

— Сердечно благодарю, ваше превосходительство,— ответила Мария Александровна, думая о своем.

Владимир Ильич, едва взглянув на мать, по ее сияющим глазам понял, что разрешение получено. Три дня в Питере. Это победа, можно многое успеть, протянуть ниточки связей в далекую Сибирь, успеть поспорить, отстоять принципы, посмотреть на молодых, которым суждено продолжать их общее дело здесь, в Питере.

Владимир Ильич бережно усадил мать в санки, пристегнул полог.

— Сегодняшний вечер мы проведем вместе? — спросила мать.

— Мамочка,— шепнул Владимир Ильич,— мне необходимо сегодня же повидаться с товарищами, и мне удобнее сойти по дороге. Если филеры и следят за мной, то дежурят

возле дома, а не ждут меня здесь, у полицейского департамента.

Мария Александровна подавила вздох:

— Делай как лучше, тебе виднее. Только очень прошу, не задерживайся слишком поздно. Мы с Аней будем тебя ждать. Ты ведь и пообедать как следует не успел.

Снежная пыль мела в лицо, санки переваливались по ухабам, темнело, один за другим зажигались газовые фонари, и вокруг них роились тучи белых комаров-снежинок, загорались фонари у подъездов домов, в их свете искрились инеем гранитные цоколи. Невский выглядел торжественно и празднично в сияющем фейерверке снегов.

Поворачивая на Садовую, извозчик чуть придержал лошадей. Владимир Ильич прижал к губам руку матери, откинул полость и соскочил с подножки. Мария Александровна следила, как ее сын, подняв воротник пальто, словно растворился в косматой метелице...

500 РУБЛЕЙ

— Вы являетесь членом преступного сообщества, возмущаете умы рабочих. У вас, неимущего студента, обнаружено пятьсот рублей,— перечисляет следователь «преступления» студента Московского университета Дмитрия Ильича Ульянова.

Дмитрий Ильич молчит.

— Сознайтесь, на какие преступные цели и от кого вы получили эти деньги? — продолжает допытываться следователь.

Дмитрий Ильич молчит.

Да, он действительно состоит в тайном студенческом марксистском кружке, ведет занятия с рабочими на заводе Гужона, разъясняет им, кто повинен в их тяжкой доле, организует их на борьбу за свои права, за свободу. Даже состав

членов кружка лежит перед следователем, записанный в студенческой тетради Дмитрия Ильича. Но фамилии записаны невидимыми чернилами между строчек лекции по анатомии. А пятьсот рублей студенты и рабочие собрали на организацию подпольной типографии. Утратить эти деньги нельзя. Типография должна действовать. А как их спасти, когда они уже в руках полиции?

— Кто вам дал эти деньги? — уже кричит следователь.

Дмитрий Ильич молчит и будет молчать до тех пор, пока не придумает выход из положения.

Взбешенный следователь велит увести заключенного в камеру. Не сегодня, так завтра он заставит заговорить этого студента, заставит сознаться.

«Надо написать письмо маме,— решает Дмитрий Ильич,— она выручит». Письмо будет тщательно просматриваться в тюремной канцелярии. Его надо зашифровать. Как же мама узнает, что письмо содержит шифр?

Подумав, Дмитрий Ильич садится за письмо. Пишет долго, много, пишет все, что приходит в голову. Следит только за тем, в каком слове сделать грамматическую ошибку. «Нелегко писать с ошибками! Просто невероятно трудно»,— усмехается про себя Дмитрий Ильич.

Письмо послано.

Теперь он уверен, что мама выручит.

«Что за странное письмо?» — перелистывает Мария Александровна исписанные листки. Две бессонные ночи провела она после ареста Мити — и вот это письмо. О чем только он не пишет: и о сердечных болезнях — это то, что они проходят сейчас на медицинском факультете, и воспоминания из детства, и о корове Красавке. Подробно излагает содержание книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Огромное письмо, а о себе только в конце сообщает, что здоров и надеется скоро быть дома. Пишет словно не из тюрь-

мы, а с прогулки во время каникул. И так много ошибок, это непохоже на Митю, с огорчением думает Мария Александровна. Уж не заболел ли он? Что за нелепая фраза:

В у —
глу м ышь седит на менния глядит!
Бяда!

Мария Александровна подчеркивает ошибки, всматривается в слова и вдруг видит, что из ошибок составилось:

«В *у*глу *м*ышь с*е*дит на мен*н*я глядит. Б*я*да!» «У меня...» Письмо, видно, не простое, а шифрованное.

Мария Александровна тщательно выписывает ошибки и читает подчеркнутые ею буквы. Получилось новое письмо: «У меня отобрали пятьсот рублей. Три ассигнации по сто, четыре по пятьдесят. Предупреди Марка, что эти деньги он дал мне на обзаведение хозяйством. Пусть получит обратно».

Мария Александровна поспешно одевается, едет к Марку Тимофеевичу.

На третий день следователь вырвал «признание» у арестованного. Дмитрий Ильич сообщил, что деньги его личные и что он получил их взаймы от мужа сестры Марка Тимофеевича Елизарова. «Признался»,—и сердце сжалось. А что, если мама не сумела раскрыть шифр или письмо задержали в тюремной канцелярии?

Следователь вызвал Елизарова.

— Какими средствами располагает Дмитрий Ульянов?— спросил он.

— Какие средства могут быть у студента? Никаких.— Марк Тимофеевич пожал плечами.

— Так-с, никаких,— обрадовался следователь.— Вот это нам и нужно было знать.

— Поэтому я и ссудил Дмитрию Ульянову пятьсот рублей на обзаведение хозяйством. Он студент четвертого кур-

са. Я полагал, что он кончит университет, станет работать врачом и вернет мне деньги.

— Ульянов из университета исключен,— отрезал следователь.

— Значит, зря я ему давал,— вздохнул Елизаров.— Он, наверно, успел их истратить?

— Нет,— ответил следователь,— деньги отобраны при обыске.

— Тогда прошу вернуть их мне.

— А не помните ли вы, сколько ассигнаций вы ему дали, какого достоинства?

— Три ассигнации по сто рублей и четыре по пятьдесят,— отвечает Марк Тимофеевич, вспомнив записку, переданную ему Марией Александровной.

— Совершенно верно,— вздыхает следователь.— За получением их обратитесь в тюремную кассу.

ЦВЕТЫ В КАМЕРЕ

Мария Ильинична, сцепив руки за спиной, ходит по камере, отсчитывает тысячу утренних шагов. В последнем письме мама просила не засиживаться за вязанием, спрашивала, сколько шагов в длину ее камера, и очень просила побольше маршировать.

— Восемьсот двадцать... восемьсот тридцать...— отсчитывает Мария Ильинична шаги десятками. Отсчитывает и знает, что мама недаром спрашивала, сколько шагов в камере.

Она тоже утром делает тысячу шагов по комнате, занимается гимнастикой, делает холодные обтирания, чтобы сохранить силы, которые так нужны ее детям. Милая мамочка! С какой готовностью она пошла бы в тюрьму вместо каждого из своих детей, так же, как добровольно решила идти в ссылку с ней, дочерью.

— Восемьсот девяносто... девятьсот... — считает Мария Ильинична и ходит, ходит, нахмурив темные брови, сцепив пальцы.

Кто придумал тюрьму? Кто-то очень жестокий, с черным, волчьим сердцем. Нет тяжелее доли для революционера, чем заключение в тюрьме. И заключают его в тюрьму за то, что он очень любит свободу и к этой свободе зовет людей.

Осенью Мария Ильинична должна была ехать в Брюссель заканчивать университет. Каникулы проводила в Москве и, конечно, не могла сидеть сложа руки: включилась в работу Московской партийной организации, стала ходить в рабочие кружки и попалась в лапы полиции. Заграничный паспорт у нее отобрали. Двери университета захлопнулись. А в московской охранке в деле Марии Ульяновой появилась следующая запись:

Мария Ульянова несомненно поддерживает революционные традиции своей семьи, все члены коей отличаются крайне вредными направлениями. Так, брат ее Александр казнен в 1887 году за участие в террористическом заговоре; Владимир сослан в Сибирь за государственное преступление, и Дмитрий недавно подчинен гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и муж ее Марк Тимофеевич Елизаров, под гласным надзором полиции, ведет постоянные сношения с заграничными деятелями.

— Девятьсот сорок... девятьсот пятьдесят...

Приоткрывается форточка в двери, и надзирательница бросает в камеру письмо.

Мария Ильинична поднимает с пола узкий конверт.

— От мамочки! — кладет письмо на стол и продолжает ходить.

Надо обязательно вышагать эту тысячу. Мама спросит, и обмануть ее нельзя. «В последнее свидание я заметила сильную одутловатость на лице твоем», — писала Мария Александровна в предыдущем письме. Одутловатости быть не должно. И Мария Ильинична шагает.

— Тысяча! Наконец-то,— облегченно вздыхает она, берет письмо и торопится оторвать кромку конверта.

Листок почтовой бумаги обезображен коричневыми полосами с угла на угол, вдоль и поперек. Это следы ядовитой кислоты, которой выявляют тайнопись. Сквозь ржавые полосы еще ярче проглядывают строки письма — мамин изящный, ровный почерк.

Мария Ильинична с жадностью читает письмо.

Нагулялись досыта, набрали по большому букету полевых цветов. Хотелось мне очень отвезти свой тебе, но, к сожалению, там не берут цветов...

Эти строчки сплошь залиты кислотой. Вот здесь-то, наверно, решил полицейский чиновник, за этими цветами, и скрывается тайный смысл. К чему, иначе, писать в тюрьму о цветах.

Будь здорова, моя дорогая, так желает очень твоя мама.

М. Ульянова.

Мария Ильинична перечитала еще раз дорогие строки и задумчиво смотрит на столик в камере — грубо сколоченные три доски, почерневшие от времени. И в ее воображении на столе возникает большой желтый обливной кувшин, любимый кувшин мамы, и в нем цветы. Как красиво подобран букет... Так умеет только мама. Вот клейкая полевая гвоздика, которую в поле и не заметишь, сиреневые левкои, желтый львиный зев, и чудится: в раструбе цветка копошится пчела, вытягивая хоботком сладкий нектар, кукушкины слезки дрожат на тоненьких волосках, даже красные метелки щавеля украшают букет. И как много в нем васильков — любимых цветов Марии Ильиничны. И вот уже не букет перед нею, а освещенный солнцем луг с травой по колено, и в траве цветы, цветы, а над лугом опрокинут океан воздуха, и какой это воздух! Вкус и аромат особенно умеют ценить люди, посидевшие в тюрьме. Так пахнет свобода, так благоухает сама жизнь.

Мама понимает это.

Сестра Анна понимает. «Я по сравнению с тобой прямо миллиардерша какая-то относительно воздуха. Да нет, еще богаче»,— писала ей недавно Аня.

В дверях камеры визжит ключ.

— На допрос! — сонным голосом говорит надзирательница.

Мария Ильинична щурит глаза — перед нею все еще поле и солнце, жужжат пчелы, теплый ветер касается щек...

— Назовите членов преступной социал-демократической организации, в которой вы состоите,— начинает допрос следователь.

— Не знаю,— коротко отвечает Мария Ильинична.— Не знаю,— повторяет она, и в глазах играют отсветы солнца; следователя от нее заслоняет мамин букет—васильки, львиный зев, гвоздика. Полицейского и революционерку разделяет огромное поле, освещенное солнцем, и трава по колено, и океан воздуха.

Ничего этого не видит следователь. Не понять его жандармской душе, что простые слова матери в письме к дочери, желание послать ей в камеру букет цветов и с ними воздух полей так же сильны, как сильна вера революционерки в правоту своего дела, вера в победное завершение борьбы ради того, чтобы все люди могли наслаждаться и воздухом, и цветами, и самой свободой.

Следователь бессилен перешагнуть это поле. Он пристально смотрит на Марию Ульянову и не видит следов уныния. Что-то очень важное сообщили ей сегодня в письме, думает он, что-то очень хитро зашифрованное, от чего она так уверенно держит себя на допросе и так безмятежен ее вид, словно она на прогулке, на воле, а не в тюрьме перед ним, следователем.

— Уведите,— приказывает он надзирательнице.

КОСТРЫ

Дождь лил не переставая третий день. Цветы на клумбах полегли, в лужах плавали мелкие зеленые яблоки, сбитые ветром. Примолкли птицы. Река вздулась от дождей и плескалась у самой изгороди.

Ненастье и тревога полонили маленький бревенчатый домик. А еще недавно стояли жаркие июньские дни и в доме было светло и празднично. Вся семья Ульяновых ждала дорогого гостя — Владимира Ильича.

Мария Александровна сняла этот желтый домик в живописном месте Подмосковья на берегу реки Пахры. Три окна смотрят на дорогу. Позади дома небольшой фруктовый сад, у крыльца развесистые ивы. В углу сада беседка, и перед ней крокетная площадка.

«Все здесь напомнит Володе детство»,— думала Мария Александровна. И комнату Владимиру Ильичу приготовили в мезонине. Она такая же крохотная, какой была его комната в Симбирске.

Для себя Мария Александровна облюбовала комнату, как и всегда, окном на дорогу, на переднем крае, чтобы видеть, когда дети возвращаются домой, и хоть на несколько минут сократить ожидание, и чтобы ночью первой услышать хруст гравия под тяжелыми полицейскими сапогами и суметь предупредить детей и первой встретить опасность.

Еще десять дней назад матери казалось, что все беды миновали, дети на свободе, Владимир Ильич вернулся из трехлетней сибирской ссылки. Полиция запретила жить Ленину в промышленных центрах, и он поселился в Пскове, чтобы быть ближе к революционному Питеру. Из старинного русского города стал протягивать во все концы России нити связей с рабочими кружками, с революционерами, готовил создание общерусской партийной газеты.

В начале июня обещал приехать погостить в Подольск.

Но вот пришла тревожная весть: Владимир Ильич снова арестован в Петербурге, уже вторую неделю сидит в тюрьме. Мария Александровна не вынесла нового испытания — слегла. Оттого пасмурно и неуютно стало в маленьком доме и так беспокойно у всех на сердце. Даже собака Фридка приуныла, лежит у ног Дмитрия Ильича, вздрагивает чутким ухом, посматривает умным глазом на хозяина, понимает, что не до нее теперь.

В комнате у Марии Александровны врач.

Анна Ильинична, Мария Ильинична и Дмитрий Ильич сидят в столовой, ждут, что скажет доктор, вполголоса обсуждают, как выручить брата из тюрьмы. Дмитрий Ильич перелистывает медицинский учебник — ищет способ помочь маме справиться с болезнью. Арест Владимира Ильича — огромная беда для всех, крушение планов по созданию революционной газеты. Но сестры и брат ничем помочь не могут: Мария Ильинична и Дмитрий Ильич сами недавно освободились из тюрьмы, Анна Ильинична и ее муж Марк Тимофеевич тоже находятся под наблюдением полиции...

За окном шумит дождь, по стеклам хрустальными спиралями стекают струи, листья мокрыми ладошками стучат в окна, квохчет курица под крыльцом, уговаривает глупых цыплят посидеть спокойно под теплым крылом, подождать, пока кончится несносный дождь.

Доктор Левицкий вышел из комнаты Марии Александровны. Все трое поднялись ему навстречу.

— Что вы находите, Вячеслав Александрович? — обеспокоенно спросила Анна Ильинична.— Какое лечение?

— Ничего страшного, ничего страшного. А лечение — свежий воздух, прогулки и волнения только радостные.

— Но у мамы больное сердце, ей столько пришлось пережить,— говорит Мария Ильинична.

— И шестьдесят пять лет дают о себе знать,— добавляет Дмитрий Ильич.

Доктор пощипал бородку, внимательно посмотрел на книгу, которую Дмитрий Ильич держал в руках.

— Дорогой коллега,— сказал он.— Не ищите! Сердце матери еще ни в одном медицинском учебнике не описано, тайны его могущества не раскрыты. А хорошая доза радости для него самое лучшее лекарство... Да-с. Я разрешил вашей матушке вставать. Завтра снова наведаюсь. Честь имею кланяться!

Дмитрий Ильич пошел проводить доктора. Левицкий был его большим другом. Когда Дмитрий Ильич приехал в Подольск отбывать свою ссылку, никто не хотел брать на работу крамольного студента, исключенного за революционную деятельность из университета. А Левицкий согласился взять его к себе помощником и сам потянулся всем сердцем к семье Ульяновых.

Сестры направились в комнату матери, но она сама шла им навстречу — одетая, причесанная.

— Мамочка! Как ты себя чувствуешь?

— Лучше,— ответила Мария Александровна. Она старалась держаться бодро, только чуть вздрагивала голова.— И сегодня я еду в Петербург.

— Но ты же больна. Нельзя тебе! — воскликнули с отчаянием сестры.

— Не могу я бездеятельно сидеть и ждать. Может быть, мне и удастся облегчить участь Володи. Подам прошение в жандармское управление... Митенька,— обратилась она к сыну,— сходи, пожалуйста, на станцию, купи мне билет третьего класса до Петербурга. Да оденься получше, главное — не промочи ноги. Такой унылый, нескончаемый дождь.

Все трое понимали, что отговаривать маму от поездки бесполезно; они пытались только убедить ее ехать во втором классе.

— Нет, нет,— возражала Мария Александровна,— деньги надо беречь. Может быть, Володе потребуется адвокат.

Анечка, приведи в порядок мое визитное платье, а мы с Маняшей соберем саквояж.

Дмитрий Ильич надел плащ, прицепил поводок к ошейнику Фридки и отправился на вокзал. Анна Ильинична вынула из гардероба черное платье и стала прилаживать к нему свежий воротничок.

«Славный мамочкин боевой мундир»,— подумала она с нежностью.

Не для праздных визитов было сшито это платье, а для посещений приемных жандармских управлений, генерал-губернаторов. Каждый раз, когда с кем-нибудь из детей случалась беда, мать вступала в тяжелую, упорную и терпеливую борьбу. Только платье знает, как тревожно билось сердце, а затем и вовсе замирало, слыша жестокое, холодное: «В вашей просьбе отказано». Сколько раз бросали матери упрек, раня ее в самое сердце: «Ваш старший сын повешен». Но она никогда не складывала рук, не приходила в отчаяние, а, сжав тонкими пальцами перо, вновь и вновь писала прошения, писала так, как принято было писать: «Милостивый государь! Честь имею покорнейше просить...» Сколько таких прошений хранится в архивах жандармских управлений! Сколько раз, придя домой из присутствия, мать на пороге дома засовывала взмокший от слез платок в глубокий карман платья...

Шумит за окном дождь. Квохчет под крыльцом курица. Стучатся мокрые листья в окно.

В равномерный унылый шум врывается звон колокольчика, в передней и в комнатах словно закружился веселый летний ветер.

— Мамочка! Володя приехал! Мамочка!

— Володюшка! Володюшка! — спешит мать навстречу сыну.— Здоров? Свободен?

— Архиздоров, совершенно свободен и счастлив безмерно.— Владимир Ильич скинул мокрое пальто и обнял мать.

— По дороге на станцию встретил! — кричит восторженно Дмитрий Ильич.— Вижу, кто-то спешит, шагает, не разбирая луж. Кто это может так спешить в нашем Подольске? Пригляделся — Володя!

— Володенька, братик, скажи, что я не сплю и что все это на самом деле,— теребит брата Мария Ильинична.

— Анечка, убери скорей мое визитное платье,— просит Мария Александровна.— Теперь оно мне не понадобится.

— С превеликим удовольствием, мамочка! — Анна Ильинична водворяет платье на место. Плотно-плотно закрывает шкаф, словно опасаясь, что черное платье может снова вторгнуться в их счастливую жизнь.— Дай-ка я тебя еще раз поцелую,— обнимает она брата.

Сестры собирают на стол, Дмитрий Ильич раздувает самовар, Фридка, высунув розовый язык, носится по комнатам, ластится к новому другу, трется круглой мохнатой головой о его бок, будто понимает, что тот был в большой опасности. Фридка — породистый сенбернар — не даст в обиду своего хозяина и его друзей. Она умеет помочь путешественнику, попавшему под снежный обвал в горах. В метель и стужу с сумкой красного креста на шее она бесстрашно пробирается по кручам над бездной, сильными лапами откапывает пострадавшего. Часто рискует жизнью, чтобы защитить своего друга — человека.

— Ладно, ладно,— гладит Владимир Ильич по голове Фридку,— иди на место, дай знать, если сюда жандармы вздумают припожаловать.

И Фридка словно понимает, идет в переднюю, ложится у порога, поднимает настороженное ухо.

Радость, смех снова вернулись в маленький дом.

Владимир Ильич бережно усадил Марию Александровну на диван и сел рядом с ней.

— До чего же хорошо дома, просто прелесть! Представляю, как здесь красиво в солнечную погоду.

— Здесь даже в ненастье уютно,— уверяет счастливая мать.— Посмотри, какой светлый дождь за окном.

— Ну, расскажи, Володёк, как тебе удалось выбраться из тюрьмы и как ты попался,— просит Анна Ильинична.

Мария Александровна садится к самовару, разливает чай.

— Приехал в Питер и... подцепил «хвост»,— смеется Владимир Ильич.— Когда жандармы меня схватили, первой мыслью было: как бы освободить карманы. Но куда там! Два дюжих фараона закрутили мне руки назад, а третий зорко следил, чтобы я что-нибудь не сжевал. А в карманах у меня просто сейф: две тысячи рублей получил от Калмыковой на газету, большое письмо Плеханову с подробным планом организации газеты, зашифрованные записи явок, адреса конспиративных квартир.

— Умереть можно от страха,— поеживается Мария Ильинична.

— Но,— поднимает палец Владимир Ильич,— все это было записано молоком, лимонной кислотой и разной прочей снедью, записано между строчек на всяких счетах и квитанциях. Сижу в камере и раздумываю: догадаются жандармы все эти счета утюгом прогладить или нет?

— Уверен, что не догадались! — воскликнул Дмитрий Ильич.— Когда меня арестовали, у меня в кармане был список членов кружка на заводе Гужона. Молоком записал, а проявить они не догадались.

Владимир Ильич серьезно посмотрел на брата.

— Учти, что жандармы будут умнеть вместе с ростом нашей организации. Надеяться на их тупость легкомысленно, и нам надо подумать о стойких химических чернилах, об искусной конспирации...

— Ну, а потом что было? — нетерпеливо спрашивает Мария Ильинична.

— Через десять дней меня вызвали и строго предупредили о том, что в Петербург и еще в другие шестьдесят



городов мне въезд запрещен и чтобы из Пскова я никуда не отлучался. Вернули мне в целости и сохранности все бумажки, счета и деньги. Я просто глазам своим не поверил. «Вот олухи царя небесного»,— подумал я и тут же вежливо попросил разрешения поехать к вам в гости.

Одного Владимира Ильича не пустили. Приставили чиновника охранного отделения, который привез его в Подольск и сдал местному полицейскому исправнику.

Здесь ждало новое испытание. Исправник потребовал заграничный паспорт Владимира Ильича, повертел его в руках и неожиданно сунул к себе в стол. «Нечего вам по заграницам ездить,— сказал он,— паспорт останется у меня».

— Вот тут я страшно разозлился,— продолжает Владимир Ильич.— Я понял, что этот старый плут и мошенник запер в свой мерзкий стол все наши планы по созданию газеты. Возмущенный донельзя, я крикнул: «Буду жаловаться на ваши незаконные действия начальству». Крикнул так свирепо и угрожающе, что перепугал старикашку. Он живо отпер стол и, видя, что я собираюсь уходить, стал просить меня забрать паспорт и никому не жаловаться.

Последние слова Владимир Ильич произнес сквозь смех и, откинувшись на спинку дивана, смеялся взахлеб, до слез.

Ему вторил звонкий смех Марии Ильиничны.

— Ты получил заграничный паспорт? — спросила Мария Александровна, стараясь не выдать своего огорчения.

— Да, мамочка! Я должен ехать в Германию.— Владимир Ильич встал и по привычке конспиратора накинул на двери крючок, плотнее закрыл окно и тихо продолжал:— Мы задумали большое дело — решили издавать газету.

Владимир Ильич с увлечением стал рассказывать о своих сокровенных планах. Рабочие поднимаются на борьбу. Нужен главный штаб, который бы направлял борьбу против царизма. Нужна общерусская газета, которая объяснит миллионам рабочих и крестьян их задачи, выработает единую

программу действий, подготовит создание революционной партии пролетариата. План организации газеты продуман, но издавать в России ее нельзя из-за полицейских преследований. Поэтому решено печатать ее за границей. Тайными путями газета будет доставляться в Россию и здесь через верных людей распространяться среди рабочих.

Владимир Ильич успел уже побывать в Риге, Смоленске, Петербурге, Москве и везде создал опорные пункты для газеты, условился с товарищами о способах связи, пересылке корреспонденции.

— Как решили назвать газету? — спрашивает Анна Ильинична.

— «Искра». «Из искры возгорится пламя». Помните?

— Да, да,— говорит Мария Ильинична,— это из ответа декабристов Пушкину.

Мария Александровна слушает детей и понимает, что задумано важное дело.

— В добрый час! В добрый час! — шепчет она.

— И, кстати, я покушаюсь на тебя, Анюта,— говорит Владимир Ильич.— Тебе придется ехать вслед за мной в Германию, помочь в организации газеты. Кончится срок ссылки у Надюши, и она приедет к нам.

— Вот когда Анины литературные таланты пригодятся,— замечает Мария Александровна.

Анна Ильинична даже вспыхнула от радости. Она всегда рвалась к литературной работе, писала рассказы для детей, переводила книги с итальянского, английского, немецкого языков. А теперь такое важное и почетное дело — издавать газету для рабочих.

— Вот бы съездить на Волгу — в Самару, в Нижний, по пути завернуть в Сызрань, затем проехаться к Надюше.

— Соскучился? — сочувственно спросила мать.

— Очень! — искренне вырвалось у Владимира Ильича.— Это первая наша разлука. И связи Надюша там успела завести среди революционеров. Очень хотелось бы с ними

встретиться. Разложить везде костры. Рабочие рвутся к борьбе. Горючего в России становится все больше. Вот «Искра» и должна будет их зажечь.

— А если тебе попросить разрешения у полиции? — спросила Мария Александровна.

— Уже просил, и не единожды. Наотрез отказали.

Мария Александровна задумалась.

— Пойдем, я покажу тебе твою комнату.

По скрипучим ступенькам поднялись наверх.

— Как в Симбирске! — воскликнул Владимир Ильич, поднял руку и коснулся пальцами потолка.

Налево у стены железная кровать, покрытая клетчатым пледом, направо окно и дверь на балкон. У окна небольшой письменный стол и лампа под зеленым абажуром, и на этажерке любимые книги: Чернышевский, Добролюбов, Лермонтов, Пушкин.

— Отдохну здесь всласть,— говорит Владимир Ильич,— и поработаю отлично. Я вызвал сюда товарищей, надо с ними посоветоваться. А пока они приедут, я буду проводить все время с тобой.

Владимир Ильич вышел на балкон. Дождь перестал. Из сада потянуло запахом цветов. Птицы, обрадовавшись солнцу, запели на все голоса.

— Пойдем, мамочка, посмотрим сад,— предложил Владимир Ильич.— Только надень пальто и, главное, галоши, чтобы, как ты нас учила, не промочить ноги.

Мария Александровна взглянула на сына сияющими глазами:

— Знаешь, Володюшка, я, кажется, придумала, как тебе поехать к Надюше и по твоим «кострам» на Волге.

— Мамочка!

— Да, да. Я должна познакомиться со своей невесткой,— продолжала Мария Александровна, и лучики-морщинки разбежались вокруг глаз.

— С Надей? Ты же с ней знакома.

— Но охранке об этом неизвестно. Женился ты в ссылке, домой жену не довез...

— Полиция не разрешила: еще полгода ей отбывать свою ссылку.

— Так вот, я должна познакомиться с твоей женой. Это мое материнское право, и отказать мне в этом не могут. Я поеду в Петербург и буду просить разрешения.

— Ты можешь ехать в Уфу и без всякого разрешения.

— Не могу же я ехать одна. Мне шестьдесят пять лет. У меня больное сердце... На самом деле оно у меня совершенно здоровое,— поспешила добавить она.— Представить матери свою жену должен сын. Ты, Володюшка! Завтра же я поеду в Петербург.

Владимир Ильич молча обнял мать.

По лесенке поднималась Анна Ильинична.

— Ну, как тебе здесь нравится, Володёк? Наконец-то мамочка дождалась тебя.

Владимир Ильич только развел руками. Вид у него был радостный и чем-то смущенный.

— Анечка,— ласково сказала Мария Александровна,— я еду в Петербург. Придется опять вынуть мое визитное платье, и пусть Митя сходит на станцию. Теперь я могу ехать вторым классом.

Утром пришел доктор Левицкий.

— Я нашел вашу матушку в отличном состоянии,— сказал он Дмитрию Ильичу.

— Вы правы, дорогой Вячеслав Александрович, хорошая доза радости оказалась наилучшим лекарством для нее.

Дмитрий Ильич пригласил доктора в сад.

— Я познакомлю вас со своим братом.

Левицкий слышал о Владимире Ильиче как о революционере и ученом и ожидал встретить пожилого человека в очках и с тросточкой, чинно гуляющего по дорожкам са-

да. Он был очень удивлен, увидев коренастого молодого человека с крокетным молотком на плече. Владимир Ильич, прищурив левый глаз, с живым интересом следил, удастся ли Маняше прогнать свой шар сквозь двойные ворота.

— Ловко! Молодец! — с восторгом воскликнул он.

Переложив на левое плечо молоток, он дружески протянул Левицкому руку и тут же пригласил его принять участие в игре. Владимир Ильич бросил на доктора быстрый, острый взгляд. Вячеслав Александрович был года на два моложе. Густая каштановая борода и мягкая шевелюра обрамляли красивое лицо с правильными чертами. Глубоко сидящие серые глаза говорили об уме и твердости характера, и вместе с тем во всем облике доктора было что-то юношески чистое, доброе.

Дмитрий Ильич видел, что брат и доктор понравились друг другу. День был воскресный, и Владимир Ильич предложил доктору покататься на лодке.

Вячеслав Александрович чувствовал себя удивительно легко с новым знакомым. Ему очень нравились эти люди с широкими интересами, высокой культурой, веселые и общительные, и он понял, что теперь вся его жизнь будет связана с этой семьей.

Владимир Ильич сел на весла, легкими взмахами вел лодку вниз по Пахре и подробно расспрашивал доктора, почему это в Подольском уезде такая высокая смертность среди детей и большой процент забракованных по болезни новобранцев.

— Виноваты в этом, Владимир Ильич, знаменитые фетровые подольские шляпы.

Владимир Ильич вскинул брови.

— Как это понимать?

— Я изучаю сейчас физическое развитие населения Подольского уезда,— объяснил Левицкий,— и установил, что здоровье населения подтачивается постоянным ртутным отравлением. Местные фабриканты при обработке кроличьего

пуха, из которого выделываются шляпы, применяют ртуть. Производство каждой шляпы уносит здоровье одного человека. Я протестую против такого варварского способа, но фабрикант остается фабрикантом. Раз это приносит ему прибыль, ему наплевать на здоровье рабочих.

— Совершенно верно,— ответил Владимир Ильич.— Что же вы думаете делать дальше?

— Я прочитал в одном французском журнале, что во Франции нашли способ безртутного производства шляп. Там вместо ртути применяют едкий калий.

— Знают ли сами рабочие, что они систематически отравляются?

— Я объясняю это не только фабрикантам, кустарям, но и самим рабочим. Но не могут же они бросить работу и умирать с голоду.

— И многим рабочим вы это объяснили?

— Десяткам, многим десяткам.

— А об этом должны знать рабочие всей России. Так же, как и подольские рабочие должны знать об ужасающей эксплуатации в шахтах на Дону, на текстильных фабриках в Иваново-Вознесенске, на Ленских золотых приисках.

— Но как это сделать?

— Надо об этом оповещать всех рабочих через газету и, мало этого, показать им путь к освобождению, научить их организованно бороться с фабрикантами.

Вячеслав Александрович невесело усмехнулся:

— Какая же газета напечатает такое?

— Я знаю такую газету,— твердо сказал Владимир Ильич.— Она называется «Искра». Напишите об этом статью и передайте брату Дмитрию: он знает, куда ее послать.

Владимир Ильич опустил весла и загляделся на берег Пахры.

У воды густые розовые заросли иван-чая, за ними поля-

на, покрытая ромашками, темным шатром раскинулась ива, процеживая сквозь зеленые пряди солнечные лучи.

— Какая красота вокруг, океан воздуха, а люди в этом здоровом краю умирают от отравления, дети обречены на тяжелый рахит. Газета научит рабочих, как им стать хозяевами своей судьбы...

— Вы правы. И если действительно такая газета есть...

— Она будет, непременно будет, дорогой Вячеслав Александрович.

Вернувшись домой, Владимир Ильич шагал по комнатам, с довольным видом потирал руки и наконец сказал брату:

— Интересный человек твой доктор! Он очень дельный. Ты его расшевеливай, заставляй писать корреспонденции в «Искру». Дай ему почитать Маркса... Очень дельный и хороший человек!

Вечером проводили Марию Александровну в Петербург.

— Мамочка совершенно напрасно поехала,— сказала Анна Ильинична, глядя на удаляющийся поезд.— Не дадут ей такого разрешения.

— Но она будет спокойна, что сделала все, что могла. А уж если мамочка что задумала, отговаривать ее бесполезно,— ответила Мария Ильинична.

— Пока она вернется, мы должны очень многое сделать, чтобы потом было больше свободного времени для нее,— сказал Владимир Ильич.

Он попросил брата подобрать подходящую «записную книжку». Дмитрий Ильич предложил только что полученный 5-й номер журнала «Научное обозрение». Этот толстый журнал пришелся по вкусу Владимиру Ильичу. Полистав его, он остановился на статье С. Чугунова «Шейное ребро у человека с точки зрения теории эволюции».

— Вполне подходяще,— сказал Владимир Ильич.— Сюда мы запишем проект программы Российской социал-демо-

кратической партии, и в таком виде его можно будет провезти через границу.

Мария Ильинична налила в чашку молока, вставила новое перо в ручку и принялась аккуратно вписывать молоком между строчек «шейного ребра» проект программы. Ее сменил Дмитрий Ильич.

В субботу из Москвы с работы приехал Марк Тимофеевич. Владимир Ильич посвятил и его в свои планы, и они целую ночь просидели над изобретением «хитрого столика», который должен был хранить партийные документы и быть недоступным для полицейских ищеек.

Марк Тимофеевич закончил чертеж, когда утренние лучи солнца заглянули в комнату на антресолях.

Наверно, английский изобретатель Уатт не работал с таким усердием над изобретением первого универсального парового двигателя, как работали Владимир Ильич и Марк Тимофеевич над этим партийным хранилищем.

Это был шахматный столик в сто клеток для игры вчетвером. Круглая тумба опирается на три изогнутые ножки, на тумбе целое архитектурное сооружение из выдвижных ящичков, и их венчает крышка, отделанная филенкой. Стоит вынуть гвоздик из филенки, и крышка легко отодвинется, как в пенале. Под крышкой вместительное углубление.

— Полицейских будут интересовать прежде всего ящики. Толщину крышки замаскирует филенка. Отличное изобретение! — радовался Владимир Ильич.— Теперь дело за мастером. Нужен очень опытный краснодеревщик, а главное — абсолютно верный человек.

— Есть у меня на примете такой умелец,— сказал Марк Тимофеевич.— За верность его я ручаюсь.

Сейчас мы знаем имя этого умельца. Хитрый столик соорудил рабочий завода Михельсона — краснодеревщик Семен Петрович Шепелёв. Творение его рук позволило партии в течение семнадцати лет, до победы Октябрьской револю-

ции, хранить в нем важнейшие партийные документы. Сколько раз при обысках столик ощупывали, выстукивали, опрокидывали опытные полицейские ищейки. Столик ни разу не выдал тайны. Вот почему и сегодня он занимает почетное место в Центральном Музее Владимира Ильича Ленина. Его, верного ветерана партии, бережно хранят под стеклянным колпаком...

Переписка с товарищами, остающимися в России, будет контролироваться охранкой. Надо придумать хитрые шифры, хорошо запоминающиеся ключи к ним, которые бы не могли раскрыть опытные знатоки конспиративных шифров в охранке. Владимир Ильич придумывал шифры, выверял их, работал с точностью математика и вдохновением поэта. Нужно было подумать и над тем, как сохранить здоровье и бодрый дух товарищей на случай их ареста.

— Ты скоро будешь врачом,— сказал Владимир Ильич брату.— Я хочу спросить у тебя медицинские советы. Как следует держать себя в смысле личной гигиены, если попадешь в каторжную тюрьму? Когда я сидел в «предварилке», я никогда не упускал случая натирать полы в камере и коридорах. Устраивал себе такую славную гимнастику. Но этого мало. Надо научно разработать режим, который бы помог сохранить силы, укрепить волю.

Дмитрий Ильич с удивлением посмотрел на брата.

— Почему ты думаешь о каторге? Ведь ты едешь за границу?

— Всякое может быть,— ответил Владимир Ильич.— Не навек же я туда еду. Эти советы надо широко распространить среди наших товарищей, чтобы каждый был подготовлен и знал, как вести себя в тюрьме.

Наконец приехали муж и жена Шестернины с Тамбовщины и вслед за ними товарищ Владимира Ильича по сибирской ссылке Пантелеймон Николаевич Лепешинский.

Домик на Пахре стал походить на штаб. Когда молодые люди собирались в столовой и начинали вполголоса разгова-

ривать, Фридка шла в переднюю и ложилась у порога. Зато когда все выходили с крокетными молотками в сад, Фридка могла вдоволь бегать по дорожкам, хватать в зубы закатившийся в траву шар, а по утрам, когда все обитатели дома бежали на Пахру купаться, Фридка сидела на берегу и беспокойно водила глазами, следя за пловцами. Больше всего беспокойства ей доставлял Владимир Ильич. Вот он плывет саженками, выбрасывая поочередно вперед руки, и вдруг скрылся под водой. Фридка встает на четыре лапы, вытягивает вперед морду. Пропал человек, нет его. Фридка с размаху кидается в реку, а Владимир Ильич вынырнул на противоположном берегу, выбрался на песок и звонко смеется.

— Что, испугалась? Думала, утонул? — похлопывал он Фридку по мокрой голове.

Вечером к хозяйке дома Кедровой пришел исправник. Он подробно расспрашивал хозяйку, чем занимаются Ульяновы, что за гости к ним приехали, не таятся ли они, не готовят ли заговор против государя императора. Хозяйка с недоумением посмотрела на старика и пригласила его выйти на крыльцо. Из-за забора доносились взрывы веселого смеха, слышался стук крокетных шаров, синий дымок от самовара вился над забором. Приятный тенор запел:

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами,
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных...

— Кто это поет? — спросил исправник.

— Старший сын Ульяновых, Владимир Ильич,— ответила Кедрова.

— Тот самый, который прибыл из сибирской ссылки? — удивился исправник.

— Вам лучше знать, откуда он прибыл. Но он смеется звонче всех и всегда насвистывает или напевает. По утрам вперегонки с подольскими мальчишками плавает в Пахре.

Наговаривают вам на него. Разве революционеры умеют так веселиться? Это вполне благопристойные молодые люди,— уверенно заключила хозяйка.

Поверх забора показалась огромная круглая голова Фридки. Увидев полицейскую форму, она оскалила зубы, глаза ее грозно засверкали, и исправник поспешил уйти в дом.

На третий день вернулась Мария Александровна.

Все дети встречали ее на станции, и никто не задал вопроса: удачно ли она съездила? И она ничего не сказала. Но, приехав домой, она вынула из ридикюля казенную бумагу с печатями и протянула ее Владимиру Ильичу:

— Вот тебе подарок.

— Разрешили? — просиял Владимир Ильич и крепко прижал к себе мать.— Ты не представляешь, дорогая мамочка, какой это замечательный подарок!..

В последний вечер перед отъездом в Уфу решили покататься на лодках. На живописной лужайке под шатром ивы устроили веселый пикник: пели песни, играли в горелки. Мария Александровна сидела в тени на пенечке и с улыбкой наблюдала, как веселится молодежь.

К вечеру освеженные прогулкой, с охапками незабудок и ромашек возвращались домой. Выбрались на берег. Над Пахрой поднималась голубоватая дымка. Солнце село, и стало быстро темнеть. Острее запахло свежескошенным сеном, и словно по мановению дирижерской палочки застрекотали кузнечики. Плеснулась рыба в притихшей Пахре, испуганно квакнула лягушка, в прибрежных кустах отчетливо и звонко чокнул соловей раз, другой и замолк. По скошенному лугу промчались на неоседланных лохматых лошаденках мальчишки в ночное и скрылись в лощине. И снова тишина наполнилась стрекотом кузнечиков. В небе загорелись первые звезды.



Никому не хотелось уходить в дом. Уселись у стога и молчали. Владимир Ильич, облокотившись на охапку сена, жадно вдыхал душистый воздух, ощущал тепло еще не остывшей после дневного зноя земли. Завтра всем предстояло разъехаться в разные стороны. Шестернины возвращались на Тамбовщину. Лепешинский ехал в Псков. Владимир Ильич с Марией Александровной и Анной Ильиничной — на Волгу. Доктор Левицкий за эти дни стал не просто доктором, а корреспондентом газеты «Искра», а Мария Ильинич-

на и Дмитрий Ильич отныне являлись агентами «Искры». Все сидели и думали о трудном и прекрасном пути, на который вступили многие честные русские люди.

— Давайте споем,— нарушил тишину Владимир Ильич,— нашу любимую.

Эту песню перевел с польского языка в сибирской ссылке Глеб Максимилианович Кржижановский, и ее часто пели они в Шушенском.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Товарищи тихо, почти шепотом подхватили:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

С противоположного берега реки потянуло дымком и запахом печеной картошки. Это ребята в ночном развели костер в ложбине, в горячих углях ворошили картошку. Неподалеку вспыхнул и взметнулся высоко в небо другой костер, и на фоне пламени возникли мальчишеские фигуры.

— Костры! — задумчиво сказал Владимир Ильич.— Мы с вами, товарищи, тоже раскладываем костры по всей России, и они загорятся от нашей «Искры».

— И кто знает,— откликнулся Пантелеймон Николаевич,— может быть, всем этим мальчишкам будет суждено зажечь огонь революции.

На опушке леса вспыхивали всё новые огни. Мальчишки подкидывали сухой валежник, ворошили угли, и в небо взлетали мириады искр и становились звездами.

На земле стрекотали невидимые кузнечики, над ухом тонко звенели комары, предвещая хорошую погоду.

ХИТРЫЙ СТОЛИК

Мария Александровна шла по Крещатику, щурилась от яркого зимнего солнца и наслаждалась морозным пахучим воздухом, сказочной красотой города. Зима, словно соревнуясь с летом, разукрасила скверы и сады Киева, опушила каждую ветку, превратила заснувшие почки в пышные цветы, выстелила улицы белым ковром. Пирамидальные тополи, кудрявые каштаны выстроились по обеим сторонам улицы торжественно неподвижные, красуясь на солнце своим роскошным, но непрочным нарядом.

Владимирская горка белым прибоем вскипала на фоне голубого неба.

Большие зеркальные витрины зима задернула тончайшим тюлем, разрисованным диковинными тропическими цветами и листьями. Даже фонарные столбы и гранитные цоколи зданий были покрыты сверкающей изморозью.

Вздымая снежную пыль, проносились легкие возки, лошади с заиндевевшими холками весело позванивали бубенчиками; в сквере молодые люди затеяли игру в снежки, освежая после новогодней ночи разгоревшиеся от вина и танцев лица.

На сердце у Марии Александровны было солнечно и отрадно. За несколько месяцев Киев стал для нее родным городом: здесь были ее дети, и все они на свободе.

Судьба, которая теперь и для Марии Александровны стала означать большевистскую партию, забросила в этот город ее детей — Анну, Марию, Дмитрия и его молодую жену Антонину. Ну, а где дети, там и мать. Было бы совсем хорошо, если бы и Володя с Надей жили поблизости, а не в далекой Женеве, и Марк не в Питере, а здесь, но главное — все здоровы, все на свободе.

И легко дышится, и морозец такой славный, бодрящий, и сегодня ночью все вместе встретили Новый, 1904 год! Хорошо встретили! Когда часы стали бить полночь, Мария

Александровна, по обычаю, с каждым боем высказала про себя двенадцать желаний. Семеро детей у нее сейчас. Каждому пожелать здоровья, счастья. Уже семь ударов. И еще удачи их общему делу. А потом ее материнские сокровенные желания: чтобы появились у нее внучата, и чтобы весь этот 1904 год она не разлучалась с детьми, и чтобы хватило у нее сил идти с ними дальше...

Мария Александровна вынула из кармашка муфты большие часы Ильи Николаевича, с которыми она не расставалась, и заторопилась домой: скоро придут товарищи к ее детям и она, мать, должна быть на своем посту.

На Лабораторной улице было пустынно. Только сверху вниз по крутому спуску катилась ватага мальчишек на санках.

Ничего подозрительного опытный глаз Марии Александровны не приметил.

Анна, Мария и Дмитрий сидели в столовой, ждали Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жену Зинаиду Павловну. На шахматном столике поблескивала украшениями елка, во всех комнатах весело потрескивали дрова в печках. Было по-домашнему уютно и тихо. Шум с улицы не доносился сюда, в маленькую квартиру во дворе.

Через несколько минут раздался условный звонок.

Дверь пошла открывать, как всегда, Мария Александровна. И друзей и врагов она встречала первой. И комната у нее, как всегда, помещалась на переднем крае, поближе к входной двери.

— С Новым годом! С новым счастьем! С новым здоровьем!— приветствовали молодые люди Марию Александровну.

Зина прижалась к ней, целовала ее щеки, белые волосы.

— Вы так похожи на мою мамочку, хотя она совсем, совсем другая,— говорила Зина.

— Наверно, все мамы чем-то похожи друг на друга,— ласково отозвалась Мария Александровна.

— А я вам новогодний привет привез от Владимира Ильича,— сказал Глеб Максимилианович.— Только что получил от него письмо.

— Как они там? Что-то не балуют меня последнее время письмами. Здоровы ли?

— Живы, здоровы. У Владимира Ильича сейчас горячая пора, и он как на поле брани.

Дмитрий Ильич уже откупоривал бутылку вина — отметить Новый год с друзьями.

— Выпьем за старый год,— предложил он.

— Тысяча девятьсот третий был славный год,— отозвалась Мария Ильинична.— Подумайте только, товарищи, создана партия. Есть программа — ясная цель для всего рабочего класса.

— Выпьем за наши успехи в наступающем году,— предложил Глеб Максимилианович,— выпьем за здоровье дорогого Владимира Ильича. Он дерется за нашу партию как барс. Трудно ему приходится.

— Товарищи, дорогие,— восклицает Анна,— что же это творится? Меньшевики каждое собрание превращают в сущий ад. Они забыли, что у нас есть общие враги, они избрали мишенью нас, большевиков.

— Владимир Ильич прислал статью «Почему я вышел из «Искры».— Глеб Максимилианович вынул из нагрудного кармана письмо.— Меньшевики, подлым путем захватившие «Искру», разумеется, отказались его напечатать. Нам надо распространить письмо здесь, напечатать в подпольных типографиях. Прошу, Мария Ильинична, организуйте это дело. Драгоценное письмо. Пока надо спрятать его подальше.

Мария Александровна зажгла свечи на елке; все уселись вокруг, смотрели на мерцающие огоньки, и всем вспомнилось детство.

Глеб Максимилианович затянул:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд...

Ему стали подпевать. Кржижановский очень любил петь и сам сочинял революционные песни или переводил их с польского, французского. Но никто не знал, какой у него голос: революционные песни всегда пели вполголоса, почти шепотом, и звучали они от этого задушевнее.

Снова раздался условный звонок.

— Это Юрий,— сказал Глеб Максимилианович.

Мария Александровна пошла открывать дверь.

Молодой человек учтиво поздоровался с ней.

— Шсский...— произнес он нарочито невнятно свою фамилию.— Добрый вечер, товарищ Клэр,— протянул он руку Кржижановскому,— добрый вечер, Ольга,— назвал он по партийной кличке Зинаиду Павловну,— вашу лапку, товарищ Медведь,— приветствовал Марию Ильиничну,— мое почтение, товарищ Андреевский,— поздоровался с Дмитрием Ильичем.

Мария Александровна ушла в свою комнату.

— В письме Владимир Ильич пишет...— начал было Глеб Максимилианович.

Но Юрий перебил его:

— Вы хотите сказать, Старик пишет.

— Да, да, совершенно верно. Старик пишет, что мартовцы захватили «Искру» и подбираются к Центральному Комитету партии. Захватывают партийные деньги и открыто говорят: «Ждем провала большевиков в России, тогда наша возьмет».

— Вот до чего докатились,— возмущалась Зинаида Павловна.— Ждут нашего ареста. Это же предательство!

— А что же предлагает Старик? — живо поинтересовался Юрий.

— Старик считает необходимым,— продолжал Кржижановский,— чтобы мы, работники ЦК, объездили всю Россию и завоевали на нашу сторону местные комитеты, где засели меньшевики. Это в первую очередь относится к нашему Киеву...

— Не так страшен меньшевистский черт, как его представляет Старик в своей Женеве,— мрачно бросил Юрий и затянулся папиросой.

— Я просил бы вас не курить,— сердито заметил Дмитрий Ильич,— мамочка не выносит табачного дыма.

— Но вы сами, насколько я знаю, курите.

— В квартире, где она находится,— никогда!

Юрий погасил папиросу.

— К стыду нашему, должен признаться,— ответил Глеб Максимилианович,— что Старик осведомлен о положении в России и даже в Киеве значительно лучше, чем мы с вами. У него великолепная информация.

— А я думаю, что нам на месте виднее. Впрочем, хватит нам выяснять отношения. Меньшевики и большевики — члены единой партии. Можно не обращать внимания на оттенки.

Мария Ильинична вскочила возмущенная:

— «Оттенки»! Хороши оттенки! Меньшевики не верят в наше дело, не верят в победу. На съезде большинство пошло за Лениным. Что же, мы должны это большинство потерять?

— История нас рассудит,— заключил Юрий.

— Завтра мы тронемся в путь по комитетам,— сказал Кржижановский, не желая разжигать ссоры.

— Вы увидите,— убежденно добавил Дмитрий Ильич,— какие резолюции будут приняты рабочими в поддержку Ленина. Влияние Ленина в партии огромно,— я убедился на съезде и убеждаюсь каждый день, встречаясь с рабочими!

— Не Ленина, а Старика,— язвительно поправил Юрий.— И, кстати, сам Старик указывал в каком-то из последних писем, что полагаться на ваши речи о влиянии имени Ленина — ребячество.

— Вот по этому вопросу я нахожусь в оппозиции и считаю, что Ленин — наше самое сильное оружие. Не на ваш же авторитет мне ссылаться.

— Митя, не горячись,— успокаивала брата Анна Ильинична.

— Ленин... Митя... Маняша... Что это за конспирация? Семейственное согласие здесь неуместно.

— Это согласие партийное, принципиальное,— отрезал Глеб Максимилианович.

— Кстати, вам бы не грех познакомить меня с последним письмом Старика,— заметил Юрий.

— Оно сейчас спрятано,— отвечает Мария Ильинична.

— Где? — поинтересовался Юрий.

— Ни один партийный конспиратор не задаст такого бестактного вопроса,— напомнила ему Зинаида Павловна.

— Тогда мне здесь делать нечего.— Юрий встал и демонстративно ушел, не попрощавшись.

Вскоре ушли и Кржижановские.

Мария Александровна зашла в столовую.

— Дети, вы так громко разговаривали и спорили. Между вами нет согласия? — спросила мать.

— Нет, мамочка, между нами согласие полное. Но здесь был один чудак, и Митя погорячился,— ответила Анна Ильинична.

— Чудак ли это? — задумчиво произнесла Мария Ильинична.— Это примиренец, если не готовый меньшевик.

— Я как медик полагаю, что процесс у него необратимый,— сердито заметил Дмитрий Ильич.— Он всецело на стороне меньшевиков, и его поведение мне явно не нравится... Итак, завтра мы разъедемся по комитетам. Я пошел домой: Тоня, наверно, волнуется.

— А кто останется с мамочкой? — спросила Мария Ильинична.

— Я останусь,— ответила Анна Ильинична.

— Ни в коем случае,— возразила Мария Александровна.— Дело прежде всего, а я уж не такая хворая и старая, чтобы при мне оставался кто-нибудь. Раз нужно — поезжайте все.

— С тобой останется Тонечка.— Дмитрий Ильич нежно поцеловал мать и ушел.

— А теперь спать, спать,— решительно сказала Мария Александровна и погасила свечи на елке. Медовый запах воска распространился по комнате.

Мария Александровна проверила, хорошо ли заперта дверь, и легла. Лежала и думала о трудной судьбе своих детей.

Человек с шипящей фамилией чем-то взволновал их, очень неприятный человек, и глаза у него не чистые, и любезность не от сердца.

Громкий стук в дверь прервал ее мысли.

Сердце заколотилось. Нащупала ногами ночные туфли, накинула халат, неслышно прошла через столовую в спальню.

— Полиция,— предупредила она дочерей и пошла открывать...

И снова все перевернуто в квартире, елка, словно забившись в угол, тускло поблескивает украшениями, шахматный столик опрокинут, ящики из него выдвинуты, шахматы раскиданы по полу. Даже золу выгребли из печей, и горячие угли на поддоне покрылись летучим серым пеплом.

Полицейские увели обеих дочерей...

Мария Александровна осталась одна.

В окно брезжит рассвет. «Надо предупредить Митю,— думает Мария Александровна.— И, наверно, придется переехать жить к нему, пока все уладится. Немедленно написать письмо Володе...»

Подходя к дому, Мария Александровна еще издали увидела, что в подъезде толпятся люди. Почувствовала что-то неладное.

— Заарестовали их,— сообщил дворник, когда она подняла руку, чтобы позвонить в квартиру Дмитрия Ильича.

Итак, арестованы все четверо.

«Пойти к Кржижановским? Нет. Нельзя. Могу притащить за собой «хвост».

Еле передвигая ноги, она пошла на Лабораторную. И сразу спина согнулась, словно на нее взвалили тяжелую ношу.

На углу сквера неожиданно возник Глеб Максимилианович.

— Дорогая Мария Александровна, не волнуйтесь. Их арестовали заодно со всеми. Была массовая операция, Зину схватили на улице. Я ухожу в подполье. Партийный архив передайте человеку, который предъявит вам вторую половину этого листка. И больше никому.

Глеб Максимилианович сунул Марии Александровне в руки обрывок календарного листка и исчез.

Мария Александровна спрятала листок в муфту.

...Ах, какая высокая и крутая лестница домой... Плохо слушаются ноги. Отперла квартиру, вошла к себе в комнату и без сил опустилась на стул. С портрета на нее смотрели строгие глаза Ильи Николаевича.

«Илюша, ты неодобрительно смотришь на меня. Я написала Володе очень грустное письмо. Плохо сделала, друг мой, плохо, проявила слабость. Они ведь мне ничем оттуда помочь не могут. Напрасно их растревожила. Что ждет моих детей? Куда пойти? Киев теперь чужой, незнакомый город. Ни одной родной души».

Мария Александровна принялась за уборку. Надо было чем-то отвлечься.

У дверей тихонько задребезжал звонок. Один, два, три раза. Свои... Кто же это?

Мария Александровна открыла дверь.

У порога стоял человек с шипящей фамилией.

«Неужели это тот человек, которому я должна передать партийный архив?»

— Здравствуйте, дорогая Мария Александровна! —

Юрий говорил ласково и вкрадчиво.— Очень сочувствую вашему горю. Но будем надеяться, что все уладится. Я пришел за документами. Как хорошо, что я успел познакомиться с вами.

— Все документы забраны при обыске,— после секундного колебания ответила Мария Александровна и отчужденно посмотрела на молодого человека.

— Но последнее письмо Владимира Ильича, я надеюсь, не попало в руки полиции?

— Забрали всё,— ответила она холодно.

— Не может быть, чтобы забрали! — воскликнул Юрий.— Мария Ильинична его хорошо спрятала. Это драгоценное письмо! Может, поискать?

— Полиция уже тщательно все обыскала. Ничем не могу помочь.

Юрий с холодной вежливостью откланялся:

— Прошу прощения. Если понадобится моя помощь — я к вашим услугам. Есть ли у вас деньги?

— Да, я получаю пенсию и смогу обойтись,— поблагодарила она.

Дверь за Юрием захлопнулась.

«Неужели это он предал?» — подумала Мария Александровна, и холодок омерзения пробежал по спине.

Мысли снова обратились к детям. Нужно действовать: идти в жандармское управление, хлопотать. А она не может уйти, пока важные документы не переданы в надежные руки.

В полдень явилась девушка, румяная от мороза, улыбчивая. Она сразу расположила к себе сердце матери.

— Здравствуйте, Мария Александровна! Я по поручению Глеба Максимилиановича. У меня есть письмецо.— Девушка протянула кусочек листка.

Мария Александровна вынула из глубокого кармана платья вторую половинку. Сложила вместе. Половинки сошлись.

— Обождите, пожалуйста, в моей комнате. Сейчас я вам принесу.

Мария Александровна прошла в столовую, плотнее задернула на окнах занавески. С трудом перевернула опрокинутый шахматный столик, вынула из филенки гвоздик и потянула к себе крышку. В углублении лежали материалы партийного съезда, газеты «Искра», письмо Владимира Ильича. Мария Александровна вынула документы, задвинула крышку, вставила на место гвоздик. Ласково погладила блестящую поверхность столика и поставила на него вазу с цветами.

Девушка аккуратно уложила документы в специальные внутренние карманы, вшитые в подкладку жакета.

— Теперь я не замерзну.— И она улыбнулась, да так хорошо и светло, что Мария Александровна с облегчением вздохнула: документы были в надежных руках.

Мария Александровна присела к окну, провожая девушку взглядом, пока она шла по двору. Перед глазами стояло ее лицо. «Как украшает человека благородное дело»,— подумала мать. Она знала многих товарищей своих детей, и все они для нее были один красивее другого. Особенно хороши у них глаза, зажженные большой мыслью, не затуманенные корыстью, завистью, злобой. Много видела Мария Александровна и полицейских, жандармов, чиновников и их начальников. И не могла вспомнить ни одного красивого. Может быть, и были среди них люди с правильными чертами лица, стройные, холеные, с изнеженными руками, но красивого не было. И глаза у них другие: видела она умные и тупые, злые и равнодушные, надменные и угодливые, а искры большого внутреннего огня ни разу в них не приметила.

Она оделась и отправилась в жандармское управление. Просила освободить одну из дочерей для ухода за ней, старой и больной матерью. Отказали... Получила разрешение на свидание с Аней. И то хорошо.

...Мрачная большая комната для свиданий разделена двойной железной решеткой. С одной стороны — заключенные, с другой — толпа родственников.

В комнате стоял невообразимый галдеж. Женщины помоложе и мужчины заняли первый ряд у решетки. Мария Александровна вытягивала голову, становилась на цыпочки, чтобы увидеть свою дочь.

— Мамочка, здесь я! Как ты себя чувствуешь? — кричала Анна Ильинична.

— Хорошо. Я совершенно здорова! — Но слабенький голос матери тонул в галдеже. Пыталась объясняться жестами, но за широкими спинами стоящих впереди Аня поминутно теряла мать из виду.— Береги здоровье, Анечка! Я хлопочу, хлопочу!

Аня разводила руками и прикладывала ладонь к уху, что-то отвечала, но как ни старалась мать выделить из общего людского гула голос своей дочери, она могла уловить только отдельные слова. Марию Александровну толкали, оттирали назад, сдавливали со всех сторон. От крика и напряженного стояния на цыпочках заболело сердце, сорвался голос.

Вконец измучившись, она взглянула на дочь еще раз, приветливо помахала ей рукой.

Анна Ильинична с отчаянием в глазах видела, как голова матери в маленькой потертой шляпке то показывалась, то исчезала, как в волнах, в людской толпе.

Проходили дни... недели... месяцы...

Каждое утро, захватив с собой четыре узелка, ехала Мария Александровна на конке в другой конец Киева, в Лукьяновскую тюрьму.

Без устали писала прошения, просиживала часами в приемных жандармского управления, генерал-губернатора, суда, прокуратуры, добивалась личного приема.

Семнадцать лет назад, когда ее детей — Сашу и Аню впервые заключили в тюрьму и над сыном нависла смертельная опасность, она еще верила в монаршую милость, наивно полагала, что можно тронуть сердце царицы-матери. Она писала:

> *Вашему величеству, как матери, вполне понятен весь ужас моего положения, то горе и отчаянье, которое невозможно выплакать слезами, рассказать словами... заступитесь... Помогите...*

Императрица не отозвалась. Не помогла. Не заступилась. У нее было сердце волчицы.

С тех пор прошло много лет. Мать потеряла веру в бога, в монаршую милость, в справедливость царских законов. Она верила теперь, свято верила в дело своих детей, ради которого они отказались от благополучной жизни, подвергались заключению в тюрьмы, шли в ссылку. Вместе со своими детьми мать прошла великую школу борьбы.

Она теперь хорошо знала: рассчитывать на сочувствие к ней жандармов, на уважение их к заслугам покойного мужа и даже к дворянскому сословию не приходится. Только борьба, умная, терпеливая, только знание законов, только хитрые и убедительные доводы могут облегчить положение ее детей.

Стараниями Марии Александровны через полгода Анна Ильинична и Мария Ильинична были освобождены. Улик против них не было. И на этот раз выручил хитрый столик.

Но Дмитрий Ильич с женой оставались в тюрьме. При обыске у него была обнаружена программа занятий в рабочих кружках. В программе были перечислены труды Маркса и Энгельса, произведения Ленина.

После освобождения из тюрьмы дочерей Мария Александровна энергично принялась хлопотать об освобождении сына и его жены.

Она писала киевскому прокурору:

У сына при обыске отобрана писанная кем-то и данная ему на хранение программа занятий с рабочими.

Полагаю, что семимесячным заключением, полтора месяца из них он был даже продержан в крепости, сын мой достаточно уже наказан за имение при себе этого листка...

Не могу не высказать глубокого убеждения своего, что дети мои были арестованы единственно вследствие предубежденного взгляда на семью нашу, как это было три года назад, в Москве, когда во время беспорядков в городе забрали семейных моих, а потом отчислили их от дела.

Убеждение это подтверждается замечанием, сделанным мне в Киевском жандармском управлении, куда я явилась тотчас после ареста детей и где мне указали на старшего сына, прибавив, что он сильно скомпрометирован.

Старший сын мой (Владимир Ильич.— Прим. авт.*) живет уже более 10 лет отдельно от семьи и несколько лет за границей, и если он и действительно скомпрометирован, то я не думаю, чтобы сестры и брат его должны были отвечать за его поступки.*

Упорный, мудрый и настойчивый ходатай по делам своих детей, она и на этот раз сумела вырвать из тюрьмы сына Дмитрия.

«Жена моего сына тяжело больна, дальнейшее заключение ее в тюрьме может кончиться ее гибелью, и в этой смерти будут повинны тюремное начальство и жандармы. Спасти ее жизнь может только освобождение из тюрьмы» — вот смысл ее ходатайств за жену сына.

И Тоня была вырвана из тюрьмы.

Дети снова на свободе. И ласково звучит голос матери:

«Будьте осторожны! Будьте очень осторожны!»

И ни слова упрека, ни слова о своих бессонных ночах, о своих больных ногах, которые столько выстояли, столько тропинок протоптали...

НА ОТДЫХ К МАМЕ

К вечеру ливень прекратился. Далеко за лесом изредка погромыхивал гром. По светлому небу неслись дымные облака.

В наступившей после дождя тишине особенно звонко журчали ручьи. Ветер стряхивал с цветущих лип вороха мокрых душистых цветков.

Пронесся поезд, сверкнул вереницей огней, и в лесу стало еще сумрачнее.

— Липы-то как пахнут,— вздохнул полной грудью Владимир Ильич.

— Словно по густому меду идешь, а не по грязи,— отозвалась Надежда Константиновна, с трудом вытаскивая из раскисшего чернозема ноги.

Мария Ильинична поскользнулась, уцепилась за рукав брата и весело рассмеялась.

— Ну и грязь! Чуть было не увязла в этом меду, как муха!

Ветер распахнул ветви кустарника, и вдалеке мелькнуло освещенное окно.

— Мамочка нас ждет. Наш дорогой маяк,— задушевно произнес Владимир Ильич.— Страсть как люблю это освещенное окно! Как бы темно ни было и как бы поздно ни приехал, тебе всегда светит это окно и дверь непременно откроет мамочка...

Владимир Ильич осторожно толкнул набухшую калитку; она заскрипела как простуженная. В матовом свете белой ночи нежной пастелью проглядывал цветник. Гуськом пробирались по узкой тропинке, задевая руками влажные цветы. Едва ступили на скрипучие ступеньки, из сеней распахнулась дверь, и на крыльце, кутаясь в платок, появилась Мария Александровна.

— Мамочка, иди в дом, простудишься! — воскликнул Владимир Ильич.

На пороге сняли мокрые ботинки и нырнули в освещенный, празднично убранный дом.

— Наконец-то,— обнимала детей Мария Александровна.— Последний поезд давно прошел, а вас все нет и нет. Я уж думала, опять что-то задержало.

В столовой мурлыкал самовар, на конфорке грелись бублики, стол был накрыт к ужину.

Прислушиваясь к смеху детей, обступивших на кухне рукомойник, Мария Александровна разливала чай. Как хорошо, когда в доме звенят веселые голоса!

Надежда Константиновна и Мария Ильинична уселись за стол и нацелились на сладкие булочки.

Владимир Ильич расхаживал по комнате, рассматривал полевые цветы, в изобилии заполнившие вазы на столе, пианино, потрогал руками пальму, чему-то улыбнулся, далекому...

— Хорошо, очень хорошо,— потирая руки, сказал он.— Отдохнем всласть.

— Садись к столу, Володюшка,— позвала мать.

— В Симбирске у нас такая же пальма была, в гостиной против рояля стояла,— задумчиво сказал Владимир Ильич.— Когда мы уезжали оттуда, последнее, что мне запомнилось,— эта пальма в окне.

— Как дела, Володюшка? — внимательно посмотрела мать на сына.— По газетам все как-то мрачно выходит. Все в один голос утверждают, что революция погибла, а вот ваше «Эхо»...

— Наше «Эхо» — эхо рабочих голосов, пролетариат не намерен сдаваться. И я буду последний, кто скажет, что революция потерпела поражение.

— Ты знаешь, Володя, я сегодня выступала у работниц на Невской бумагопрядильне,— начала было Мария Ильинична, но Надежда Константиновна угрожающе на нее зашикала.

— Володя! Мы приехали отдыхать, ты же обещал...—

Надежда Константиновна погрозила пальцем.— Нет, товарищи, так не годится. Володя вконец умаялся. За два только месяца выступал пятнадцать раз, написал около сорока статей, большую брошюру. А вчера пришел с совещания, поднял обе руки кверху и говорит: «Сдаюсь, надо передохнуть». Дал мне торжественное обещание все восемь дней быть неграмотным, обещал ходить по грибы, купаться, собирать роскошные букеты водяных лилий.

— Ну что ж,— пожимает плечами Владимир Ильич,— я готов быть даже глухонемым. Только последний вопрос: что пишут Аня, Марк и Митя, как у них идут дела?

— Письма коротенькие,— ответила Мария Александровна,— пишут, что здоровы, много работают. Завтра дам почитать, а сейчас пора спать.

Все послушно расходятся по комнатам.

Мария Александровна еще долго сидит у себя в спальне; ей хочется продлить ночь, чтобы дети выспались, набрались сил.

В прошлом, 1905 году всю страну охватил пожар революции. Рабочие объявили всеобщую забастовку, остановили станки, погасили топки, с оружием в руках вступили в бой с царизмом за дело всего народа. За рабочими восстали крестьяне. По всей стране запылали помещичьи усадьбы, заколебалась армия. Никогда еще не было такого. И все дети Марии Александровны — в этой борьбе, в самой гуще событий. Митя в родном Симбирске организует рабочих и крестьян. Марка за участие в организации всеобщей железнодорожной забастовки сослали в ссылку в Самару, но он и там вместе с революционными рабочими. Маняша ведет работу на питерских фабриках. У нее талант разговаривать с женщинами, вести их за собой. Аня работает в большевистском издательстве. На днях поехала к мужу в Самару, повезла указания Центрального Комитета.

Читая ежедневно «Эхо», Мария Александровна узнает руку своего сына Владимира, понимает, что судьбы револю-

ции — дело его жизни. Надежда Константиновна — его верный помощник, большой друг, заботливая жена. «Как же хорошо, что они выбрались отдохнуть! Зачем только мне понадобилось затевать разговор о том, что пишут газеты?» — досадует на себя Мария Александровна.

В окружении высоких сосен стоит дача Елизаровых в Саблине.

Взошло солнце и опрокинуло на землю тени от деревьев. Проснулись птицы, зазвенел лес.

Тихо открылась дверь, и на крыльцо вышел Владимир Ильич.

Прошелся по саду, сделал несколько гимнастических упражнений, поднял голову и загляделся на скворечник.

Старый скворец, сидя на крыше, уговаривал птенца соскользнуть с площадки, испробовать крылья. А птенец не решался. Тогда скворец расправил крылья, плавно всплыл вверх, облетел скворечник, опустился на крышу и снова принялся уговаривать малыша, рассыпая самые убедительные трели. И скворчиха, высунув голову в круглое окошечко, подбадривала свое детище. Наконец птенец решился, сорвался с площадки и, судорожно, быстро взмахивая крыльями, пища от страха, опустился на ветку рябины. Отец летал вокруг него — то падал вниз, то взмывал вверх. Птенец повертелся на ветке и перелетел к матери. И они весело заверещали. Птенцу уже не сиделось.

Он делал круги всё шире и шире и наконец вовсе скрылся из виду.

Владимир Ильич покачал головой, усмехнулся, вынул из кармана сложенную вдвое тетрадь и карандаш, уселся на крылечке и принялся писать...

Мария Александровна долго не решалась выйти из комнаты, боялась: скрипнет половица — разбудит детей. Нако-

нец, осторожно ступая в мягких туфлях, вышла в сени. Дверь в сад была полуоткрыта. «Как же это я забыла запереть на ночь дверь?» — мелькнула беспокойная мысль.

На ступеньках сидел Владимир Ильич. Держа тетрадь на коленях, он быстро писал. Мать положила ему на голову руку.

— Мамочка! — вскочил Владимир Ильич и спрятал за спину тетрадь.

Мария Александровна рассмеялась.

— Я просто решил некоторые мысли записать, пока вы спите. Пойдем прогуляемся по саду.

Владимир Ильич увидел огуречную грядку, раздвинул шершавые листья, сорвал огурец, смахнул ладонью колючую щетинку и с наслаждением стал грызть.

— Вкусно!

Из дома послышалось пение.

— Слышишь, Надюша с Маняшей поют жестокие романсы,— усмехнулся Владимир Ильич.

В ситцевых светлых платьях, с туго заплетенными по-девичьи косами они выбежали в сад и походили на беспечных девушек — обе смешливые, жизнерадостные.

— С солнечным утром! С началом чудесного отдыха! — кричали они.— Пошли купаться!

— Иди, иди, Володюшка, а я тем временем приготовлю завтрак в беседке.— Мария Александровна сорвала несколько молодых огурчиков и протянула сыну: — Вам на дорогу.

Вернулись с Тосны с букетами ромашек.

— Ой, какие мы голодные...— смеялась Мария Ильинична.— Мамочка, Володя так нырял и отмахивал саженками, что все саблинское мальчишеское племя решило, что он знаменитый моряк.

— А где же Володя? — спросила мать.

Мария Ильинична и Надежда Константиновна оглянулись с недоумением.

— Странно. Он все время шел позади нас и насвистывал, а потом попросил нас спеть. Куда же он исчез?

— Я, кажется, догадываюсь,— вздохнула Надежда Константиновна.— Наш романс ему потребовался для того, чтобы улизнуть на станцию за газетой. Не так-то легко ему быть неграмотным... А вот и он, и, конечно, с пачкой газет.

Надежда Константиновна и Мария Ильинична со смехом побежали навстречу Владимиру Ильичу с намерением отобрать газеты, но, взглянув на его помрачневшее лицо, остановились.

— Володя, что случилось? — спросила обеспокоенная Надежда Константиновна.

— Дума разогнана,— ответил Владимир Ильич.— Я так и предполагал. Этого надо было ожидать... Итак, царь переходит в наступление. Нужно немедленно собрать товарищей, посоветоваться о тактике партии.— Владимир Ильич развернул газету.

Надежда Константиновна прочитала набранные большими черными буквами слова:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РАСПУЩЕНА

Мария Александровна молчала. Она поняла, что отдых кончился.

Владимир Ильич взглянул на ее огорченное лицо.

— Мамочка, ты понимаешь, мы должны немедленно ехать.—Он вынул из кармана часы.— Поезд из Питера только что прошел, значит, обратно будет через час. Мы еще успеем позавтракать.

Сидели молча, поглядывая на сосредоточенное лицо Владимира Ильича.

— Маняша, ты поедешь на Выборгскую сторону по известным тебе адресам. Соберемся у Менжинского. Надя поедет на Лиговку.

Владимир Ильич одной рукой помешивал ложечкой чай, другой перелистывал газету.

Скрипнула калитка. Мария Александровна вышла из беседки. У калитки стоял мальчик лет четырнадцати-пятнадцати и в смущении теребил картуз.

— Ты к кому? — спросила Мария Александровна.

— Мне Владимира Ильича.

Мария Александровна насторожилась:

— Здесь такой не живет.

— Ну, если его нельзя, тогда Надежду Константиновну. Скажите, Ромка пришел, по важному делу.

Вид у парнишки был решительный, глаза смотрели прямо и серьезно, и только пальцы, вцепившиеся в картуз, выдавали волнение.

Встревоженная Мария Александровна позвала Надежду Константиновну. Увидев парнишку, Надежда Константиновна протянула ему руки как старому знакомому. Мария Александровна успокоилась и вернулась в беседку.

— Беда, Надежда Константиновна,— сказал Ромка, не мешкая.— Ефим Петрович просил передать,— он понизил голос,— полиция ищет Владимира Ильича. Я был на станции, там полно шпиков и жандармов.

Надежда Константиновна побледнела.

— Спасибо, Ромушка. Как в Питере сейчас, спокойно?

— Не-е, какое там. Царь Думу разогнал. Народ возмущается.

— Как обратно добираться будешь?

— Мне што, я и зайцем проскочу...

Стараясь казаться беспечной и веселой, Надежда Константиновна вернулась к столу. Мария Александровна пытливо посмотрела на нее.

— Кто это приходил, Наденька?

— Мальчишка знакомый, землянику продавал, да больно дорого просил, я не взяла.

— Я что-то не приметила у него в руках корзины с земляникой. Едва ли из Питера на дачу землянику возят.

Надежда Константиновна с виноватым видом посмотрела на Марию Александровну.

— Мальчишка приехал сказать, что Дума разогнана. Больше ничего.

Владимир Ильич понял, что получено какое-то тревожное сообщение.

— Надюша, пойдем вещи уложим, а то ты забудешь что-нибудь самое необходимое.

— Да поешьте вы что-нибудь! — взмолилась Мария Александровна.

— Мы сейчас же вернемся,— заверила Надежда Константиновна.

Владимир Ильич выслушал сообщение спокойно.

— Ты не волнуйся, Надюша. Я пойду отсюда пешком до следующей станции и там дождусь поезда. В Поповке искать меня уж никак не могут. Но идти туда надо немедленно, иначе пропущу поезд.

— Володя,— положила руки на плечи мужа Надежда Константиновна,— мне очень хочется сказать тебе, чтобы ты был осторожен.

Владимир Ильич поцеловал жену.

— Будь совершенно спокойна. Заверяю тебя, что поймать им меня не удастся. Никогда. Слышишь — никогда. Вот что нам сказать мамочке?.. Придется поплотнее позавтракать, и это ее успокоит.

— Но у тебя считанные минуты!

Владимир Ильич уселся за стол, выпил залпом остывший чай.

— Еще стаканчик,— протянул он стакан матери.— Проголодался ужасно.— Один за другим съел три пирожка, запивая горячим чаем.— Ну, теперь я должен идти. По дороге мне надо навестить одного товарища,— сказал Владимир Ильич весело.— Маняша и Надюша будут ждать меня на

станции. Обратно мне не имеет смысла возвращаться. До свиданья, дорогая мамочка. Мы обязательно приедем к тебе отдыхать, и тогда уж надолго.

Мария Александровна проводила сына до калитки. Он пошел по лесной дороге, устремленный вперед, энергично помахивая рукой.

Мать смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом дороги. На душе у нее было тревожно...

ДРАГОЦЕННОСТЬ

Подошел поезд, и тотчас раздался второй звонок.

Вячеслав Александрович помог старушке с большой поклажей подняться в вагон, а сам задержался на подножке.

Третий звонок, поезд снова застучал колесами, и доктор Левицкий спокойно прошел в вагон. «Хвоста» не было. Кроме этой бабки, на станции в Подольске никто в поезд не сел.

Левицкий встал у окна. Сквозь забрызганные серой грязью стекла мелькали семафоры, полустанки, почерневшие от осенних дождей избы. При подходе к станции поезд резко тормозил, и тогда доктор балансировал, опирался ладонями о стены, чтобы удержаться на ногах.

— Чего ты, мил человек, из стороны в сторону шараха-ешься? — спросила его бабка, расположившаяся у окна.— Сел бы. В ногах правды нет.

— Благодарю,— пробормотал Вячеслав Александрович и продолжал стоять.

— И одет-то по-чудно́му,— рассматривала его старушка,— сам в летнем, а на голову и ноги уже зимнее напялил.

— По погоде, бабушка, и оделся,— ответил доктор.—

Видишь, снег с дождем перемешался, ни зима, ни осень. Плащ мне в самую пору.

По раскисшей дороге вдоль железнодорожного полотна шла колонна арестованных. Люди с трудом вытаскивали ноги из густой грязи.

— И сколько их гонют,— пригорюнилась бабка,— почитай уже три года на каторгу людей гонют, и конца-краю не видать.

— Всю Россию на каторгу не угонишь,— вырвалось у Левицкого.

— Вот, вот, и я говорю — не угонют. Моего внучка Павлушку тоже угнали. «Ладно,— сказал он на прощание,— придет опять пятый год, так мы им покажем».

По вагону шел жандарм, придерживая рукой шашку. Он посматривал по сторонам, прислушивался к глухому ропоту людей.

— Правильно говоришь, мать,— ответил доктор, завидев жандарма.— Царю надо воздать должное. Верой и правдой служить надо,— сказал и поперхнулся, словно что-то несвежее проглотил.

Жандарм с почтением посмотрел на солидную фигуру мужчины, окинул подозрительным взглядом старую женщину.

— А я-то думала, что ты настоящий человек, а ты вон кто! — плюнула бабка в сторону Левицкого и пересела на другую скамейку, продолжая ворчать.— Ты и стоишь-то, наверно, из почтения к жандармам, всю дорогу навытяжку. Вернется мой Павлушка с каторги, мы вам покажем...

Левицкий сморщился как от боли, но промолчал.

Поезд подходил к московскому вокзалу.

На площади доктор вскочил в трамвай. Осмотрелся и с облегчением вздохнул: все места были заняты. Можно постоять. Ухватился за ремень и стоял, раскачиваясь из стороны в сторону. Сидящий рядом студент, взглянув на

осанистую бороду и усы солидного господина, встал с места...

— Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо, я сейчас выхожу.— Левицкий недружелюбным взглядом окинул студента.

На первой остановке сошел и, подняв воротник плаща, с осторожкой зашагал по скользкому тротуару.

В гостях у Ульяновых сидит Григорий Степанович. Самовар на столе допевает свою песенку, в стекла шлепаются мокрые комья снега и тяжело сползают вниз по стеклу.

Анна Ильинична угощает гостя чаем. Мария Александровна в кресле-качалке, закутанная пледом, зябко поеживается. Углы комнаты, обставленной тяжелой хозяйской мебелью, тонут в полумраке.

— Уж я и счет потеряла, сколько раз мы после Симбирска переезжали с места на место,— рассказывает Мария Александровна.

Анна Ильинична сняла эти две небольшие комнаты в меблирашках на Божедомке в октябре 1908 года. Предстояла большая и важная работа по изданию книги Владимира Ильича. Нужно было затеряться в большой Москве, поменьше встречаться с людьми, чтобы не привлечь внимания полиции, не поставить под удар книгу, которую все с таким нетерпением ждали.

Но близкие друзья находили их и здесь. Григорий Степанович — земляк, из Симбирска. Работает сейчас в Саратове. Был рабочий паренек — Гриша, но за эти годы успел закончить техническое училище, работать агентом «Искры», быть хозяином подпольной партийной типографии, познакомиться с тюрьмой, бежать за границу и там, не теряя даром времени, сдать экстерном экзамен за технологический институт.

— Я сейчас важная персона,— смеется Григорий Степанович,— получил место баулейтера — производителя работ в крупной немецкой фирме, строю трубочный завод под Саратовом. В кабинете у меня телефон, сейф, к которому никакие специалисты из полиции не смогут подобрать ключ. Есть где хранить нелегальную литературу.

Григорий Степанович расправил свои роскошные усы и помотал головой, чтобы освободить шею от высокого, туго накрахмаленного воротничка.

— Вот к этой штуке,— показал он на воротничок,— никак привыкнуть не могу.

Высокий, синеглазый, с гладко выбритым подбородком, одетый в модный темный костюм, он никак не походил на потомственного рабочего, и, уж конечно, никакой жандармский глаз не смог бы в нем заподозрить большевика.

Сидели и вспоминали симбирские годы, волжские просторы.

— Самую главную новость я припас на закуску,— сказал Григорий Степанович.— Я еду в Париж, к Владимиру Ильичу.

— Вы увидите Володюшку! — всплеснула руками Мария Александровна.

— Да, меня посылают наши посоветоваться с Владимиром Ильичем, как быть с меньшевиками. Туманят они мозги рабочим, сами ни во что хорошее не верят, зовут приспосабливаться к царским законам, придумывают разные учения, доказывают, что революция погибла. А у нас знаний не хватает, чтобы разбить их доводы.

— Да, здесь нужно сильное оружие против всех этих лжеучений, которые выросли как ядовитые грибы,— ответила Анна Ильинична.—И Владимир Ильич отлично это знает. Он написал книгу по философии. Она очень поможет всем нам положить конец путанице и блужданиям в рабочем движении.— Анна Ильинична вздохнула.— Рукопись этой

книги Владимир Ильич уже отправил в Москву, и вот она где-то задержалась. А может быть, попала в руки полиции?

— Вы не рассказывайте Владимиру Ильичу о моей болезни,— предупредила Мария Александровна,— не тревожьте его. Скажите, что чувствую себя хорошо, не болею. Присмотритесь, как они там живут, не нуждаются ли в чем.

— А о московских делах передайте Владимиру Ильичу следующее...— сказала Анна Ильинична.

— Я пойду к себе, отдохну, вы занимайтесь своими делами.

Анна Ильинична провела мать в спальню, усадила ее в кресле, закутала больные ноги пледом.

Разговор Анны Ильиничны с Григорием Степановичем прервал звонок в передней.

Григорий Степанович вынул из жилетного кармана визитную карточку баулейтера фирмы «Вейсман и К°» и положил на стол.

Анна Ильинична пошла открывать дверь.

— Здравствуйте, доктор,— приветствовала она Левицкого.— Как вы кстати, мамочка себя очень плохо чувствует.

Вячеслав Александрович снял шапку, плащ и беспомощно посмотрел на ботики.

— Вам подать стул?— спросила Анна Ильинична доктора.

— Нет, нет. Если разрешите, я останусь в ботиках. Мне трудно нагибаться.

Левицкому не было еще и сорока лет, и Анна Ильинична посмотрела на него с сожалением.

— Познакомьтесь,— сказала она и провела его в комнату.

Григорий Степанович пододвинул доктору стул. Анна Ильинична налила стакан крепкого чаю.

— Присаживайтесь,— пригласила она Вячеслава Александровича.

— Благодарю. Я с детства привык к «а-ля фуршет» — пить чай стоя,— пошутил доктор, искоса посмотрел на визитную карточку, перевел взгляд на фетровую шляпу Григория Степановича.— Вредная шляпа,— сказал он резко.

— Вы как доктор полагаете, что в шляпе ходить сейчас не по сезону? — любезно откликнулся Григорий Степанович.— Но я по делам фирмы еду за границу, а там меховых шапок не носят.

— Разрешите, я пройду к больной,— сказал Вячеслав Александрович.

Присутствие Григория Степановича, которого доктор принял за немца, его обеспокоило.

Анна Ильинична открыла дверь в спальню.

— Здравствуйте! Какие жалобы? — нарочито громко сказал доктор, чтобы не выдать себя за старого знакомого перед немцем.

Он тщательно прикрыл дверь.

— Здравствуйте, дорогой Вячеслав Александрович. Как давно я вас не видела и как вы кстати пришли!

— Я вам привез клад, драгоценности,— прошептал Вячеслав Александрович, наклонившись к Марии Александровне.

— Какой клад? Откуда? — несказанно удивилась она.

— От Владимира Ильича.

— От Володюшки? Вы его видели?

— Шесть лет назад в Цюрихе. Я тогда ездил во Францию изучать шляпное производство и завернул к нему. Видите ли, русский фетр делают с применением ртути. Масса отравлений среди рабочих, а во Франции нашли новый метод... Но об этом после. Сядьте, пожалуйста, спиной ко мне.

Мария Александровна, все еще недоумевая, поднялась с кресла, плед соскользнул с колен и свалился на пол.

— Не беспокойтесь, я подниму плед через пять минут. А пока я должен снять пиджак.

Мария Александровна недоумевала, что́ это случилось с Вячеславом Александровичем, обычно таким серьезным и простым. Его чудачества сегодня были непонятны.

— Я еще тогда, в Цюрихе, сказал Владимиру Ильичу, чтобы он располагал мною, и вот я счастлив доложить, что он оказал мне высокое доверие...

Вячеслав Александрович снял пиджак. Грудь его была тщательно забинтована по всем правилам медицины.

Доктор стал разматывать бинты и снимать с себя листы рукописи, которые осторожно укладывал на стол.

— Ну, теперь смотрите,— сказал он торжественно, освободившись от последнего листа и надев пиджак.— Теперь я и плед могу поднять.

Мария Александровна повернулась, увидела пачку листов, прочитала на верхнем листе: «Материализм и эмпириокритицизм».

— Володюшкина рукопись по философии! Вы не представляете себе, как мы волновались за ее судьбу! И Володюшка отчаянное письмо прислал. Беспокоится — неужели пропала рукопись, плод работы многих месяцев? Единственный экземпляр. Ведь это действительно драгоценность. Великое спасибо вам, дорогой Вячеслав Александрович! — Мария Александровна обняла доктора и расцеловала его по-матерински в щеки.

— Ну-с,— улыбнулся растроганный Вячеслав Александрович,— теперь я приступлю к исполнению своих прямых обязанностей. Что вас беспокоит?

— Простыла я. Ноги плохо слушаются. Но это потом, потом,— говорила Мария Александровна, любовно перебирая страницы.— Вот и гость наш уже ушел.

Анна Ильинична распахнула дверь.

— Анечка, дорогая, Вячеслав Александрович привез Володину рукопись.

Анна Ильинична подошла к столу и ахнула.

— Теперь я понимаю, почему вы привыкли пить чай «а-ля фуршет»,— засмеялась она.

— Я опасался помять драгоценные листы,—ответил доктор.— Я даже какие-то верноподданнические слова в вагоне говорил, чтобы меня жандарм не задержал. Благовоспитанного юношу ко всем чертям послал за его любезность, правда мысленно. И еще, прошу прощения, поскольку курьер сказал мне, что рукопись предназначена для публикации, я позволил себе прочитать ее без разрешения. Читал всю ночь. Читал с упоением. Это огромно! Это гениально! А теперь разрешите мне стаканчик чаю. Я люблю пить чай сидя, с блюдечка и вприкуску...

И начались тревожные, хлопотливые дни. Анна Ильинична ездила по издательствам, выясняла возможность опубликования книги.

«Если нет издателя, посылай прямо и тотчас Бончу: пусть только никому не дает читать и бережет сугубо от провала!» — предупредил Анну Ильиничну Владимир Ильич в письме.

Рукопись уложили в шахматный столик, и он надежно хранил ее.

Наконец издатель найден. Рукопись сдана. Стали поступать корректурные листы. Целые вечера просиживали мать и сестра, склонившись над листами, вычитывали их, выверяли.

— Здесь бы я поставила точку с запятой,— говорит Мария Александровна.— Дальше идет много опечаток. Несколько раз слово «абсолютно» написано с буквы «о».

Анна Ильинична читает.

— Володины нападки на буржуазных философов, на их тарабарщину великолепны. Все так убедительно, так ясно.

Но вот здесь я буду ходатайствовать снять «гоголевского Петрушку», и без того остроумно и веско.

— Володюшка не согласится,— замечает мать,— у него все продумано, каждое слово к месту.

Мария Александровна и Анна Ильинична с увлечением и большой тщательностью работают над корректурой философской рукописи Владимира Ильича, которая осветит путь рабочему классу к его великой цели.

«...Соединять такую кропотливую и скучную работу с уходом за мамой неимоверно трудно. Я могу только удивляться, каким образом последние корректуры могли выходить при подобных условиях работы такими образцовыми»,— писал Владимир Ильич сестре.

«ЛУННАЯ» СОНАТА

Над Вологдой опустилась темная августовская ночь. Один за другим гаснут огни в окнах. Настороженную тишину изредка нарушает хриплый лай дворняжек...

Дробно застучала колотушка. Это ночной сторож вышел на улицу. Идет и заглядывает в редкие освещенные окна. Вот сидит за работой кружевница Груша. Пальцы ловко перебирают бахрому звонких кленовых коклюшек, перекалывают на валике булавки с разноцветными головками, и на темном сукне вырисовывается кружево, похожее на изморозь. Быстро работают неутомимые руки, нога покачивает люльку с ребенком.

— Эхма! — вздыхает сторож.— Солдатская жена теперь Груша, кормилица семьи. А кому нужно ее кружево?

Идет дальше. Постукивает гайка, привязанная на веревочке, о доску. Раз-два! Раз-два!

А здесь и стучать не надо. В этом доме провожают новобранцев. Сторож прильнул к окну. На скамейках чинно

сидят парни. Возле каждого две женщины: с одной стороны девушка, с другой — мать. Пиликает гармоника, заунывно поют прощальную девушки, голосят, припав к плечу сыновей, матери.

Идет сторож. Неумолчно и грозно стучит его колотушка, словно хочет разогнать всех воров на земле.

Подошел к бревенчатому дому, укрытому липами и зарослями бузины, сгреб в горсть гайку, заглушил колотушку. Окна в доме плотно завешаны белыми занавесками, и весь дом по вечерам звенит музыкой. Музыка диковинная, а до самого сердца добирается, и хочется забросить свою колотушку в заросли бузины и стоять у окна всю ночь и слушать, слушать...

Мария Александровна сидит у старенького пианино. Взяли это пианино напрокат у местного купца. Стояло оно в купеческой гостиной, «к стене примкнуто», немое, беззвучное, служило вместо полки для всяких безделиц, на крышке его красовался тульский самовар.

...Спокойная ласковая музыка, словно кто-то в тихий вечер поет у немолкнущего ручья, и чудится — ветер осторожно перебирает шероховатые, прямые, как струны, стволы высоких сосен.

Анна Ильинична прислушалась.

— «Лунная» соната... Мамочка играет для нас, чтобы нам спокойнее работалось, чтобы показать, что она занята и не требует нашего внимания.

Мария Ильинична оторвалась от шифровальной таблицы и вздохнула.

— Всегда для нас, всю жизнь для нас. И ничего для себя. Мне так больно сознавать, что мы не смогли ей обеспечить даже спокойную старость. Чего ей стоило пережить последний арест Володи! В восемьдесят лет ехать за мной сюда, в Вологду, в добровольную ссылку. Чем и когда мы отплатим за ее подвиг?

— Я всегда думаю, что мамочке пришлось в жизни

труднее, чем нам,— говорит Анна Ильинична.— Сколько одних дорог в тюрьмы она протоптала. Я как-то подсчитала — она пережила девятнадцать наших арестов. Недаром Володя говорит, что в тюрьме сидеть легче, чем стоять возле тюрьмы. Но будем надеяться, что это было последнее испытание для нее. Скоро кончится твоя ссылка. А Россия уже бурлит...

Большая народная беда разразилась над миром. Идет война. Каждый день, каждый час, каждую минуту кто-то гибнет на этой войне, становятся вдовами жены, сиротеют дети.

В смертельной опасности находился в первые дни войны Владимир Ильич. Война застала его на территории Австро-Венгрии, в деревне Поронино. По ложному доносу он был арестован австрийской полицией как агент царской России. В условиях военного времени ему угрожала смертная казнь.

Сестры решили не говорить об этом матери и крепились изо всех сил, не показывали виду.

Мария Александровна узнала сама из газет...

А вскоре царская Россия предприняла наступление против австро-венгерской армии, и Владимиру Ильичу грозила опасность стать пленником царской армии. Это означало верную гибель...

Но мать выдержала испытание этих двенадцати страшных дней.

Теперь Владимир Ильич в Швейцарии, в безопасности. А сердце матери щемит и болит за всех сыновей, что отправляются каждый день на эту бойню. Против войны восстали все ее дети: и Володя, и Аня, и Митя, и Маняша. Если бы ей было не восемьдесят лет, она, мать, тоже сумела бы сказать свое гневное слово против войны. Но иссякают силы. Годы дают себя знать.

Мать вкладывает свои думы в музыку. Чем она еще может поддержать своих дочерей?

А в соседней комнате Анна Ильинична и Мария Ильи-

ничпа заняты важным делом. Они сидят и свертывают серые листки в маленькие тугие комочки, засовывают их в спичечные коробки. Эти большевистские листовки расскажут рабочим, крестьянам, солдатам и их женам, во имя чьих интересов ведется эта грабительская война. Газета «Правда» разгромлена царской полицией. Но партия ни на один день, ни на один час не теряет связи с народом. Растет горка коробок на столе. В них слова жгучей правды.

— Это для железнодорожных мастерских,— говорит Мария Ильинична и отодвигает груду коробок в сторону.— Теперь ты готовь для чугунолитейного завода, а я разберу и расшифрую почту, напишу письмо Володе.

Как хорошо спорится работа под музыку, какую силу и бодрость она вселяет.

...Звучит вступление к «Патетической» сонате Бетховена. Гневный голос человека, уверенного в своей правоте, уверенного в своей силе, пламенеет, крепнет. Мудрый голос оратора захватывает слушателей, зажигает их сердца.

В мелодию врывается стук, требовательный, грубый... Как хорошо знает мать этот стук в ночи. Он никогда не предвещал ничего хорошего. Свои, товарищи, стучат тихо, стучат условно в окно.

Встревоженное лицо Марии Ильиничны выглянуло из комнаты. Мать шепчет:

— Уничтожайте что можно, я их задержу.

На полуслове обрывается голос оратора в сонате, тонет в гуле гневных голосов, рушится как лавина, бушует как пламя большого пожара.

Мария Александровна откинула крышку пианино... Гул гнева растет и ширится. Синие жилки вздулись на руках. Пот мелким бисером покрыл лоб. Руки матери заряжают великой энергией каждую струну. Никогда еще это старое пианино с прожженной самоварными углями крышкой не пело так сильно.

Дом содрогается от грубого стука сапог в дверь.

Пот заливает лицо матери.

Гудит от никогда не переживаемого торжества маленькое пианино, чутко отзывается каждая струна на пальцы матери, звучит ее гневом, протестом ее сердца.

Входная дощатая дверь сорвана с петель. Теперь уже стучат в комнату.

А пианино поет торжественно, мощно; кажется, в доме поют все вещи и стены. Но вот руки, обессиленные, никнут. Мать вытирает платком лицо, идет открывать дверь.

— Кто там? — спрашивает спокойно, словно только что поднялась с постели.

— Открывайте! Ишь разыгралась! Скорей! Не то высадим и эту дверь.

Мария Александровна откидывает крючок.

Пристав и пятеро полицейских врываются в комнату, словно в осажденную крепость.

— Почему не отпирали?

— Увлеклась игрой, не слышала вашего стука.

— Нам Марию Ульянову,— потрясает пристав бумагой.

Только на секунду задумалась мать.

— Я Мария Ульянова,— отвечает она, и в голосе слышится еле скрываемая радость.

Пристав озадаченно смотрит на маленькую старушку с белой головой.

— Паспорт!

— Сию минуту. Сию минуту.— Мария Александровна выдвигает один за другим ящики комода, достает ридикюль, роется в нем.

— Ну, чего там шаришь? Подавай паспорт,— торопит пристав.

— Я прошу со вдовой действительного статского советника обращаться на «вы»,— строго предупреждает Мария Александровна.

Пристав поднес паспорт к лампе, внимательно его просматривает.

— Гм... да... Мария Ульянова... Восьмидесятый год... Вдова действительного статского советника. Это ваша комната?

— Да, я живу в этой комнате.

— А куда ведет вторая дверь?

— Там живут посторонние,— отвечает спокойно Мария Александровна.

— Вы ссыльная Мария Ульянова? — уточняет озадаченный пристав.

— Да, я Мария Ульянова, нахожусь здесь в добровольной ссылке.

— Как бы не так — «добровольной»,— язвит пристав.— По приговору суда за революционную деятельность сослана в Вологду на три года... В «добровольной»... Вот что, госпожа Ульянова. Нам с вами возиться некогда. Скажите прямо, где нелегальщину прячете? Нам все известно. И какие газеты получаете, и что с самим Лениным в переписке состоите, и что здесь, в Вологде, крамолу сеете и являетесь руководителем социал-демократической организации. Как видите, запирательство излишне. Подавайте бумаги.

Мария Александровна идет к этажерке, набирает пачку газет, подает их приставу.

Пристав перебирает «Речь», «Русское слово» и в раздражении смахивает газеты на пол.

— Я не шутки пришел сюда шутить. Эти газеты высочайше дозволены. Давайте нелегальные.

— Вот все газеты, что я получаю.

Пристав расшвыривает сапогами газеты.

— Это все дребедень. На черта они мне. Давайте большевистские.

— Я таких газет не выписываю.

— Тогда одевайтесь, пойдете с нами.

Мария Александровна подходит к вешалке. Надевает шляпку и долго прилаживает ее, раздумывает, удалось ли дочерям уничтожить самые важные бумаги.

— Живей, живей! Грехи бы в церкви замаливала, а она фортепианы... крамолу сеет...

— Милостивый государь,— гневно говорит Мария Александровна,— вы забываетесь! Я буду жаловаться на ваше поведение генерал-губернатору, начальнику жандармского управления. Вы действуете незаконно.— Мария Александровна решительно села.— И пешком я не пойду. В мои восемьдесят лет я не могу ходить пешком.

— Живо за извозчиком! — приказывает взбешенный пристав полицейскому.

Мать перехватывает подозрительный взгляд пристава на дверь второй комнаты и садится за пианино. Играет финал сонаты. Чуть затаенная музыка издалека ширится, растет. Громовые раскаты вплетаются в стройную мелодию, один сильнее другого... Руки срываются... силы сдают... И опять торжественно звучит мелодия.

— Лошади поданы,— докладывает полицейский.

— Кончайте вашу музыку,— ворчит пристав.— Поехали в тюрьму. Вы арестованы.

Мария Александровна встает.

Из комнаты выходит Анна Ильинична.

— Вы с ума сошли! Неужели вы не видите, что перед вами глубокая старушка? По какому праву? — говорит она гневно.

— Мое дело казенное,— отвечает пристав.— У меня есть предписание генерал-губернатора арестовать ссыльную Марию Ульянову и доставить ее в тюрьму.

— Как отчество Марии Ульяновой? — спрашивает Анна Ильинична.

Пристав разворачивает предписание.

— Мария Ильина...

— А перед вами Мария Александровна. Посмотрели бы паспорт.

— Смотрел, смотрел,— бормочет проштрафившийся пристав.— А где Мария Ильина Ульянова?



— Я здесь.— Мария Ильинична выходит из комнаты.

— Что же вы, сударыня, мне целый час голову морочили? — кричит пристав.

На извозчике отъезжает в сопровождении полицейских Мария Ильинична.

Вдогонку ей несется музыка. Громовые раскаты вплетаются в стройную мелодию, один сильнее другого.

Идет по темным улицам Вологды ночной сторож. Громовыми раскатами стучит его колотушка. Грозно стучит. Страшно стучит в напряженной тишине, словно хочет разогнать всех татей на земле — и тех, кто отнял у Груши мужа, и тех, кто посылает на войну молодых парней, и тех, кто отнимает у людей самое дорогое — свободу.

Призывно, гневно звучит маленькое пианино.

Ему вторит колотушка. Грозно стучит!

«ДОЛОЙ ВОЙНУ!»

Мария Александровна у себя в комнате на Широкой улице в Питере. Восемьдесят один год скоро, а не может она быть ни минуты без работы. Слабеющими пальцами вяжет, что-то шьет, присаживается за пианино и каждый день пишет письма. И по-прежнему все время ждет. Ждет, когда Аня вернется с работы, и вернется ли? Ведь она сейчас все время под угрозой ареста. Ждет писем от Маняши, которая теперь в армии, где-то под Львовом. Ждет писем от Мити — он служит военным врачом в Севастополе — и, конечно, ждет вестей от Владимира Ильича и Надежды Константиновны — теперь они в Швейцарии, отрезаны от России не только границами, но и фронтовыми линиями.

Мать всегда ждет. Мать всегда в тревоге.

У дверей раздался звонок.

Сдвоенный, громкий. Так всегда звонила Маняша. Может быть, это она?

Открыла дверь, всматривается в пришельца. Доброе, но незнакомое лицо, солдатская шинель.

— Вам кого?

— Не узнали, Мария Александровна? Роман Васильев. Ромка.

— Сразу не признала, Роман Игнатьевич. Проходите. Откуда вы?

— С каторги бежал. На фронт пробираюсь. Есть кто-нибудь из ваших?

Мария Александровна рассказывает про каждого.

— Что пишет Владимир Ильич, что делать велит?

— Много пишет. Хотите почитать?

— Если можно...

Мария Александровна прошла в комнату Анны Ильиничны, выдвинула ящик хитрого шахматного столика, принесла Роману пачку газет «Социал-демократ», брошюры.

— Вот читайте, а я пока чай приготовлю.

Роман разложил газеты и забыл обо всем на свете. Мария Александровна хлопотала у стола, посматривала на гостя, видела, с какой жадностью он вчитывается, раздумывает.

«Сердцем читает»,— подметила Мария Александровна.

Роман аккуратно сложил газеты.

— Как же это Владимир Ильич сумел все народные думы распознать, понять, что каждому человеку нужно. До чего же все просто и ясно. Вот, например, братание... Это русский солдат умеет. Как же хорошо обнять немца, а не стрелять в него. Воткнуть штык в землю, раскурить вместе одну закрутку и сказать: конец войне. Ты рабочий, и я рабочий. Нам делить нечего, драться не из-за чего. Пойдем по домам бить своих буржуев, царей и кайзеров, чтобы они

не мешали нашей дружбе. Будем хозяевами своей судьбы. Хорошо!

Мария Александровна с улыбкой смотрит на Романа. Не первый раз она видит, как Владимир Ильич овладевает сердцами и умами людей. Понимает это, и сердце наполняется большой материнской радостью, гордостью.

— Володя сейчас усердно работает. Собирается писать новую книгу, об империализме. Аня ему много материалов посылает, говорит, что все эту книгу очень ждут. Много работает,— вздохнула Мария Александровна.— Но лишь был бы здоров.

— А вот моя мать зовет меня крамольником. «Ах ты, сын крамолы»,— распекает она меня при каждой встрече. Я ей письмо написал. В стихах. Повидать ее не сумею. Хотите, почитаю?

— С удовольствием послушаю,— ответила Мария Александровна.

Роман смущенно откашлялся, вынул из кармана листок и стал читать:

Не зови меня сыном крамолы,
Моя добрая бедная мать.
Если ты сломлена произволом,
То твой сын будет волю ковать.
За страданья, за горе, за муки
Выйдут в битву тьмы наших колонн,
И, сплетая в союз братский руки,
Силой буйной разрушим мы трон.
Уж трепещут в дворцах паразиты,
Натравляя на нас разный сброд.
Все они будут нами разбиты,
И свободно вздохнет наш народ.
Не зови меня сыном крамолы
И не плачь обо мне, моя мать.
Мы покончим навек с произволом,
Будет солнце свободы сиять [1].

[1] Стихи написаны старым большевиком И. В. Шуваловым.

Роман спрятал листок в карман.

— Мать у меня добрая, хорошая, но неволя ее к земле пригнула. Всю жизнь в страхе живет, чтобы меня с работы не прогнали, чтобы в тюрьму не посадили, чтобы на войне не убили.

Мария Александровна усмехнулась.

— А вы думаете, Роман Игнатьевич, что есть такие матери на свете, которые не тревожатся за своих детей, могут спать спокойно, когда их дети в тюрьме? И нет сейчас такой солдатской матери, которая бы не просыпалась ночью в страхе...

— Это правда,— сказал, как бы раздумывая, Роман,— но моя мать никак понять не может, что мы вступили в святую борьбу с произволом.

— Поймет, Роман Игнатьевич, поймет. Владимир Ильич вместе с вами, своими единомышленниками, объявил сейчас войну войне. Войну за мир. Какая мать не благословит такой войны? Разве ваша мать не благословит вас на это?

— Я, наверно, не мог растолковать ей это,— вздохнул Роман Игнатьевич.— Будете писать Владимиру Ильичу, передайте от меня привет, скажите, что задание его я выполню. Вот только немецкого языка не знаю. Может быть, поможете, Мария Александровна?

— С удовольствием.

— Скажите, как будет по-немецки «Долой войну!»?

— Нидер мит дем криг! — раздельно произнесла Мария Александровна.

Роман старательно записал русскими буквами на клочке бумаги.

— А как сказать «Долой царя и кайзера! Да здравствует социалистическая революция!»?

— Нидер мит дем цар унд кайзер! Эс лебе социалистише революцион!

— Ну, я думаю, хватит, остальное сердце подскажет.

Роман Игнатьевич с благодарностью посмотрел на Ма-

рию Александровну. Она сидела в кресле, положив руки на подлокотники. Пальцы чуть шевелились и вздрагивали, словно раздумывали, чем бы еще заняться. Трудная жизнь и преклонные годы иссушили, исчертили морщинами лицо, и только глаза не погасли. В них светились мудрость и неутолимый интерес к жизни, большая человеческая доброта и материнская ласка.

1963—1965



ПАРОЛЬ — НАДЕЖДА

Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

УЕЗДНЫЙ НАЧАЛЬНИК

По пыльной, ухабистой улице Гройца шагал статный человек в форме капитана русской армии. Тщательно начищенные ботинки, белоснежный воротничок и манжеты, отлично пригнанный мундир, походка и выправка выдавали в нем военную выучку с малых лет. Капитан с досадой поглядывал на ботинки, которые постепенно тускнели от пыли, пожалел, что не велел заложить коляску. Но сказывалась многолетняя привычка к верховой езде, длительным пешим переходам и чисто военное отвращение к экипажам. Возле

базара его нагнала бричка, запряженная парой великолепных лошадей.

— Константин Игнатьевич, милости прошу, садитесь, подвезу,— натягивая вожжи, пригласил его грузный пожилой мужчина с круглой, лопатой, бородой.

— Благодарствуйте, Сидор Прохорович, мне недалеко.

— Ну, как вашей милости будет угодно,— обиженно процедил сквозь усы бородатый мужчина и, привстав, сердито огрел плетью коренника. Лошади понесли, вздымая облака густой летучей пыли.

— Вот пся крев! — выругался старый крестьянин, отряхивая свою дырявую войлочную шляпу.

Бабы с горлачиками и корзинами затараторили и принялись ладонями, фартуками прикрывать свои товары, отплевываясь и щурясь от пыли. Старая цыганка живо собирала карты, раскиданные на шали, и посылала страшные проклятия на голову купца, на его лошадей, на жену и на весь его род, а завидев капитана, стала быстро тасовать тонкими коричневыми пальцами замусоленную колоду карт.

— Пан начальник, дозволь, погадаю, всю правду расскажу.— Она вытаскивала из середины колоды карты, разбрасывая их направо и налево, приговаривая: — Кавалер, красавец писаный... Не одна бубновая дама по тебе сохнет... Позолоти ручку, красавец!— Цыганка протянула желтую ладонь.

Капитан на ходу бросил ей монетку.

— Счастье за тобой как тень ходит, только ты его схватить не умеешь...

Гадалка торопилась разбросать карты и вслед офицеру выкрикивала:

— Эполеты генеральские заблестят на твоих плечах... Приятный разговор в казенном доме... Плюнь мне в глаза, сокол мой, если не сбудется...

Константин Игнатьевич усмехнулся: генеральские эполеты! Тут капитанские погончики еле на плечах держатся.

— День добрый, господин уездный начальник!

— Здравия желаем, пан Крупский!

— Здравствуйте, Константин Игнатьевич! — приветствовали начальника Гроецкого уезда, Варшавской губернии, капитана Крупского жители города, и в этих приветствиях Константин Игнатьевич улавливал и доброе отношение, иногда лесть, а порой и злобинку.

Польский народ люто ненавидел царских колонизаторов, особенно русскую армию, штыки которой охраняли господство русского царя в Польше. Но капитан Крупский за три года пребывания начальником уезда завоевал себе добрую славу. Уездный начальник был доступен для каждого, внимателен и справедлив и, в нарушение всех правил, говорил с поляками по-польски. Все уездные паненки в один голос утверждали, что лучше пана Крупского мазурку никто не танцует, что пани Крупская хорошо знает польскую музыку, играет на фортепьяно, а их маленькая дочка Надя распевает польские и татарские песенки.

Капитан Крупский был очень хорош собою. Высокого роста, с юношески стройной фигурой, он был подвижен, ловок, каштановые кудри обрамляли бледное лицо с правильными чертами, большие серые глаза смотрели приветливо. От своего отца Игнатия Крупского, майора русской армии, он унаследовал горячий, вспыльчивый характер и умение сдерживать себя; он так же, как и отец, ненавидел всякое угнетение, палочную дисциплину. Отец, Игнатий Крупский, сочувствовал тайному сообществу передовых офицеров и за это был уволен в отставку и сослан в Казанскую губернию. А его сын, Константин Крупский, состоял в тайной революционной организации «Земля и воля» и в особой царской канцелярии числился в списке «неблагонадежных».

Недоброе и подозрительное отношение к себе варшавского генерал-губернатора капитан Крупский чувствовал уже

давно. Цыганка как будто знала, что его ждет разговор в казенном доме, но вряд ли этот разговор будет из приятных.

Константин Игнатьевич пересек площадь у костела, где раскинулся базар. Кудахтали куры и гоготали гуси в корзинах, оплетенных сверху веревочной сеткой; на деревянных стойках были разложены деревенские товары: на грязных тряпицах яйца, в деревянных и глиняных чашках творог, с которого крестьянки лениво сгоняли мух. На жаровнях шипели в коричневом конопляном масле лепешки, распространяя удушливый чад. Все было грязно, убого, ничто не радовало глаз. Картофель был мелкий, пораженный лишаем, морковь кривая, светло-желтая, яблоки и те выглядели несъедобными. Тощая земля рожала тощие плоды. Бабы сидели у своего товара, кидали в рот семечки, выплевывая шелуху наземь.

Подходя к уездной управе, Константин Игнатьевич понял, что день предстоит тяжелый. У забора стояли телеги с поднятыми вверх оглоблями, распряженные лошади, уткнув морды в мешки, лениво жевали сено. Во дворе было полно народу. На скамейке и на завалинке сидели старики. Мужики помоложе с женами и ребятишками расположились прямо на земле. Семьями обычно приходят погорельцы. А лето стояло сухое, жаркое, горели леса, горел хлеб на полях, выгорали целые деревни. И по всем дорогам Российской империи тащились старики, малые дети и женщины с протянутой рукой, и по всем дорогам неслось, как стон: «Подайте христа ради погорельцам». Старики — это ходоки от мирских сходок. Они будут жаловаться на притеснения помещиков, просить за погорельцев. Люди замученные, усталые, с котомками за плечами. Многие пришли из дальних гминов. Всех пригнала сюда нужда.

Крупский прошел через двор, отвечая на приветствия, взбежал на крыльцо; он не мог спокойно видеть протянутых в мольбе рук, коленопреклоненных людей, слышать этот

горестный хор. Каждый вопил о своем горе на своем — польском, украинском, русском, еврейском и татарском — языке.

— Кого будете принимать, вашебродь, семейных аль стариков? — спросил писарь.

— Начнем со стариков... Прошу пане,— приглашает Крупский к себе в кабинет ходоков от мирских сходок.— Прошу пане садиться...

Но старики стоят, опершись о посохи.

Пожар за одну ночь оставил около сотни жителей без крова. Всей деревней пошли по миру.

Константин Игнатьевич нервно постукивает пальцем по столу. Что может сделать уездный начальник, если в бюджете уезда не предусмотрены средства помощи от недорода, пожара, наводнения, от эпидемий. Крупский понимает, что старики не могут уйти от него ни с чем. Проклятая нужда, законом установленная. Уездный начальник чувствует себя виноватым.

— Ничем помочь не могу, — с отчаянием произносит он.

— Больные у нас, пан начальник.

— Везите в Варшаву, у нас в городе нет больницы.

И снова жгучее чувство вины перед людьми. Один врач и приемный покой на весь уезд. А холера свирепствует в Европе, доползла до Польши.

«Люди добрые, дорогие старики! Дьявольский порядок установлен на Руси. Русскому мужику живется ничуть не лучше, чем вам, полякам. Он также бесправен, нищ, голоден. Нужно все перевернуть и установить другой порядок — когда человек человеку будет друг. А как все это сделать? Я ведь тоже не знаю. Я хочу знать и уметь... Но помощь вам нужна сейчас. Сию минуту. Я бы дал приказ вырубить помещичьи леса и построить вам добрые хаты. Но разве я волен распоряжаться ими? Я бы отнял у помещика землю и отдал вам. Я велел бы выдать вам из закромов зерно,

чтобы вы не умерли с голоду. Но землю помещика, его леса, его добро охраняет царский закон».

Так думал Крупский, глядя на стариков, а вслух сказал:

— Чем же я могу помочь... Чем помочь? Могу отпустить немного казенного леса из переросших деревьев. Построите временное жилье.

Старики кланяются в пояс, готовы рухнуть на колени. Крупский останавливает их жестом руки, пишет записку, передает старейшему:

— Пойдете к лесничему.

— Пан начальник, нет у нас ни пил, ни топоров, все сгорело.

— Вам помогут солдаты. Я распоряжусь.

Крупский выходит вместе со стариками в канцелярию, чтобы предотвратить унизительную сцену благодарности.

На смену этим приходят трое других. Тоже ходоки от села. Жалуются на гминного старшину, навязанного им помещиком.

Вот это во власти Крупского. Гминных войтов (волостных старшин) утверждает уездный начальник.

— Кого бы вы хотели вместо него?

Все трое называют имя своего кандидата.

— Славку Новака. За него вся гмина.

— Справедливый человек? Взяток брать не будет? Не обманет вас? — спрашивает Крупский.

— Мы ему верим. В шестьдесят третьем, когда убили командира, он стал во главе повстанческого отряда,— говорит один из стариков, а двое других толкают его в бок.

— Брешет он, пан начальник, не верьте старому! Ума лишился. Славка не водился с повстанцами.

Крупский внутренне ликует. Народ почитает своих партизан, которые с вилами и косами поднялись тогда против царских порядков в Польше. И вместе с тем у него возникает горькое чувство — люди боятся вполне довериться ему,

русскому офицеру, хотят скрыть от него, что Новак был партизаном.

— Хорошо. Коли ему гминный народ верит, я назначу его старшиной. Обождите в канцелярии, писарь вам выдаст бумагу.

Как приятно, когда можешь помочь людям! Но все это капли в море людской нужды, несправедливости.

Приняв последнего просителя, капитан велел писарю пригласить к нему пана Радвана.

Уездный архитектор Радван явно с нетерпением ждал этого приглашения.

Крупский поднялся ему навстречу. Архитектор, небольшого роста, с пухлыми щечками, длинной реденькой бородкой и такими же волосами, имел торжественный вид и явно волновался. Он с почтением относился к делу, которому служил. Ему казалось все равно *что* строить, лишь бы строить добротно, красиво, с выдумкой, чтобы радовало глаз.

Но в уезде нельзя было развернуться, и пан Радван считал себя неудачником.

— Итак, пан Радван, я вас слушаю.

Архитектор пришел с большой папкой. Он развязал шелковые шнуры, осторожно извлек из папки листы плотной бумаги и раскладывал их на столе.

— Вот, пан Крупский, на ваше милостивое утверждение.

Он сказал это торжественно, тоном зодчего, предлагавшего свое новое творение.

На белоснежном, чуть шероховатом листе просвечивали водяные буквы, как на банковом билете. Рукой мастера на бумаге был вычерчен фасад одноэтажного здания, раскрашенный акварелью. На светло-сером поле яркое праздничное кирпичное сооружение с крохотными зарешеченными окнами под самой крышей. Красный кирпич, зеленая крыша, кудрявые деревья вдоль фронтона здания создавали на-

рядный пейзаж. Железная дверь с засовами была украшена круглыми блестящими заклепками, висячими и внутренними замками. На белой каменной ограде обозначен каждый шов. Высокие трубы на крыше с жемчужными клубами дыма — все походило на яркую иллюстрацию из детской книжки.

— Вы отличный художник! — воскликнул Константин Игнатьевич.— Мне просто самому хочется сесть на эту гауптвахту.

— О, пан Константин, спаси вас от этого дева Мария!.. А архитектор прежде всего художник. Я польщен вашей похвалой. Но это еще не все. Позвольте глянуть на конюшню, которая будет примыкать к гауптвахте.

Константин Игнатьевич взял в руки карандаш.

Пан Радван проворно извлек из папки кальку, на которой те же чертежи были сделаны черно-белым.

— Прошу вас, ваши замечания сделайте здесь, на кальке.

Крупский бросил острый взгляд на архитектора и занес карандаш над калькой.

— Во-первых, мне хотелось бы окна опустить ниже и сделать их раза в четыре больше.

— Изволите шутить, пан капитан? Это гауптвахта и в то же время острог. К гауптвахте примыкает конюшня. Может быть, сделать больше окна для лошадей?

— Нет, для людей.

Пан Радван пожал в недоумении плечами. Кто же разрешит делать тюрьму с большими окнами?

— Да, у нужды и неволи всегда малые оконца,— заметил Крупский.

Он раскрыл портсигар и предложил Радвану папиросу. Оба закурили. Крупский ходил по кабинету, словно забыв и о чертежах и о Радване. Потом круто повернулся на каблуках и встал перед архитектором:

— Скажите, пан Радван, вам известны случаи, чтобы от

отсутствия в городе тюрьмы, острога или гауптвахты на людей нападал мор от холеры, туберкулеза?

— Не могу угадать хода ваших мыслей, пан Константин,— признался архитектор.

— Пан Радван! Холера снова приняла размеры пандемии, охватила всю Европу. Каждый день сотни тысяч свежих могил. Холера подползла к нашему уезду. Туберкулез стал национальным бедствием в Польше. Из пяти новорожденных выживает только один. А у нас в уезде нет приличной больницы. И мы с вами, взрослые, разумные люди, будем строить красавицу тюрьму. А нельзя ли вместо нее построить больницу?

— Ах, дорогой пан Константин, если бы вы могли решать все государственные вопросы, люди были бы счастливы, но в генерал-губернаторстве сидят чиновники, законники, и они не разрешат, тем более что тюрьмы и больницы строят разные ведомства.

— Я был на прошлой неделе в Варшаве. Просил дозволения построить больницу. Мне сказали: стройте, но средства изыщите на месте, от благотворителей. Вот я и думал: где их взять? Будылин мог бы раскошелиться. Он на одних поставках мяса для армии зарабатывает миллионы. На тюрьму бы он дал, но на больницу — ни-ни, тем более если буду просить я.

— А Трофимовский? — осторожно осведомился архитектор.— Он поставляет овощи для самого фельдмаршала.

— Иннокентий Трофимовский? Больше чем на целковый он не раскошелится. Прижимист,— возразил Константин Игнатьевич.— Мы можем надеяться только на самих себя, на нашу с вами изобретательность.— Крупский потер лоб, глаза его заблестели, щеки разрумянились, он обхватил архитектора за плечи: — Пан Радван, мы построим с вами больницу! Построим вместо гауптвахты и конюшни. Стены для больницы можно сделать в два раза тоньше, чем для

тюрьмы, окна — больше, вместо камер с толстыми стенами—просторные палаты. Сколько высвободится кирпича, а? А старую гауптвахту мы снаружи выкрасим, внутри побелим, подремонтируем конюшню. И будем иметь больницу. Больницу! Вы понимаете?

Пан Радван, прижав пальцы к вискам, закрыл глаза и восторженно шептал:

— Белую как снег больницу, с венецианскими окнами, с сосновым парком...

Архитектор схватил пузырек с тушью, кисточку, подошел к столу и не жалеючи стал поверх чертежа гауптвахты наносить окна, высокие двери, ажурные балконы. Крест-накрест перечеркнул стены камер, мелким бисерным почерком делал какие-то заметки на полях чертежей, что-то высчитывал, возвел второй этаж, вычертил эскиз фрески: чашу со змеей — эмблемой всеисцеляющей медицины.

И вместо гауптвахты и конюшни на чертежах, как видение, стал возникать силуэт больницы.

Крупский с улыбкой смотрел на архитектора, на его всклокоченные волосы, разметавшуюся по ватману бородку — пан Радван был сильно близорук, работал без очков, почти касаясь носом бумаги.

— Так строим? — положил ему на спину руку Крупский.

— Строим! — как клятву произнес Радван.— Это будет самое лучшее из моих творений. Готов лично принять на себя кару от царя и господа бога.

— За все в ответе я. Я — уездный начальник. Я вам так приказал, ваше дело повиноваться, пан Радван.

— Вот когда повиновение действительно доставляет радость,— ответил архитектор.— Да благословит вас дева Мария!

Глава II

ДО́МА

Солнце уже спускалось за зубчатой кромкой леса, когда Константин Игнатьевич возвращался домой. Шел в тяжелом раздумье. Не мог привыкнуть к человеческой нужде, вернее, смириться с нею. Все в нем клокотало и восставало против людского горя, бесправия. Часто одолевало желание подать в отставку, но друзья и жена, его милая Лиза, советовали не делать этого. Назначат другого начальника, от которого людям будет хуже.

На высоком крыльце стояла Лиза с Надюшей на руках. Ждала его. Крупский сдвинул ладонью фуражку на затылок и устремился к дому. Исчезли горькие складки у рта, и хорошая улыбка засияла на лице.

Вот уже шестой год как он женат и все не может привыкнуть к своему счастью.

Каждый раз, когда он подходит к дому, радостное чувство сжимает сердце, и каждый день их счастье поднимается на новую ступеньку.

Вон она, Лиза, стоит на крыльце, такая же тоненькая, стройная, какой он увидел ее первый раз. Она тогда шла по опушке леса и вела за руки двух девочек. У всех трех на голове были венки из ромашек. Поручик Крупский, сидя верхом на коне, вел свою роту. Дорога шла вдоль опушки леса. Увидел Лизу и понял, что это не мать девочек — слишком молода, и не сестра им: девочки были дурнушки, а девушка — красавица. Запомнил эту местность и вечером уже знал, что девушка служит гувернанткой у помещика, зовут ее Елизавета Васильевна Тистрова.

Через два месяца он сделал ей предложение и до свадьбы увез ее к своему брату Александру в Петербург.

И каждый день с тех пор удивляется своему счастью, которое с годами становится все ярче. Может быть, он ощу-

щает его особенно остро потому, что не знал с детства, что такое семья, не ведал материнской ласки, не помнил доброй руки отца. Сиротское детство в казенном военном кадетском корпусе, затем служба в армии. С малых лет серые казарменные стены, казарменный распорядок дня. Жизнь по команде, окрик, строй. А теперь его каждый день ждут и ласково встречают Лиза и Надюша. Девочка-улыба — это их дочка, Надежда. Если бы было имя Счастье, они назвали бы этим именем свою дочку.

Надя, завидев отца, рвется к нему навстречу, переступает крепкими ножками по ступенькам, спешит, летит, протянув ему навстречу растопыренные пальчики, такая маленькая, смешная девочка в белых панталончиках, обшитых кружевами, золотоголовая, ясноглазая.

Константин Игнатьевич присел на корточки, раскинул руки, поймал и заключил в объятия девочку-улыбу, и этот маленький живой комочек прильнул к сердцу, и сердце чувствует себя мячиком в ладошках девочки. Отец подхватил дочку и, выпрямившись, поднял ее высоко-высоко, подкинул и поймал и снова подкинул.

— Костя, Костенька...— слышит он умоляющий голос Лизы.

«Неужели она думает, что он может не рассчитать свои силы и уронить их дочку?»

Отец усаживает Надюшу на плечи, она забирает пригоршни кудрей отца и кричит: «Н-но, лошадка, н-но!»

И вот они оба обнимают свою маму Лизу, и все трое входят в дом, в свой мир, счастливый, красивый, полный тихой радости. Лиза, надев передник, спешит на кухню, чтобы помочь старой Ядвиге подать на стол кушанье, но Константин Игнатьевич не отпускает жену. Успеем пообедать. Дай нагляжусь. Соскучился. И милая, застенчивая улыбка освещает лицо жены. Улыбка всегда чуть грустная, ее смех — тихий, грудной, и рядом звонкий, заразительный смех дочки.

Надюше не терпится прочесть отцу новое стихотворение.

— Я ей только два раза прочитала,— говорит Лиза,— и она сразу запомнила. Надюша, расскажи папе.

Отец ставит дочку на круглый стол. Она закладывает руки за спину и, лукаво улыбаясь, быстро-быстро, с придыханием, глотая окончания слов, лопочет, плохо справляется с шипящими буквами:

Дождик, дождик мой любимый,
Ты пройди сегодня мимо,
На поля не падай с неба —
Не мешай уборке хлеба!
    Но, лошадка, но!
Туча быстрыми шагами
Вышла вслед за облаками.
Надо нам поторопиться
С поля вывезти пшеницу.
    Но, лошадка, но!

— Браво, браво! — Отец подбегает и ловит дочку в момент, когда она, шагая по столу, не признавая границ, заносит ногу за край стола.— Н-но, лошадка, н-но! — кричит в восторге Константин Игнатьевич и мчится с дочкой на кухню.

Старая Ядвига улыбается.

— День добрый, милая Ядвига!

— Здравствуйте, пан Константин.

Засучив рукава, отец моет под умывальником руки, а Надюша уже тащит полотенце, стоит и смотрит на отца снизу вверх, ждет, когда он побрызгает на нее. А потом оба бегут в столовую. Надя становится спиной к отцу. Он усаживает ее на высокий стульчик.

— Н-но, лошадка, н-но! — стучит ложкой о тарелку Надюша и придумывает, что бы еще такое совершить, чтобы привести в восторг отца, но слышится тихий голос мамы:

— Успокойся, Надюша. Когда я е-ем...— медленно произносит она.

— ...я глух и нем! — отвечает Надюша и снова стучит ложкой о тарелку.

— Костенька,— с укоризной говорит Лиза,— ну сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не затевал возню перед обедом. Смотри, как она разгорячилась, и теперь будет есть без аппетита.

— Прости, Лизонька, дорогая, прости, никогда больше не буду! — целует руки жены Константин Игнатьевич, садится за стол, заправляет угол салфетки за ворот.

Надя тоже притихла, старательно несет ложку ко рту, скосив большие голубые глаза на мать.

Права ли Лиза, ограничивая веселые порывы дочери, устанавливая для такой крохи режим, Константин Игнатьевич не уверен. Ему хотелось, чтобы Надюше предоставлялось больше свободы, больше самостоятельности для самовыявления, чтобы не выросла девочка замкнутой, неуверенной в себе. Константин Игнатьевич очень боялся всякого насилия над волей человека, особенно ребенка. Невеселое его детство в казарме оставило горький осадок на всю жизнь. Но он видел, как ласково и умно воспитывала Лиза их дочку, их Надежду, и сам старался быть осмотрительнее, не давая воли эгоистическому отцовскому чувству.

Лиза была лучшим другом и советчиком, поверенным во всех его делах. Единственно, в чем они не сходились, это во взглядах на религию. Елизавета Васильевна с детства исполняла все церковные обряды, каждое воскресенье ходила в церковь и водила с собой дочку. Константин Игнатьевич перестал верить в бога, не успев еще поверить в него, ходил в церковь только по долгу службы, исповедь перед невежественным попом считал унижающей достоинство человека. Священнослужители, будь то попы, ксендзы, раввины, с их поборами, обманом, лицемерием вызывали в нем отвращение. Всякая религия всегда приспосабливается к власть имущим, служит их интересам, сковывает волю человека. Елизавета Васильевна боялась отрешиться от за-

ложенного в ней с детства страха перед богом. «Мне спокойнее на душе, когда я побываю в церкви,— говорила она мужу.— Я ничего плохого не делаю, молюсь за Надю, за тебя, за наше счастье». Константин Игнатьевич не требовал от жены порвать с церковью, она тоже не докучала ему просьбами соблюдать посты, ходить на исповедь.

Константин Игнатьевич шутливо-строго посмотрел на дочку:

— Кушай с аппетитом, а то нам влетит с тобой от мамы.

— Сегодня на сладкое я сделала бламанже,— говорит Ядвига, подавая на стол кушанья.

— Я очень люблю бла-ман-же! — заявляет Надя.

Во дворе слышатся вопли. Женский голос, надрываясь, кричит по-польски:

— Пан начальник, защитите! Помогите! Помилуйте!..

Константин Игнатьевич срывает салфетку, бросает ее на стол и, схватив в передней фуражку, выходит на крыльцо.

Несколько женщин стоят на коленях и кричат, вздымая руки к небу:

— Помогите, защитите!..

— В чем дело? Встаньте! Расскажите вот вы,— обращается он к пожилой женщине—горожанке, одетой в траур.

— Пан начальник,— поднимает она тяжелую голову с запавшими глазами,— русские... солдаты... уничтожают наше кладбище, ломают кресты... оскверняют могилы...

— Яков! — кричит Крупский вестовому, который появляется как из-под земли и стоит навытяжку.— Седлай Стрижа! Живо! А вы идите по домам и успокойтесь,— говорит он женщинам.— И вы разойдитесь! — приказывает он любопытным, собравшимся у ворот.

И эти распоряжения, отданные не очень громким, но властным голосом, которого невозможно ослушаться, сразу восстанавливают тишину.

Константин Игнатьевич зашел в дом, где Лиза, прижав к себе дочку, стояла в передней, не смея выйти на крыльцо.

— Кто там плачет, папочка? — Вопрошающие глаза Надюши подняты на отца, и в них испуг.

— Я сейчас узнаю, кого обидели, и накажу обидчика.

Яков подвел лошадь к крыльцу, Константин Игнатьевич вздел ногу в стремя, легко вскинул тело, сел в седло и пришпорил коня.

Чтобы сократить путь до кладбища, он пустил коня по жнивью. Наступали сумерки, и на фоне багряного неба на холме черными звездами вырисовывались силуэты крестов.

У самого кладбища Крупский остановил коня, накинул уздечку на сучок и стал пробираться мимо могил. Густо разросшийся кустарник, бузина и жимолость не пропускали солнечного света. Пахло сыростью. Старые, заброшенные склепы осели в землю. С некоторых были сдвинуты каменные плиты, опрокинуты часовни, и на их месте зияли черные пропасти. По другую сторону холма вырастало новое кладбище: там не было склепов, над могильными холмами возвышались железные, а чаще деревянные кресты с маленьким распятием посередине крестовины. Солдаты раскачивали кресты и валили их на землю. Внизу под холмом собрались женщины и вопили, проклиная погромщиков.

— Кто приказал учинить сие? — спросил Крупский.

Солдаты узнали уездного начальника, одергивали рубахи, поправляли фуражки.

Подбежал унтер, выпятил грудь, приложил перепачканную в земле руку к козырьку и отрапортовал:

— Что изволите, вашевскродие?

— Кто приказал? — Крупский дрожал от ярости, лицо его было искажено.

Унтер поперхнулся и с перепугу не мог вымолвить слова.

А снизу надвигалась толпа женщин с воплями и стонами.

— Кто приказал? — не спросил, а страшно выдохнул Крупский, сжав рукоятку револьвера.

— Полковой батюшка приказали. Нехристи эти поля-

чишки, и крест у них неправильный. Христианское кладбище будет здесь. А всю эту погань отец Серафим велели к чертовой бабушке...

Крупский выхватил револьвер. Унтер отскочил. Солдаты замерли в тупом оцепенении, бабы перестали голосить.

Константин Игнатьевич задохнулся, мучительный приступ кашля перехватил дыхание и вместе с тем привел его в чувство. Рука, готовая поднять револьвер, бессильно опустилась. Крупский понял, что мог сгоряча совершить непоправимое — пустить в ход оружие.

— Немедленно водрузить кресты на место, поднять каменные обелиски и часовни, восстановить могильные холмы! И запомните, что начальник в уезде не отец Серафим, а я, капитан Крупский.

Солдаты облегченно вздохнули. Грозен был в гневе капитан. И дело, которое заставил их делать поп, не очень-то было им по душе.

— Правильно рассудил капитан,— сказал старый солдат,— непотребное дело мы делаем. Перед богом все одинаковы — что православные, что католики.

И с таким же старанием, с которым только что разрушали, солдаты принялись поднимать заваленные кресты, обравнивать могилы. Им помогали женщины. А старая женщина в трауре, сложив два пальца, подняла руку и благословила всадника, который удалялся по дороге в облаке пыли.

Глава III

ЦАРСКИЙ ДЕНЬ

На узкой улочке друг против друга стояли дома уездного начальника и купца Будылина. Дом, занимаемый Крупским, был казенный, одноэтажный, выкрашенный в буро-красный цвет, а у Будылина — собственный каменный двух-

этажный особняк с белыми колоннами у парадного входа, с хозяйственными пристройками и обширным садом. Восемь окон выходило на улицу, и в каждом окне тюлевые шторы и дорогие портьеры, и по праздникам во всех комнатах зажигались свечи в люстрах с хрустальными подвесками, а в саду горели плошки и даже запускался фейерверк.

В августе 1872 года — в царский день, годовщину коронации Александра II,— во всех церквах и костелах шло торжественное богослужение, и церкви превращались в арену состязаний местных модниц и выставку невест. Да где же можно было блеснуть своими туалетами и драгоценностями перед всеми горожанами, как не в церкви? Гройц не Варшава, а всего лишь уездный городок, здесь нет ни театра, ни ипподрома, даже ярмарок не бывает.

Мадам Будылина со своей десятилетней дочерью ехала в открытом экипаже в церковь. Кучер не гнал лошадей, чтобы не вздымать пыль и чтобы люди могли во всех подробностях рассмотреть новый туалет Евлампии Петровны, заказанный у мадам Жаннет — в самом дорогом модном салоне Варшавы.

Пан Радван, который направлялся в костел со своей супругой, широко раскрыл глаза, увидев пышное и замысловатое сооружение, восседавшее в экипаже. Он приподнял котелок и так нес его над головой, пока экипаж не проехал мимо и не завернул за угол.

— Какова архитектоника!—восхищенно воскликнул он, обращаясь к своей маленькой пожилой супруге, одетой в строгое темное платье.

Голова мадам Будылиной, украшенная шляпой с высокой тульей со страусовыми перьями и булавками, подбородком упиралась в грудь, походившую на широкий прилавок ювелирного магазина. Мадам Будылина следила за тем, чтобы не опустился подол платья, «случайно» чуть приподнятый, и не скрыл от взоров любопытных золоченые туфли. Она обмахивалась веером, и при каждом взмахе на пальцах

сверкали драгоценные камни. Евлампия Петровна со вчерашнего вечера ничего не ела, чтобы выглядеть на обедне более стройной. Рядом с ней сидела девочка в белых замшевых башмаках, таком же, как у матери, сиреневом платье с широким белым кушаком и пышными розовыми бантами в косе. Маша ехала выполнять скучную обязанность. Она еще не понимала толка в туалетах, не могла перестраиваться в своих привычках, как ее мать, сидела насупившись и на ласковую материнскую просьбу: «Пошли воздушный поцелуй мадам Радван», вздергивала плечами и, еще больше насупившись, отвечала: «Не хочу... Не буду». Евлампия Петровна щипнула дочь и с нежнейшей улыбкой прошептала:

— Улыбнись, дура, не срами мать.

Маша снова дернула плечом и совсем громко заявила:

— А ты не щипайся.

Сидор Прохорович Будылин приехал в церковь заранее. Мужчины стояли по правую сторону от алтаря, женщины— по левую.

Евлампия Петровна, шурша шелками, постукивая каблучками, прошла и встала впереди всех. Ее зоркий взгляд отметил, что «капитанша» с дочкой были уже в церкви и что Крупская пришла в том самом платье, в котором была в прошлое воскресенье, и нового туалета к царскому дню не справила. Светло-синее платье Елизаветы Васильевны, отделанное атласными лентами и бархатом, красиво облегало ее стройную фигуру, подчеркивало золотистый блеск волос и гармонировало с голубыми глазами. Обручальное кольцо да перстенек с камушком —вот и все драгоценности, даже серег в ушах не было. «Прямо срам смотреть на эти голые уши»,— подумала Евлампия Петровна и потрогала свои бриллиантовые серьги с подвесками — на месте ли они. Пересчитала глазами кольца на пальцах—не обронила ли какое.

По церкви прошел шепот, и Будылина поняла, что это

оценивают ее новое платье и заприметили новые серьги. Сидор Прохорович хоть и был крут и часто колотил жену, но денег на наряды не жалел. Драгоценности и туалеты жены — это живая реклама купца первой гильдии Будылина, его торговой фирмы. «Знай наших»,— говаривал Будылин, покупая для жены драгоценности, и заносил их в свою бухгалтерскую книгу, где они проходили у него не под рубрикой «расход», а под рубрикой «приход».

Драгоценности для него были те же деньги. Он выдавал их жене по счету, так же принимал и прятал к себе в несгораемый шкаф до следующей оказии.

Евлампия Петровна встала так, чтобы видеть капитаншу; Елизавета Васильевна выделялась среди толпы своим изяществом и стройностью, и каждый, глядя на нее, встречал ее чуть заметную улыбку, от которой делалось легко на сердце.

Тщетно пыталась Евлампия Петровна завести дружбу с Крупской. Капитанша, по мнению Будылиной, была гордая, недоступная. Всегда находила предлог отказаться прийти в гости и к себе не звала; только на пасху, по христианскому обычаю, ее двери были открыты для всех. До приезда в Гройц Крупских Будылины были завсегдатаями в доме уездного начальника, а в праздники так почетными гостями. А уездный начальник был не какой-нибудь капитан, а полковник. Полковница тоже не гнушалась дружбой с Евлампией Петровной и выгоду от этого большую имела. Полковник просиживал иногда до утра в их доме за «пулькой». Вместе с Сидором Прохоровичем на охоту ездил.

И всегда в достатке жил. Будылины щедро расплачивались за оказанные услуги.

Капитану Крупскому до полковника еще три больших ступени, а ведет себя, словно он полный генерал или будто за женой получил несметное приданое. Будылину же точно известно от самого начальника личного стола генерал-губернаторства, что в бумагах Крупского значится: происхож-

дение дворянское, недвижимого имущества не имеет, капитала, когда женился, было всего 18 руб. 40 копеек. А если бы водил дружбу с ними, с Будылиными, нужды не имел и процентных билетов купил бы в Санкт-Петербургском банке не на одну тысячу.

«Капитан стоит крестится, а сам, когда руку ко лбу подносит, косится на жену и дочку, совсем не о господе боге в церкви думает,— переводила осуждающий взгляд Будылина с капитанши на капитана.— Бесстыдники,— истово молилась купчиха,— покарай их господь бог за гордыню, за то, что в храме твоем ведут себя непотребно...»

Маша стояла возле матери, вертелась во все стороны, крестилась, зевая до слез, а когда становились на колени, то плюхалась задом на пятки и отсиживалась, за что от матери получила не один щипок.

Но наконец кончилось торжественное богослужение, и народ двинулся к выходу, став по сторонам и давая пройти прежде всего «отцам города». Крупский взял за руку дочку, а как только вышел из храма, поднял ее на руки, хотя был в парадной форме капитана.

Евлампия Петровна подошла к Елизавете Васильевне и пропела:

— Не откажите отведать сегодня нашего хлеба-соли по случаю великого праздника в честь государя императора.

Эту фразу Будылина долго разучивала под диктовку мужа, чтобы Крупские не смели отказаться. Не в честь семьи Будылиных будет ужин, а в честь самого государя императора всея Руси, царя польского, великого князя финляндского и прочая, прочая, прочая...

— Благодарствуйте, если я не расхвораюсь,— ответила с самой очаровательной улыбкой Елизавета Васильевна.— Горло болит, и, кажется, у меня жар.

— У нас найдется чем горло промочить,— сострила купчиха,— мой супруг из Варшавы привез французские вина и парижские конфеты.

— Спасибо, спасибо, я должна еще спросить своего мужа, не занят ли он.

Между тем Будылин, стоя перед Крупским, рокотал:

— Милости прошу, Константин Игнатьевич, не побрезгуйте нашей вечерней трапезой, пожалуйте с вашей супругой к восьми часам вечера к нам на ужин. Будут все свои.

— Благодарю, благодарю,— поклонился Крупский,—непременно будем, если только моя жена почувствует себя лучше. Честь имею кланяться.

Константин Игнатьевич подошел к дамам и, учтиво поклонившись мадам Будылиной, шутливо произнес:

— Я похищаю мою жену, она нездорова.

Усадив Елизавету Васильевну и дочку в коляску, Константин Игнатьевич велел кучеру ехать домой.

У Будылиных уже третий день готовились к этому парадному ужину. По всему дому гремел громовой голос Евлампии Петровны:

— Машка, барабанная шкура, куда ты девалась? Мусью сейчас придет!.. Прасковья, вели Петьке зарезать трех курпеструшек, принеси из погреба квасу!

Маша, она же барабанная шкура, не любила заниматься французским языком, она старалась с утра спрятаться куда-нибудь от учителя, от матери, ее щипков и щелчков, от свирепого отца, который учил и жену и дочь ременной плеткой.

Когда зажигались огни в доме Крупских, Маша прилипала к окну своей комнаты и наблюдала жизнь этой семьи, где ей все нравилось. Вот они все трое играют в жмурки, бегают друг за другом по комнате, смеются; вот они сели за стол, покрытый белой скатертью, и весело разговаривают с прислугой. Они дома такие же, как и в церкви, как на улице. В семье у Маши все делалось напоказ; мать с отцом разговаривали отрывисто, грубо; чай пили из щербатых ча-

шек на старой клеенке, а для гостей подавали дорогую посуду; дома мать ходила всегда с накрученными папильотками, в засаленном капоте, в стоптанных шлепанцах. Елизавета Васильевна была одинаково приветлива с маленькой Надей, мужем, Ядвигой, Яковом и в будни ходила красиво одетая. Маша видела, что по вечерам Крупские танцевали вдвоем. Танцевали муж с женой. И, видно, это доставляло им большое удовольствие. Выходили перед сном гулять и зимой играли в снежки, словно были жених и невеста. Маше нравилась эта жизнь, которую она наблюдала из окна. «Может случиться чудо, и я окажусь дочкой Крупских»,— думала девочка. Ведь рассказывали такие истории, что родители теряли детей, а потом находили их. И Маша смеялась от радости, что Крупские — ее родители и скоро найдут ее, и она будет называть эту красивую ласковую женщину мамой, а этого кудрявого офицера — папой, и маленькая девочка Надя будет ее сестрой. Но голос матери: «Машка, барабанная шкура!..» — возвращал ее к действительности.

Сегодня придут гости. Маша наденет новое платье, и мать будет называть ее доченькой, Машенькой. А если Маша что не так сделает или скажет, то мать будет щипать ее за ногу под столом, и Маша должна терпеть, а если сморщится или запищит, то после ухода гостей ей достанется плеткой.

Сидор Прохорович ходил по гостиной, раскладывал папиросы, конфеты, ставил на столиках вина и рюмки, которые ему подавала жена.

— Хорошо ли ты приглашала? — спрашивал в который раз муж.

— Как вы учили меня, Сидор Прохорович,— подобострастно отвечала жена.

— Особое внимание прояви к ним, будто они самые почетные гости.

Будылину нужно было установить дружеские отношения с капитаном. Предстояла большая поставка солонины для

частей русской армии, и капитан, чего доброго, может сорвать эту поставку. Он вызывал уже однажды санитарный надзор из Варшавы, и если бы не крупная взятка, которую Будылин вручил варшавскому инспектору, солонину облили бы керосином и уничтожили. В акте же инспектор записал, что хотя мясо «с душком», но пригодно к употреблению. Пришлось и цену занизить. А в этом году солонина удалась еще хуже. Бочки на складе такой запах распространяют, что хоть самому керосином их заливай. Очень важно было ублажить капитана.

Но Крупские не пришли. Ядвига принесла записку от капитана с извинением, что Елизавете Васильевне нездоровится, что он очень сожалеет и не может пожаловать на званый ужин. Будылин читал, перечитывал и не мог понять, сожалеет капитан по поводу болезни своей жены или по поводу того, что не может прийти на ужин.

Очень досадовала и Евлампия Петровна, что не может поразить капитаншу новым кузнецовским сервизом с розами и позолотой.

Когда стемнело, в окнах будылинского дома были зажжены свечи в честь царского дня; в одном окне выставлен яркий олеографический портрет Александра II. У парадного подъезда стояли мальчишки в длинных кафтанах, держали на шестах горящие плошки.

Начали подъезжать гости. Собралась вся уездная знать: отец Серафим с дородной матушкой и сыном-семинаристом; отставной штабс-капитан с болезненной, подслеповатой супругой и сыном — вечным студентом; помещик Сухоруков с женой и двумя девицами на выданье; начальник почты, который жал себе поочередно одну руку другой, словно сам с собой здоровался; начальник железнодорожной станции немец Марштейн — очень важный господин, человек новой профессии, потому что во всей Российской империи железных дорог насчитывалось тогда не более пятнадцати тысяч километров.

Последним пришел владелец обширных огородов, поставлявший овощи для Варшавы, Иннокентий Трофимовский. Он принес хозяйке корзиночку свежей клубники, что в конце августа было большой редкостью.

Душой вечера был отец Серафим, одетый в черную рясу, выгодно облегающую его стройную фигуру, перетянутую по талии вышитым поясом.

Во время богослужения в церкви он был неторопливый, величественный, углубленный в себя и в молитву, а сейчас это был дамский угодник, шаркун и отъявленный сплетник. Здесь, в «своей компании», он выкладывал все, в чем каялись ему на исповеди прихожане.

После заздравного тоста за царя-батюшку началось чревоугодие. Икра и заливной поросенок, разварная стерлядь и фаршированный каплун, утка с капустой и бараний бок — все поедалось с завидным аппетитом, и вино если не рекой, то обильными ручейками переливалось из бутылок в более объемные вместилища.

В разгар пира кухарка Прасковья поманила пальцем барыню и сказала, что пришел урядник, спрашивает «самого». Евлампия Петровна многие вопросы, если они не касались поставок для армии, любила решать вместо мужа и поэтому поинтересовалась, что случилось.

Урядник поведал, что «окромя вашего дома», во всем городе не горят свечи в окнах. В управе и в доме самого господина уездного начальника окна темные. Светится одно окошко в спальне капитана Крупского, которое выходит в сад.

— А ты не подсмотрел, капитанша больна? — спросила Евлампия Петровна, наливая из бутылки в граненый стакан водку.

Урядник расправил усы и постучал себя пальцем по черепу:

— Что ж вы, Евлампия Петровна, думаете, что у меня тут пусто? Я перелез через забор и заглянул в спальню. Они пребывают в добром здравии, пили чай с вареньем —

каким, не разобрал, потом читали какую-то книжку — не разглядел, что за книжка, но, видать, смешная, они много смеялись, потом играли с дочкой...

— Я говорила, что они бесстыдники, в церкви и то перемигивались и улыбки друг другу посылали!

Евлампия Петровна сунула уряднику серебряный рубль и велела Прасковье выдать ему говяжьего студня на закуску, поставила стакан водки и, торжествующая, поплыла в столовую.

Гости были уже под хмельком, рассказывали анекдоты, от которых девицы взвизгивали и закрывали лица руками, а Маша откровенно зевала и не могла понять, почему гости смеются.

Будылина подошла к мужу, зашептала ему, и тот, вытирая салфеткой жирные усы, рокочущим голосом, которому всегда так завидовал дьякон, пригласил гостей к окнам.

— Извольте, господа хорошие, люди добрые, поглядеть на дом господина уездного начальника. Не дом, а панихида. Все окна темные, ни одной свечи не выставлено. И это в царский день! Весь Гройц темный. Ни у одного полячишки окно не светится. Это же бунт, господа, бунт, бунт! — уже торжествующе изрекал Сидор Прохорович, поняв, что теперь в выигрыше он, что теперь капитан ему не страшен.

Гости прильнули к окнам. Отец Серафим, обгладывая баранье ребрышко, хихикнул:

— По всей России-матушке полыхают свечи в честь государя, а в Гройце мрак, в окнах уездного начальника темень. Не мудрено. За три года капитан ни разу исповедоваться не приходил, а жена его на любой вопрос отвечает: «Грешна, батюшка» — и все тут.

Гости вернулись к столу. Молодые люди по приглашению Евлампии Петровны отправились в залу, где «мусью», обучавший Машу французскому, играл на клавесинах модные танцы.

— Капитан со всеми полячишками, даже с мужиками,

говорит по-польски,— подал голос начальник станции.— Во всех школах польский язык для поляков запрещен, а он свое малолетнее русское православное дитя польскому обучает. Как вам нравится, а?

— Чего там! Сама капитанша с полячками дружит, оба, окромя мазурки и полонеза, никаких других танцев не признают,— вставила Евлампия Петровна.

— Недавно капитан отменил мое распоряжение, полученное свыше.— Поп Серафим указал перстом на потолок: не то, мол, от господа бога, не то от высшего начальства получил он это распоряжение — снести польское кладбище и присовокупить сие место к православному для погребения усопших.— Мне говорили, что капитан приказал кладбище католическое восстановить и грозил пистолетом унтеру, который расчищал это нечестивое место.

— Не грозил, а выстрелил, но промахнулся,— поправил его Сидор Прохорович.

— Не иначе как он сам католическую веру исповедует,— сказал, пожимая свои руки, начальник почтовой конторы,— он поляков с католической пасхой поздравляет, закрытки им рассылает.

— А как же вы узнаёте, что в закрытках написано? — поинтересовалась Евлампия Петровна.— Они же заклеенные.

— Догадываюсь,—неопределенно покрутил рукой около носа почтовый чиновник.

— Господа! — Поп Серафим пригласил подвинуться к нему.— Я понимаю свой священный долг охранять интересы государя нашего императора. Про все это необходимо доложить куда повыше,— и поп опять поднял палец,— чтобы знали там, какую змею греют в Гройце.

Помещик Сухоруков, который задумчиво поглаживал бороду и почти весь вечер молчал, тоже вступил в разговор.

— Только антр ну, между нами,— понизил он голос.— Капитан Крупский раздает рабочим, батракам книжки, в

которые я — понимаете, я! — должен записывать,— закричал вдруг фальцетом помещик,— сколько часов работает у меня батрак Ванька, чем я его кормлю, сколько плачу, где он спит! Меня не заставляют только отчитываться, кормлю ли я его белым хлебом с осетровой икрой или черным хлебом со сливочным маслом.

За столом грохнул смех.

— Батрака Ваньку — осетровой икрой! Насмешили...— вытирал слезы отец Серафим.

Помещик обиделся:

— Смешного не нахожу. Печально сие, господа, печально! Унизить достоинство помещика до того, что он чуть ли не отчитывается перед Ванькой.

— Написать про это надо в Варшаву,— назидательно произнес Сидор Прохорович.

— Давайте все вместе и напишем,— предложил отец Серафим.— Все кто чего знает, тот и напишет, и подписи учиним.

Все отшатнулись от попа Серафима и углубились каждый в свое кресло.

— Гм-м-м, гм-м-м...— промычал Сидор Прохорович, вытирая платком мокрую шею,— нет-с, господа. Капитан облечен властью и, помилуй бог, если дознается, что мы тут про него написали, так ведь он скрутит нас в бараний рог!

Нарушила молчание Евлампия Петровна.

— А дочка ейная с татарчатами конскую колбасу ела. Вот те крест, не вру. А на святую пасху с жиденятами менялась: она им конфеты, а они ей мацу. Провалиться мне на этом месте, если вру! Чегой-то еще я хотела вспомнить...— Евлампия Петровна напрягала память, и на лбу ее собрались толстые складки кожи.

— Хватит,— отрезал Сидор Прохорович.

Он неслышно шагал по столовой, весь напружинившись, как кот, готовый к прыжку. Да, с капитаном он разделается. До Крупского начальником уезда был полковник Алек-

сей Егорович. Ах, милый человек! Сколько ночей за «пулькой» провели, сколько было выпито вместе, сколько съедено. А этот Крупский в тридцать пять лет все в капитанах сидит, стало быть, не угоден начальству. «Сочтены твои денечки, капитан»,— боднул головой Сидор Прохорович в сторону темных окон уездного начальника.

Маша сидела всеми забытая, поедая конфеты, которых она набрала полный подол.

— Капитанша эта, говорят, у помещиков в услужении была, гувернанткой, значит,— вспомнила Будылина еще один факт из биографии Крупской.

— Зато капитанша не зовет свою дочку барабанной шкурой,— прозвенел тоскливый голос Маши.— Капитан не лупит Надю ремнем...

— Цыц, стерва! — крикнул отец.— Откуда ты взялась? Марш к себе в комнату!.. А ты хороша...— накинулся он на жену.— Чего ты ее здесь держишь? Она уши развесила, а потом язык развяжет. Не смей ее из дому выпускать!

Евлампия Петровна вытащила Машу из кресла, поволокла по коридору и втолкнула в детскую. Повернула ключ.

Прошла к себе в спальню, глянула в зеркало: «Чего это лицо так пылает? Не иначе как капитанша с капитаном обо мне говорят». Подошла к окну, протерла запотевшее стекло. Окна дома уездного начальника были темны.

— Поплачешь ты у меня, голубушка! — погрозила Евлампия Петровна.

Глава IV

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Константин Игнатьевич стоял у приоткрытой двери в дочкину комнату и, не сводя глаз с кроватки, ждал, когда же наконец проснется Надюша.



Солнце изо всех сил старалось пробраться сквозь замороженное стекло и разбудить девочку. Солнечные зайчики прыгали по щекам и волосам Надюши, щекотали ей нос, уши, а она только чуть пошевелит губами — не то что-то прошепчет, не то улыбнется и опять спит. Но вот солнечный зайчик забрался в густые ресницы, и она сначала крепко зажмурилась, а потом открыла глаза. Большие ясные глаза. И улыбнулась. Улыбнулась утру, солнечным зайчикам. И засмеялась звонко-звонко. Это сигнал: я, мол, проснулась. После чего всегда появлялся папа и говорил: «Девочка-улыба проснулась? С добрым утром!» За ним приходила мама, целовала дочку и начинала ее одевать.

Надя засмеялась, а папа не вошел. Она встала на кроватке и прислушалась, посмотрела на дверь. Почему никто не идет? И вдруг увидела... Сначала она смотрела широко открытыми глазами, и все ее лицо, и высоко поднятые брови, и пухлые губы — все выражало крайнее изумление, которое сменилось бурной радостью. На столе, придвинутом к кроватке, лежала большая кукла. Глаза у нее были закрыты. Надя перегнулась и взяла куклу на руки. Кукла открыла глаза, и внутри нее что-то мяукнуло.

— Ты девочка? — спросила Надя. Кукла молчала. Она положила ее на свою подушку, кукла мяукнула и захлопнула глаза.

Надя сажала куклу, ставила на ноги, наклоняла в одну и другую сторону и, наконец, чмокнула ее в щеку и сказала:

— Доброе утро! Ты ко мне пришла? Как тебя зовут? Ты умеешь ходить? Сколько тебе лет?

Кукла молчала и загадочно улыбалась, показывая мелкие белые зубки.

Теперь рядом с Константином Игнатьевичем у полуоткрытой двери стояла и Елизавета Васильевна, и неизвестно, кто больше наслаждался подарком — дочка или сами родители.

Оба они распахнули дверь.

— Здравствуй, девочка-улыба. С добрым утром! — сказал, как всегда, Константин Игнатьевич.

— Поздравляю тебя, моя радость, с днем рождения! Сколько тебе сегодня лет? — спросила мама.

Надя подняла руку с растопыренными пальцами, а большой палец зажала другой рукой.

— Четыре годика!

— Расти большая, здоровенькая, умненькая,— приговаривала мама.

— Будь счастливая! — Константин Игнатьевич подбросил дочку высоко вверх и поймал.

У мамы руки были теплые, мягкие, у папы — сильные, прохладные и пахли папиросами. Надя поцеловала отца в щеку, распушила ему усы, взлохматила волосы на голове.

— Вот этого делать нельзя даже в день рождения. Папа причесался, закрутил усы, ему нужно идти на службу. Если ты мне так голову разлохматишь, и себе, и Ядвиге, на кого же мы все будем похожи?.. Костенька! — с укоризной посмотрела она на мужа.

— Это было в последний раз, Лизонька. Извини нас, мамочка! — целовали маму в обе щеки папа и дочка.— Надя теперь взрослая, и она больше никогда так делать не будет.

Ядвига принесла на блюде пирог.

— Это тебе, панёнка, на день рождения! Ешь на здоровье!

— Спасибо, спасибо,— смеялась счастливая Надя.

Елизавета Васильевна умыла дочку и стала надевать на нее новое платье, которое прислала из Полтавы старшая сестра Елизаветы Васильевны Мария Васильевна. Это был красиво расшитый украинский национальный костюм. Дядя Саша, брат Константина Игнатьевича, прислал из Петербурга своей племяннице большой мяч. Мяч был наполовину красный, наполовину голубой.

— А где еще подарки? — спросила Надя, блестя глазами.

— Этого мало? — ахнула Елизавета Васильевна. Ей стало вдруг тревожно от мысли, что дочка может вырасти эгоисткой.

После завтрака родители сидели и наблюдали, как Надя увлеченно играет с новой куклой, одевает ее и приговаривает:

— Если ты будешь меня слушаться, я куплю тебе много-много красивых шоколадных бомб, в них спрятаны колечки, брошки,— говорила Надя, расчесывая кукле волосы.— Если ты скушаешь кашу, я тебе подарю мячик. Я теперь твоя мама, а ты моя дочка.— Надя на секунду задумалась и вскинула глаза на мать: — Мамочка, а как же зовут мою дочку?

— Назови ее Люба.

— Люба у меня есть, у нее оторвана нога и сыплются опилки. Я ее теперь выброшу.

— Мы пришьем Любе новую ногу, вылечим ее, зачем же выбрасывать. А эту ты назови Вера.

— Нет, я назову ее Лёлей, как моя сестричка в Петербурге.

— Хорошо.

— Леля, нá тебе яблоко. Смотри, какое красивое, а это— червивое, его съем я.

— Почему же ты Леле даешь хорошее, а себе берешь червивое яблоко?— вдруг насторожилась Елизавета Васильевна.

— Я ведь мама, а она дочка, ей надо самое лучшее яблоко,— пожала плечами Надюша.

— Молодец, доченька! — похвалил ее отец.

Елизавета Васильевна закрыла глаза руками.

— Это страшно,— прошептала она.— Она считает естественным, что мать должна, именно должна, отдавать дочке лучший кусок, лучшее яблоко, а сама есть червивое... Нет,

нет,— решительно сказала Елизавета Васильевна,— надо приучить Надюшу к труду, завести строгий распорядок.

— А можно без распорядка? — жалобно произнес Константин Игнатьевич.— Знаешь, как я ненавижу режим.

— Ты все шутишь, Костя, а это так серьезно. У нас с тобой педагогом была сама жизнь. В нашей семье за стол садилось девять детей. Какое уж там баловство! Ты же рос в казенных заведениях...

Надя, увлеченная куклой, не заметила, как вышли из комнаты родители.

— Я хочу, чтобы Надя выросла свободным, отважным человеком,— говорил, шагая по комнате, Константин Игнатьевич.

— Труд, порядок — это главное. Без любви к труду и дисциплины не может вырасти полезный обществу человек,— настаивала Елизавета Васильевна.

Она подошла к комоду и вынула из ящика тетрадь в черном клеенчатом переплете. После секундного колебания, когда уж собиралась сунуть тетрадь обратно, протянула ее мужу.

— Вот здесь я написала в стихах распорядок Надиного дня. Поэт я плохой, но распорядок, по-моему, правильный, и мне хочется, чтобы ты тоже помог наладить его.

Константин Игнатьевич стал читать:

Солнце чуть в окно заглянет,
Надя вмиг с постельки встанет,
Не лежит в ней целый день —
Не пристала Наде лень...

— Тсс...— предупредила Елизавета Васильевна.— Читай про себя. И не суди слишком строго.

— Правильные стихи,— похвалил Константин Игнатьевич.— Мы с Надюшей сегодня же выучим их наизусть. Я согласен принять их как наш внутренний устав, почитать тебя за главнокомандующего. Но ты скажи, милый друг, неуже-

ли ты дашь Надюше червивое яблоко, а румяное, здоровое съешь сама? Только правду скажи.

— Нет, конечно, я хорошее дам Надюше, а червивое оставлю себе, но сделаю это так, чтобы она этого не заметила. И когда ей доведется угощать нас, то она лучшее припасет для нас, стариков.

— О, нам до старости так далеко! — рассмеялся Константин Игнатьевич и взглянул на часы.— А вот на службу я уже опаздываю, Лизонька... Сегодня мы едем на карнавал?

— Да, да,—спохватилась Елизавета Васильевна.— Я думаю, что Надюша поедет в украинском наряде, и я для нее сделаю маленькую маску, чтобы она чувствовала себя взрослой и равноправной.

— Самое главное в жизни — это равноправие,— согласился Константин Игнатьевич.— Но сознайся, милый друг, что муж и отец должен быть в чем-то сильнее, крепче. Надюша, поцелуй папу!— крикнул он дочке.

Глава V

КАРНАВАЛ

Вечером Елизавета Васильевна и Константин Игнатьевич в крестьянских польских национальных костюмах были неузнаваемы, а когда надели маски, то Надя расплакалась, решив, что папа и мама потерялись. Она долго не хотела надевать на себя маску, чтобы «не потеряться», но потом увидела, что это просто смешно и похоже на игру в прятки.

За Крупскими заехали архитектор Радван с женой и двумя уже взрослыми детьми-студентами, врач Тадеуш со своим многочисленным семейством. Все они были в маскарадных костюмах: кто обряжен медведем, кто волком; трое маль-

чиков доктора Тадеуша в старинных костюмах косинёров — польских повстанцев, вооруженных косами. Надя сначала испугалась этого нашествия незнакомых людей, а потом узнала каждого и всем объявляла, что ей четыре года и что она теперь большая-большая.

У подъезда стояло несколько саней, запряженных парой или тройкой лошадей. Лошади были украшены разноцветными перьями, цветами из раскрашенного лыка, в гриву были вплетены яркие ленты. Несколько верховых держали в руках зажженные факелы. Ехали через лес в имение польского шляхтича, который доводился родственником архитектору Радвану.

Это была увлекательная поездка.

Когда выехали за город и лошади понесли по хорошо укатанной снежной дороге, а верховые, разбрызгивая искры факелов, мчались сквозь лес, дети вопили в восторге, и больше всех, кажется, радовалась Надя.

— Мы в сказке? Да? Мы в сказке?— поворачивала она к себе ладошками лицо матери.

— Да, мы в сказке,— говорила Елизавета Васильевна, и ее самоё охватило молодое веселье. Освещенный луной зимний лес и призрачные огни факельщиков, причудливые тени и убранные сверкающим инеем деревья действительно походили на сказку.— Я такая счастливая, что мне даже боязно.— Елизавета Васильевна обняла за плечо мужа.

— Я тоже счастлив,— отвечал Константин Игнатьевич, целуя руку жены.

Звенели бубенчики, слышался посвист и гиканье верховых, смех молодых людей, цокот подков, хруст снега. Луна тоже мчалась, ныряя, как в сугробах, в густых облаках.

В усадьбу приехали, когда маскарад был уже в разгаре. Собралась молодежь со всей округи в просторный помещичий дом. Дом не отличался особой роскошью, не походил на старинные замки польских магнатов, но был удобным, гостеприимным. Потолки везде низкие, только зал с колоннами,

расположенный в центре дома, был высотою в два этажа. Стрельчатые окна вперемежку с такими же зеркалами занимали всю стену, а у противоположной стены стояли фортепьяно и мягкие кресла, в которых можно хорошо отдохнуть после танцев. Множество свечей в люстрах, яркие маскарадные костюмы — все это отражалось в зеркалах и создавало праздничное настроение. Несколько скрипачей старательно наигрывали полонез Венявского.

Хозяин дома, старый шляхтич, сердечно приветствовал гостей. Одетый в старинный польский костюм, с седой бородой и мягкими белыми кудрями, он как бы вышел из рамы. Он был под стать своим седовласым предкам, портреты которых украшали стены дома.

Молодой человек в маске и костюме Пьеро подхватил под руку пани Крупскую, и они присоединились к танцующим парам. Елизавета Васильевна любила полонез Венявского, этот старинный польский танец, изящный и торжественный. Дома они часто танцевали по вечерам полонез или мазурку, польку или краковяк. Все самые восхитительные танцы родились в Польше, и великие польские композиторы Шопен и Венявский создали для них не менее прекрасную музыку.

Константину Игнатьевичу самому страсть как хотелось потанцевать, но долг вежливости требовал приветствовать хозяев и выпить с ними бокал в честь древнего славянского бога Ярилы.

Хозяин, пан Анджей, велел принести к нему в кабинет закуски и вино и пригласил Константина Игнатьевича. В просторном кабинете, заставленном книжными шкафами, был полумрак. На огромном круглом столе, инкрустированном металлом и перламутром, лежали фолианты в кожаных переплетах. Вся обстановка кабинета располагала к чтению и размышлению. Глубокие кресла стояли вокруг стола. Слуга внес тяжелые шандалы и зажег их, другой подал поднос с яствами и вином. Надя устроилась в кресле, взяла со стола книжку с картинками.

— Я очень рад, я просто счастлив, что судьба снова свела меня с вами,— сказал пан Анджей.

Константин Игнатьевич вопросительно посмотрел на хозяина.

— Снова? — переспросил он.— Но мне кажется, что мы встречаемся впервые.

— Вы изволили служить в Смоленском пехотном полку под начальством полковника Ченгеры?

— Так точно! — ответил по-военному Константин Игнатьевич.— Только полковник Ченгеры в конце 1863 года за карательные действия против польских мятежников был произведен в генерал-майоры.

— Да, да... Вы помните поручика Андрея Потебню? Помните жестокие бои при деревнях Незнановичи и Тропинице?

— Еще бы не помнить.

Константин Игнатьевич все отлично помнил. Он помнил эти грозные годы, 1862—1864-е, годы польского восстания против царизма, за независимость Польши, за землю для крестьян, за свободу народа. Это были годы испытания на прочность дружбы русских и польских революционеров. Константин Игнатьевич служил в полку, расквартированном в Польше, и был членом революционной военной организации «Земля и воля», руководил в Смоленском пехотном полку группой русских офицеров, принадлежавших к этой организации. И он не может забыть и не может смириться с потерей своего друга Андрея Потебни. Вместе с Андреем он учился в Константиновском кадетском корпусе в Петербурге, оба были назначены служить в русских войсках в Польше.

Константин Игнатьевич вспомнил июнь 1862 года, когда они с Андреем сидели в Саксонском саду в Варшаве. Синие глаза Андрея были темны и мрачны, впалые щеки и воспаленные веки говорили о бессонных ночах. Польша бурлила, готовилось восстание, и передовые русские офицеры опре-

деляли в нем свое место. Андрей Потебня руководил русской революционной организацией в Польше «Земля и воля» и вместе со своим другом Ярославом Домбровским и другими поляками готовил восстание.

Андрей передал тогда Константину пачку листков, которые нужно было распространить среди русских солдат и офицеров.

> *Братья!* — говорилось в воззвании.— *Время восстания Польши приближается; вас снова хотят сделать палачами поляков. Но не будьте ими. На берегах Вислы нет боевой славы для вас. На них ждет вас иная слава — слава примирения и союза...*

Константин советовался со своим другом — как поступить. Не лучше ли дезертировать из армии и примкнуть к повстанцам, вместе с ними сражаться против русского царизма. Ведь руководителей польского восстания, так называемых красных, и русских революционеров объединял девиз: «За вашу и нашу свободу!» Андрей ответил, что это удел других, а Константину необходимо остаться в армии, чтобы вести пропаганду среди солдат, объяснять им преступность борьбы с польскими повстанцами и помогать чем можно самим повстанцам. «Если ты будешь возглавлять роту, ты сумеешь вывести ее из боя, чтобы избежать кровопролития. Если ты уйдешь, роту возглавит какой-нибудь негодяй, и это будет стоить многих жизней». На вопрос Константина, когда они встретятся вновь и где будет находиться Андрей, каковы его планы, Потебня уклонился от ответа, не сказал другу, что он тогда уже задумал убить царского наместника в Польше Лидерса. Через несколько дней в этом же Саксонском саду Андрей подойдет вплотную к генералу, выстрелит в него в упор и, сунув револьвер в карман, не спеша направится в кафе. Поляки и не подумают задержать его, они расступятся перед ним, низко поклонятся ему, русскому офицеру, решившему ценою своей молодой жизни покарать царского сатрапа.

Но в тот день, когда они сидели в парке, Константин ничего этого не знал. А когда восстание началось, поручик Смоленского пехотного полка Константин Крупский сделал все от него зависящее, чтобы помочь восставшим.

Вспомнилось мартовское хмурое утро. Крупский получил приказ окружить и уничтожить большой отряд мятежников, расположившийся возле большого села, за лесом. Ночью капитан повел свою роту. Ехал впереди на коне. Рядом с ним следовал денщик Василий. Больше друг, чем слуга. На развилке дорог у опушки леса Крупский направил своего коня по дороге, ведущей вниз, в лощину. Денщик недоуменно посмотрел на капитана. Тот глазами дал понять: «Так нужно!» Неожиданно кто-то схватил коня Крупского за поводья. Крупский узнал унтер-офицера своей роты Воронихина.

— Ваше благородие! Вы с пути сбились, не туда роту ведете.

— Я знаю дорогу, и не вмешивайтесь не в свои дела! — отрезал капитан.

Воронихин, не выпуская поводьев из рук, кричал фальцетом:

— Давно я заприметил, что ваше благородие заодно с полячишками! Интересы государя императора предаете! Не будет того!

Воронихин отпустил поводья и выстрелил. Под Крупским рухнул конь. Но раздался другой выстрел, и Воронихин скатился в кювет. Василий, тяжело дыша, перекинул дымящееся ружье через плечо.

— Живы? — подбежал он к капитану.

В роте произошло замешательство. Крупский поднялся, отряхнулся и велел передать по цепи, что стреляли из лесу и убили коня под командиром роты и унтер-офицера Воронихина.

Неизвестно, догадались или нет солдаты, что произошло на самом деле, но об унтере никто не пожалел.

Проблуждав целый день и «не найдя» повстанцев, Крупский привел роту обратно...

Все это пронеслось в памяти. Константин Игнатьевич глубоко вздохнул.

Пан Анджей, набив трубку табаком, раскурил ее и прервал молчание:

— Я расскажу вам, как мы с вами встретились. Я командовал повстанческим отрядом под начальством Лянгевича. Отряд свой я собрал из местных крестьян и рабочих ткачей. Мы готовились к выступлению и в деревенских кузницах днем и ночью ковали косы, из обычных деревенских кос делали острые мечи.

— Этих повстанцев, вооруженных косами, называли косинёрами,— отозвался Крупский.

— Да. Я просил Лянгевича дать отряду огнестрельное оружие, он ответил, что оружие надо добыть у противника: царская армия, мол, имеет на вооружении отличные тульские ружья, и они должны быть в руках повстанцев. Нам удалось в январе 1863 года напасть на русский гарнизон и добыть тридцать ружей. Но это было ничтожно мало. Мой отряд провел до двадцати стычек с русскими войсками, терял убитыми и ранеными, пополнялся за счет новых добровольцев. В конце февраля Андрей Потебня явился к Лянгевичу в лагерь. Этот юноша годился мне в сыновья, но я считал бы за честь сражаться под его командованием. Его чистота, его отвага, его жертвенность и преданность делу свободы потрясли мое старое сердце. Я гордился бы таким сыном. Но Андрей Потебня сказал, что он будет сражаться рядовым. Четвертого марта мы вели бой под местечком Скала. Там множество известняковых и сталактитовых скал и столбов. Мы засели в них и успешно отбивались, но противник зашел в тыл. Потебня первым заметил опасность, схватил пику и повел повстанцев в атаку. В этом бою он был убит. Русские не выдержали натиска и отступили, ожидая, видимо, пока подтянутся резервы. Мы похоронили Андрея

возле самой высокой скалы и укрыли ветвями могилу, чтобы ее не осквернил враг.

Константин Игнатьевич сцепил пальцы и уронил на них голову. В кабинете воцарилось молчание. Дымный свет сальных свечей, темная кожа переплетов, темная мебель располагали к воспоминаниям. Крупский поднял голову.

— Я знал, что Андрей погиб, но не знал, где и как. В газете «Колокол», который издавал Герцен в Лондоне, я прочитал некролог. В нем говорилось: «Не знала русская пуля, сразившая Потебню, какую жизнь она остановила на первых шагах ее. Чище, самоотверженнее, преданнее жертвы очищения Россия не могла принести на пылающем алтаре польского освобождения».

— Прекрасные слова! Вернее не скажешь! — тихо произнес пан Анджей.— Я хочу еще рассказать вам о том, что случилось под деревней Тропинице. Наш отряд вел многодневный бой. Боеприпасы истощались, и хотя русские тоже понесли немалые потери, наши силы были неравные. Повстанцы были голодны, устали. Однажды ночью наш отряд оказался в окружении. Но мои хлопцы готовы были скорее умереть, нежели сдаться в плен. Русский командир с поднятым белым платком вышел на пригорок и заявил, что хочет говорить с начальником отряда. Я подошел к нему. Он тихо произнес девиз: «За вашу и нашу свободу!»

Константин Игнатьевич вскочил с места.

— О пресвятая дева Мария,— воскликнул он по-польски,— так это были вы!

Пан Анджей встал и тихо продолжал свое повествование:

— Мое сердце дрогнуло от радости, а потом червячок сомнения подточил эту радость. Мне очень хотелось поверить, что не один Потебня являет пример мужества и братства. Вы сказали мне, чтобы я дал приказ сдаться в плен, а остальное вы берете на себя. Я понимал, что я рискую. Не о себе я думал тогда, а о бойцах, своих товарищах, кото-

рые готовы были без колебания отдать жизнь за свободу Польши и доверия которых я не мог обмануть. Наш отряд заперли в огромный амбар. Мои парни окружили меня; они ничего не спрашивали, они боялись за мою жизнь. А я сидел в темноте и ждал. И я дождался. Я понял, что не обманут, когда загремел засов и вы пришли в сопровождении денщика и безоружным. Я готов был расцеловать вас, как сына. Вы объяснили мне, каким путем я должен увести свой отряд, указали место, где было спрятано наше оружие и тульские винтовки для отряда. «За нашу и вашу свободу!» — сказали вы мне на прощанье. Я не спросил вашего имени, и это было ни к чему. Я не сказал своего... И вот мы встретились. Я рад, что дожил до этого часа. Но я хотел бы дожить и до того дня, который принесет и вам и нам свободу.

— Я надеюсь на это,— ответил Крупский.— Я свою дочь назвал Надеждой.

Оба подошли к креслу, на котором спала Надюша. В руках у нее была книжка с картинками. И так доверчиво и нежно было лицо девочки — маленькой девочки по имени Надежда.

Пан Анджей открыл дверцу шкафа, извлек из него футляр и протянул Константину Игнатьевичу.

— Пан Константин, в память о нашей встрече, в знак благодарности и любви, разрешите преподнести вам этот подарок.

Пан Анджей открыл коробку. В ней лежало распятие. Это был католический крест из дерева на бронзовой подставке, и на кресте изображена фигура распятого Христа.

— Это распятая Польша! И дай бог осуществиться нашим надеждам! И если мы с вами не доживем, то доживут наши дети, ваша Надежда доживет до того счастливого дня, когда наша и ваша свобода обретет реальность.

Константин Игнатьевич принял это распятие как награду революционной Польши, Польши будущего, и поцеловал крест.

— Спасибо! За нашу и вашу свободу! — растроганно произнес он.

Пан Анджей обнял Константина Игнатьевича.

Вошла Елизавета Васильевна.

— О, простите, я ищу мужа и мою дочку,— сказала она.

Пан Анджей с жаром расцеловал ее руки. Раскрасневшись от танцев, Елизавета Васильевна, сияя счастливыми глазами, взяла за руку мужа.

— Костенька, сейчас будет мазурка. Я умею ее танцевать только с тобой... А Надюша так сладко спит. Пусть она поспит.

— Идите танцевать,— сказал пан Анджей.— Я посижу возле вашей дочки. Мне хочется побыть одному, поразмыслить...

Глава VI

ДОЖДЬ

Сначала налетел ветер. Озорной, буйный. Он раскачивал деревья, словно будил их, осинки пригибал до самой земли, а дуб раскачать не смог, только взлохматил ему крону и накинулся на большую дикую грушу. Груша была высотой с дуб и вся, как елка фонариками, увешана яркими мелкими плодами. Ветер обрывал груши, сбрасывал их на землю и на головы ребят, которые укрылись от дождя под деревом.

Ветер притащил за собой тучу. Туча, большая, тяжелая, урчала, грохотала, сверкала молниями, навалилась на лес, на остроконечные ели и вдруг пролилась дождем. Лесная тропинка превратилась в бурлящий ручей. Ребятишки прижались один к другому, девочки повизгивали, когда туча, высекая огонь, раскалывалась и эхо грохотало в горах.

Но это был летний дождь. Он прекратился внезапно. Солнце откинуло край темной тучи и засияло из-под нее особенно ярко, зажгло каждую каплю на листьях, отрази-

лось в лужах. Ребята выбежали на полянку промокшие, но веселые и озорные, как летний дождь. Маленький татарчонок Муса пританцовывал в луже и приговаривал:

Кояш, чык, чык, чык!
Майлы ботка казанда
Тэти кашык базарда!

А девочки запели:

Ой ты, радуга-дуга!
Пояс семицветный!
Кто тебя нарисовал
В той дали приветной?

Надя выжала косу и подол платья, скинула сандалии и побежала по траве, разбрызгивая воду.

Над полем возникли сразу две радуги. Одна — высокая, круто изогнутая — прочно оперлась обеими концами в пашню и наливалась яркими красками, словно вытягивая их из земли. Вторая мерцала как отражение в старом зеркале. Один конец ее расплывался в воздухе, не достигая земли. Ребятишки, крича от восторга, побежали навстречу радуге, протянули к ней руки, вот-вот схватят ее.

Радуга-дуга, не пей нашу воду!

Надюша напевала:

Ой ты, радуга, ты чудо,
Ты явилась к нам откуда?

— Чур, мой цвет желтый! — кричал один.

— А мой синий!

— Мой красный!

— Чур, чур, мой голубой! — Наде казалось, что радуга совсем близко, прямо струится между пальцами.

Дети бежали навстречу чудесному семицветью с визгом, смехом, присказками, скользили по траве, падали в лужи, шлепая ладонями по воде.

У Нади коса расплелась и мокрыми плетьми прыгала по спине. Ей было привольно бегать босиком с ребятишками и играть в незатейливые игры. Как весело, когда вокруг много друзей!

Туча уже давно уползла за лес, а ветер стряхивал дождевые капли; все еще шумели ручьи, и ребята отпечатывали на мокрой глинистой дороге следы своих ног.

Со стороны Варшавского шоссе показалась бричка, запряженная парой лошадей. Кожаный верх был поднят и, омытый дождем, блестел на солнце. Из возка выглядывал незнакомый господин, и кучер был нездешний. А в таком маленьком городке, как Гройц, жители знали друг друга и каждый новый человек вызывал всеобщее любопытство. Извозчик придержал лошадей. Ребятишки сбежались к бричке.

— Где тут дом уездного начальника? — спросил кучер по-польски.

— Крупского? Моего папы? — удивилась Надя.

— Да, да, господина Крупского,— раздался веселый голос из брички.— Это твой папа? — Незнакомец с любопытством посмотрел на большеглазую девочку со смышленым личиком, босую, мокрую, забрызганную грязью, как и ее сверстники.— Садись, поедем вместе, и ты покажешь ваш дом.

Надя взобралась в бричку и пожалела, что не могла пригласить с собой своих друзей. Но мальчишки прицепились сзади, девочки побежали следом.

— Вот здесь мы живем,— сказала Надя, показывая на просторный дом с высоким крыльцом.— На крыльце стоит моя мама и будет меня бранить.

Лошади остановились. Мужчина в высокой серой шляпе и в такой же серой накидке спрыгнул с подножки, подал, как даме, руку Наде, расплатился с кучером и, сняв шляпу, поднялся на крыльцо.

— Вы мадам Крупская? — спросил он по-русски.— Я к Константину Игнатьевичу.

— Да,— недоумевала Елизавета Васильевна. В их глухой угол не так уж часто заглядывали незнакомые люди. Она пригласила гостя в дом: — Муж скоро придет. Будьте любезны, пройдите в кабинет.

Мать еле сдерживала улыбку, глядя на свою дочку: до того девочка была смешна в мокром грязном платье.

— Где же ты была? — спрашивала она Надю на кухне.

— У груши. А потом был дождь. А потом мы ловили радугу. Я мокрая, зато сандалии совсем сухие.

— Вымой руки, лицо, шею, ноги,— распорядилась Елизавета Васильевна и довольно строго спросила: — Опять ела щавель и заячью капусту?

— Да,— призналась Надя,— и еще ела дикие груши и орехи. Груши еще не поспели, а орехи очень вкусные...

И вот Надя, вымытая, причесанная, с пылающими щеками от воды, предстала перед гостем и сделала книксен.

— Боже мой,— воскликнул гость,— настоящая «барышня-крестьянка»! Какое чудесное превращение!

— Я не барышня, я — Надя,— резонно заметила девочка.

В прихожей стукнула дверь.

— Это наш папочка пришел! — объявила Надя гостю.

И ей было очень занятно видеть, как двое взрослых мужчин обнимались и целовались. Отец целовался только с дядей Сашей, когда он приезжал к ним в гости из Петербурга. Но дядя Саша был родной брат папы. А этот?

— Коля, дорогой! Какими судьбами?

— Тссс...— приложил гость палец к губам.— На этой земле я мосье Анатоль Прюдан.

Николай Утин был одним из организаторов студенческой революционной молодежи в Петербурге. Константин Крупский со своим другом Потебней посещал студенческие кружки, на которых с пламенными речами выступал Николай. Горячий, увлекающийся, он легко увлекал и других и накануне польского восстания стал душой студенческой моло-

дежи. Был резок и бесстрашен. В нем странным образом уживались купеческая «широкая натура», расточительство и вместе с тем протест против угнетения всего свободомыслящего в России. Утин был исключен из университета, и это создало ему еще бо́льшую популярность среди передового студенчества. Царская полиция охотилась за ним, он эмигрировал за границу и был приговорен царским судом заочно к смертной казни с конфискацией всего имущества. Был миллионером, стал нищим. За границей Утин познакомился с Карлом Марксом, вошел в руководство русской секции Международного товарищества рабочих. Великолепный оратор, он каждое свое выступление на студенческих и рабочих собраниях начинал словами «Манифеста Коммунистической партии»: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Он произносил это с пафосом и делал паузу, чтобы притихшая аудитория осмыслила величие этого предвидения.

Константин Крупский по-хорошему завидовал талантливому юноше, умевшему зажигать толпу, быть вожаком. Крупский не умел выступать перед большой аудиторией, не обладал красноречием, но всегда старался найти свое место среди тех, кто боролся за свободу, справедливость.

И сейчас, увидев Утина, Константин Игнатьевич в знак того, что помнит и остался верен юношеским идеалам, тихо, как пароль, произнес:

— «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Утин опустил голову:

— Боюсь, друг, что он уже не бродит, а ковыляет. После величия Парижской коммуны и ее гибели все торжественные слова застревают в горле.

Елизавета Васильевна пригласила мужчин в столовую.

— Ты счастливый, у тебя прекрасная семья, хорошее положение. Пожалуй, так и следует жить,— заметил Николай.

Константин Игнатьевич воспринял это как упрек.

За столом Утин с блеском рассказывал о Париже, Лон-

доне, об Италии и Швейцарии, рассказывал как путешественник, как светский человек, умеющий быть приятным голосом. После обеда перешли пить кофе в кабинет Константина Игнатьевича. Николай снова повторил:

— Счастливый ты. У тебя красавица жена и очаровательная дочка. Тебе повезло в жизни... А я как призрак. Что есть у меня? Смертный приговор на родине. Я нищий и даже не студент.

Константин Игнатьевич чувствовал себя неловко: ему было совестно за свое благополучие.

Оба курили. Утин затягивался сладковатыми папиросами. Константин Игнатьевич предпочитал папиросы, набитые табаком «Катык» руками Лизы.

— Куда ты держишь путь?— спросил Крупский.

— Пока я в Польше. Собираю для Карла Маркса статистические сведения о рабочем классе по Российской империи. Хочу закончить начатую работу. Я имею поручение к тебе, ты ведь тоже собираешь.

— Да,— ответил Константин Игнатьевич.— Подробные сведения по своему уезду и кое-что по Царству Польскому вообще. Получается интересная картина роста количества неимущих ремесленников и батраков.

Крупский подошел к книжному шкафу, вынул объемистый том, извлек листки папиросной бумаги, исписанные столбиками цифр.

— Вот все, что я смог сделать. Это не очень много.

— По-моему,— заметил Николай,— Карл Маркс чересчур большое значение придает статистике. И разве можно сравнить эти мертвые колонки цифр с колоннами восставших рабочих, с баррикадными боями, когда слышишь, как кипит кровь и разум разгневанного народа, когда не страшишься смерти, когда чувствуешь себя могучим. А сейчас статистика... Кому она нужна? Только таким ученым, как Маркс, Энгельс. Рабочим это ни к чему.

— Мне кажется, что ты не прав,— возразил Круп-

ский.— Я очень внимательно читал решения Лондонской конференции и устав Международного товарищества. Там говорится, эта статистика нужна для того, чтобы глубже вникнуть в жизнь рабочего класса, на который собираешься воздействовать. Когда я собирал сведения по Польше, я увидел, как новые фабрики, заводы, железные дороги заставляют переселяться людей из деревни в город, работать у станков, выматывают из них все силы и вместе с тем создают большие коллективы рабочих.

— Благодарствую за такое популярное объяснение,— холодно прервал Николай.— И я, признаться, тороплюсь. К ночи мне надо быть в Варшаве. Пошли, пожалуйста, прислугу на извозчичью биржу, чтобы мне подали бричку.

Константин Игнатьевич попросил Ядвигу сходить за извозчиком.

— Ты увидишь гражданина Маркса? — спросил Константин Игнатьевич.

— Весьма вероятно.

— Как его здоровье?

— Болеет. К сожалению, слишком часто.

— Если представится случай, передай ему, пожалуйста, сердечный привет от одного из его почитателей... И не падай духом. Мы у тебя учились и горячей вере, и искусству отдавать себя делу борьбы. Хотя я, как видишь, был не из талантливых твоих учеников. Так мало сделал.

— Ты — романтик. Ты по-прежнему мечтатель. Я, увы, слишком трезв. Наверно, трезвость приходит с возрастом.

— И все же ты сам заставил меня верить, что «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма»,— по-французски сказал Крупский на прощанье.

Он стоял на крыльце и смотрел, как бричка, переваливаясь на ухабах, разбрызгивая струи дождевой воды, повернула на лесную дорогу и скрылась за поворотом.

Константин Игнатьевич вздохнул. Осталось чувство неудовлетворенности, а может быть, чувство утраты.

Глава VII

ПОД СУД!

Прямо с порога Константин Игнатьевич попросил:

— Лизонька, собери мне, пожалуйста, саквояж. Вызывают в Варшаву для доклада о состоянии дел в уезде.

Елизавета Васильевна понимала, что мужа ожидают неприятности.

— Ну что ж, доложишь. Как всегда, найдут всякие изъяны. Благодарности не жди.

— Я и не жду.

Надя прибежала со двора и бросилась к отцу:

— Ты уже дома?

— Папочка едет в Варшаву.

Надя запрыгала от радости. Когда папа уезжает в Варшаву, они с мамой ждут, и это ожидание для Нади всегда приятно. Папа вернется и привезет подарок. За этим, наверно, и ездят в Варшаву.

— Папочка, ты мне привези большую-большую шоколадку,— развела Надюша руки,— маленького-премаленького голышонка и слоника!

— Хорошо, постараюсь. А что же привезти нашей маме?

Елизавета Васильевна заглянула в глаза мужа, провела рукой по его волосам.

— Привези самого себя в хорошем состоянии здоровья и духа. Больше мне ничего не надо.

Елизавета Васильевна собирала саквояж. Надя приносила свои любимые игрушки и тоже укладывала их на дорогу папе. Но мама разрешила положить в саквояж только крохотного, с мизинчик, солдатика, чтобы он охранял папу от всяких злых людей.

По доброй старой примете присели, помолчали и пошли провожать папу до околицы. Извозчик поехал вперед порожняком и ждал у опушки леса.

С момента отъезда начиналось ожидание возвращения. Пока папа отсутствовал, дни становились бесконечно длинные, особенно для мамы. А день, когда папа приезжал домой, был самый радостный для обеих.

На этот раз Елизавета Васильевна беспокоилась за мужа как никогда. За шесть лет совместной жизни она научилась угадывать его настроение, как бы он ни старался от нее скрыть. Чувство надвигающейся беды не давало ей покоя.

Генерал-фельдмаршал граф фон Берг собирался отметить свой юбилей. Десять лет назад, в 1863 году, он прибыл в Варшаву в качестве командующего русскими войсками в Польше для подавления польского восстания. Тогда в полном блеске проявились палаческие качества надменного графа. А потом он стал наместником, вернее, диктатором Царства Польского. Военная и гражданская власть были в руках этого царского сатрапа. Немец по происхождению, генерал русской армии, он с прусским педантизмом и жестокостью русского царедворца десять лет огнем и мечом, виселицами и шпицрутенами пытался уничтожить польскую культуру, польский язык, польский национальный характер. Берг бдительно следил, чтобы искоренять в самом зародыше всякое вольнодумство и симпатии к полякам в рядах русской армии.

Казалось, что в день своего юбилея он с достоинством может доложить государю императору, что «во вверенном мне Царстве Польском и русской армии крамола уничтожена». Но вот перед ним пачка анонимных писем от русских «патриотов». Пожелавшие остаться неизвестными жители города Гройца верноподданнически доносили, что уездный начальник капитан Крупский редко посещает православную церковь и вовсе не ходит на исповедь, не приобщается святых таинств... Капитан Крупский говорит с поляками по-польски, даже с кухаркой все члены семьи объясняются

по-польски, сообщал другой «патриот»... Читает книги Мицкевича, устраивает вечеринки, на которые приглашает поляков... Малолетнюю дочку учит польскому языку... Крупский и его жена танцуют с поляками мазурку и полонез... Жена Крупского играет на фортепьяно сочинения польского композитора Шопена...

Берг сердито перекладывал анонимные доносы. Дальше шло черт знает что! Оказывается, этот капитан, чтобы расположить к себе поляков, построил в Гройце, где нет приличной гауптвахты, больницу... Запретил сносить польское кладбище и чуть не застрелил унтера, который заступился за православную веру...

Генерал был взбешен.

Последний донос, который адъютант не случайно положил «на закуску», сообщал, что Крупский во время польского восстания 1863 года помогал мятежникам, однажды увел в сторону свою роту, чтобы избежать встречи с косинерами. «Вел себя как трус и изменник»,— заключал доносчик.

Это было последней каплей, переполнившей чашу гнева наместника.

Генерал швырял адъютанту бумаги, приговаривая:

— Отдать капитана под суд... Лишить воинского звания... Отстранить от должности уездного начальника... Провести строжайшее расследование... Под суд! Под суд!..

Адъютант ловил листки, подбирал их на полу и спешил записать в блокнот распоряжения фельдмаршала...

Капитану Крупскому не пришлось докладывать о состоянии дел в уезде. Он был вызван для того, чтобы снять с себя погоны капитана русской армии и предстать перед судом.

Двадцать два пункта обвинения было предъявлено Константину Игнатьевичу Крупскому в Варшавской судебной палате. Крупский понимал, что судят его по доносу, и в ходе следствия видел, что доносчик был не один. Он узнавал из

предъявляемых ему обвинений клеветников: это купец первой гильдии Будылин, имевший нечистые дела с интендантством русской армии в Польше; это владелец огородов, поставляющий овощи наместнику, Иннокентий Трофимовский; дамский угодник и интриган поп Серафим; помещик Сухоруков; жалкий пьянчуга почтовый чиновник, который так и не наловчился вскрывать чужие письма без того, чтобы их не измазать. Крупскому грозило многолетнее тюремное заключение.

Но судьи встретили в обвиняемом умного и юридически образованного человека. Крупский защищал себя сам. Недаром он один из первых в России окончил Военно-юридическую академию, отлично знал все лабиринты судебных уложений и кодексов. Он опровергал одно обвинение за другим, уличал судей в незнании уголовно-процессуальных норм.

Это был блистательный поединок отважного офицера, отбивавшегося от клеветников, прокурора, судей. Из двадцати двух пунктов обвинения Крупский сумел опровергнуть двадцать одно. Оставалось двадцать второе, за которое всеми силами уцепились судьи, чтобы окончательно не провалить судебный процесс. Крупскому вменялся в вину сбор статистических сведений о положении кустарей, батраков и рабочих и распространение среди них трудовых книжек. Для чего понадобилось это Крупскому, судьи решить не могли. Как сформулировать обвинение? И крючкотворы нашлись: Крупскому было приписано превышение власти. На этом основании ему было запрещено занимать государственные должности, проживать в Петербурге, и, как бы в отместку за свое поражение в этом бою, суд возложил на Крупского все судебные издержки. Чиновники понимали, что это непосильное бремя для человека, не имеющего ни поместий, ни угодий, ни капиталов.

Константин Игнатьевич вернулся домой почерневший, с запавшими щеками. И все же привез дочке маленького

голышонка. Надя сидела на коленях отца, закутывала холодную фарфоровую куколку в одеяльце и прислушивалась к разговору. Ничего не могла понять. Только каждый раз вскидывала глаза на мать, которая восклицала: «Какой ужас! Какая низость!»

Отец разложил на столе бумагу со словами:

— Издержки судебные за наш счет. Если не уплачу, придется садиться в тюрьму.

Мама взглянула в бумагу и охнула от боли, от страха. Заплакала. Надя посмотрела на бумагу. Что это так испугало ее маму? На бумаге был изображен орел с двумя злющими головами, с когтями на лапах. Надя стукнула кулаком по орлу.

— Ты плохой, ты нехороший! Зачем ты пугаешь маму? Мамочка, не плачь! — перебралась она на колени к матери.

— Все, все, я не буду больше плакать. Костенька, не беспокойся, мы найдем деньги, чтобы уплатить судебные издержки. Тебе не придется сидеть в тюрьме...

Елизавета Васильевна решительно вытерла слезы.

Глава VIII

АУКЦИОН

И вот в квартире Крупских происходит аукцион — распродажа имущества. С утра до вечера толпится народ. Обыватели осматривают мебель, щупают, встряхивают платья, а вечером в квартире по столу стучит деревянный молоток.

— Часы напольные, Павел Буре с боем,— восемь рублей,— объявляет чиновник.— Кто больше?

Огородник оценивающе пригляделся к часам:

— Мы даем восемь.

Чиновник стучит молотком.

— Раз... Восемь рублей... Кто больше? Два... Восемь рублей... Кто больше?.. Три... Забирайте.

Огородник протягивает деньги.

Евлампия Петровна облюбовала для себя шаль. Она видела ее на плечах капитанши. Шаль из тонкой черной шерсти была вышита шелками. Яркие цветы и птицы словно возникали из ночи и колыхались как живые. Эта шаль с длинной шелковой бахромой придавала легкость и изящество фигуре Елизаветы Васильевны. Ни одно платье капитанши не могло вместить в себя мощную фигуру мадам Будылиной, зато шаль!.. Шаль на любые плечи хороша!

Елизавета Васильевна сидела тут же и безучастными глазами смотрела, как одну за другой выносили их домашние вещи. Константин Игнатьевич не мог перенести унизительной процедуры, и ему хотелось уберечь от этого зрелища дочку. Он сидел с Надюшей в детской комнате, в которой оставались кроватка Нади, три стула и стол.

Надя была взъерошена: тягостное настроение родителей передалось и ей.

— Папа, куда понесли наши кресла?— спрашивала она, глядя в окно.

— Мы их продали, потому что у нас нет денег,— отвечал машинально отец.

— Ой, мамочкина шаль! — закричала Надя, увидев, как Евлампия Петровна медленно шла по улице с накинутой на плечи шалью.

Надя любила рассматривать диковинных птиц и яркие цветы на шали, и мама рассказывала по ним, как по книжке с картинками, увлекательные сказки. И вот теперь злая женщина, которая свою дочку звала «барабанная шкура», уносила мамины сказки.

Надя расплакалась.

Отец пытался отвлечь ее внимание и предложил вместе складывать кубики. Но Наде изменила сегодня быстрая со-

образительность. Нога и хвост мыши оказались частью коровы, у поросенка потерялось полморды.

Отец и дочь испытующе поглядывали друг на друга.

Надюша исподволь следила за отцом. Почему он невеселый, неласковый? Почему плохо, когда нет денег? Почему ушла Ядвига и очень плакала, целовала Надю и приговаривала: «Бедная панночка»? Почему мама сама готовит обед и каждый день на второе только каша или жареная картошка? Почему папа не ходит на работу? Куда исчезла лошадь и добрый, сильный дядя Яков? Почему уносят мебель? Зачем мама отдала свою шаль-сказку?

А отец наблюдал за дочкой — какие мысли роятся в этой головке? Вопрошающий взгляд больших серых глаз и первая дымка недоумения и тревоги в них. Правильно ли они сделали, что решили не скрывать от дочери катастрофы, материальной нужды? Наверно, правильно. Пусть вместе с ними учится преодолевать лишения, а родители, понимая ответственность, не дадут себе воли предаваться горю.

Аукцион подходил к концу. Остались книги. Любопытные расходились по домам, чтобы разнести по городу весть о распродаже с молотка имущества уездного начальника и что капитанша стояла гордая и даже бровью не шевельнула, когда Будылина накинула на плечи ее шаль.

Книги в коричневых, зеленых и темно-красных переплетах стопками лежали на подоконниках. Это были любимые книги — Пушкин, Некрасов, Гоголь, Лермонтов, Шевченко, Мицкевич, Крылов,— прочитанные не один раз в юности в одиночку и затем вдвоем — по-новому, зрелым взглядом.

— По шесть гривен за штуку, всё гуртом, чохом! — прочитал чиновник последнюю строку в описи имущества и поверх очков глянул на людей.

В комнате оставались доктор, архитектор Радван и еще несколько поляков.

— Мы, то есть я, забираю все книги,— сказал архитектор.



Чиновник для порядка стукнул молотком и, устало опустившись на стул, отодвинув от себя молоток, сказал:

— Забирайте!

Елизавета Васильевна поспешила к мужу.

— Вот и все! — сказала она, выкладывая пачки денег.— Видишь, какие мы с тобой богатые.— И такая горечь прозвучала в ее голосе, что даже Надюша поняла, что — не богатые. Девочка продолжала свои наблюдения.

Вечером пришли Радван и доктор, с женами. Оба они были нагружены связками книг.

— Это ваши друзья возвращаются к вам. Вы не должны с ними расставаться,— сказал Радван.

И на подоконнике снова выросли пачки книг в коричневых, зеленых и темно-красных переплетах. Любимых книг. У Константина Игнатьевича встал ком в горле.

Елизавета Васильевна накрыла на маленьком столе чай и достала печенье, которое Ядвига всегда пекла «впрок». Сидели на оставшихся стульях, на перевернутом боком книжном шкафу, который никому не понадобился. Пани Радван принесла домашний яблочный пирог. В доме снова повеселело. Разговор завязался сразу дружеский, молодой, горячий. Елизавета Васильевна прикрепила на окна листы бумаги, чтобы отгородиться от любопытных глаз, зажгла лампу и пригласила за стол. Пан Радван заиграл на воображаемой скрипке, чем очень развеселил Надю, а доктор вынул гребенку, обернул ее папиросной бумагой и стал подыгрывать. Елизавета Васильевна затянула «Прощание», женщины подпевали.

Поздно вечером пошли прогуляться по улицам Гройца. Город уже погрузился в сонный покой. Где-то слышалась колотушка ночного сторожа.

Вся компания не сговариваясь повернула по направлению к больнице. Эта больница была гордостью и Крупского и пана Радвана. Она их сблизила. Несколько окон в больнице было освещено. Константин Игнатьевич ревниво следил,

чтобы в больнице был налажен образцовый порядок и чтобы клятва Гиппократа свято соблюдалась всеми, кто решил посвятить себя делу сохранения человеческой жизни и излечению недугов. Больница была светлым маяком во всем уезде. Врачи ездили по гминам и на сходках крестьян рассказывали, как уберечь себя от болезней и главным образом от холеры. Холерная эпидемия свирепствовала десятый год на Востоке и дотянулась своими страшными щупальцами до Центральной Европы. Эти беседы были вызовом попам, лечившим все болезни «святой водой», были вызовом знахарям и знахаркам, лечившим заговорами и разным зельем. Служащие больницы повели борьбу с загрязнением улиц, лавок и магазинов, с мухами, тараканами, мышами и крысами, со всей нечистью, которая распространяет болезни. Крупский приобрел много врагов, но больше у него было друзей.

Радван чувствовал себя зодчим Казаковым, построившим знаменитую Голицынскую больницу в Москве. «Это мое дивное творение,— с гордостью говорил он,— ничего лучшего в своей жизни я уже создать не сумею, особенно когда вас, пан Константин, не будет с нами».

На следующий день Крупский с семьей отправился в Варшаву, чтобы там добиваться пересмотра судебного дела, получить право на жизнь в Петербурге и право на работу. Поселились в Старом городе на Тромбацкой улице, в комнатушке на мансарде, а вернее, на чердаке. В этом районе чердаки и подвалы занимала польская, еврейская и татарская беднота.

После оплаты судебных издержек осталось совсем немного денег, и как Елизавета Васильевна ни экономила, деньги таяли с ужасающей быстротой. А дело ходило по инстанциям, подолгу лежало в каждой канцелярии «под сукном», возвращалось в судебную палату и снова начинало круговорот.

Константин Игнатьевич и Елизавета Васильевна потеря-

ли покой и сон. По ночам при свете крошечной керосиновой лампы, загороженной ширмочкой из книги, чтобы свет не падал на Надю, читали вслух, стараясь приглушить сердечную боль, чтобы не говорить об одном и том же. Часто Надя просыпалась среди ночи и видела, как ее родители, соединив головы и укрывшись одним старым, теплым платком, тихо читали. Однажды она открыла глаза и прислушалась.

— «...Самое замечательное в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому...» — читала мама.— Какая прелесть! — шептала Елизавета Васильевна.— Как я завидую Пульхерии Ивановне и как мне хочется, чтобы Афанасий Иванович подшутил надо мною, наговаривая всякие страхи, и чтобы все это было неправдой. Какие это были счастливые старики!

— Старики трогательные,— возражал Константин Игнатьевич,— но мы счастливее их. У них не было Надежды, а у нас она есть. У них не было молодого счастья, а мы его имеем, Лизонька, дорогая,— крепко обнял он жену.— Ты ведь знала, за кого замуж шла. Я от тебя ничего не скрыл: ни того, что рожден от ссыльного поселенца, ни того, что беден, ни того, что в шестьдесят третьем был на стороне восставших поляков.

— Молчи, молчи! — закрыла ему рот рукой Елизавета Васильевна.— Разве я тебя упрекаю? Мое сердце радуется твоими радостями и болит твоими печалями. И так будет всегда. Всю жизнь. А когда я умру, ты, как Афанасий Иванович, будешь ходить в старом, грязном халате и никто не поставит на стол горшочек с солеными груздями.

— О груздях не нужно. Мне и впрямь есть хочется.

Когда Елизавета Васильевна закончила читать «Старосветских помещиков», Константин Игнатьевич сказал:

— Знаешь, русская проза прекрасна и страшна. Она чаще всего повествует о горестях, к которым не можешь остаться равнодушным. Автор увлекает тебя за собой и за-

ставляет постигать то, что ты еще не готов постигнуть, что тебе не под силу, но он завладел тобой, твоими мыслями, ты попадаешь в плен, и деваться некуда,— говорил Константин Игнатьевич.

— Да,— согласилась Елизавета Васильевна.— Если нам начать читать Достоевского, то можно сойти с ума. Давай-ка лучше читать французские развлекательные романы. А сейчас я приготовлю тебе взвару или попросту чайку. Холодно! Сыро! Бр-р-р!

Елизавета Васильевна подошла к дочке, подоткнула со всех сторон одеяло. Зажгла керосинку, поставила на нее чайник...

По воскресеньям, приодевшись и нарядив Надюшу в платье, из которого она начинала вырастать, Крупские отправлялись гулять в Новый город, осматривали дворцы Краковского предместья или шли посидеть в Саксонский сад. Здесь хорошо дышалось после узких, как колодцы, улиц Старого города с их удушливым запахом отбросов, где на всем лежала печать нищеты, нужды. В Старом городе находился самый старый дом Варшавы — «Дом под святым Марком». Мимо него каждый день проходил Константин Игнатьевич в «присутствие» и как-то рассказал Наде, что, по преданию, на месте этого дома когда-то стояла землянка, в которой жили основатели города Вар и Сава, в честь которых получила свое название Варшава.

Много дворцов и храмов украшают город, и вместе с тем мрачные силуэты костелов наводят трепет и страх. Однажды, гуляя, Крупские зашли в древнюю церковь Варшавы — собор святого Яна.

В сумрачной и холодной тишине надгробные памятники и скульптуры рассказывали об истории польских княжеских родов.

Подошли к распятию Христа. Христос на нем не обычный, смиренный и многострадальный, а страшный в своих муках, протестующий против истязаний. Казалось, он пы-

тается оторвать руки и ноги от креста,— весь протест, весь вызов, весь в борьбе.

Константин Игнатьевич долго рассматривал его.

— Ты посмотри, что сотворили руки художника — резчика по дереву. Ведь это судьба Польши. Она восстает против страданий, протестует, борется. Так художник выразил свои думы и мысли.

Елизавета Васильевна вздохнула.

— Этот Христос похож на того, что тебе подарил пан Анджей. И знаешь, я стала суеверной,— тихо произнесла она.— С тех пор как это распятие появилось в нашем доме, посыпались, как из рога изобилия, все беды и несчастья. Лучше бы он нам его не дарил. Уж и не знаю, как избавиться от него.

Константин Игнатьевич взял жену под руку, прижал к себе. Какую судьбу он, Крупский, готовил двум самым дорогим для него существам? Деньги кончились уже давно. Продавать нечего. Работы нет, и получить ее здесь немыслимо. Родственникам они пишут, что есть сбережения и чтобы те не беспокоились.

Крупские понимают, что брат Александр не может содержать его с семьей и сестры Елизаветы Васильевны сами еле сводят концы с концами.

Наступил день, когда в коробочке на столе остались три монетки.

Супруги молча посмотрели друг на друга и перевели взгляд на дочку. А потом оба заторопились. Елизавета Васильевна вспомнила, что она приглашена к знакомой даме на чашку чая, а Константин Игнатьевич сказал, что обещал навестить старого приятеля. Надю отвели во двор под присмотр соседских детей.

К вечеру Елизавета Васильевна вернулась, когда Константин Игнатьевич с дочкой сидели уже дома. Перед Надей стояла коробка с пирожными, которые она с наслаждением уплетала.

Елизавета Васильевна покачала головой: девочка еще не обедала.

Константин Игнатьевич с видом победителя положил перед женой пачку кредиток. Какой-то старый, неведомый Елизавете Васильевне товарищ мужа одолжил крупную сумму — 500 рублей и сказал, что может ждать сколько угодно. «Когда разбогатеете, тогда отдадите». Елизавета Васильевна, в свою очередь, выложила из сумочки 50 рублей. Это был аванс издательства за книжечку стихов «Надин день».

Муж скрыл от жены, что 500 рублей он взял не у старого товарища, а у ростовщика по векселю и что этот долг будет обрастать, как снежный ком, шестью процентами годовых.

Елизавета Васильевна не сказала мужу, как тяжело вздохнул издатель, прочитав стихи,— видно, они ему не очень-то понравились. Да и сама она знала им цену. Но, взглянув на женщину, издатель понял, что это не «дамские стихи». В них были заложены хорошие мысли, а в глазах автора было столько материнского отчаяния и надежды, а руки в заштопанных перчатках выдавали такое волнение, что издатель тут же предложил за стихи 120 рублей и выдал 50 рублей аванса.

Судебное дело все еще тянулось, но теперь можно было продолжать добиваться справедливости.

И в этот день Елизавета Васильевна похолодела от ужаса и у нее подкосились ноги, когда она увидела, как муж, закашлявшись, поднес ко рту носовой платок и на нем расплылось кровавое пятно. Константин Игнатьевич быстро сунул платок в карман и оглянулся на жену. Елизавета Васильевна сделала вид, что ничего не заметила.

Глава IX

ТУРЧОНОК

Судебное дело на Крупского переслали в Петербург на кассационное рассмотрение сената. Крупские в 1874 году покинули Польшу, и начались их странствования по всей России в поисках заработка, в поисках пристанища. Три года мытарств и лишений. А Наде исполнилось уже восемь лет, и надо было осесть в большом городе, чтобы она могла учиться. Помогли друзья юности. Константин Игнатьевич получил место юрисконсульта в киевской торговой фирме.

В Киев приехали весной, когда на Крещатике и Владимирской горке цвели белая акация и сиреневые каштаны, а сам город походил на военный плацдарм. Вдоль улиц маршировали солдаты с залихватскими песнями, двигались бесконечной чередой обозы с амуницией, пушками. Грохотали барабаны. А по панели шли толпы людей, размахивали платками, шляпами, руками, что-то кричали, кому-то грозили. Было очень шумно и тревожно. Константин Игнатьевич объяснил дочке, что Россия объявила войну Турции и что солдаты идут на фронт. Надя видела, как отец часами стоял на Крещатике и всматривался в лица солдат, беседовал с офицерами.

— Солдаты полны решимости сражаться с турками, — сказал он как-то жене. — Русскому человеку всегда по сердцу борьба с несправедливостью, угнетением.

Надя оторвалась от тетради и спросила отца:

— Турки плохие люди? Их надо убивать? Почему?

Нет, нет. Константин Игнатьевич не делил людей на «плохие» и «хорошие» нации. Но эта война России против Турции помогла многочисленным славянским народам освободиться от турецкого ига, завоевать независимое существование. Уже два года славянские народы на Балканском полуострове ведут борьбу против турецких угнетателей, в партизанские от-

ряды идут тысячи русских добровольцев. Царь Александр II объявил войну Турции потому, что стремился укрепить свое влияние на Балканах, и хотел он того или не хотел, но русские солдаты в этой войне выполняли освободительную миссию.

Надя ходила в школу, но теперь она говорила, что идет в школу, как на войну, только без всякой решимости сражаться.

Учеба в школе ей была не по душе. Каждый день на вопрос, что ей задали из арифметики, из русского, Надя отвечала: «Опять «отсихдосих». Все надо было учить наизусть, «от сих пор до сих пор» — отчеркивал учитель в книге. Зубрежка заменяла живое слово. Надя возненавидела стихотворение Пушкина «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...» — стихотворение, которое она знала с трехлетнего возраста и каждый первый снег встречала словами этого стихотворения. Учитель требовал ответить на вопросы: почему торжествует крестьянин; почему лошадка плетется как-нибудь; нужно было объяснить, что такое «пушистые бразды». От такого грубого вторжения пропадала музыка стиха, сама поэзия рассыпалась, исчезал аромат снега, оголялась кочковатая, промерзшая земля, стихотворение становилось скучным.

В это майское утро Елизавета Васильевна, как всегда, провожала Надю в школу. Шли по Крещатику. У подъезда богатого особняка останавливались люди. Они рассматривали пленного турчонка, который в ярко-желтом костюме и красной феске стоял у дверей, готовый услужливо распахнуть их.

Надя задержала мать за руку.

Турчонок был маленький и тщедушный. На желтовато-бледном лице его горели карие глаза, черные шнурочки бровей все время были в движении. Они то округлялись дугами над глазами, то сходились над переносицей и взмывали вверх, то разлетались зигзагами врозь, и лицо все время жи-

вописало испуг, ожидание удара, страх, недоверие, недетскую тоску.

Люди рассматривали мальчика как зоологическую диковинку, выкрикивали злобные слова.

К особняку подъехал роскошный экипаж, и лакей, открыв дверцу, помог выйти барыне, раскрыл над ней зонтик. Это была грузная, богато одетая женщина. Елизавета Васильевна узнала в ней Евлампию Петровну. Она стала еще могутнее. Как видно, Будылин, почуяв наживу, перебрался в Киев, чтобы быть поближе к командованию, к интендантскому управлению и к поставкам мяса для фронта.

Будылина тяжело поднималась по ступенькам, а турчонок, упав на колени, обмахивал веничком из перьев ее башмаки. Будылина ткнула мальчонку концом зонтика в спину, он вздрогнул.

Елизавета Васильевна потянула дочь за руку.

— Пойдем, опоздаешь в школу.

— Мамочка, мне его жалко! — вскрикнула Надя.

Будылина обернулась:

— Нашла кого жалеть! Пусть души патриотов распаляет.

Будылина скользнула глазами по толпе, заприметила Елизавету Васильевну. Победно ухмыльнулась. Обе женщины сделали вид, что не узнали друг друга.

Весь день Надя сидела на уроках как в тумане. Перед ней маячило лицо турецкого мальчика, и его брови, и его испуганные глаза.

Константин Игнатьевич по пути домой купил две большие репродукции картин Верещагина.

— Это изумительный человек и художник,— сказал отец дочке.— Он рисует картины, в которых показывает, как страшна война. Для этого он едет туда, где идет битва, и в самом пекле боя делает свои рисунки. Сейчас он где-то под Плевной на фронте. Вот смотри...

Константин Игнатьевич положил перед Надей картину. Желтая горячая степь, несколько изуродованных деревьев, и в этой степи огромная пирамида из черепов, и над ними кружит воронье.

Надя долго в ужасе смотрела на эту картину.

— Папа, почему они все кричат?

Константин Игнатьевич всмотрелся. Конечно, черепа кричали. Одни от боли, от ужаса, другие, подняв пустые глазницы к сизому раскаленному небу, шлют ему проклятья. И никто не волен закрыть им глаза, заставить их замолчать. «Апофеоз войны» — было написано под картиной. И сбоку: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».

— Что такое «а-по-феоз»? — прочитала по складам Надя.

— Апофеоз — значит торжественное завершение, результат. Всякая война несет с собой разрушения, горе, жертвы. Но не всегда можно обойтись без них. Когда люди защищают в войне от врага свою свободу или добиваются независимости, такая война священна.

Отец прикрыл эту картину другой. Это тоже Верещагин. «В горах Алатау» — называлась картина.

Весна в горах, белые цветы на высоких стебельках покачиваются на ветру, и в густой траве стоит косуля. Нервное, мускулистое тело, настороженная морда и гордые ветвистые рога на фоне синих далеких гор. И высоко в небе парит большая птица. Наверно, орел. Тихо, красиво. А Наде мерещится — прогремит сейчас выстрел, и все превратится в ничто. И орел, и косуля...

С вечера Надя запаслась бутербродами и яблоком и чуть свет выскользнула из квартиры и побежала вниз по Крещатику. В этот час уже тащились повозки с ранеными, по городу разъезжали водовозы, шли редкие прохожие. У дома Будылиных никого не было. Турчонок, дрожа от страха или утреннего холода, стоял у дверей. Брови поднялись и

соединились над переносицей в единую линию. Он грустными глазами смотрел на цветущий каштан, что рос возле подъезда. Мальчик, наверно, вспоминал свой родной край, где цветут сейчас такие же каштаны. Надя подошла к нему и протянула ему руку, а он в ужасе отшатнулся. Он не знал, что такое рукопожатие. Тогда Надя вынула из ранца яблоко и дала ему. Турчонок схватил яблоко, а потом стал совать его обратно в руки Нади и что-то быстро-быстро лопотал, а глаза его умоляли: «Возьми яблоко обратно, мне страшно». Надя ласково уговаривала: «Съешь, это вкусное яблоко». И вдруг мальчик заплакал. Он не жмурил глаза, слезы сыпались из открытых глаз; он не вытирал щеки, плакал беззвучно, только вздрагивала кисточка на феске. Это была отличная феска. О такой он дома не мечтал. Красные фески из настоящего пухового фетра носили только богатые, а его родители были бедные крестьяне, и бабушка сама валяла фески из овечьей шерсти и красила их настоем из корешков. И такого костюма он никогда в жизни не носил. Он даже не знал, что такое костюм. Он жил с родителями и множеством маленьких братьев и сестер в сакле. Однажды отец явился домой в солдатской форме и сказал, что его посылают на войну. А что такое война? Дети вскоре узнали это сами: день и ночь горы стонали от взрывов, сакля содрогалась и готова была свергнуться с уступа. Когда же в крышу угодил шрапнельный снаряд и свинцовый град защелкал по двору, мать собрала детей, и они пошли вместе с другими. Пошли в неизвестность, пока не наткнулись на русский разъезд. Беженцев забрали на приемный пункт, а там мальчика приметил Будылин и решил украсить фасад своего дома пленным турчонком. Ночью мальчик спал под лестницей на куче тряпья; ему ставили миску, в которую соскребали все: кожуру картошки и обглоданные кости, остатки супа.

Теперь турчонок каждое утро ждал светловолосую девочку. Она бежала по улице, шлепая сандалиями, и старалась

улучить момент, чтобы оставить на ступеньке за колонной маленький сверток, в котором бывали и орехи, и сладости, и яблоко.

Турчонок перестал привлекать внимание прохожих, к нему привыкли, как привыкают к какому-нибудь новому архитектурному украшению. А потом о нем просто забыли. И мадам Будылина выставляла его только во время парадных приемов гостей. Турчонок жил вместе со швейцаром, который пожалел мальчонку, заботился о нем, и вместе с заботой в стариковское сердце закрались и привязанность и простая человеческая любовь.

Надя смело проходила со двора под лестницу в сторожку швейцара и играла с мальчиком, дарила ему яркие открытки, которые доставляли ему большую радость, а однажды принесла букварь и, показывая на картинки, говорила: «Арбуз... Будка...» Турчонок с трудом постигал эти слова, но быстро научился произносить: «Доброе утро», «До свиданья», «Спасибо».

Швейцар Нилыч, крестясь, говорил с опаской Наде:

— Может быть, и грех, барышня, басурмана привечать, но ведь дитё. Его кто хочешь обидит, а он ласки ждет. Народ скуп на ласку, ох как скуп, внушили ему злобу звериную... А ведь ласковое слово легче с языка сходит, чем бранное. Вон наша барыня только и знает, что ругается да зубы вышибает, а кулак у нее дай бог какой! Барышня Марья Сидоровна — та другая, она матерью забитая. Тихая да ласковая, что твой турчонок...

Однажды Надя не застала в сторожке ни швейцара, ни турчонка, а у парадной двери стоял другой важный старик с белой бородой, расчесанной на две стороны, в новой зеленой ливрее. У него был такой свирепый вид, что Надя не решалась спросить, куда же девался Нилыч и турчонок.

Потом люди рассказывали, что барыня прогнала швейцара вместе с турчонком, и Нилыч взял его с собой в деревню.

Глава X

В ШКОЛЕ

Надя нехотя шла в школу. Она завидовала взрослым: им не надо уже было ничему учиться; завидовала босоногим мальчишкам, которые не ходили в школу, а уже зарабатывали деньги, работая в магазинах, подмастерьями у сапожников, у портных. Надя не любила школу, в которой все неинтересно, скучно, просто тоскливо.

Сначала будет французский язык. Она весь вечер зубрила скучнейшее французское стихотворение и несносные неправильные глаголы. Например: «мур» — «умирать». «Я умираю, ты умираешь, он умирает, она умирает, оно умирает, мы умираем, вы умираете...» Все, все умирают... Почему одни глаголы правильные, а другие неправильные?

Хорошо бы, все слова, обозначающие дурные поступки, были бы неправильными, а все, что делается человеку на пользу, были бы правильными глаголами. Это было бы справедливо и легко заучивалось.

Надя еле дождалась конца урока. Француженка тоже все время думала о чем-то своем, и, видимо, невеселом. Отметки выставляла в журнале, не дослушав ученика. И когда зазвенел звонок на перемену, все в классе ожило, ученицы с улыбкой провожали француженку, она тоже улыбалась, как бы говоря: «Ну вот, кончился урок, и слава богу».

Следующий урок — чистописание. Писать Надя любила. Писала красиво. Ей нравилось перелистывать тетрадь, где в голубых продолговатых клетках фуксиновыми чернилами были вписаны буквы. Почти каждую страницу украшала цифра «12» — самая высокая отметка. Эта цифра выводилась учителем красными чернилами и среди синих букв выглядела как цветок.

Но этими красивыми буквами надо переписать целую страницу из книги о том, как добывается соль. Про эту соль

уже целый месяц идет разговор в классе. Даже во рту стало солоно от этих уроков.

Тихо в классе. Слышно только, как постукивают стальные перья о стеклянное дно чернильниц. Учитель поглядывает на учениц из-под очков и сам что-то старательно пишет в тетради. Но уж наверно не про соль. Хочется спать, и пока выведешь букву «Т» заглавную, два раза захлопываются веки.

Когда Надя научилась читать, ей шел шестой год. Было так интересно самой читать любимого «Степку-растрепку», а потом «Кота в сапогах», а потом «Робинзона Крузо»... Надя тогда мечтала о школе. Ей казалось, что она попадет в чудесный мир. А в школе очень скучно. Только когда приходит священник отец Ларион, класс оживает. Он очень интересно рассказывает всякие истории из Ветхого завета. Надя сидит на последней парте и вся превращается в слух, когда священник начинает свой рассказ вкрадчивым голосом — так, как рассказывают страшные сказки. В классе мертвая тишина, но эта тишина напряженная, все заинтересованы.

— Вот смотрите, дети, на эту картину...

Отец Ларион вешает на крюк, прикрепленный к верхней планке классной доски, ярко разрисованную картину. На ней изображен бог, он в белой одежде, с белой бородой, толкает за плечо спящего старика.

— Это пророк Самуил,— говорит отец Ларион.— А это господь бог будит его. Крепко спит Самуил. Бог его тормошит за плечо: «Да проснись же, проснись!» А Самуил повернулся на другой бок, подложил ладонь под щеку и спит. А потом очнулся, сел и спрашивает: «Кто здесь?» Увидел, что это бог. Вскочил на ноги, пригладил бороду и волосы, сложил ладони вместе и сказал: «Говори, господи, слушает ра-а... твой». И бог ему сказал...

Но что сказал бог, Надя уже не слышит, она поражена тем, что с богом можно поговорить и услышать его голос,

стоит только произнести, что слушает «рак твой». Так, кажется, сказал отец Ларион. Но почему «рак»? Наде тоже очень хочется поговорить с богом. Сегодня же ночью она поговорит с ним. Спросит, почему люди убивают друг друга, и поговорит о турчонке. Пусть бог позаботится о нем. Поскорее бы кончился урок и наступил бы вечер. Надя веселая бежит домой.

— Спрашивали тебя сегодня? — интересуется мама, накрывая на стол.

— Да,— рассеянно отвечает Надя.— Из французского.

— И какую отметку тебе поставили? — спросил папа.

— Десять.

— Почему? Ты ведь отлично его вчера рассказывала.

— Я очень спешила и плохо произносила слова.

— А потом что было?

— Потом списывали с книжки. Я чуть не умерла, так мне захотелось спать. Потом был Ветхий завет. Вот это интересно.

— Неужели интересно? — удивляется отец.— Я так вот всегда умирал от скуки и придумывал всякие каверзы. Что может быть скучнее закона божия?

— А наш законоучитель так интересно рассказывает, что заслушаешься. Такие удивительные истории. Мама, ты разговаривала когда-нибудь с богом, видела его живого?

— Не говори глупостей,— замечает мама.

Отец смеется. Надя обижена.

Она еле дожидается вечера. Ужинает и без всяких уговоров и напоминаний отправляется к себе в комнату. Вот теперь она обо всем поговорит с богом и спросит у него совета, как отделаться от скучной школы.

Мать и отец удивлены поведением дочери.

— Ты понимаешь, Лизонька, мы что-то упускаем в воспитании Надюши. Самым интересным уроком она считает закон божий. У безбожника Крупского растет религиозная дочь.

— Ей скучно в этой школе. А священник сумел заинтересовать. Я разговаривала с учителями. Все они какие-то забитые, дома, наверно, беспросветная нужда.

— Что-то она сегодня пошла спать до боя часов, без всякого напоминания. Она чем-то возбуждена.

Константин Игнатьевич на цыпочках подошел к двери Надиной комнаты, чтобы прикрыть ее, и услышал, что дочь с кем-то разговаривает.

— Господи, господи, слушает рака твоя! Господи, господи, слушает рака твоя! — Надя сидела на кровати и глядела на потолок. Голубой ночник освещал лицо дочери.— Господи, рака твоя слушает, слушает...— повторяла она настойчиво.— Может быть, ты не хочешь мне показаться, тогда выслушай меня. Может быть, вы обиделись, что я называю вас на «ты»? Очень прошу: выслушайте. Я не хочу учиться в школе, мне скучно. Сделайте так, чтобы я не училась. И еще: я вас очень прошу, помогите маленькому турчонку! Он не виноват. Вы меня слышите? Это рака ваша Надя.

Отец распахнул дверь.

Надя вскрикнула и юркнула под одеяло.

— Ну, ну, вылезай, я все слышал и страшно удивлен, что ты решила превратиться в гробницу,— сказал отец.

— Папа, ты помешал мне говорить с богом,— обиделась Надя.

— Ты мне скажи, пожалуйста, почему ты называешь себя гробницей?

— Нет, я называю себя ракой.

— А это и есть гробница.

— А рак?

— Речной рак — это десятиногое животное, живет в воде, черный, а когда бросишь в кипяток, делается красный. Раком называется страшная болезнь; есть еще созвездие, которое называется Раком.

— Как Большая Медведица? — спросила заинтересованная Надя.

— Да. Но почему ты рака?

— Так сказал отец Ларион. Пророк Самуил называл себя раком божьим.

Константин Игнатьевич рассмеялся. Смеялся он звонко, заразительно. Надя очень любила этот смех отца. Но сегодня такой смех показался обидным. Она снова накрылась с головой одеялом.

— Ну ладно, ладно, ты меня послушай,— говорил отец.— И давай посмеемся вместе. Ты ослышалась. Законоучитель сказал не «рак», а «раб». Ты знаешь, что такое раб, рабыня?

— Нет,— призналась Надя.

— Раб — мужчина, а женщина — раба. Это бесправные люди, которые кому-то принадлежат, какому-то господину, и он может сделать с этим рабом все, что захочет. И люди верующие соглашаются быть рабами божьими. А по-моему, быть рабом, даже божьим, унизительно. Я не хочу быть ничьим рабом. И люди всегда стремятся освободиться от рабства. Вот, например, славянские народы решили освободиться от турецкого рабства и восстали с оружием в руках, и бьются, и умирают для того, чтобы их дети не были рабами. Почему же тебе вдруг захотелось быть рабыней?

Надя притихла. Сидела и раздумывала.

— Папочка, мне не хочется ходить в школу. Там очень скучно. Можно мне не учиться?

— Нет, дочка, учиться ты будешь, но найдем школу интереснее. Скоро вы с мамой поедете в Петербург, и там ты поступишь в гимназию, а я буду работать недалеко, в Псковской губернии.

— Почему же ты не поедешь вместе с нами? Почему ты хочешь жить один?

Отец поцеловал дочку в лоб и вздохнул.

— Ничего я так не хочу, как быть всегда вместе с вами! Но мне не разрешают жить в Петербурге, а тебе там надо учиться.

Надя изумленными глазами смотрела на отца.

— Разве нельзя жить там, где хочешь, где тебе нравится? Почему? Кто не разрешает?

— Скоро, скоро все уладится, и мы будем вместе, а сейчас тебе пора спать.

Вопрос остался без ответа. Надя долго не могла уснуть, переворачивала горячую подушку, которая жгла щеки, слезы сами лились из глаз. Сказки батюшки Лариона потеряли всякую привлекательность, мучил вопрос: кто и почему не разрешает папе жить в Петербурге. Не разрешать могут детям, а взрослым? Как много непонятного! Какая горячая подушка, сколько ее ни переворачивай. От слез? От вопросов без ответов?

Глава XI

ТИМОФЕЙКИН СОЛОВЕЙ

Зеленые почки берез светлячками мерцали в темной чащобе елей. На голых ветках ольхи покачивались пушистые, как гусеницы, желтые колоски, заострились зелеными клинками кусты черемухи, а вербу облепили, как стайки воробьев-лилипутов, серые, взъерошенные сережки.

Надя собирала первый весенний букет из цветов мать-мачехи. Эти крепыши на коротких толстых ножках приподнимали пласты старых сырых листьев, раздвигали пряди седой травы и раскрывали пучки своих лучиков, все время поворачиваясь к солнцу.

Елизавета Васильевна составляла свой букет из голых прутиков и веточек, которые весна успела раскрасить в желтые, зеленые, красные цвета и отлакировать.

— Дыши, Надюша, дыши!

Надя смеялась:

— Мамочка, но я же все время дышу!

Матери не терпелось увидеть на щеках дочери прежний румянец, который безжалостно слизала болезнь. Всю зиму Надя болела. Она плохо переносила сырой климат Петербурга: бронхит у нее сменялся ангиной, ангина — инфлюэнцей. За свой первый год учебы в гимназии она пропустила семьдесят семь дней, и, конечно, о переводе в следующий класс нечего было и думать. И едва наступила весна, Елизавета Васильевна с дочкой отправилась к Константину Игнатьевичу в Студенцы Псковской губернии. Он работал там юрисконсультом у помещицы Косяковской. Каждый день Елизавета Васильевна выходит с Надей на длительную прогулку в лес и все ждет, чтобы весна украсила и ее дочку.

По тропинке вышли к оврагу. Вешние воды из года в год размывали овраг, края его оползали, и деревья, обнажив корни, упали и легли, как мост, опершись вершинами на другую сторону. Снизу сквозь ветви пробивался дымок, слышались голоса. Надя заглянула вниз и увидела деревенских ребятишек у костра.

— Давай спустимся к ним! — попросила она мать.

И обе, цепляясь за кусты, проворно сбежали вниз. Ребятишки сидели вокруг угасающего костра, каждый с прутиком в руке, которыми они что-то осторожно перекатывали в жаркой золе.

— Здравствуйте, дети! Картошку печете? — обратилась к ним Елизавета Васильевна.

— Здра-а-асте! — протянули ребята, и по тому, как они заученным хором ответили на приветствие, Елизавета Васильевна поняла, что это школьники.

Мальчик постарше, с широко расставленными смышлеными глазами, виновато улыбнувшись, объяснил:

— Мы не картошку. Ее давно всю слопали. Птичьи яйца печем. Угощайтесь, барышня! — Он выгреб несколько крохотных яичек, взял их в руки и, перекатывая с ладони на ладонь, протянул Наде.

Надя убрала руки за спину и готова была наговорить этому мальчишке, который разоряет гнезда, много сердитых слов, но мама сжала ей плечо: молчи, мол.

— Спасибо, ешьте, ешьте... Это какие же яйца, каких птиц? — поинтересовалась Елизавета Васильевна.

Мальчишка, оглянувшись на своих присмиревших товарищей, объяснял, выбирая из пепла крохотные обуглившиеся шарики:

— Вот это сорочьи, это грачиные, а это скворчихины.

— А где соловьиные? — робко спросила Надя.

— Что вы, барышня, соловьиных яиц не берем. Соловьев наша Тимофейка дюже любит. Мы и у других птиц не все таскаем, оставляем на развод,— по-хозяйски объяснял мальчик.

— Кто такая Тимофейка? — спросила Елизавета Васильевна.

— Вы не знаете? — удивился мальчик.— Наша учителка.

— Почему же вы ее Тимофейкой зовете?

— Это мы промеж себя. Ее в деревне все Тимофейкой зовут, а в школе мы ее величаем Александрой Тимофеевной.

— В школе-то кончили уже учиться?

— Не-е-ет! — снова хором ответили ребята.

— Ну вот и хорошо. Моя дочь — познакомьтесь с ней, ее зовут Надей — тоже вместе с вами учиться будет.

— Ну что ж, мы чего? Это как Тимофейка.

— А вас-то как зовут?

— Меня зовут Ильей,— сказал старший мальчик.— Вон тот,— показал он на мальчугана чуть моложе себя,— Степан, эта — Параскева.

— А я — Иван! — выкрикнул мальчонка с длинными светлыми волосами, из-под которых, как два льняных цветка, светились ярко-синие маленькие глазки.

— До скорой встречи, дети.— Елизавета Васильевна взяла за руку Надю, и они стали подниматься наверх.

— До сви-дань-я! — хором кричали вслед ребята.

Надя посапывала носом, что означало крайнюю степень подавленности или встревоженности.

Когда выбрались наверх, присели отдохнуть на комле упавшей сосны. Надя спросила:

— Мама, почему ты не объяснила ребятам, что стыдно разорять птичьи гнезда? Ведь так они всех птиц истребят.

Елизавета Васильевна вздохнула:

— Не спеши осуждать. Они делают это не ради озорства. Сейчас самое голодное время в деревне. Хлеб и картошку съели, а земля еще ничего, кроме крохотных кустиков крапивы, не дает. Ребята просто голодные, вот и утоляют голод чем могут. И они ж сказали, что берут по одному-два яичка из гнезда. Учительница у них, видно, хорошая. Как они ласково о ней говорили. Надо с ней познакомиться...

Знакомство состоялось раньше, чем они ожидали. У околицы деревни увидели девушку в ситцевом платье, которая шла по направлению к помещичьей усадьбе. Под мышкой у нее была пачка книг. Другой рукой отводила от лица черные кудри, которые ветер то нахлобучивал на глаза, то закрывал загорелые щеки.

— Здравствуйте! Вы госпожа Крупская? Я здешняя учительница Александра Яворская,— приветливо и с каким-то достоинством произнесла девушка.

Им оказалось по дороге.

Надя с любопытством рассматривала учительницу. Она совсем не походила ни на киевских учительниц в прогимназии, ни на учительниц Лиговской гимназии в Петербурге.

— Мы успели с вашими учениками познакомиться.— Елизавете Васильевне тоже по душе пришлась эта почти по-деревенски одетая девушка, в которой угадывалась благородная простота и интеллигентность.

— Небось ходят по лесу и корешки выкапывают? — поинтересовалась она.

— Нет, птичьи яйца в костре пекут! — выпалила Надя и вдруг вся зарделась: не походило ли это на ябедничанье?

— Да, впроголодь живут ребята. Коровы подвешены, молока нет, в закромах пусто.— Александра Тимофеевна окинула взглядом Надю, не спускающую больших внимательных глаз с новой знакомой.

— Как это коровы подвешены? — изумилась девочка.

— Очень просто: подвешены к потолку, вот так,— провела себе рукой по груди и по ногам Александра Тимофеевна.— От голода они не держатся на ногах, а если свалятся, то уже не встанут.

Надя шла как в тумане: она представила себе висящих на веревочных помочах коров. Жить впроголодь для нее до сих пор означало проголодаться. Хотя последние годы семья Крупских жила в большой нужде, но для Нади всегда был и белый хлеб и молоко. Но то, что от голода можно вовсе лишиться сил и умереть, лечь и не встать,— это для Нади было страшным открытием.

— Тебе нравится учиться? — спросила Александра Тимофеевна девочку.

— Нет,—простодушно ответила Надя.—Учиться я очень не люблю.

— А какое же занятие тебе нравится?

— Люблю читать. Мне нравится всякая работа, мне хочется помогать людям, но только не учиться.

— Как-то у тебя все шиворот-навыворот,— сказала девушка.— Ведь не будешь учиться, так и людям не сможешь пользы принести. В нашей деревне все ребятишки охотно учатся, а Илюша очень способный мальчик. Он работает на фабрике, после работы прибегает в школу, а вечером еще деду помогает дрова из лесу возить. Он уже настоящий кормилец. А ему только одиннадцать лет.

И Наде одиннадцать, но она может остаться на второй год. Ученье в гимназии, где тоже надо зубрить «от сих до сих», где все девочки в шерстяных платьях сидят на пер-

вых партах, а в сатиновых — позади, где учительницы ласковы только с «шерстяными» гимназистками, которые приезжают в гимназию в собственном экипаже,— просто невыносимо. Надя выходила из дома веселая, хорошо зная урок, а попадая в переполненный, тесный класс, где за партами сидело пятьдесят девочек, сразу уставала, делалась вялой, застенчивой. Когда ее вызывали к доске, она вдруг все начисто забывала, сжимаясь под насмешливыми взглядами «шерстяных» гимназисток. «Можешь садиться»,— говорила учительница тоном, в котором слышалось: «Толку из тебя не будет», и старательно выводила в журнале двойку. За рукой учительницы следили «шерстяные» гимназистки.

Обо всем этом Надя без утайки рассказала Александре Тимофеевне, к которой сразу почувствовала непреодолимую симпатию и нашла полное понимание.

Теперь Надя каждый день ходила в деревенскую школу. И так весело было решать вперегонки с Илюшей задачи, писать диктант, рассказывать грамматические правила и заслужить похвалу учительницы. Читала Надя лучше всех, и Александра Тимофеевна часто поручала ей после уроков читать книжки малышам. А по воскресеньям в школу набивались взрослые. Все они почтительно называли молодую учительницу Ляксандрой Тимофевной. Надя всегда приходила на эти посиделки. Тимофейка читала стихи Некрасова, Никитина, Кольцова. После этого ее осаждали вопросами. И вопросы были не простые: почему у помещиков земли много, а у мужика так мало, что до нового года хлеб уже не вдосталь едят. И Тимофейка отвечала, что это несправедливо, что эту несправедливость богатые установили, но что придет время, когда каждый будет иметь землю.

Константин Игнатьевич по вечерам охотно слушал веселую болтовню дочки. Он знал всех ее приятелей, вполне разделял симпатии Нади к Тимофейке, так же, как и Надя,



уважал мальчика Илью и на все просьбы дочки: «Можно ли?», неизменно отвечал: «Можно, если тебе это нравится и если тебе это под силу». И мама никогда не возражала, только иногда тихонько вздыхала. «Можно ли с Илюшей и его дедушкой ездить в лес за дровами?» — «Да, пожалуйста».— «Можно ли поселить под лестницей чудного песика, рыжего Карсончика, которому какой-то пьяный перебил палкой лапу?» — «Да, только ухаживать за ним будешь сама».— «Можно ли ходить по улице босиком, как Тимофейка?» — «Да, можно».

И можно было приводить в дом ребят и давать девочкам свои куклы, а мальчикам книжки и вместе с деревенскими ребятишками ходить в лес по грибы и по ягоды. Кажется, ни в чем не было запрета. И это не было родительским равнодушием, желанием предоставить дочку самой себе. За всем этим были и споры между родителями, и волнения, и мудрый расчет. Это была школа жизни.

Константин Игнатьевич с удовольствием посмеивался над общественной жилкой Нади, Елизавета Васильевна больше волновалась.

И когда Надя сказала, что теперь она будет ходить со школьниками и Тимофейкой на фабрику разбирать тряпье и сортировать бумагу, родители разрешили. А в отсутствие дочери жарко спорили. Елизавета Васильевна упрекала мужа в том, что тот поступает неразумно: разве можно Наде копаться в грязном тряпье, когда у нее всю зиму был бронхит; нужно ли ходить ей по крестьянским избам, где не переводились болезни — и глазные, и желудочные, и разные «золотухи»; бегать ей, городской девочке, привыкшей весь год ходить в обуви, босиком по стерне — значит рисковать, нажить «антонов огонь». Константин Игнатьевич мягко, но настойчиво доказывал, что самая большая болезнь, которую можно привить ребенку,— это заставить его стать настолько послушным, что он отвыкнет самостоятельно мыслить. Он всегда помнил тупую казарменную дисциплину и гово-

рил, что если всего опасаться, то надо изолировать дочку от людей и посадить под стеклянный колпак.

— Мы с тобой много хлебнули в жизни унижений и трудностей, и мне хочется, чтобы у Нади выработался сильный характер, умение общаться с людьми, постоянно стремиться быть им полезной.

Елизавета Васильевна соглашалась с мужем, но материнское сердце всегда было в тревоге.

Рано утром, когда еще туман колыхался над лугами, Надя собралась на работу. В длинном выцветшем платье, подпоясанном, как у Тимофейки, узеньким пояском, она заправила косу под платок, завернула в чистую тряпицу — наотрез отказалась от салфетки — кусок хлеба и вареную картошку.

Константин Игнатьевич как-то заметил, что Надя во всем старается походить на Александру Тимофеевну.

— Я с ней в огонь и в воду и в медную трубу полезу! — рассмеялась Надя.— Только такой красавицей, как Тимофейка, я никогда не буду.

Все, что делала юная учительница, Наде казалось значительным и наполненным высокого смысла, и все в Тимофейке было чудом: и черные кудри на голове, как гроздья винограда, и ласковые яркие глаза, и босые ноги, припудренные желтой пылью, и узкие руки с длинными пальцами. Сильные и ловкие руки, которые многое умели: жать и косить, ворошить сено и сучить пряжу, доить коров и плести на коклюшках тонкое кружево. Тимофейка умела объяснить любое явление в природе и жизни, лечить болезни, знала народные приметы, больше всех собирала белых грибов в лесу, любила с девчатами петь «страдания», могла с Косяковской объясняться по-французски и часто ходила на фабрику помогать работницам. Делала она все легко, играючи, весело.

В это утро Надя встретилась с учительницей и ребятами на перекрестке дорог. Все вместе побежали через луг к фаб-

рике, оставляя на росистой траве ярко-зеленые следы. Подходили к фабрике, когда прогудел третий, последний гудок. Первый гудок — просыпайся; второй гудок — выходи из дому; третий гудок — становись за работу.

Тимофейка повела ребят под навес, где работницы разбирали тряпье.

Женщины, плохо одетые, раздраженные, не успевшие отдохнуть за короткую ночь, разбирали гору тряпья, которое завезли вчера на фабрику скупщики и свалили под навес. Здесь была и изношенная одежда, и дырявые рогожи, обрывки веревок и мешковина. Завидев Тимофейку, все заулыбались: подмога пришла. Работницы сортировали тряпье и высматривали, нет ли какой рубашонки, штанов или юбки, которые могли бы еще сгодиться. Редко попадалось что-либо стоящее, а если попадалось, то становилось событием. И на фабрике долго говорили, что тетка Матрена почти совсем новую миткалевую юбку откопала, которая уж больно грязна была, а выстирала ее и теперь надевает только по праздникам. Женщины отрезáли короткими ножами попадавшиеся пуговицы, крючки, кнопки.

Тимофейка объяснила Наде, как различать хлопчатобумажную и пеньковую ткань от шерстяной. Ребятишки с Тимофейкой приходили на фабрику всякий раз, когда привозили новую партию тряпья, и зарабатывали по 20 и 30 копеек в день, а Илья работал на фабрике постоянно.

Женщины сидели и пели песни; все песни были жалостливые. И Надя подпевала и старалась работать проворно, как взрослая, и чувствовала себя равноправной и счастливой. И работницы обращались с ней как с равной, называли ее ласковыми прозвищами, дарили красивые пуговицы. Надя знала почти все бабьи песни и часто пела их дома, чем приводила в трепет Елизавету Васильевну. Пела Надя песни с широко открытым ртом — «голосила», и при этом, как она утверждала, лицо ничего не должно было «выражать», выразительным должен быть только голос...

И в этот день, устроившись на вершине копны из разноцветного тряпичного хлама, Надя ловко встряхивала какую-нибудь бывшую рубашку, деловито оглядывала ее, срезала забытую пуговку и, не глядя, отбрасывала в кучу бумажной ткани.

Из здания фабрики доносилось пыхтение паровой машины, шлепки приводных ремней, удушливый запах варева из тряпья.

После обеденного перерыва дети с Тимофейкой перешли в отделение, где машина резала бумагу, а рабочие, главным образом подростки, сбивали листы бумаги в стопы, стопы — в дести и упаковывали их в фирменные конверты. Здесь работали только грамотные. Бумагу надо уметь считать и различать ее по сортам.

Илюша, нахмурив брови, набирал в левую руку толстую пачку и каким-то неуловимым движением разворачивал ее веером, пробегался по уголкам листов указательным и средним пальцами правой руки. 24 листа — десть, 20 дестей — стопа. Сбив ладонями на столе листы и подровняв их, засовывал в конверт. Раз, два! — проводил кисточкой с клеем по кромке, а затем, запахнув клапан, проезжался по нему локтем и отодвигал в сторону. Надя смотрела с удовольствием — ловко работал Илюша.

Надя тоже набрала пачку листов, тряхнула, как Илья, кистью руки, и бумага разлетелась во все стороны. Кто-то хихикнул, но Илья подошел к Наде и, как настоящий друг, щедро поделился с ней тайной своего мастерства.

Пальцы Тимофейки порхали над бумагой. Она считала быстрее всех, делала пачки аккуратнее всех.

Наступила передышка: машина не успевала за своими помощниками. Тимофейка расправила плечи, отвела от лица прядь черных волос и, глядя на колонны, сложенные из стоп бумаги, невольно воскликнула:

— Ах, какое же это чудо — бумага! Ведь может случиться, что эти листки попадут в руки замечательного сти-

хотворца, писателя или ученого, и тогда каждый листок бумаги превратится в драгоценность и станет бессмертным. Ведь на таких листках писал Пушкин. Вы только подумайте, дети, это было совсем недалеко от нас, в нашей губернии, на реке Сороть в селе Михайловском. Там часто бывал Пушкин. Там он отбывал свою ссылку. Один. Совсем один, без друзей. Единственный близкий человек — его старенькая няня Арина Родионовна. И вот зимний вечер, за окном метелица. Двадцатишестилетний поэт сидит за столом. Няня у печки вяжет свой бесконечный чулок. На столе перед поэтом вот такой лист бумаги, синие чернила. Белое, остро обрезанное гусиное перо. Все в отдельности холодно и безжизненно. Пушкин брал в руки перо, макал его в чернильницу, прикасался к бумаге, и бумага обретала жизнь. Вьюга стучала в окно, а на бумаге появлялись строчки:

Буря мглою небо кроет...

Ребятишки оживились и уже хором продолжали:

Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

— Часто его охватывало отчаяние от одиночества, но высокие думы и творчество имели над ним несокрушимую власть. В Михайловском он написал мое самое любимое стихотворение,— заключила Тимофейка и замолкла.

— Какое? Ну, Ляксандра Тимофевна, какое любимое стихотворение твое?

— Ладно,— тряхнула кудрями Тимофейка и улыбнулась. Крупные широкие зубы осветили лицо.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...—

тихо вторила за Тимофейкой Надя.— Это стихотворение очень

любит мой папа. Он часто читал его маме, и я его знаю, наверное, с младенчества,— призналась Надя.

— Правда, хорошие стихи, ребята?

— Ничего, подходящие,— солидно произнес Илюша.

— Ах, как это было бы хорошо, если бумага, перья и чернила служили бы только добрым делам!

— Бумага пошла, айда по местам! — первым опомнился Илюша.

И снова закипела работа, но бумага стала чем-то живым, очень важным, и, укладывая ее в стопы, ребята загадывали, в какие руки попадет она, принесет она людям радость или горе. Ведь на такой бумаге пришло на днях из волости письмо родителям Параскевы, что за неуплату недоимок они должны сдать корову. Бумага лежала на столе, и, взглядывая на нее, мать каждый раз заливалась слезами. Надя вспомнила, как папа приехал из Варшавы и привез бумагу, на которой был нарисован большой орел с двумя головами— герб Российской империи, и в этой бумаге были написаны какие-то страшные слова, после чего родители и Надя скитались по всей России, а папа до сих пор не имеет права жить в Петербурге.

Дети работали особенно старательно, и каждый думал что-то свое.

Вдруг лязг бумагорезки прекратился, дверь в мастерскую распахнулась, и на пороге появилась владелица фабрики помещица Косяковская.

Она была высокая, полная, в белом дорогом платье. На цепочке у нее висел лорнет, в который она рассматривала людей, словно выискивая среди них своего извечного врага. От этого разглядывания людям становилось не по себе. Левой рукой она придерживала белого шпица, который дрожал мелкой дрожью. Собачка восхищала ребят и своей белизной, и тем, что это была живая игрушка, не похожая на дворовых псов.

Косяковская обвела взглядом через лорнет детей и оста-

новилась на Наде, словно припечатала ее к месту. Она узнала дочь своего юрисконсульта.

— Тебе разрешили родители ходить сюда и копаться в эдакой грязи? — спросила Косяковская по-французски.

Надя ответила по-русски:

— Да, папа и мама знают, что я работаю здесь.

— Странно,— пожала плечами Косяковская.— Едва ли тебе стоит это делать.

Надя не любила эту чванливую помещицу и старалась пореже попадаться ей на глаза. Косяковская обязательно что-то спрашивала, словно экзаменовала, и читала ей какие-то наставления. Сама помещица тоже без симпатии относилась к Елизавете Васильевне, не одобряла ее метода воспитания дочери,— однажды она увидела Надю на водовозной бочке. Но Косяковская была весьма обязана Константину Игнатьевичу как юристу, который сумел разобраться в запутанных делах помещицы.

Вечером Надя отправилась в лес за дровами, но поехала не с Петровичем, а с его внуком Илюшей. Как всегда по дороге в лес, Надя управляла лошадью. Илья сидел на грядке телеги свесив ноги, а Надя стояла во весь рост и, держа вожжи в руках, слегка пошевеливала ими. Блошка же — так звали лошадь — мчалась вприскочку, впрямь как блоха. И телегу так трясло, что нельзя было слова сказать — враз язык откусишь. Рыжий Карсончик бежал следом, лаял и пугал волков. Говорили, что волков в этих лесах великое множество и что зимой они подходят совсем близко к деревне и в прошлом году у самого Петровича овцу задрали.

Вечером цветы и молодые листья деревьев пахнут особенно сильно, лес становится таинственным, за каждым деревом чудится леший.

Когда приехали на большак, где лежали распиленные деревья, Надя стала подавать поленья. Илья по всем правилам укладывал их на телеге. Надя сама как-то попробовала уложить дрова. Она укладывала, а Петрович стоял по-

одаль, засовывал в нос нюхательный табак и посмеивался. Когда воз был готов и, как полагала Надя, крепко-накрепко увязан, лошадь тронула с места, и дрова как горох посыпались с воза. Блошка перепугалась, понесла и вытрясла с телеги все до последнего полена.

После того случая Надя не бралась укладывать воз.

В этот вечер Надя едва успевала подавать поленья, и Илья, как заправский мужик, обвязал воз веревкой и, упершись ногой в грядку, затянул его. Уже темнело. Илья взял в руки вожжи. Надя шла по другую сторону. Телега тяжело скрипела по песчаной дороге. В лесу попискивали какие-то пичужки, сонно так попискивали, видно устраиваясь на ночлег в своих гнездах. Взошла луна, большая, круглая, и посеребрила лес. И вдруг раздалось частое и чистое чоканье. Илюша натянул вожжи и остановил лошадь.

— Слухай,— прошептал он,— это Тимофейкин соловей поет. Она, наверно, где-нибудь недалече. Он так поет, только ее завидя. Ей-бо, пра... Слухай, слухай...

— Слушаю, слушаю,— отвечала тоже шепотом Надя.

Соловей, казалось, чокал над самой головой. Чокнет раз-другой, прислушается, как эхо перескакивает от дерева к дереву, и вдруг рассыплет веселую дробь. Повременит, почистит горлышко и примется словно серебряную пряжу ткать: туда-сюда снует челнок и заставляет звенеть туго натянутые нити. А потом лесной певец такую раскатистую и восторженную трель выдал своим серебряным горлышком, что все в лесу затаило дыхание. И Надя стояла не дыша.

— А сейчас начнет булькать. Слышь? — шептал Илья.

— Да.

Лес затих, луна опустилась над лесом, Блошка водила чутким ухом, неслышно вздрагивали молодые листики березы.

— Сегодня он по-особенному поет. Сегодня ведь Борис-день. Для него и поет. И еще поет для нашей Тимофейки.

Соловей напился вечерней росы с березового листа, потому и поет так.

И Наде хотелось испить росы с березового листа. Было тревожно и радостно. Хотелось смеяться и плакать.

Глава XII

ПИСЬМО

Уезжали из Студенца в холодный день бабьего лета. Шли за телегой по лесу, в котором появились первые вестники осени — желтые и бурые листья, алые гроздья бузины и рябины. Тимофейка, Илюша, все ученики и деревенские ребятишки провожали Крупских. На опушке леса Надя попрощалась с ребятами, повисла на шее у Тимофейки, обливала ее горючими слезами. И Тимофейка плакала. Настоящая, большая дружба стирает границы возраста. И не имеет значения, что твой друг вдвое старше или много моложе тебя. Главное, что вы умеете вместе мечтать, стараетесь далеко заглянуть вперед, помочь друг другу преодолеть дорогу жизни и ее ухабы.

Прощались долго и шептали друг другу слова любви и обещания писать часто-часто. И тут Надя поведала Тимофейке, что дала себе торжественную клятву быть учительницей, как Тимофейка, так же любить людей и быть им полезной, как Тимофейка. И еще обещала хорошо учиться.

Надя возвращалась в Петербург обновленная и счастливая. Константин Игнатьевич ехал вместе с ними. Брат его, Александр Игнатьевич, был переведен из Новгорода в Петербург на должность помощника военного прокурора и обещал протолкнуть дело Крупского в Сенате.

— Смотрите, как растолстела ваша Надежда, какая она стала краснощекая! — говорила Надя отцу и матери.

— Действительно, ты, Надежда, полна надежд,— шутил отец.

Надю тоже радовал румянец на щеках отца, яркий блеск глаз она считала признаком здоровья и красоты, а то, что он покашливал, то ведь не так сильно, не так надрывно, как кашляла Надя, когда болела коклюшем. Она не умела еще разбираться в зловещих признаках болезни. Но Елизавета Васильевна с тревогой посматривала на пятнистый румянец мужа и все чаще заставала его в спальне за стиркой своих носовых платков.

В Петербурге отец перевел Надю из ненавистной ей Лиговской гимназии в частную гимназию Оболенской, где преподавали передовые учителя, где директором был старый знакомый братьев Крупских, обаятельный и широкообразованный Александр Яковлевич Герд. Он преподавал в гимназии естествознание по собственным учебникам и своему методу. В классе было не пятьдесят, а всего двадцать учениц, не было зубрежки, гимназистки не делились на «шерстяных» и «сатиновых», на уроках было интересно, весело.

Надя написала Тимофейке подробное письмо о новой гимназии, о том, что по проверке знаний ее приняли в следующий, третий класс, что учится она на пятерки и что жизнь стала прекрасна. Просила передать привет ребятам.

Илюша отвечал за всех ребят, сообщал новости. Зимой в деревне был пожар, сгорело три избы подряд, люди пошли по миру. Пса Карсона, что у Нади под лестницей жил, а потом его Илья забрал к себе, волки загрызли, когда он деревенское стадо охранял. Параскева ушла из школы, потому что родители ее решили, что девочке читать и писать ни к чему, ей надо учиться прясть, шить, стирать.

...Поздней осенью ребята решили в воскресенье вместе с Александрой Тимофеевной отписывать письмо Наде.

Ночью были заморозки. Утреннее солнце превратило иней в бисерную россыпь на траве. Огороды опустели, и только голубоватые кочаны капусты да прильнувшая к зем-

ле ботва картошки покрывали небольшие участки поля. Капусту начали срезать, и у каждой избы выстроились деревянные корыта на козлах, в которых сечками рубили капусту, пересыпая ее крупной серой солью, и сваливали в бочки. Мальчишки хрупали кочерыжки и вымытыми в ключевой воде босыми ногами уминали в бочках капусту. А потом, набив карманы и пазухи кочерыжками, побежали в школу.

Еще издали увидели, что в школе что-то неладно. Холодный день, а окна и двери распахнуты настежь, и ветер сметал с крыльца обрывки бумаг. Ребята пробежали через класс в комнату Тимофейки и остолбенели. Какие-то злые руки порвали книги, тетради, разбили глобус, с которым школьники обращались как с драгоценностью, по комнате были разбросаны платья и белье Тимофейки... Кто осквернил комнату любимой учительницы? Где она сама? Неужто разбойники увезли ее с собой? Может, убили?..

Заскрипело крыльцо под чьей-то тяжелой поступью. Пришел Петрович — дед Ильи.

— Марш отседова! Подальше от греха... Арестовали нашу учителку... Вчера дрова вез в котельную, так видел, как ее урядник в тарантас пихал. Сам пристав приезжал. Против царя она, говорит, против бар, против самого бога...

Петрович захлопнул окна, выгнал ребят из школы, запер дверь и ключ положил к себе в карман.

— Отучились,— махнул он рукой и, по-стариковски шаркая ногами, пошел на фабрику.

Ребята присели на завалинку.

Только теперь почувствовали, как дорога им была школа и как любима Тимофейка.

— Вырасту, в тюрьму пойду служить,— сказал сумрачно Иван. На его глаза набежали слезы.

— С чего это? — презрительно посмотрел на него Илья.

— А я Тимофейку на волю выпущу. Ключи-то от тюрьмы, чай, у меня будут в кармане.

Ребята сочувственно смотрели на Ивана. Дело говорит. Но ведь вырасти еще надо. А что же сейчас? Чем помочь Тимофейке?

— А я попа убью,— заявил, как о давно решенном деле, Илья.— Это он Тимофейку выдал. Ведь урядник и пристав к попу запросто в гости ходят, и поповская дочка, говорят, за урядника замуж собирается. Одна компания.

Самый маленький, Павел, который только-только начал крючки по трем косым писать, неутешно плакал, шмурыгая носом и вытирая рукавом слезы:

— Не успел буковки разучить...

С Тимофейкой ушло что-то светлое, праздничное.

Вечером Илья отписывал письмо в Санкт-Петербург: «Басков переулок, дом 2, квартира 42, коллежскому асессору Константину Игнатьевичу Крупскому. Для барышни Нади».

Илья в скупых словах поведал Наде о том, что Александра Тимофеевна Яворская арестована и сидит в тюрьме в Пскове. «Приезжали оттуда люди, говорят, что долго сидеть будет, а потом в ссылку ее сошлют. За то сидит, что к людям справедливость имела. Школу заперли на ключ. Отучились мы»,— заканчивал письмо Илья.

Глава XIII

ЛАГО-МАДЖОРЕ

Теперь дом Крупских часто навещал доктор. Звали его Борис Андреевич. Это был не просто доктор, а профессор, преподаватель Петербургского университета. Знакомы они были с Константином Игнатьевичем еще по службе в армии, а теперь подружились. У доктора не было семьи, он целые дни проводил со студентами и, наверно, от этого выглядел

моложаво; его интересовало все, что интересовало его учеников, у него не было стариковских причуд, привычек, не было друзей-стариков.

Константин Игнатьевич чувствовал себя с ним очень хорошо.

Борис Андреевич понимал, что положение Константина Игнатьевича безнадежно. Туберкулез разрушил легкие. Можно было только несколько продлить жизнь, облегчить страдания, что Борис Андреевич и старался сделать.

С некоторых пор целовать на ночь отца, желая ему спокойной ночи, стало почему-то «дурной привычкой». Борис Андреевич готовил своему другу какое-то питье, которое называл «эликсиром жизни». Это была смесь шоколада, свиного сала, столетника, сливок и еще чего-то. Получался густой крем, который разводился теплым молоком. Доктор все припасы для эликсира покупал сам. Часто он говорил, что хорошо бы съездить на курорт на озеро Лаго-Маджоре или хотя бы в Башкирию — попить кумыс.

Лаго-Маджоре! Это звучало красиво, заманчиво. Лаго-Маджоре стало символом здоровья, радости. Надя выискивала книги про это чудо-озеро, которое перерезало на картах, как саблей, Италию и Швейцарию. Рассматривала на картинках горы, освещенные солнцем, пастбища, заросшие роскошными цветами, тучных коров с колокольцами на шее, белоснежные лодки на голубой глади озера.

Поехать с папой на Лаго-Маджоре, чтобы он вылечился и вернулся здоровый, веселый, без кашля. Папе сорок два года, а он ходит с палкой. Даже профессор, которому на целых двадцать лет больше, ходит без палки и поднимается на любой этаж без передышки, а папа останавливается на площадке каждого этажа и подолгу отдыхает.

Найти бы клад и поехать с папой. Но что-то не часто люди находят клады. Деньги надо заработать, но ей, Наде, еще двенадцать лет. Даже если бы она, как Илюша, работала на бумажной фабрике, то надо было проработать лет три-

дцать, чтобы заработать деньги на поездку и лечение на озере Лаго-Маджоре.

«Лаго-Маджоре, Лаго-Маджоре»,— шептала Надя как заклинание каждый вечер, ложась спать, и каждую ночь ей снились то в блестящих, рождественских снегах вершины Альп, то зеленые пастбища с яркими цветами, то водопады, то ласковая прохлада озера касалась ее щек.

Резкий звонок в дверь прервал сон.

Кто это пришел так поздно? Борис Андреевич? Надя присела на кровати, прислушалась.

— Костя!

— Коля!

Надя подбежала к двери, приоткрыла ее. В столовой папа обнимал какого-то мужчину. Где-то она его видела. Наверно, папин старый друг. Надя юркнула под одеяло.

Константин Игнатьевич пригласил гостя сесть.

— Ах, как я рад тебя видеть! Но как ты рискуешь... Ты опять мосье Прюдан? Или кто?

— Нет, я снова Николай Утин. Я снова дома.

Николай внимательно посмотрел на старого товарища. Крупский был худ, на сероватом лице болезненно блестели глаза. Осмотрел комнату, увидел более чем скромную обстановку.

— Тяжело живется...

— Да. Дело мое судебное еще не закончено. Но это все чепуха. Меня не осуждали на смертную казнь, как тебя. Приехать в Россию, где тебя ждет виселица,— это подвиг. Прибыл по поручению Международного товарищества рабочих? — спросил друга Константин Игнатьевич.

Вошла Елизавета Васильевна, принесла чай. Утин раскрыл дорогой портсигар, но, перехватив предупреждающий взгляд хозяйки и вглядевшись в лицо Крупского, захлопнул его и положил на стол.

— Почему до сих пор не закончат это глупое дело? — спросил Утин.

— Ходит по инстанциям седьмой год. Помнишь поговорку: «Судиться — не богу молиться: поклоном не отделаешься».

— Да,— усмехнулся Утин,— в суд ногой — в карман рукой. А у тебя в кармане пусто. Написал бы ты покаянную, и дело с концом. Неужто смехотворные пункты насчет польского языка, мазурки и полонеза остались в деле?

— Нет, из двадцати двух пунктов обвинения отпал двадцать один. Остался один-единственный, и вот из-за него я лишился всего имущества, всех прав, вовлек в беду Лизу и Надю, потерял здоровье. Через несколько дней, 28 апреля, мое дело назначено на рассмотрение в Уголовном кассационном департаменте Правительствующего Сената. Нанял адвоката.

Утин машинально открыл портсигар, закурил.

— Какой же пункт обвинения остался?

— Помнишь решение Лондонской конференции о сборе статистического материала? Я тебе еще в Гройце собранную статистику передал.

— Да,— рассеянно отвечал Утин, думая о чем-то другом.

— Они, конечно, не дознались, для чего я собирал эти сведения, но почуяли что-то неладное, приписали мне превышение власти.

Утин погасил папиросу, разогнал рукой дым и, поднявшись, зашагал по комнате.

— Константин, я всегда почитал тебя за умного, хотя и чересчур горячего человека. Но с годами мы все остываем. Умоляю тебя: напиши прошение в Сенат, расскажи все, как было, укажи, что это было заблуждением юности, что ты все осознал, обо всем содеянном сожалеешь и просишь простить. Там,— Утин поднял глаза к потолку,— любят раскаявшихся грешников. Увидишь — простят, помилуют. Снова станешь человеком.

Константин Игнатьевич суженными глазами смотрел на приятеля. На впадинах щек, как раны, зарделись пятна.

— Ты что, шутишь? — тяжко выговорил он.— За честного человека перестал меня почитать? А убеждения? А ненависть к несправедливости, к унижению, а извечная жажда свободы, а юношеские клятвы вечно служить своему народу? Неужто ты считаешь, что в юности революционер, а на склоне лет царев слуга? Мой отец в ссылке умер. Надо быть честным до конца.

— И что же? — насмешливо вместе с дымом папиросы выдохнул Утин.— Твой отец умер в ссылке, а что-нибудь изменилось? Я служил Международному товариществу рабочих, преклонялся перед Марксом, Энгельсом и их учением. Я был приговорен в России к смертной казни. Народу стало от этого лучше? Наш друг Андрей Потебня сложил свою голову за свободу Польши. А полякам стало от этого легче? Поляк Ярослав Домбровский погиб на баррикадах Коммуны в Париже. Французы обрели свободу? Громко гудел герценовский «Колокол» в Лондоне, но разве сбылось предсказание Герцена, что этот колокол будет гудеть до тех пор, пока Россия не воспрянет и «начнет торжественно и стройно, с сознаньем доблести спокойной звонить во все колокола»? Все колокола замерли. Герцен в могиле. Все революции разгромлены. Все утверждения Маркса о неизбежной гибели капитала и торжестве рабочего класса потерпели крах. Рабочие понесли огромные жертвы — ради чего?

Крупский сидел согнувшись в кресле и мрачными глазами смотрел на Николая. Неужели это он, Утин, силе убеждения которого он завидовал, перед отвагой которого преклонялся, перед судьбой которого, осужденного на смертную казнь, совестился собственного благополучия?

— Плохо я что-то понимаю тебя,— еще с искрой надежды произнес Константин Игнатьевич.

Елизавета Васильевна стояла в дверях и нервно вытирала чашку, слушая речи Утина. Ей казалось, что он сошел с ума.

Утин, прикуривая одну папиросу от другой, шагал по комнате и, возбужденно размахивая руками, продолжал:

— Я бежал из России. Я, сын миллионера, вел нищенское существование за границей.

— За это тебя все уважали.— Константин Игнатьевич был почти уверен в расстройстве психики Николая.

— Да, я жил впроголодь, питался в каких-то харчевнях, не имел лишней пары перчаток, стонал по утрам в Гайдпарке в Лондоне, видя, как прогуливается верхом английская знать. У меня в Петербурге была своя конюшня и рысаки всем на зависть. Все оставил ради этой призрачной свободы, которую, казалось, вел за руку. И коммунизм Маркса, который, мол, бродит по Европе, оказался не больше чем призрак.

— Перестань! Перестань хулу возводить на честнейшего и мудрейшего из смертных — гражданина Маркса.

— Я уважаю его по-прежнему. Уважаю и жалею, что такой высокий ум был растрачен зря.

— Скажи, как ты прибыл в Россию? — мучаясь страшной догадкой, в упор спросил Константин Игнатьевич своего бывшего — да, теперь он понимал: бывшего — друга.

— Знаешь такую болезнь — ностальгию — тоску по родине? Меня неудержимо потянуло домой, в Россию. Я написал царю челобитную, просил простить блудного сына и дозволить провести остаток жизни на родине. Ведь мне скоро стукнет сорок. И я теперь прощен! Я снова на родной земле. Я стал независим, сам себе хозяин.

— Хозяин?

Константин Игнатьевич сморщился, как от боли.

— Подумай, я ведь насолил царю-батюшке куда больше,— продолжал Утин.— А ты со своей статистикой и юношескими заблуждениями во время польского восстания большого ущерба ему не нанес. Тебя простят. Из-за такой ерунды ты ведешь семилетнюю войну, донкихотствуешь. Живешь в нищете...

Константину Игнатьевичу было мерзко, зябко, душно. Ярость комом застряла в горле.

— Подумай трезво, пока не поздно,— шагал по комнате Утин, дымя папиросой.

Константин Игнатьевич разразился кашлем — затяжным, надрывным, рвущим легкие. Говорить он не мог. Он только поднял руку, исхудавшую, с длинными пальцами, и замахал ею: уходи, мол, немедленно уходи!

Елизавета Васильевна подбежала к мужу, обняла его одной рукой за плечи, а второй тоже махнула: уходите!

Утин пожал плечами.

— Бедняга! — сказал он с чувством и, откинув портьеру, вышел. А потом вернулся, взял со стола портсигар и, поклонившись Елизавете Васильевне, ушел.

Глава XIV

ОПРАВДАН

Седьмой год пошел, как Константин Игнатьевич пишет в судебные кассационные инстанции прошения о пересмотре своего дела, о снятии с него обвинения в превышении власти, о разрешении жить с семьей и работать в Петербурге. И как в бездонный колодезь падают эти прошения. Никакого ответа. Последние два года Крупский и его друзья особенно настойчиво добивались пересмотра дела и отмены приговора: болезнь легких ухудшалась, а врачи-специалисты — в Петербурге; здесь в гимназии учится дочь, здесь же все друзья и родственники, а Константин Игнатьевич должен жить отдельно от семьи, в провинции, дома он только гость.

Были и среди друзей такие, которые советовали написать прошение не о пересмотре дела, а о помиловании.

— Нет, нет и нет,— решительно возражал Константин Игнатьевич.— Ни о каком помиловании не может быть и речи. Моя совесть чиста. Я не вор, не разбойник и не подлец, чтобы просить о помиловании.

Стараниями брата Александра Игнатьевича в Сенате извлекли наконец дело из архива и на 28 апреля назначили слушание. Друзья и родные собрали между собою деньги и наняли адвоката. 27 апреля адвокат прислал с нарочным письмо, в котором просил извинить его, так как за нездоровьем он не сможет присутствовать на заседании департамента Сената. Это был дурной признак.

Елизавета Васильевна отлично понимала, что если завтра дело не рассмотрят, то оно опять будет отложено «в долгий ящик». Она с волнением смотрит на мужа. Надя сидит тут же. Константин Игнатьевич еще раз прочитал письмо адвоката, аккуратно сложил его и засунул обратно в узкий конверт.

— Я пойду и буду защищать себя сам. Может быть, даже к лучшему, что адвокат решил заболеть. Не зря же я кончил Военно-юридическую академию. Уверен, что сумею выиграть и в этом поединке.

«О, если папа сказал, так оно и будет». Надя с восхищением смотрит на отца.

На следующий день Надя сидела в гимназии как на иголках, все время думая о том, что в это время ее отец стоит перед судьями и защищает самого себя, защищает также ее, свою дочь, и маму, свою жену,— защищает от бед, от несправедливости. Сегодня решится судьба всех трех. Или они останутся в Петербурге и папа будет каждый день с ними, или им придется опять ехать на какую-нибудь фабрику или в имение, туда, где для отца найдется работа. Они с мамой решили одного отца не оставлять.

Надя бежала из гимназии домой, а в здании Сената шел поединок, длившийся один час десять минут. С одной стороны под двуглавым орлом сидели первоприсутствующий

М. Е. Ковалевский, четыре сенатора, товарищ обер-прокурора Е. Ф. де Росси, обер-секретарь М. Л. Виолье, и против них стоял в полном одиночестве высокий, с седыми висками Константин Игнатьевич Крупский.

Сенатор Ковалевский задает традиционный вопрос:

— Виновен ли коллежский асессор Константин Игнатьев Крупский в том, что, состоя начальником Гроецкого уезда, в 1872 году без разрешения своего начальства учредил в этом уезде контроль частных служителей?

— Нет, не виновен,— твердо отвечает Константин Игнатьевич.

Вопросы и ответы. Крупский парирует быстро. Ответы его коротки, точны.

— Зачем вам понадобились сведения об условиях работы и жизни частных служителей — батраков, прислуги, ремесленников?

«О, этого вы, господа сенаторы, никогда не узнаете»,— думает Константин Игнатьевич и отвечает:

— Контроль частных служителей я решился учредить для общей пользы, поскольку от них поступали многочисленные жалобы.

Дело Крупского тянулось около семи лет. Решающий поединок длился семьдесят минут.

Тринадцать длинных страниц настрочил секретарь убористым почерком, записывая вопросы и ответы обвиняемого.

Суд удалился в совещательную комнату.

Крупский сидит и ждет...

Надя прибежала домой из гимназии и застала мать в сильном смятении.

Почти семь лет ждали решения дела, а вот сегодня силы сдали, нервы не выдержали.

Надя берет маму за руку:

— Пойдем, мамочка, папе навстречу. Так ждать нельзя, сердце прямо разрывается...

Елизавета Васильевна и Надя идут по набережной Невы. Ах, как бесконечно длинен фасад Зимнего дворца! Адмиралтейство. Вот показалось желтое здание Сената, соединенное аркой с таким же точно зданием Священного Синода. И Сенат и Синод облечены большой властью над людьми, над их судьбами, над их душами.

День над Невой разгорелся ясный, солнечный.

Константин Игнатьевич спускается по ступенькам. За ним захлопнулись тяжелые дубовые двери Сената. В ушах все еще звучат последние строчки приговора:

«...Признавая подсудимого невиновным в превышении власти, Правительствующий Сенат определяет: бывшего начальника Гроецкого уезда коллежского асессора Константина Крупского считать по суду оправданным, а приговор Варшавской судебной палаты отменить, о чем сей Палате с возвращением дела послать указ, а... копию сего приговора передать начальству подсудимого, предавшему его суду...»

«Начальству подсудимого, предавшему суду»,— повторяет Константин Игнатьевич. Наместник Берг умер в 1874 году, когда по его указанию Варшавская судебная палата все еще пыталась состряпать громкое дело Крупского.

Константин Игнатьевич как юрист понимает, что отмена приговора должна повлечь за собой выплату ему, Крупскому, жалованья этим самым начальством, предавшим его суду. Значит, с нуждой будет покончено. Они переедут в новую, светлую квартиру.

— Мамочка, ты видишь, это ведь папа спускается по ступенькам и помахивает тростью, а не опирается на нее, ты видишь, какой у него счастливый вид?

— Ничего не вижу, доченька, ничего,— смахивает слезы со щек Елизавета Васильевна.

Надя стремится побежать навстречу отцу, но мать не выпускает ее руку: она боится, что силы оставят ее.

Наконец и Константин Игнатьевич увидел две милые сердцу фигурки, такие крохотные на огромной площади. Его встречают два самых близких существа на земле — жена и дочь. Он, помахивая тростью, спешит к ним.

— Приговор отменен! Я снова житель этого города,— смотрит он вприщур на Неву,— с нуждой покончено. Мне должны уплатить жалованье за семь лет. Мы переберемся в новую, светлую квартиру.

— Мы поедем на Лаго-Маджоре,— серьезно говорит Надя.— Поедем втроем на это чудо-озеро... Лаго-Маджоре, Лаго-Маджоре...— напевает Надя.

Глава XV

ДРУЖБА

Теперь каждый день после вечернего чая Надя выходит с папой на прогулку. Она ждет этого часа с нетерпением. Это путешествие в прошлое, это взгляд в будущее. Отец всегда путешествует. Он знает много замечательных историй о разных странах. И начал писать книгу для детей о путешественниках и путешествиях. Первой читательницей этой книги будет Надя. А пока она первая слушательница.

Они выходят из дома, отец выпрямляется, глаза его светлеют, по губам скользит улыбка. Надя любит эту улыбку.

Идут от площади к площади, бродят по улицам, и каждый дом хранит легенду, каждый камень этого города — живая история.

— Петербург — красивейший город мира, — убежденно говорит отец.— В таком городе должны жить только душевно красивые, честные, талантливые люди.

Вышли на самую живописную площадь Петербурга — Сенатскую. Константин Игнатьевич рассказал Наде о вос-

стании декабристов. Оно началось здесь пятьдесят пять лет назад, в 1825 году. Перед глазами Нади проходили благородные образы дворян-революционеров — Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского и Рылеева, поднявших знамя восстания против крепостного права и самодержавия во имя блага народа.

Со страхом смотрела Надя на Петропавловскую крепость, где были повешены эти смелые люди.

А потом они с отцом стояли на мостике через Мойку и представили себе согнувшегося от горя Пушкина и вместе повторяли строки его письма в далекую Сибирь друзьям-декабристам: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье», и словно слышали глуховатый голос Некрасова, воспевшего подвиг русских женщин.

Отец и дочь шагали по улицам Петербурга. Константин Игнатьевич начинал, а Надя подхватывала и быстрым полушепотом читала некрасовские строки, посвященные этому городу:

Пусть солнце тусклое, скупое
Глядится в невские струи;
Пусть, теша буйство удалое
И сея плевелы свои,
Толпы пустых, надменных, праздных,
Полны пороков безобразных,
В тебе кишат. В стенах твоих
И есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы.
Ты дорог нам,— ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда!

Папа, а мы с тобой друзья народа и свободы? А?

— Конечно, Надюша. Я иначе и не мыслю.

Отец всмотрелся в дочку. Вот она, его дочка, тоненькая девочка с вопрошающими, широко открытыми глазами.



В них горит ясный и чистый огонь, и маленькое сердце готово испепелить себя ради того, чтобы принести пользу людям.

Подошли к кирпичному зданию, похожему на казарму. «2-я Петербургская военная гимназия» — начертано черными буквами на зеленой вывеске. Константин Игнатьевич остановился, оперся на трость, окинул взглядом дом и, как старому знакомому, сказал, приподняв шляпу:

— Здравствуйте, младые годы!

— Ты здесь учился?

— Да. Раньше эта гимназия называлась Константиновским кадетским корпусом.

— И тебе здесь нравилось?

Густой переплет окон был похож на решетки, и Надя пыталась представить мальчика ее лет, своего папу, в военном мундирчике. Папа стоит у доски и отвечает урок. Смешно.

— Тебе здесь нравилось, папочка? — повторила она свой вопрос.

— Здесь я нашел своего друга, и здесь мы дали обет быть друзьями народа и свободы. Моего друга звали Андрей. Андрей Потебня.

Ничто так не украшает жизнь, не обогащает сердце и ум, как дружба, узы которой — дерзновенные мечты, высокие помыслы. Когда человек один, то каким бы страстным мечтателем он ни был, он как птица об одном крыле. Если рядом верный друг, тогда у любой мечты два крыла.

Так нашли себя юные Герцен и Огарев и на Воробьевых горах в Москве дали клятву посвятить жизнь революционной борьбе. Так сошлись пути декабриста Чаадаева и Пушкина, и, как клятва верности, прозвучали бессмертные строки: «Товарищ, верь: взойдет она, заря пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!» Так встретились Карл Маркс и Фридрих Энгельс и вместе создали великое учение о победной

миссии пролетариата в борьбе за свободу, равенство и братство.

Впервые Крупский увидел Потебню в библиотеке кадетского корпуса. Константину было семнадцать лет, а Андрею шестнадцать. Оба уже по шесть лет носили военный мундир. Крупский до этого кончил Новгородский кадетский корпус, а Потебня — Полоцкий. Оба приехали в Петербург, чтобы получить специальное артиллерийское образование в Константиновском корпусе.

В тот вечер Андрей сидел в библиотеке на лестнице под самым потолком. Сидел в какой-то очень неудобной позе: словно не успел как следует устроиться и, раскрыв книгу, так и застыл над ней. Константин снизу долго наблюдал за этим юношей. На обложке книги, которую он читал, было вытиснено: «Т. Г. Шевченко. Кобзарь». Это сказало Константину многое: и то, что этот светловолосый юноша — украинец, и то, что он вольнодумец. Андрей оторвался от книги, и из-под густых ресниц блеснули синие глаза, он улыбнулся, улыбнулся Тарасу Шевченко, своим мыслям, а Константину хотелось, чтобы он вот так улыбнулся и ему. Он окликнул юношу и спросил, что бы он порекомендовал ему почитать. Познакомились.

«Андрей», «Константин»,— назвал каждый себя.

Андрей перечислил так много книг и так много авторов, которых Константин не знал, Андрей выявил такое глубокое знание литературы и хороший вкус, что в их дружбе он сразу стал за старшего. Оба запоем читали. Часто уроки оставались невыученными потому, что увлекла новая книга. Она распахивала перед ними жизнь со всеми ее сложностями, трудностями. Дядьки, приставленные к кадетам, и командиры требовали от юношей большего внимания к учебной программе и высшей оценки знаний. Высшей отметкой в корпусе было 12, а у Андрея и Константина часто бывали и 8 и 9, что считалось не вполне удовлетворительными отметками.

Андрей высказывал опасения, что может прожить жизнь напрасно, и тогда ему страшно будет умирать. Он всегда горел жаждой подвига, но не для славы, а для блага народа. Он был любимым товарищем в корпусе, и, несмотря на то что был одним из самых молодых, у него спрашивали совета, он был арбитром в спорах, он судил о том, что справедливо и что несправедливо.

Кончили кадетский корпус. Обоих направили служить в русскую армию, расквартированную в Польше, но в разные полки. Потебня отдал всего себя делу освобождения Польши.

— И я теперь понимаю,— сказал отец,— что Андрей связал свою жизнь с судьбой этого восстания. Когда-нибудь мы поедем с тобой в Польшу на Песчаные скалы, может быть, найдем там могилу Андрея.

Наде стало грустно.

— А если бы Андрей Потебня был жив, то вы дружили бы и сейчас, ведь друг бывает на всю жизнь, правда, папа?

— Андрей безусловно оставался бы до конца дней верным другом. Но бывают и горькие разочарования. Порвать дружбу — это тяжелее, чем похоронить друга.

— И у тебя так было?

— Да, к сожалению.

У Константина Игнатьевича больно защемило сердце, когда он вспомнил про Утина. Андрей Потебня тоже любил Николая, и последний, изменив своим убеждениям, изменил и памяти этого светлого человека.

— Ты мне расскажешь? — подняла Надя глаза на отца.

— Да, когда-нибудь.

Надя обидчиво рассмеялась:

— Вырастешь, Надя, узнаешь. Так ведь?

— Чтобы пережить такие разочарования, какие были у меня, надо узнать жизнь.

— Я хочу, чтобы ты был моим другом на всю жизнь!— пылко вырвалось у Нади.

Они шли по дорожкам Летнего сада, порошил мелкий снег.

— Нет, дочка, друг должен быть твоим сверстником, чтобы пройти с ним всю жизнь, и искать такого друга надо смолоду.

Глава XVI

НАБАТ

На Неве еще лежал тяжелый, набухший мартовский лед. У лунок сидели рыбаки. По санному пути через Невку всё шли обозы, но чувствовалось приближение весны по тому неуловимому аромату, который источают деревья, земля. И солнце, вырываясь из плена кучевых облаков, веселым глазом смотрело на землю, и вздрагивали деревья, тянули соки из земли, почки набухали,— шла невидимая, но торопкая жизнь, пробуждение.

Константин Игнатьевич и Надя возвращались с прогулки. Шли по Невскому. Надя первая отметила, что по направлению к Литейному помчались конные жандармы, казаки. Чем ближе они подходили к дому, тем явственнее чувствовалась паника. С грохотом падали железные шторы в витринах магазинов, дворники в белых парадных фартуках выстроились у ворот, люди спрашивали о чем-то друг друга и куда-то бежали... И вдруг ударил набат. Загудели колокола Исаакия, за ними в Казанском соборе, и понесся над водами Невы, над улицами Петербурга протяжный рев колоколов, наводящий ужас, тревогу.

— Папочка, что это? — Наде стало страшно, хотелось тоже бежать, спрятаться от этого тоскливого гула.

— Что-то случилось,— недоумевал отец.— Наводнение? Но Нева была еще подо льдом. Пожар? Но курились только фабричные трубы за Невской заставой. Набат оповещает о бедствии, о какой-то катастрофе. Константин Иг-

натьевич обратился к дворнику, который стоял, опираясь на метлу, как на ружье, и глаза его выражали ужас.

— Что случилось? Куда бежит народ?

Дворник мелко закрестился и всхлипнул.

— Неужто ваше благородие не знают? Царя убили! — шепотом произнес он.— Убили, супостаты, царя-батюшку...

Теперь уже кругом слышалось: «Убили!.. Бомбу бросили, в клочья разорвали!.. Убили царя и царицу и всех детей!..»

Отец с дочерью, взявшись за руки, спешили домой, и народ теперь валил валом, и слухи распространялись, как пламя в стогу сена, один страшнее другого: «Революция!.. Государственный переворот!.. Разнесли весь царский поезд!.. Сто революционеров вышли с бомбами и все те бомбы в царя кинули!.. Взорвали Зимний дворец!.. Взорвали дворец в Царском Селе!..» Слухи нарастали как снежный ком.

Надя крепко вцепилась в руку отца и посматривала на его лицо. Она видела, что отец взволнован, но не огорчен. Спрашивать Надя не решалась. Они двигались вместе с толпой орущих, плачущих, взволнованных людей. Голоса тонули в звуках набата, который, как тяжкий стон, разносился над городом, леденил душу, нагонял тоску, куда-то торопил, создавал паническое настроение.

...В квартире Крупских собрались друзья. Пришел брат Александр с женой и дочкой Лёлей, пришли товарищи по армии, Борис Андреевич, приятельница Елизаветы Васильевны с дочкой Сашей, с которой Надя училась в одной гимназии. Все были возбуждены, и... никто не огорчался и не печалился по поводу смерти царя.

Константин Игнатьевич ходил по комнате, ерошил кудри и повторял: «Теперь все пойдет по-другому. Все к лучшему».

Елизавету Васильевну беспокоила участь людей, которые убили царя.

— Наверно, они не успели скрыться и теперь погибнут,— говорила она.

Надя представляла себе этих молодых отважных людей с дымящимися, именно почему-то дымящимися, бомбами в руках, окруживших карету царя. Если они сумели убить самого царя, то как же их могли поймать,— они несокрушимы, они недосягаемы ни для какой власти...

Надя сидела, обнявшись с сестрой Лелей, в кресле. Экспансивная Надина сестричка, делая «страшные» глаза, фантазировала, как от взрыва царская корона слетела с головы и все бриллианты рассыпались по мостовой. Вот бы найти... А у царя в короне бриллианты величиной с булыжник.

— Царь в короне по улицам не ездит, не выдумывай! — говорила Надя.— Что же будет дальше и почему будет лучше? — спрашивала она кузину.

Та мотала кудлатой головой и говорила:

— Это ужасно интересно, как в страшном романе! Царя, понимаешь, самого царя, и вдруг — трах, и нет!

В квартиру Крупских набилось много людей. На этот раз Надю не посылали посидеть у подруги или сбегать в булочную на Невский. Разговаривали открыто, и Надя впервые услышала, как все папины друзья порицали царя за его жестокость и несправедливость. И слова гимна, который каждый день пели в гимназии, «Боже, царя храни», вдруг потеряли свой торжественный смысл. Оказывается, царя можно убить. И впервые услышала Надя слово «революция».

— Что такое революция? Ты не знаешь?— спросила Надя Лелю.

— Богиня свободы — так объяснил мне папа,— ответила Леля. Ее занимало в этой истории другое: как разорвалась бомба, и как разорвало царя, и не убило ли кучера, и как испугались лошади, и как жалко, что Лели не было там и она не может рассказать в гимназии: «Девочки, я своими глазами видела, честное благородное!»

А набат все гудел, и от этого гула жарче становились споры. В этот вечер никто не боялся высказать свое отношение к событию.

Приходившие новые гости рассказывали подробности, а может быть, слухи. В царя бросили две бомбы; одна разорвалась возле него и только слегка ранила, царь оставался на ногах. Затем бросили вторую бомбу, прямо в ноги Александра. На этот раз смерть настигла царя.

— Папа, ты говоришь, что теперь все станет лучше, все станет иначе. А как иначе? — допытывалась Надя.

— Я думаю, что народ вздохнет свободнее.

— Царя больше не будет?

— Будет, но новый, напуганный, станет лучше относиться к людям, не потому, что у него доброе сердце, а потому, что оно трусливое.

— Добро из-за трусости, какое же это добро? — возражала Елизавета Васильевна.— Такое добро всегда обернется злом.

— Может быть, ты и права, но народ не останется безучастным. Такие события, как казнь революционерами царя, вселяют надежду, поднимают народ на борьбу.

— Мы так мало и плохо знаем, как поднять народ на борьбу,— вздохнул Борис Андреевич.

В эту ночь Надя долго не могла заснуть.

Глава XVII

ГЛАЗА

Гимназия походила на растревоженный муравейник. Сегодня, 3 апреля 1881 года, их должны были казнить. Они — это руководители революционной организации «Народная воля»: Желябов, Софья Перовская, Михайлов, Кибальчич — участники заговора против царя Александра II, подготовившие и осуществившие казнь царя по приговору Исполнительного комитета «Народной воли». Игнатий

Гриневицкий, бросивший бомбу в царя, сам был смертельно ранен осколками и умер одновременно с царем. Осужденных повезут мимо гимназии Оболенской.

С утра вдоль панелей выстроились полицейские, за ними конные жандармы.

Воображение всех гимназисток занимала, конечно, Софья Перовская. Девушка — и не один уже раз выходила с бомбой против царя. Дочь губернатора — и революционерка. Дворянка — а пошла служить простым, обездоленным людям.

Уроки в гимназии шли без перемен: гимназисток, возбужденных, взвинченных, не выпускали из класса, стараясь занять чем-нибудь.

Директор гимназии Герд и преподаватели ходили мрачные и переживали не меньше гимназисток. Симпатии их были на стороне «Народной воли», но разве могли они сказать об этом своим воспитанницам.

В 4-м классе шел урок литературы. Учитель, чтобы отвлечь внимание девочек от окон, предложил по желанию прочитать на память любимое стихотворение. Девочки читали вяло, рассеянно, не слушая одна другую. Дошла очередь до Нади.

— Мадемуазель Крупская! — раздался голос над ее ухом. (Она вздрогнула.) — Прочитайте ваше любимое стихотворение.

Надя встала. В голове мысли не могли выстроиться в ряд. «Сегодня их казнят, казнят»,— упрямо повторяла она про себя, стараясь постигнуть смысл этих слов.

— Что же прочитать? — Надя наморщила лоб.

— Рыцарь бедный... рыцарь бедный...— слышалась подсказка со всех сторон. Девочки знали, что это любимое стихотворение Нади.

Жил на свете рыцарь бедный,—

начала неуверенно Надя,—

Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...

«Духом смелый и прямой»,— повторила Надя.

Резкая барабанная дробь заглушила ее последние слова. Все девочки бросились к окнам.

— Мадемуазель, отойдите от окон! — вбежала классная дама, пытаясь оттащить девочек.

Но гимназистки прильнули к стеклам. Надя облокотилась на подоконник, другие девочки встали прямо ногами на подоконник.

— Их везут! Их везут!..

Барабаны выстукивали сумасшедшую дробь — казалось, что это в страхе стучат зубы какого-то чудовища.

На двух высоких дрогах везли осужденных на казнь. На передней телеге к высокой скамье были привязаны толстыми веревками двое мужчин. На второй телеге везли трех. Посередине сидела она, Софья Перовская. В черном балахоне и уродливом черном чепце, руки закручены за спиной, ноги привязаны к скамейке. Вздрагивали плечи, узкие плечи, выпиравшие из балахона.

Все осужденные сидели спиной к кучеру. Позорные дроги поравнялись с окнами гимназии, и Надя увидела е е. Черные оборки черного чепца обрамляли очень бледное, совершенно бескровное лицо, на котором были заметны одни глаза. На ухабах Софья вздрагивала и чуть морщилась: было очень больно кистям рук. На шее висела тяжелая доска с надписью: «Цареубийца».

Даже Наде стало больно, и ей показалось, что она слышит стон. Слышит? Ничего нельзя расслышать сквозь барабанный грохот. Звенели стекла от этой барабанной дроби, словно старались заглушить чувство протеста против черного, удушающего, смрадного российского бытия.

Какая нужна сила, жизнеутверждающая, непомерно огромная, какие гигантские народные таланты, чтобы



пробиться сквозь эту толщу бесправия, тупости, беззакония, придавленности! Какой нужен могучий голос, чтобы перекрыть барабанную дробь.

Так вырастает березка на голом валуне и стоит тонкая, белая, колыхая свою зеленую крону. Как много жизненных сил скрыто в крохотном летучем зернышке, которое разыщет выбоинку в граните, присыпанную землей, прорастет, нащупает мельчайшие трещинки, проберется по ним до живительной влаги, до самой земли и наберет такую силу, которая расколет гранит.

Но все новое, смелое, талантливое, что нарождается в России, закручивается в черные пеленки. Так говорил Надин отец Константин Игнатьевич. Черные пеленки! Как страшно увидеть младенца, запеленатого в черный свивальник! И как страшно, когда молодую девушку в уродливом черном чепце везут на черных дрогах. А на черном помосте накинут на шею черную петлю.

«Я сейчас закричу... Я сейчас закричу...» Надя приложила ладони к горлу. Только бы не закричать.

Медленно двигаются позорные дроги. Зябко поводит Софья Перовская плечами, поднимает опущенные веки, и большие светлые глаза смотрят на уползающую из-под телеги дорогу. Они очень близко, эти глаза. Еще мгновение — и обе девушки встретились взглядом.

Стихла барабанная дробь. Исчезли дроги, полицейские, жандармы, толпы зевак на улице. Исчезли подруги, класс, окна. Все исчезло. В зыбком мареве апрельского утра на Надю смотрят эти глаза. Очень знакомые, внимательные и родственные. В них нет скорби, в них нет страха смерти, в них раздумье и досада, что веревки на запястьях больно режут кожу и мешают думать. Да! Софья смотрит на нее, на Надю, смотрит пристально, и Надя понимает, что хотят сказать ей эти глаза. «Я ни о чем не сожалею. Если бы начала жизнь сначала, то прожила бы ее так же. Меня посадили на эти позорные дроги, посадили спиной к лошадям,

чтобы показать, что перед глазами смертников уходящая дорога жизни и впереди ничего нет... А у тебя, девочка, впереди длинный путь жизни, и пусть каждый шаг по этому пути приблизит тебя к цели, к великой цели...»

Сколько плевков, сколько бранных слов сопровождают Софью. Не цветами усыпан ее путь до черного помоста. И все же какая-то курсистка вырвала из-за корсажа букет фиалок и бросила Софье. И эти фиалки лежат перед ней на дрогах, и ветер колышет их светло-синие угасающие лепестки...

Северные фиалки... Барабанная дробь... Она пытается заглушить стук сердец, которые бьются согласно с сердцами смертников. Многие из молодых хотели бы бросить героям на прощанье цветы, готовы отдать им свое сердце, но разрешены только плевки, только бранные слова.

Надя смотрит прямо в глаза Софье. Теперь она знает — не закричит, нет. Глаза Софьи щедро, очень щедро передают девочке, чем-то схожей с ней, веру в святость дела, которому Софья отдала свою юную жизнь, приобщают ее к великой цели. И никакие черные позорные дроги, и черные лошади, и возницы, одетые в траур, и попы в черных рясах не в силах очернить ее подвига.

Долго, очень долго провожает Надя эти глаза, светлые глаза светлой девушки, сказавшие ей так много, раскрывшие, наверно, самую важную страницу в Надиной жизни. Уже повернули за угол дроги, уже замер барабанный тяжкий градопад, а Надя видит эти глаза, они теперь будут всегда перед ней — живые, смелые, ясные глаза девушки с высоким челом...

Девочки тихо расходились по местам. Садились за парты, стараясь не стукнуть. Все их мысли были там, с ними, с нею, с Софьей Перовской.

Глава XVIII

«ИДИ В ЖИЗНЬ СМЕЛО»

— Как медленно тянутся годы,— жаловалась Надя отцу в февральский день.— Живу, живу, а только четырнадцать будет. Ну, если бы восемнадцать!

— Что будет в восемнадцать? — шепотом спросил отец.

— В семнадцать кончу гимназию, к восемнадцати сумею скопить порядочную сумму денег, и мы все поедем на Лаго-Маджоре.

Надя сидела у кровати отца и гладила его горячую, легкую, похожую на высохший листок, руку. А Константин Игнатьевич подумал о том, как, все убыстряя ход, задыхаясь, мчится по кругу секундная стрелка его жизни.

— Подожди, может быть, выплатят мне жалованье за семь лет, тогда поедем на озеро твоей мечты. Вот далось тебе Лаго-Маджоре! — покачал головой Константин Игнатьевич.

Целый год Надя сидит возле отца, отлучается только в гимназию. Елизавета Васильевна бегает по урокам, зарабатывает, чтобы жить в светлой квартире и хорошо кормить мужа. И ее заработка на все это не хватает, залезает в долги, надеясь, что выплатят так несправедливо, так грубо отнятый заработок. Но вот уже третий год на исходе, как отменен приговор, а денег до сих пор нет. Устала писать. Устала ходить по присутственным местам. Просто устала унижаться. Друзья помогают. И как бы деликатно они это ни делали — то в форме подарка ко дню рождения, то к празднику,— Елизавета Васильевна знает, что лишнего у друзей нет. Борис Андреевич оплачивает все лекарства и консультации и сам почти ежедневно бывает у Константина Игнатьевича. Доктор настаивает на поездке на кумыс, но два года откладывали, ожидая денег из Варшавы. «В это лето надо во что бы то ни стало поехать вместе с Костей на

кумыс,— решила Елизавета Васильевна,— один он не сможет. Да и сможет ли поехать вообще: очень ослаб».

Но в Надин день рождения, 14 февраля 1883 года, Константин Игнатьевич встал и сидел за праздничным столом, страшно исхудавший, но помолодевший, с горящими глазами и пылающими щеками.

Надиных подруг поразил вид этого человека, почти прозрачного, почти бестелесного и такого красивого. Девочки старались двигаться бесшумно, не смеялись громко, но и не сидели подавленные. За столом шел оживленный разговор, и Константин Игнатьевич все понял. Понял и оценил деликатность девочек, их тонкий душевный настрой. Они сознавали, что шумное веселье ни к чему в этом доме, оно утомит смертельно больного человека, и вместе с тем они хотели показать, что не замечают болезни Константина Игнатьевича и считают его таким же здоровым, как и они. Они, так же как и он, «не привыкли» громко разговаривать, звонко смеяться, быстро двигаться. Песни были тихие, лирические, танцы плавные. Елизавета Васильевна играла на рояле, и Константин Игнатьевич с Надей в паре сделал несколько па из полонеза — медленного, величавого. Елизавета Васильевна взглянула на мужа и дочку, закусила до крови губы и низко склонилась над клавишами. Константин Игнатьевич вел свою даму так, как когда-то вел ее, Лизу. Но тогда это был молодой, сильный, темпераментный человек, сейчас он был похож на оболочку кокона, а Надя — на бабочку, которая еще не расправила крылья, но обещает быть красивой. Будет ли счастливой?

Это был Надин день рождения. Но все делалось для него, отца, ради него пелись песни, ради него декламировались стихи, ради него танцевали и видели, что он любуется ими, девочками, подружками своей дочери. Константин Игнатьевич пытливо вглядывался в девочек, стараясь угадать, какая из них станет подругой его дочери. Так хотелось знать, какой молодой человек завладеет сердцем Нади. Кто он?

С этого дня здоровье Константина Игнатьевича стало заметно поправляться. Он ел теперь не в кровати, а за общим столом. Большую часть дня сидел в кресле. Когда приходил Борис Андреевич, Константин Игнатьевич просил его сыграть партию «в шахматишки». Доктор почему-то очень быстро проигрывал и укладывал своего пациента в постель.

Елизавета Васильевна и Надя были вне себя от радости, что отец обретает силы, и приписывали это чудодейственному «эликсиру жизни» из шоколада, сливок, свиного сала, столетника и меда. И все знакомые Елизаветы Васильевны вдруг вспоминали много случаев, когда безнадежно больные туберкулезом излечивались столетником с медом или свиным салом с топленым молоком. Ясно, что «эликсир» сделал свое дело.

И только у Бориса Андреевича залегала все глубже складка между бровей, и только один Константин Игнатьевич мог уловить тревогу в глубине глаз доктора. Сам он уже не питал иллюзий относительно чудесного излечения. Опасался только — уберегутся ли от губительных туберкулезных палочек жена и дочка.

В этот день Надя сидела еще за уроками, когда отец попросил помочь ему перейти на кровать. Надя с готовностью подставила свое плечо.

— Посиди со мной,— попросил отец.— Давай вместе посумерничаем.— Константин Игнатьевич положил свою руку на руку дочери.

Надя ощутила заметную дрожь.

— Тебе холодно, папочка?

— Укрой меня получше, ласточка. На улице мороз?

— Нет-нет, падает снег, какой-то невсамделишный, теплый. Снежинки падают и тают, и вся земля покрыта ледяными капельками, ну как замерзшими слезами. Смешно, правда? Совсем не похоже, что конец февраля и скоро весна. А наш учитель грачей уже видел.— Надя говорила и гово-

рила без умолку, стараясь казаться беспечной, а на душе было тревожно.

— Ну, раз грачи прилетели — значит, весна на пороге. Придет тепло, обязательно придет.

— Мы поедем в Уфу, будем пить там кумыс. Он очень вкусный! Очень.

— Да, наверно, вкусный.— Константин Игнатьевич говорил через силу.

— Папочка, тебе трудно говорить, может быть, лучше помолчим? Я зажгу лампу?

— Нет. Так лучше. Я хочу тебе сказать, что через три года ты кончишь гимназию, будешь взрослой. Постарайся побороть свою застенчивость. Иди в жизнь смело. Не мирись со злом. Я многого не успел... многое не понял... После гибели Андрея Потебни я не нашел другого друга, я не нашел тех друзей, с которыми должен был идти вместе дальше. Семь лет скитаний оторвали меня от общественной жизни... И болезнь... Береги нашу маму...

Надя гладила руку отца. Она не знала, что должна была ответить. Сердцем понимала, что отец спешит ей высказать свои желания, боясь уйти из жизни, не успев сказать ей этих слов.

— Выбирай, Надюша... друзей смелых... чистых... бескорыстных... способных служить людям...

Пришла Елизавета Васильевна с урока. Она грела у кафельной печки озябшие руки, чтобы подойти к мужу, поправить ему подушки, вытереть полотенцем покрытое каплями пота лицо.

Она смотрела на Константина Игнатьевича и вдруг поняла, что он очень плох. И старалась не подать вида. Пошла на кухню. Приготовила питье. Руки дрожали, и так страшно было отлучиться от него хотя бы на несколько минут. Вернулась в комнату, послала Надю спать.

Елизавета Васильевна с дочерью спят в соседней комнате. Со своей кровати Надя видит, как мать оправляет

постель отца, ставит ему на столик стакан с лимонной водой, зажигает ночничок под голубым шарообразным абажуром, загораживает его раскрытой книгой, как ширмочкой, чтобы свет не падал на лицо больного. И Надя вспоминает, что так вот заслоняли родители в Варшаве лампу, чтобы свет не падал на ее кроватку, а отец с матерью ночи напролет читали, шептались, и мама часто плакала, а отец так нежно утешал ее...

И сейчас Елизавета Васильевна сказала мужу «спокойной ночи, дорогой», провела ладонью по волосам и поцеловала. Отец погладил мамину руку и поднес к своим губам.

Елизавета Васильевна вошла в спальню, погасила свет, сняла ботинки и, накинув капот, легла поверх одеяла, повернув лицо к открытой двери в комнату мужа. Надя видела, что мать, вынув из-под подушки носовой платок, вытирает им щеки. Значит, плачет. И сон улетел от Нади. Она подумала о том, что мама, которой, казалось, некогда было думать о чем-то, кроме хозяйственных дел и уроков, жила все время в большой тревоге. Днем она не смела показать своего горя ни мужу, ни дочери, ни тем более своим ученикам. Она должна быть бодрой, веселой. Для горя остается ночь. Человек предается горю ночью, когда темно, а если горе настигает днем, человек закрывает глаза и лицо руками, закрывает его от света, погружается в ночь. В горе человек никогда не подставляет лицо солнцу.

Узкая полоска света падает из папиного кабинета на кровать матери. Плечи ее вздрагивают. Надя соскользнула с кровати, подошла к матери и легла рядом с ней. Мать прижалась горячей мокрой щекой к щеке дочери, они крепко обнялись и лежали молча, не спуская глаз с самого дорогого им человека, которого они обе любили больше жизни и каждая по-своему. И Наде показалось, что она слишком эгоистично пользовалась этой любовью, проводя все время с отцом, отстранив почти совершенно от него мать. Константин Игнатьевич лежал с открытыми глазами. На худой шее

часто-часто двигался острый кадык. Веки сонно закрывались и открывались вновь, и вот они сомкнулись, и Константин Игнатьевич заснул. И Надя, прильнув к плечу матери, задремала.

— Надя, Надюша! — послышался шепот матери, полный отчаяния.— Идем к папе.

Обе подошли на цыпочках к кровати. Константин Игнатьевич дышал хрипло, тяжело, изо рта бежала струйка крови. Елизавета Васильевна салфеткой вытирала ему рот, вливала ложечкой лимонное питье. Больной задыхался, ловил ртом воздух, шевелил пальцами, но уже не мог двигаться. Полуоткрытые глаза выражали муку. Надя не смогла сдержать рыдания. Мать взяла ее за руку:

— Спокойно, моя девочка, наш папа уходит, и нельзя его огорчать в этот смертный час.

Елизавета Васильевна держала запястье мужа, чувствовала, как утончалась и таяла ниточка пульса — ниточка, связывающая его еще с жизнью. И вот она исчезла. Дернулась раз, другой и порвалась. Смертельная бледность заливала от висков и лба лицо Константина Игнатьевича. Елизавета Васильевна закрыла ему глаза и повалилась на коврик у кровати.

В окно билась мокрая метелица.

Глава XIX

НАЧАЛО ПУТИ

Похоронили Константина Игнатьевича на Воскресенском кладбище Новодевичьего монастыря, что у Московской заставы. Так он хотел. Так он однажды шепнул Елизавете Васильевне, когда они все втроем ходили на могилу Некрасова.

Вдове Крупской выдали бумагу о том, что «24 февраля 1883 года отставной коллежский асессор К. И. Крупский, 41 года, волею божиею умре от чахотки легких». Елизавета Васильевна обратила внимание, что возраст вместо 43 лет был проставлен 41. Но не все ли равно теперь?

Вскоре после похорон явился пристав, чтобы описать имущество покойного и поделить его между наследниками. Он ходил по комнатам, открыл шкаф, заглянул в буфет, на кухню и был поражен: у коллежского асессора никакого имущества, движимого и недвижимого, не оказалось. И капиталов тоже не оставлено ни в банковских билетах, ни в драгоценных камнях и металлах. Отсутствие имущества и капиталов пристав записал в протокол и, учинив подпись, с недоумением посмотрел на вдову, перевел взгляд на дочь.

— М-да,— произнес он.— Жить-то на что будете?

Елизавета Васильевна промолчала.

Она, как и до сих пор, будет давать уроки, может быть, станет готовить дешевые обеды для курсисток, студентов, чтобы заработать на бесплатный обед для себя и Нади. Будущее Нади беспокоило Елизавету Васильевну. Кажется, она, мать, заразилась туберкулезом. Борис Андреевич заставляет ее пить те же лекарства, что пил Константин Игнатьевич. Говорит, что это для предупреждения болезни, но Елизавета Васильевна хорошо знает симптомы этого страшного недуга. Знает и понимает, что нельзя позволить болезни одолеть себя. Будет бороться с ней так, как только умеет это делать мать.

Доктор тщательно обследовал Надю. У нее никаких признаков чахотки не было. Обыкновенная петербургская девочка, не из крепышей, но и не болезненная, не слабая. Прописал и матери и дочери длительные прогулки в любую погоду.

Надя видела, как тяжело переживает мать потерю друга и любимого мужа и выбивается из сил, зарабатывая на жизнь.

Отношения матери и дочери после смерти отца стали более сдержанные. Уходя в гимназию, Надя на ходу целовала мать в щеку, а ложась спать, подставляла для поцелуя лоб. В другое время мама сказала бы, что это поцелуй вежливости или что это «дежурный поцелуйчик». Но тонкая душа Нади понимала, что обвей она шею матери руками, прижмись щекой к ее щеке, и обе потеряют самообладание. Обе плакали в одиночку.

По воскресеньям они ходили на кладбище. Надя, по примеру матери, дотрагивалась пальцами до могильного холма и мысленно произносила: «Здравствуй, папочка», отряхивала снег с восковых фиалок, а потом, постояв, Елизавета Васильевна вынимала из муфты крохотную просвирку и, разломив пополам, давала одну половину дочери. Просвирка застревала в горле. И на обратном пути Надя чуть задерживалась у могилы Некрасова. Первый раз она была на этом кладбище с отцом и не ведала, что так часто придется ей приходить сюда уже на могилу своего отца. Тогда Константин Игнатьевич своим глуховатым голосом прочитал выгравированные на постаменте слова:

Из уст в уста передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени и вручим его прозревшему и просветленному народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья.

Это почитатели Некрасова начертали на памятнике слова признательности.

А чуть ниже на мраморе были высечены слова самого Некрасова, полные глубокого смысла, ставшие завещанием для молодежи:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.

«Нет большего счастья для человека, чем заслужить от народа сердечное спасибо»,— сказал тогда отец. Они шли по дорожкам кладбища мимо огромных, тяжелых склепов.

«Это все немые могилы,— говорил Константин Игнатьевич,— хоть и воздвигнуты на них дорогие памятники. Здесь только одна могила будет почитаться вечно — это могила Некрасова, певца народного горя, страстного обличителя несправедливости, дикости, глумления над человеком».

Надя больше всего на свете боялась опоздать «сеять разумное, доброе». Ей хотелось найти в жизни своего Андрея Потебню. Она часто заходила в гимназическую библиотеку, поглядывая на девочек. Подруг у Нади было много, но не было такой, которая знала бы, как и в чем найти цель в жизни. Ближе всех Надя сдружилась с Сашей Григорьевой. Чем-то она напоминала Тимофейку. Может быть, темными вьющимися волосами, а скорее всего, своей строптивостью против зла, несправедливости, бесстрашием. Саша много читала и приносила Наде книги. Надя увлекалась Жюлем Верном, Дефо, Свифтом. Из русских писателей раньше всего познакомилась с Некрасовым, Пушкиным, Лермонтовым. В пятом классе Саша приохотила ее к чтению Л. Н. Толстого, приносила книги Герцена, Писарева. Чем крепче становилась дружба, тем горячее и ожесточеннее споры. Извечный вопрос — какой путь избрать в жизни — волновал гимназисток старших классов. У Нади стали часто собираться девочки. Тоня Герд, дочь директора гимназии, увлекалась естественными науками и историей и считала для себя решенным вопрос: стать, как и отец, учительницей. Двоюродная сестра Леля Крупская тоже вполне определилась — ее занимала сцена, которой она решила посвятить свою жизнь. Надя мечтала стать учительницей, но, кроме обучения грамоте детей, ей хотелось сделать что-то большее, а что, она не знала. Люба Плещеева, умевшая жить своим внутренним миром, мечтала писать стихи, как и отец. И только Саша поставила себе целью в жизни — умереть героической, красивой смертью. Это всегда было причиной жарких споров между подругами. Надя жаждала прежде всего действия — совершить большое добро для людей и только после этого

согласна была умереть. Самый строгий Надин судья была ее собственная совесть, которая не давала ей покоя ни днем, ни ночью.

И как-то она поделилась с Сашей своими мыслями.

— Ты только подумай,— говорила Надя,— сколько людей работает на меня! Когда я думаю об этом, то сгораю от стыда и презрения к себе. Вот дорога, по которой мы идем, она сделана людьми для меня, чтобы мне было удобно ходить; дом, в котором я живу, построен кем-то для меня; утром я пью молоко от коровы, за которой ухаживает какая-то женщина и приносит это молоко в город; платье на мне сшито портнихой, башмаки — сапожником, кровать сделал столяр, я укрываюсь одеялом, сотканным ткачами. К чему бы ни прикоснулись мои руки, все сделано кем-то для меня. Иногда мне снятся страшные сны. Все эти люди спрашивают: «А что ты сделала для нас?» Их много — тысячи, десятки тысяч, и я стою перед ними в ответе.

— Не беспокойся об этом,— успокаивала подруга.— Вырастешь, будешь работать так же, как и все, будешь обучать детей, встанешь в один ряд с другими людьми. А я завидую Жанне д'Арк, сгоревшей на костре, завидую Софье Перовской, погибшей на виселице вместе с любимым.— Саша придвинулась поближе к Наде.— Знаешь, мне рассказывали, что она и Желябов поклялись друг другу отдать свои жизни за народную свободу. Красивая любовь, красивая смерть...— вздохнула Саша.

Надя с восхищением смотрела на подругу.

— Я на подвиг, наверно, не способна,— призналась она.— Если буду бросать бомбу, обязательно промахнусь, я так плохо играю в крокет и в лапту. Сгореть на костре, наверно, тоже не смогу. Я однажды подставила палец к свечке, и было мучительно больно, а всего-то вздулся небольшой пузырь. Я в долгу перед всеми, и прежде всего перед мамой, но с мамой у меня как-то не получается дружбы. Она, наверно, «слишком мама», а я «слишком дочь».

— Я этого не понимаю,— призналась Саша.— У нас с мамой отношения, как с подругой. Она предоставила нам с сестрой полную свободу. Я знаю, что она ходит в какой-то кружок. Что это за кружок, я не понимаю, но это не хоровод, не круг, а тайное общество, и там читают запрещенные книги, и спорят так, что мама приходит домой охрипшая и пьет теплое молоко с содой, чтобы вернулся голос.

Надя и Саша бродили по городу, выбирали пустынные улицы, чтобы свободнее было разговаривать, а потом, выйдя на Невский, к часовому магазину «Павел Буре», обе спохватывались. Большие часы перед магазином показывали четыре часа, а Надя обедала с мамой в три, после чего мама уходила на урок.

И сейчас Елизаветы Васильевны уже не было дома. На столе лежала записка: «Надюша, суп на плите. Каша завернута в байковое одеяло. Молоко в кладовке. Обязательно все съешь».

Надя прошла в комнату отца. Потрогала руками его вещи: чернильницу, черное распятие, книгу стихов Мицкевича на польском языке, в которую он часто заглядывал. Подошла к карте Европы, висевшей возле кровати отца, по которой они с увлечением путешествовали, вгляделась в крохотную синюю полоску, соединявшую Швейцарию и Италию. Это было заветное озеро Лаго-Маджоре...

Как пусто стало в жизни без папы. Как трудно свыкнуться с мыслью, что никогда, никогда она его не увидит, не услышит. Осознать это «никогда» было так же трудно, как представить себе бесконечность Вселенной, где не только ты, но Земля, огромная, красивая, необъятная, на которой ты живешь,— всего лишь песчинка.

И мама не может привыкнуть к мысли, что отец никогда не вернется. С ее губ часто срывается «об этом надо рассказать папе» или «это папе понравится»... Скажет и вдруг умолкнет и побледнеет.

Вот подружиться бы с мамой так, как она дружила с па-

пой. Но что-то мешает. Что? Недостаток любви? О нет. Надя горячо любит мать, очень жалеет ее, но боится открыть ей свои маленькие девчоночьи секреты, которыми делилась с отцом, с ним могла думать вслух. И он ее понимал и всегда находил какие-то очень нужные ей слова и советы; подсмеивался над ее увлечением, или трусостью, или какой-нибудь другой слабостью, но подсмеивался как равный и не зло, а так, что и самой Наде становилось забавно и все непреодолимые сложности распадались на составные множители, как любил говорить папа.

У всех, положительно у всех Надиных подруг были бабушки, одна или две, и почти все они были очень добрые, хорошие, ласковые. У Нади не было ни одной бабушки, и ни папа, ни мама даже не помнили своих мам.

Мамина сестра тетя Маша была старше Елизаветы Васильевны на одиннадцать лет и в какой-то мере заменила младшим братьям и сестрам мать. Тетя Маша была крестной Нади. Она приезжала на похороны папы, вернулась к себе в Полтаву, чтобы закончить какие-то срочные дела, и снова приедет к ним сегодня или завтра. Тогда дома не будет так пусто...

Надя съела несколько ложек супа, выпила стакан молока с бубликом. Ела это все для того, чтобы только не огорчить маму. Села за уроки. Надо было заполнить немую карту Европы, и снова мелькнула голубая полоска Лаго-Маджоре... Надя расплакалась. В дверях раздался звонок. «Тетя Маша!» Надя быстро смахнула слезы и побежала открывать дверь. Но на пороге стоял господин Утин. Надя не сразу узнала его. За два года, что он у них не был, он сильно изменился — похудел и как-то ссутулился.

Гость снял шляпу:

— Мадемуазель Надя?

— Да.— Надя сделала книксен и пригласила войти.

— Родители дома? — осведомился он.

Надя опустила голову.

Утин заметил траурную повязку на руке и помрачнел.

— Неужели Константин Игнатьевич...— Он не договорил.

— Да,— еще ниже опустила голову Надя.

— Я ничего не знал. Только что приехал из Екатеринослава. Когда же это случилось?

— Две недели назад.

— Боже мой, боже мой! Я вам очень сочувствую. Как же вы живете? Я хотел спросить — на какие средства?

— Мама получает пенсию девять рублей, дает уроки.

«А я вот ничего не делаю, пользуюсь чужими трудами»,— хотелось добавить Наде. Она замолчала.

Утин сел на стул, который стоял теперь вместо кресла, и тоже молчал, тяжело вздыхая, угнетенный и печальной новостью и признаками отчаянной нужды.

— Как вы учитесь? — спросил он, о чем-то раздумывая.

— Отметки у меня хорошие,— ответила Надя.— Только из французского пять с минусом.

— Остальные пятерки?

— Да.

— Отлично!— оживился Утин.— Хотите давать уроки? Я знаю одну славную семью, они ищут репетитора для дочки. Урок будет хорошо оплачен. С девочкой надо будет заниматься по программе третьего класса.

Надя сжимала пальцы до хруста.

— Я не сумею. Это очень страшно. Я учусь только в пятом классе. Нет-нет, я не смогу быть репетитором...

— У страха глаза велики. А вам страшиться не пристало. У бесстрашного отца должна быть бесстрашная дочь. Спросите разрешения у мамы и берите урок.

Надя вспыхнула:

— Уроки буду давать я, и мама возражать не будет.

Утин присел к столу, попросил конверт и чернила. Пока он писал, Надя заметила, какой у него болезненный вид.

— Вот вам адрес и записка к Антонине Владимиров-

не — так зовут маму девочки. А девочку зовут не то Долли, не то Бьюти, а может, так зовут ее кукол. Я всегда путаю. Вы можете смело туда идти. Это очень хорошая семья, и по моей рекомендации вы будете там хорошо приняты. А я пойду. Передайте вашей матушке мои самые искренние соболезнования.

Одеваясь в передней, Утин спросил:

— Вы не знаете, слушалось дело Константина Игнатьевича в Сенате?

— Да. Папу оправдали.

— Слишком поздно, а он имел возможность это сделать семь, восемь лет назад, и жили бы вы сейчас припеваючи.

Надя с недоумением смотрела на гостя.

— Нет, папа писал всюду, и папины друзья хлопотали, но ничего не могли сделать.

Утин пожал плечами. Он что-то хотел сказать, но махнул с каким-то безнадежным видом рукой и ушел.

Надя боялась сказать маме о принятом ею решении. Мама наверняка будет возражать. Скрыть? Но Наде претила ложь.

Елизавета Васильевна приехала домой вместе с сестрой, Марией Васильевной, которую ездила встречать на вокзал.

Тетя Маша заполнила сразу всю квартиру вещами, корзинами, свертками и своим громким, раскатистым голосом.

Надя не нашла удобной минуты, чтобы рассказать маме о визите и предложении Утина.

Вечером Надя учила уроки, а тетя Маша с мамой говорили о житье-бытье. У Елизаветы Васильевны была потребность говорить о покойном муже. Особенно с сестрой.

Елизавета Васильевна взяла в руки черный крест на подставке.

— Знаешь, Маша,— сказала она,— как только появился у нас в доме этот крест, несчастья стали сыпаться на нашу семью. Вскоре после этого уволили Костю, отдали под суд,

началась наша кочевая жизнь. Семь лет боролся он за пересмотр дела, за право жить в Петербурге. Затем чахотка... Смерть.

— Отдай мне этот крест,— предложила Мария Васильевна.

— Нет-нет,— возразила Елизавета Васильевна,— я не хочу тебе таких испытаний!

— Крест не мой, поэтому и испытаний не будет, а у тебя я их отниму. Ты и без того несешь тяжелый крест вдовьей жизни. Может быть, выйдешь потом замуж. Все же легче будет.

Елизавета Васильевна с укоризной посмотрела на сестру:

— Как ты можешь, Маша, даже думать об этом! Костю мне никто не заменит, а Надя мне никогда не простила бы такой черной измены. Она обожала отца, он был для Надюши образцом высоких идеалов, красоты, честности, благородства. Надя — моя надежда. Ей посвящу я жизнь и никогда, никогда не расстанусь с ней. Я обещала это Косте.

Глава XX

НАДИН ДЕДУШКА

Вечером Надя забралась с ногами в кресло. Было пронзительно тоскливо, и это настроение еще нагнетал вой ветра за окном. Мокрые хлопья снега налипали на стекла и тяжело сползали вниз.

— Вот такая метелица мела, когда умер папа,— с тоской произнесла она.

Мария Васильевна внимательно посмотрела на племянницу. Худенькая, угловатая, застенчивая и молчаливая; милое лицо с большими, открытыми глазами, не умеющими

ни лгать, ни притворяться, и толстая коса, которая оттягивала голову назад.

— Эх ты, Надюша, не знаешь, что такое настоящая метель, что такое настоящий мороз!

— А какие же они, настоящие? — спросила Надя.— И где все это настоящее?

— На Алтае, там, где мы жили, в Барнауле.

— Расскажите, тетя Маша.

— А я так ничего не помню, и главное, не помню лица мамы.— Елизавета Васильевна вздохнула.

Их мать, Александра Гавриловна Тистрова, умерла, когда старшему из ее детей, Петру, было пятнадцать лет, а младшему, Александру,— пять дней. Жили они тогда в Барнауле, на Мало-Тобольской улице, в добротном бревенчатом доме. Девять детей. Пять дочерей и четыре сына.

Надя сидит, вжавшись в кресло, слушает неторопливый рассказ тети Маши и представляет, как в белом дыму мороза, закутанные в тулупчики, валенки и башлыки поверх косматых шапок, бегут ребята по улицам Барнаула в школу. Домá на окраине до труб занесены сугробами, и к окнам и дверям прорублены в крепком снегу траншеи. И видит, как собирается Василий Иванович Тистров, дед Нади, отец тети Маши и мамы, в дальнюю дорогу.

Караван с серебром из Барнаула в Петербург поручено сопровождать горному инженеру Василию Ивановичу Тистрову. Дети не отходят от отца, девочки принимаются плакать по нескольку раз в день, но тут же, вытирая слезы, вспоминают, что бы они еще хотели получить из далекого, сказочного Петербурга. Отец не устает вынимать из кармана маленькую тетрадь и аккуратным четким почерком записывает пожелания детей. Александра Гавриловна сама печет в дорогу шанежки с облепихой, черемухой, укладывает в плетеные корзины домашние ягодные наливки и настойку из пантов молодых оленей. Просит мужа не забыть привезти голов пять сахара, кашемиру девочкам на платья, тетради

для ребят. Перед отъездом Василий Иванович получает жалованье и прогонные и идет в банк, чтобы купить на имя жены банковые билеты. Мало ли что может случиться в пути: и волки могут загрызть, и пургой занесет, и шайка грабителей может напасть на караван и перебить стражу. Так уж было заведено в семьях алтайских горняков, что все деньги зачислялись на имя жен. Опасная профессия у горняка — нередко случались обвалы в шахтах, погибали в горах от камнепада, срывались на лошадях в глубокие ущелья. Горняцкие жены сами о себе говорили: сегодня жена, завтра вдова.

Василий Иванович редко бывал дома. Но когда появлялась его высокая фигура с русой бородкой и ласковыми серыми глазами под густыми бровями, дети кидались ему навстречу. Много повидал, о многом знал их отец. Сам отлично владевший французским и немецким языками, Василий Иванович много читал и заботился о том, чтобы дети получили хорошее образование, и работал не покладая рук.

Отец садится в возок. В кипящей пурге в двух шагах ничего не видно. Ураганный ветер срывает слова с губ и относит назад. Дети не слышат, что еще хочет сказать им отец на прощанье. От лошадей идет пар, будто они только что из бани.

Сначала Василий Иванович поедет на Монетный двор. Там навьюченные поклажей с серебром лошади под охраной солдат двинутся в далекий и нелегкий путь. И за все в ответе Василий Иванович Тистров. И за казенное имущество — серебро, и за охрану. Ну, а если до Петербурга недосчитается нескольких человек — кто схватит горячку и останется на постоялом дворе, кто умрет дорогой,— с Тистрова строго не спросят. С него спросят только за серебро. Но Тистров сам любил людей и вместе с ними делил все трудности походной жизни. Двадцать пять лет в походах был Василий Иванович. И всего себя отдал горному делу.

Окончив Горный институт в Петербурге, или, как он на-

зывался в те времена, Горный кадетский корпус, Тистров получил звание «шихтмейстера 13-го класса со старшинством» и с августа 1821 года был определен на Колывановоскресенские заводы. Объездил он алтайские и уральские заводы и был большим специалистом по составлению описаний и чертежей по чугуноплавильному, железоделательному и медеплавильному производствам. Ездил на Ирбитскую ярмарку для закупки и доставки казне в Барнаул всяких материалов и вещей. Был приставлен к Барнаульскому музеуму и разрабатывал улучшенный способ вымывки золота из рудных отвалов; ездил на Зыряновский и Риддерский рудники обучать открытому им методу промывки золота. Управлял главной чертежной и был учителем в Барнаульском училище, устанавливал сереброплавильни в Сузунском и Колывановоскресенском заводах, управлял Томским и Павловским сереброплавильными заводами. А потом отправился с партией геологов в горы и открыл «благонадежное» рудное месторождение на Алтае. И, наконец, Василий Иванович стал управляющим Сузунским заводом и Монетным двором. Теперь он постоянно может быть вместе с семьей, после двадцатипятилетней нелегкой походной жизни насладиться домашним очагом.

Надя, слушая тетю Машу, облегченно вздыхает: наконец-то Василий Иванович будет по вечерам приходить домой, вместе с детьми разведет большой фруктовый сад, о котором он мечтал.

Но в ноябрьский вечер 1844 года Александра Гавриловна, родив Василию Ивановичу девятого ребенка, сына Александра, умерла от родильной горячки.

— Мамочка, тебе было всего три года, когда умерла твоя мама? — спросила Надя и с ужасом подумала о том, как страшно прожить всю жизнь без матери.

— Да,— ответила Елизавета Васильевна,— я не помню лица мамы, ее глаз. Но почему-то мне вспоминается ее высокая, стройная фигура и большая клетчатая шаль. Она

с трудом открывает дверь, и в сени врывается снежная метель. Это, пожалуй, все, что осталось в памяти из детства в Барнауле. А отца помню уже больным, раздражительным и вечно что-то пишущим.

Конец жизни этого деятельного, пытливого землепроходца, путешественника и разведчика земных недр был трагичным. После смерти жены Василий Иванович подал прошение об отставке: надо было определить дальнейшую судьбу девятерых детей. Детей без матери. Подполковник корпуса горных инженеров Василий Иванович Тистров в декабре 1845 года «вследствие поданного им прошения был уволен со службы подполковником с мундиром и пенсионом половинного жалованья, то есть по 171 р. 52 коп. серебром в год».

Вместе с детьми Василий Иванович перебрался в Петербург. Дворянская барнаульская опека описала все имущество, которое было записано на имя жены Тистрова — Александры Гавриловны: дом, оцененный в 1400 рублей серебром, банковских билетов на сумму девять тысяч рублей, накопленные В. И. Тистровым за долгую жизнь и внесенные на имя жены, восемь икон, одиннадцать серебряных столовых ложек, двенадцать чайных, две десертных, сахарница из «польского серебра»... Еще шаль белая и материя лиловая... Одеяло...

Василий Иванович был назначен опекуном своих родных детей и обязан был капитал и имущество, записанные на покойную жену, строго расходовать на детей, и писать в том отчеты, и представлять их в Опеку, и предъявлять ревизорам счета и расписки, и доказывать, что он не воспользовался ни одной копейкой, а живет на свой пенсион в 14 рублей 27 копеек в месяц. Ученый-геолог, первый мастер сереброплавильного дела, специалист по добыче золота стал писцом, счетоводом. Старшую дочь, Марию, и младшего, Александра, взяла к себе на воспитание вместе с частью наследства сестра Василия Ивановича — вдова титулярного

советника Дарья Ивановна Беккер. Дочери Софья, Елена, Ольга, Елизавета были определены в закрытые институты, а сыновья Петр и Николай — в военные училища.

Василий Иванович до последних своих дней заботился об образовании детей. Дочери, кроме прочих наук, обучались музыке, за что Тистров вносил в институты по пятьдесят рублей в год. Купил дочери Марии сережки и уже дрожащей рукой вносил в отчет их стоимость. Хоть и разбросаны были дети по интернатам, но Василий Иванович был маяком, к которому тянулись все Тистровы. Собирались у отца на каникулы. Тистров крепил дружбу между детьми. Старший сын, Петр, уходя на военную службу, подарил свою долю наследства сестрам, а Василий, студент Горного института, просил выдать брату Николаю, отправляющемуся в поход, из своей доли сто рублей. И Василий Иванович оформляет документы, вносит в дебет и кредит каждому из детей, отчитывается перед Опекой, предъявляет документы ревизорам. Выдает своей сестре Беккер две серебряные ложечки для сына Александра и спешит занести в книгу расходов. Василий Иванович, в свое время уезжая на Ирбитскую ярмарку, получал от казны на разные закупки огромные суммы денег — по пятьдесят и больше тысяч рублей, сотни пудов серебра доверяли ему — он славился своей честностью и трудолюбием. И с каким же отвращением на старости лет перекладывал он серебряные ложечки, боясь утратить хоть одну из них, и ночью, страдая бессонницей, вдруг вскакивал и начинал искать сахарницу из «польского серебра».

Василий Иванович умер, когда при нем была только старшая дочь, Мария, вышедшая уже замуж. Все остальные дети учились в казенных пансионах, сыновья служили в армии или учились в закрытых военных учебных заведениях. Все они хранили по серебряной ложечке, сбереженной для них отцом.

Глава XXI

ПЕРВЫЙ УРОК

После гимназии Надя забежала домой, сменила гимназическую форму на черное платье (теперь после смерти отца она и Елизавета Васильевна целый год будут носить траур) и хотела ускользнуть из дома, чтобы не видела тетя Маша, но Мария Васильевна уже гремела тарелками в столовой и позвала племянницу:

— Надюша, обед готов. Ты вымыла руки? Мама ушла на урок и просила ее не ждать.

— Тетя Маша, я тоже спешу на урок. У меня нисколечко нет времени. Я выпью стакан молока, а пообедаю позже. Скажите мамочке, чтобы она не волновалась.

— Какой урок?

— Я все объясню после.

Надя чмокнула озадаченную тетю Машу в щеку, накинула пальто и шапочку, и каблучки ее башмаков уже быстро застучали по каменной лестнице.

С чем сравнить волнение первого трудового дня в жизни? Если человеку лет еще немного, он с этого дня становится уже самостоятельным, а если он великовозрастный, то только с этого дня он может считаться равноправным членом общества, равноправным членом семьи. В этот день начинает оформляться «я» и роль этого «я» в обществе. В четырнадцать лет стать самостоятельной — вот что привлекало Надю. Помочь маме, разделить с ней ее трудную судьбу. Купить на заработанные деньги подарок маме, приобрести себе башмаки. Но больше всего волновало Надю — поверят ли ей, справится ли она, и как преодолеть смущение, набраться храбрости, не робеть перед учеником и поверить в собственные силы.

Надя сначала бежала, затем вскочила на конку и с пылающими щеками, стоя у выхода, всматривалась в таблички

с названиями улиц, и ей казалось, что она уже безбожно опаздывает. Конка проезжала мимо часового магазина «Павел Буре», Надя выглянула в окно, чтобы узнать, который час,— все часы показывали разное время.

Конечная станция. Надя спрыгнула со ступенек конки и, перескакивая через весенние лужи, подошла к подъезду богатого дома. Еще раз взглянула на конверт, надписанный рукой Утина. Да, именно этот дом № 31. Теперь нужно подняться на второй этаж. На дубовой и высокой двери — выпуклая бронзовая голова льва, из пасти свешивается кольцо. Надя взялась за кольцо, чуть повернула его, и за дверью что-то тихо звякнуло; она повернула еще раз — зазвонил колокольчик. Это было забавно. Но в следующую минуту молодая девушка в белом переднике и белой кружевной наколке открыла дверь. Наде показалось, что она насмешливым взглядом встретила гостью.

— Вам чего, барышня? — спросила она низким, грубоватым голосом, который так не шел к ее тонкой фигуре и красивому личику.

Надя протянула конверт.

Горничная рассмеялась:

— Я ж не понимаю грамоте. Вы, наверное, к нашей барышне? Сейчас доложу барыне.

И, не дожидаясь ответа, горничная побежала в комнаты и вернулась вместе с миловидной дамой, одетой в красивое платье — серое с черным.

Надя сделала книксен и протянула конверт. Дама улыбнулась, распечатала письмо, поднесла к глазам лорнет и затем перевела взгляд с визитной карточки на гостью. Губы у нее дрожали от смеха, а лицо Нади горело от стыда. Ей не верят. Ее всерьез не принимают.

— Ну что ж, будем знакомы,— совсем просто и весело сказала молодая женщина.— Меня зовут Людмила Петровна. Раздевайтесь, и пойдемте знакомиться с вашей ученицей, но предупреждаю: моя Долли ленивая и не любит учиться.

Единственно, что ее увлекает,— это куклы. Уже несколько репетиторов отказалось заниматься с ней.

У Нади заныло под ложечкой. «Несколько репетиторов». А она? Ведь это просто дерзость назвать себя репетитором, учительницей!..

В детской комнате все было розовое: и одеяло на кровати, и пушистый ковер, и занавески на окнах, и обитые атласом стулья. А Долли предстала перед ними в клетчатом пестром платье, вымазанная во все цвета акварельных красок. Она рисовала портреты кукол, которые чинно сидели на столе, валялись на полу, на кровати, на софе. Казалось, целый игрушечный магазин перетащили сюда.

Огромный плюшевый мишка, у которого черный стеклянный глаз висел на ниточке, сидел в углу забытый и, по всему видно, нелюбимый. И если куклы были одна краше другой, блондинки и брюнетки, большие и маленькие, младенцы и маркизы с белыми буклями, то портреты у Долли получались все на одно лицо.

— Долли, познакомься. Это твоя учительница — Надежда Константиновна. Ты должна ее слушаться. Понимаешь?

— Понимаю,— с готовностью ответила Долли и внимательно посмотрела на Надю, удивленно округлив глаза.

Людмила Петровна ушла и за дверью рассмеялась — очень умилила ее эта юная учительница с толстой косой и такими открытыми, ясными детскими глазами.

Долли и Надя рассматривали друг друга.

Долли была упитанная, веселая, со счастливым смехом и беззаботным видом,— наверно, добрая и покладистая.

— Можно, я буду называть вас просто Надя?

Надя решительно отвергла такую вольность:

— Меня зовут Надежда Константиновна.

— А меня — Долли. А это мои куклы.— И, перехватив восхищенный взгляд своей учительницы, Долли, как вежливая хозяйка, стала знакомить: — Вот это — Бьюти, моя самая любимая, это — Нелли, это — Ксана, это... Я хочу всех

их нарисовать, но у меня не получается. А вы умеете рисовать?

— Я люблю рисовать и, пожалуй, умею,— ответила неуверенно учительница.— А ты рисуешь, наверно, по такому правилу...— Надя взяла цветной карандаш и на листе бумаги стала быстро набрасывать: — Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая, ручки,— Надя провела в сторону от головы две косые линии,— ножки, огуречик, вот и вышел человечек!

Долли рассмеялась и попросила повторить. И тут же стала рисовать на листах рожицы и отбрасывать прочь, приговаривая: «Точка, точка...»

Надя отобрала у нее бумагу:

— Не надо зря портить бумагу. Ее очень трудно делать.

— А вы знаете, как делают бумагу? — удивилась Долли.

— Да, и когда-нибудь расскажу.

Надя брала куклы, поправляла им волосы, платья, любовалась ими и сама превратилась просто в девочку. Она почувствовала неутолимое желание поиграть в куклы, которых у нее в детстве было не так уж много и, во всяком случае, не было дорогих, красивых, на которые она любовалась с отцом в витринах магазинов.

— Давайте, Надежда Константиновна, поиграем в куклы,— заговорщически прошептала Долли.

Надю осенило.

— Давай! — согласилась она.— Мы с тобой будем учительницы, а это наши ученицы. Где твой дневник? Что тебе задали в гимназии?

Долли нехотя извлекла из ранца дневник, перемазанный чернилами.

Надя нарезала маленькие квадратики из бумаги, усадила по краям стола кукол и перед каждой положила листок с написанной задачей или примером.

— Теперь пусть твои ученики решают задачи, а я займусь со своими.

— А моя Бьюти не может сообразить, сколько будет семью восемь,— развела руками Долли.

— А ты ей объясни.

— Я сама не знаю. Учу, учу таблицу умножения, но никогда в жизни не буду знать, сколько будет семью восемь.

— Напиши восемь раз цифру семь и сложи.

Долли так и сделала.

— У меня получилось пятьдесят пять.

— Неверно. Сложи еще раз.

Долли сморщила лоб, шептала, загибала пальцы и потом, стукнув кончиком карандаша свою Бьюти по лбу, нравоучительно произнесла:

— Ты глупенькая! Запомни, что семью восемь всегда будет пятьдесят шесть.

— Теперь будем решать задачу.— Надя заглянула в дневник Долли.— Пусть твои ученицы решат задачу № 389.

— Про яблоки? Я не могу решать про яблоки, у меня делается кисло за ушами. Давай лучше про груши. Груши я люблю.

— А мне кисло за ушами от твоей лени. Признайся, тебе не хочется подумать. Тогда давай думать вместе. Яблоко разделили на восемь частей...

Долли, подперев голову руками — такая она стала тяжелая,— внимательно слушала и шевелила губами.

— Бьюти досталось две пятых, Нелли — тоже две пятых, а Мишке — одна пятая,— торжествующе заключила Долли.

Надя порадовалась так, словно она сама изобрела паровую машину.

— Сейчас ты выучишь стихотворение Пушкина «Вурдалак» и прочтешь его и своим и моим ученицам. Я буду читать, а ты повторяй за мной.



Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой...—

читала наизусть Надя и рассаживала кукол-слушателей на диване.

...Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.

Горе! малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем.

Долли забралась в кресло с ногами:

— Не надо! Мне страшно.

— Да не бойся, не бойся,— смеялась Надя.— Ваня увидел, что

В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.

— Все равно мне страшно. На могиле собака гложет... Бррр...

— И все-таки мы с тобой выучим это стихотворение и не будем бояться собаки. У меня в детстве,— сказала Надя, напирая на слова «в детстве»,— была чудная собачка Карсончик. Мне подарили ее мальчики. Она была рыжеватая, с пушистым хвостом, только на боку у нее не было шерсти: кто-то обварил ее кипятком. Она всюду ходила за мной, и, когда мы уезжали из Студенца, она долго бежала за нашей коляской, и мне было так жалко ее, просто ужас! А потом мне написали, что Карсона зимой съели волки... Итак, начали:

Трусоват был Ваня бедный...

Людмила Петровна давно уже стояла у дверей и наблюдала, как юная учительница превратила скучное ученье в интересную игру и как ее Долли вот уже третий час послушно решает задачи, учит наизусть стихотворение. Вот читает

и волнуется, а учительница с карандашом в руках стоит перед ней, как дирижер, и в такт взмахивает палочкой и стучит ею по столу, если Долли ошибается. Долли краснеет, поправляется и старается изо всех сил.

— Я вам очень благодарна, Надя,— говорит Людмила Петровна.— Если и дальше у вас так пойдет, вы несомненно привьете моей дочке любовь к учению. У вас талант педагога. Не зарывайте его в землю. Еще раз большое спасибо,— пожала на прощанье руку Людмила Петровна.

— Мамочка, у меня сегодня был первый урок! — раздеваясь в передней, кричала восторженно Надя.— Прошел отлично! Я буду получать двадцать рублей в месяц... Тетя Маша, поздравьте меня! — Надя, перекинув косу через плечо, вбежала в столовую и... осеклась. Поняла — мама сердита. Конечно, надо было сказать, спросить разрешения, посоветоваться. Почему она этого не сделала, Надя не умеет объяснить. Может быть, опасалась, что мама не разрешит, она привыкла все бремя нести сама; она и Надю носила бы до сих пор на руках,— каждый день с тревогой осматривает, не похудела ли.

Удивительные мамы! Они ценят своих детей по весу и росту. Растет и полнеет — значит, все хорошо.

Елизавета Васильевна приучала свою дочь к труду, но трудности предпочитала нести сама. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел»,— любила она повторять пушкинские строки.

— Почему, почему ты скрыла от меня? Что это за семья? Кто тебя рекомендовал?

Надя стояла ошеломленная. Слишком резкий переход был от радости, от благодарности, которую она получила от незнакомой женщины, к упрекам матери, горьким и — Надя понимала — справедливым.

— Несколько дней назад к нам приходил господин Утин.

Он сам предложил мне урок. Я его ни о чем не просила. Он написал несколько слов на визитной карточке и на конверте адрес, по которому я должна пойти. Я не знаю, что это за семья. Богатые люди. Милая хозяйка Людмила Петровна и ее дочка Долли, с которой я должна заниматься. Людмила Петровна меня похвалила...

Надя заплетала и расплетала кончик косы, натягивая пряди волос, как струны. Она видела, что лицо матери все более становилось мрачным и огорченным. Что же она сделала плохого?

Елизавета Васильевна встала и холодным, чужим голосом произнесла:

— Завтра я поеду к этой Людмиле Петровне, извинюсь, и ты от этого урока откажешься.

— Но почему? — с отчаянием вырвалось у Нади.— Почему я должна отказаться? И разве двадцать рублей лишние в нашем доме? — Надя обвела глазами голый стол, стулья.

Мария Васильевна решила вмешаться в этот острый конфликт:

— Лиза, почему Надюша не может взять этот урок? Это не помешает ей также отлично учиться в гимназии.

— Это подачка от Утина. Костя никогда не принял бы ее. Никогда!

Надя вспыхнула:

— Почему подачка? Мне платят за уроки, за мой труд. Я ни за что не откажусь от этого урока. Я хочу жить самостоятельно. Са-мо-стоя...

Надя не договорила и, не в силах сдержать слез, убежала к себе в комнату. Приложила горячее лицо к оконному стеклу. Там, на улице, шла своя жизнь, и мама хочет, чтобы она, Надя, наблюдала эту жизнь из окна.

Надя остро переживала эту первую серьезную размолвку с матерью. С отцом отношения были гармоничные, добрые. С ним невозможно было бы поссориться, потому что он всегда хотел понять ее, Надю. Надя любила мать самозаб-

венно, но ей хотелось быть с ней равноправной во всех горестях, трудностях, а мама отстраняла ее от трудностей, даже скрывала, когда в доме не было денег, чтобы купить кружку молока и фунт ситного. Все это глубоко задевало и ранило девочку.

Как добиться равноправия с мамой? Этот вопрос мучил Надю.

Глава XXII

ПАНСИОНАТ

На длинном столе расстелена белоснежная, туго накрахмаленная скатерть с заутюженной складкой посередине. У каждого прибора свернутая в трубочку и засунутая в кольцо салфетка. В низеньких вазочках букеты мелких астр. Протертые лампадным маслом венские стулья вокруг стола блестят новизной. Белые тюлевые занавески на высоких окнах, кафельная печка с ярко начищенными медными вьюшками, заслонкой и поддоном и две большие лампы-«молнии» над столом придавали столовой праздничный, прямо парадный вид.

Елизавета Васильевна, Надя и их помощница Клаша сбились с ног, готовясь к этому обеду. В пять часов придут обедать восемь нахлебников, в числе которых и Борис Андреевич. Он проявлял самый живой интерес к предприятию Елизаветы Васильевны, которое он назвал «Пансионат мадам Элизабет и компания». Компаньонами он считал Надю, повариху Клашу, а себя — главным консультантом. Елизавета Васильевна сняла большую, в шесть комнат, квартиру. В одной комнате устроились они с Надей, самая большая была отведена под столовую, а в четырех комнатах поселились квартиранты, или, как их называли, «нахлебники». Одна знакомая уже несколько лет держит квартирантов и

нахлебников и, по ее словам, живет безбедно, да еще каждый месяц прикупает ценные бумаги в банке.

Но перед тем как открыть это «предприятие», сулившее большую прибыль и безбедное существование, пришлось пережить немало бед. Вслед за Константином Игнатьевичем умер его брат Александр Игнатьевич — последняя опора всех Крупских. Помня отношение Константина Игнатьевича к Утину и их последний разговор, Елизавета Васильевна посчитала за оскорбление памяти мужа принимать от него помощь, в какой бы форме эта помощь ни выражалась. Она сама поехала к Людмиле Петровне и объяснила, что ее дочь по состоянию слабого здоровья не может давать уроки.

Это был первый тяжелый конфликт с Надей, когда, казалось, добрые, дружеские отношения неисправимо нарушены. Обе страдали от этого, и обе не сдавались. Елизавета Васильевна не сказала Наде истинной причины, почему она должна отказаться от этого урока.

Казалось, выхода из нужды не было. За обучение Нади в гимназии и за учебные пособия надо было платить двести пять рублей в год при ста восьми рублях пенсии.

И вдруг пришло сообщение: из Варшавы поступили деньги, почти десять тысяч рублей,— жалованье Константина Игнатьевича за семь лет. Деньги большие. Но нужно было расплатиться с долгами. Одновременно в Петербургском коммерческом суде было возбуждено дело против несовершеннолетней наследницы Надежды Крупской о взыскании с нее восьмисот рублей по векселю, выданному Константином Крупским в январе 1874 года ростовщику в Варшаве. Вексель на пятьсот рублей и проценты по нему за десять лет — триста рублей.

Елизавета Васильевна была несколько встревожена, что дочь должна предстать перед судом как обвиняемая. Мать не показала дочери повестку с вызовом в суд, а, посоветовавшись с Борисом Андреевичем, написала в Петербургский коммерческий суд письмо, в котором указывала, что, «не

желая подвергать дочь судебному разбирательству», она просит взыскать и долг и проценты без вызова дочери в суд.

Остальные деньги Елизавета Васильевна решила расходовать экономно, чтобы дочь могла еще по крайней мере восемь лет учиться и получить высшее образование. Поэтому Елизавета Васильевна решила открыть «прибыльное» предприятие.

Со свойственной Елизавете Васильевне энергией были закуплены кровати, столики, половики, постельное и столовое белье, всякая посуда. Елизавета Васильевна делала это на широкую ногу, рассчитав, что за год все расходы окупятся.

Наде предприятие это не нравилось: оно обрекало и мать и ее на вечную стряпню и походы на рынок и в магазины. Но Елизавета Васильевна убедила дочь, что она должна трудиться и не гнушаться никакой работы. Перед такими аргументами Надя сдалась.

Борис Андреевич слабо верил в успех предприятия. Он ссылался на экономические кризисы, в частности на кризис, который в то время сотрясал Северо-Американские Соединенные Штаты, разоряя крупнейшие фирмы. Это был кризис перепроизводства, когда товаров производилось больше покупательной способности населения. Но Елизавета Васильевна уверяла профессора, что кризис перепроизводства ей не угрожает. Ее квартиранты в большинстве молодые люди с отличным аппетитом.

К пяти часам все нахлебники были за столом. Надя с Клашей еле успевали разносить тарелки с вкусно пахнущим борщом, причем студент из третьей комнаты, высокого роста, широкий в кости, к удовольствию Нади и Елизаветы Васильевны, просил «повторить» борщ. Пришлись по вкусу и свиные отбивные с жареной картошкой и солеными огурцами. Не только студент, но и акцизный чиновник попросил «повторить». Маленькая, худенькая Елена Георгиевна — портниха из модной лавки — ела мало, но половину отбивной попросила разрешения взять с собой. На всех трех хозяев

осталась одна отбивная, от которой отказались и Елизавета Васильевна и Надя. От вечернего чая не осталось крендельков.

Скатерть приходилось менять не раз в неделю, как предполагалось, а три раза, потому что от рукавов мужчин скатерть по краям принимала траурный цвет. Отставной штабс-капитан был стар, у него дрожали руки, и он проливал первое и соус на скатерть. По вечерам мужчины в столовой играли в преферанс, курили. Тюлевые шторы через две недели почернели. Продуктов выходило в полтора и два раза больше, чем предполагалось, посуда билась «сама по себе», масляная краска на полах вытиралась. Появились совершенно непредвиденные расходы: трубочист, точильщик, уборка мусора, рассеянные жильцы теряли ключи от парадной и от своих комнат.

Надя стоически, без жалоб и упреков, убирала комнаты жильцов, накрывала на стол, мыла посуду, с тяжелой головой готовила уроки и, не выспавшись, внутренне неудовлетворенная, шла в гимназию. Ей хотелось «сеять разумное, доброе», а вместо этого стряпня, посуда, посуда...

Первый месяц был закончен с убытком.

— Вы, сударыня, не умеете вышибать прибыль,— выговаривал Борис Андреевич Елизавете Васильевне.— Где это видано, чтобы владелец ресторана или трактира жил впроголодь и терпел лишения ради того, чтобы его клиенты вкусно пили и ели! Надо кормить подешевле, то есть похуже, или брать подороже.

Елизавета Васильевна разводила руками:

— Но ведь не может Леночка платить больше. Она работает в мастерской по двенадцати часов и живет вместе со старушкой-матерью. Они и так берут один обед на двоих.

— И за комнату платят меньше, чем платите за нее вы сами,— уличал Борис Андреевич.

— Нет-нет, как хотите, но с этих женщин нельзя брать больше! Это было бы бесчеловечно.

— А тот библиотекарь, что прожил неделю?

— Василий Иванович-то? — всплеснула руками Елизавета Васильевна.— Неужто вы и его попрекать вздумаете? Его же арестовали, и он не успел уплатить.

— А студент, который ест за троих? — не унимался профессор.

— Он ест за себя и за вас,— уже обиделась Елизавета Васильевна.

Надя стояла поодаль и слушала эту полушутливую перебранку.

Профессор шагал из угла в угол.

— Я на правах вашего старого друга должен вам сказать: если у вас есть лишние деньги, тогда давайте бесплатные обеды для бедных. Если их нет— а я-то знаю, что нет,— тогда прекратите предпринимательскую деятельность, это вам не по плечу. Надо ценить свой труд, а вы его не цените. Лучше давайте уроки французского языка.

— Но ведь за уроки тоже надо деньги брать? — вмешалась в разговор Надя.

— Безусловно. Вы продаете свой труд, свои знания и получаете за это деньги.— Борис Андреевич рассердился.

Через несколько месяцев Елизавета Васильевна вынуждена была рассчитать Клашу.

— Как видите, все признаки экономического кризиса налицо,— шутил Борис Андреевич.— Предприниматель рассчитывает рабочих... Право, дорогая Елизавета Васильевна, закрывайте это дело.

Надя категорически заявила матери, что она берет учеников и будет давать уроки.

— Нет, Надюша милая, пока ты не кончишь гимназию, не получишь высшего образования, зарабатывать на жизнь буду я, а там ты найдешь хорошее место и будешь содержать старуху мать.

Такие разговоры между матерью и дочерью возникали всё чаще. Елизавета Васильевна огорчалась, что дочь растет

упрямой, и понимала, что между ними вырастает стеночка отчужденности. И вместе с тем она не могла допустить, чтобы дочь осталась без образования; ее пугала бледность Нади, она боялась, что дочь унаследовала от отца слабые легкие. Борис Андреевич уверял Елизавету Васильевну, что здоровье у девочки отличное и что все петербургские барышни деревенский румянец считают неприличным.

А вот Елизавета Васильевна действительно нездорова, и если она не подумает о себе, то Надя останется круглой сиротой.

И Елизавета Васильевна признала, что потерпела поражение. Квартирантам и нахлебникам пришлось отказать. Не обошлось здесь без упреков с их стороны. Акцизный чиновник ворчал, что его обманули: полгода вкусно кормили и поили, с тем чтобы потом отказать, и теперь он должен искать новый пансионат, и что неблагородно «обманывать» людей. Все квартиранты расставались с пансионатом с большим сожалением, а маленькая швея из модной лавки и ее мать со слезами на глазах благодарили за райскую жизнь, которую они познали здесь. Студент, шумно вздыхая, протянул свою визитную карточку и попросил немедленно ему сообщить, если мадам Крупская вновь откроет пансионат,— он будет у них первым нахлебником. Он долго тряс руку Елизаветы Васильевны и пылко поцеловал руку Нади.

Началась распродажа имущества. Когда покупали, не могли найти подешевле, а когда стали продавать, оказалось, что все эти кровати, стулья и столы никому не нужны, и каждый, кто покупал их, словно делал одолжение.

Это предприятие, сулившее такой успех и прибыль, съело много из их сбережений.

Елизавета Васильевна расклеивала объявления, что «дама со специальным образованием предлагает давать уроки французского, немецкого языков и готовит по всем предметам за старшие классы гимназии».

Глава XXIII

У ПОРОГА

Вечером у Нади собрались подруги по гимназии. Саша Григорьева принесла томик избранных произведений недавно умершего Ивана Сергеевича Тургенева. Пришла Муся Дебагорий, очень способная девочка, она училась на круглые пятерки, но мало задумывалась над своим будущим. Муся была кумиром в семье, и пятерки стали какой-то самоцелью в жизни. Пришла Маша Юрковская. Она училась по-прежнему в Литейной гимназии, но вошла в девичий круг гимназии Оболенской. Маша была красивая, мечтательная девочка, с большими артистическими данными, которые она проявляла всегда и во всем. И никто еще тогда не знал, что Маша Юрковская станет талантливой артисткой Художественного театра — Марией Федоровной Андреевой, будет верным соратником Ленина, другом и женой Максима Горького. Давыдова Лида, как всегда, привела с собой младшую сестренку Марусю. Их отец был директором консерватории, и Лида часто приглашала гимназических подруг на концерты. Маруся бросилась на шею Нади, они о чем-то пошептались, Маруся получила книжку с картинками и устроилась на маленькой скамеечке, а стул служил ей столом. Она не должна была мешать старшим девочкам спорить и учить уроки. И Маруся терпеливо ждала, перелистывая книгу: знала, что не выдержат долго «старшие» томительного молчания. Первой начнет толстуха Вера Крахоткина. Она будет сначала фыркать, и все девочки уставятся на нее глазами. Вера изо всех сил будет сжимать губы, а потом разразится смехом, заливчатым, со слезами. И все девочки начнут смеяться как сумасшедшие, глядя на нее. И такой смех поднимется за столом, и все будут ждать, что скажет Вера, а Вера скажет такое несмешное, что потом все будут смеяться, чего это она нашла смешного. А отсмеявшись, снова углубятся в книги.

Позже всех в этот вечер пришла Люба Плещеева. У Любы всегда были с собой новые стихи отца, которые она охотно давала списывать подругам. Душевная, поэтически настроенная, она была любимицей всего класса. В этот вечер Люба не вошла, а влетела:

— Девочки, завтра будут хоронить Тургенева... На Волковом кладбище. Это совершенно точно. Папа сказал. Он написал стихи, которые будет читать у могилы Ивана Сергеевича.

— Прочти, прочти! — стали просить взволнованные девочки.

— Пусть лучше Маша прочтет.

Маша Юрковская не заставила себя долго просить. Широко открыла большие, удивительно чистого карего цвета глаза и стала читать:

...Когда, исполненный смиренья,
Народ наш в рабстве изнывал,
Великий день освобожденья
К нему ты страстно призывал...

Девочки стояли вокруг воображаемой могилы молчаливые и опечаленные.

Иван Сергеевич Тургенев умер в Париже 22 августа 1883 года. В Петербург его привезли только 27 сентября. Царское правительство сделало все, чтобы похороны любимого народом писателя не превратились в политическую демонстрацию против царизма. Полиция снимала со стен портреты писателя в траурной рамке, запретила военным и официальным чинам участвовать в похоронной процессии, произносить речи, жандармы оцепили весь путь от Варшавского вокзала до Волкова кладбища. Три дня оцинкованный гроб с телом Тургенева держали на границе, чтобы жители столицы не знали о дне похорон писателя.

В этот вечер учебники были отодвинуты в сторону, а на столе разложили любимые книжки Тургенева. Девочки уже

успели прочитать и перечитать «Первую любовь», и Ася была близка каждой из них. И так много было непонятного, но заманчивого, куда-то и на что-то зовущего в романе «Отцы и дети». И новое слово «нигилист» звучало призывно.

Саша раскрыла книжку «Стихотворений в прозе» Тургенева.

— Давайте прочитаем «Порог».

И опять девочки просят Машу прочитать это стихотворение, полное глубокого смысла, написанное писателем уже на склоне лет, но в расцвете таланта, написанное за пять лет до смерти.

Маша читает так, что девочки затаив дыхание видят эту русскую девушку, стоящую перед высоким порогом. Каждая видит вместе с ней и себя.

— «О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю,— отвечает девушка».

«Знаю»,— мысленно отвечает Надя.

— «Холод, голод, ненависть...» — раздельно читает Маша, и девочки понимают, сколько бед свалится на их плечи, переступи они этот порог.

«Знаю... знаю... Перенесу все страдания, все удары. Отчуждение полное. Одиночество...»

— «Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ».

— Так дура или святая? — спросила Муся Дебагорий.— Ведь она готова была разувериться в том, чему верила, переступая порог, и, переступая, знала, что даром губит свою жизнь. К чему бессмысленная жертва? Зачем же она решила переступить порог? Ради любопытства?

— Ради веры,— горячо отстаивала девушку Маша.— Она верила и поэтому переступила. Заклинания, что она может даром погубить свою молодую жизнь, не могли сломить ее воли и жажды.

— Ты переступила бы? — спросила Надю Саша.

— Да.

И все они, эти девочки, не задумываясь сказали: «Да!» Только Вера Крахоткина призналась простодушно, что ей страшно было бы переступить, Муся пожала плечами, а маленькая Маруся, положив голову на стул, сладко спала.

— Я хотела бы знать, ради чего я переступаю и что меня ждет за этим высоким порогом,— настаивала Муся Дебагорий.

— Ты очень практична,— заметила Саша.

— Но вы же согласны погибнуть, как слепые щенята, не зная, во имя чего,— не сдавалась Муся.

— Я так думаю: если переступаешь высокий порог, то значит, веришь во что-то хорошее, и если погибнешь, то просто станешь еще одной ступенькой к этому хорошему,— сказала Надя.

Маша сидела на подоконнике, листала книгу.

— Девочки, вы послушайте, что написал Иван Сергеевич за год до смерти, когда был уже тяжко болен и понимал, что конец близок и что он умирает на чужбине.

Маша соскользнула с подоконника, встала посередине комнаты и со слезами на глазах начала читать:

— «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаянье при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

— Девочки, подружки мои дорогие, ведь это завещание нам, молодым, чтобы мы несли великое слово людям, чтобы это слово окрыляло людей, вселяло уверенность, чтобы все русские девушки могли переступить через высокий порог жизни, преодолеть все трудности и невзгоды, зная, что это сулит всем людям счастье!

...Утром, когда девочки шли в гимназию, полиция — конная и пешая — выстроилась в непроницаемый кордон от Варшавского вокзала по Измайловскому, Забалканскому, Клинскому, Загородному проспектам, по Лиговке, Расстанной улице до самого Волкова кладбища. А за стеной полиции тысячи, десятки тысяч человек провожали писателя.

Все примыкающие улицы были забаррикадированы перекрещенными столбами, чтобы не допустить людей «со стороны». За гробом шествовали только делегации, которые высоко, как хоругви, несли венки — более двухсот — на длинных шестах, и на венках развевались ленты со словами любви, благодарности, признательности. Здесь не было венков от правительства, царского двора, не было венков от чиновного мира и от генералов. И из толпы, провожавшей Ивана Сергеевича, с обеих сторон улицы к золоченому балдахину летели розы, розы, розы. «Как хороши, как свежи были розы...» — слышалось кругом. И чьи-то руки из толпы подняли венок: «От умерших — бессмертному». От декабристов, от народовольцев, от Халтурина и Перовской, от Бестужева-Рюмина и Желябова — так поняли эту надпись люди. Полицейские вырвали из рук венок и затоптали его. И новый венок закачался между двух шестов как повешенный. «От заживо погребенных» — было написано белым на черной ленте.

Полиция преградила путь на кладбище, пропуская узенькой струйкой делегации. Оттеснила молодежь. Но с крыш складов, конюшен, телеграфных столбов и могучих тополей, с которых облетали листья, молодежь посылала слова прощания.

— «Стой! — сильным басом декламировал тургеневские строки высокий, с кудрявой бородкой молодой человек.— И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!»

А за стеной, на кладбище, у раскрытой могилы, громко звучал голос Плещеева:

...За человеческое право
Являлся честным ты бойцом.

Глава XXIV

ГУВЕРНАНТКА

Елизавета Васильевна сидела за швейной машинкой — шила Наде белое платье к выпускному балу. Каждый раз останавливая ладонью сверкающий диск машинки, она вытягивала сшитые куски материи, привычным движением обрывала нитку и тонкими пальцами завязывала аккуратный узелок. И каждый раз при этом вздыхала. Кажется, Наде придется повторить судьбу своей матери. И это страшило ее, Елизавету Васильевну. Судьба гувернантки. В помещичьей семье ее «приставляли» к детям и часто требовали невозможного, чтобы тупое, откормленное дитя постигло науки, чтобы девочки были обучены хорошим манерам, чтобы «не стыдно было вывести в невесты». И невежды, малограмотные родители, вмешивались в учебный процесс, выговаривали гувернантке, как учить и чему учить. Гувернантка, молодая, образованная, попадала в дом, где часто, кроме приходо-расходной книги да часослова, никаких других книг не водилось, где почитали только мамону — бога обжорства, стяжательства.

Елизавете Васильевне довелось быть гувернанткой в по-

мещичьем доме Виленской губернии. Четверо девочек, которых она обучала, были ее защитой от свирепого самодура-помещика. Молоденькая гувернантка проклинала свою миловидность, и тонкую талию, и матовый цвет лица. Она часто просиживала перед зеркалом, стараясь сделать такую прическу и так перешить платье, чтобы только не выглядеть привлекательной. Она ни на минуту не расставалась с детьми, которые ее очень любили и каким-то чутьем понимали, что они охраняют своим присутствием обожаемую мадемуазель Элизабет.

Жена помещика Мавра Яковлевна, апатичная, тупая толстая женщина, занималась тем, что утром выдавала прислуге продукты, мыло, спички, соль и керосин, а потом сидела в гостиной, выслушивала сплетни приживалки Федоры, жаловалась ей на колики в груди, на свою несчастную замужнюю жизнь, вспоминала свою первую любовь. Федора гадала ей на картах и сулила перемену в жизни, деньги и трефовый интерес. Но никаких перемен не было, денег Мавра Яковлевна в руках просто никогда не имела, приданым ее распоряжался муж — Никанор Демидович, а трефовый интерес на горизонте так и не появился.

Пыталась Мавра Яковлевна завести дружбу с гувернанткой, но гордая девушка уклонялась от выслушивания душевных излияний Мавры Яковлевны, не имела потребности делиться с ней своими мыслями, отвергала все домогательства помещицы, сватавшей ее за управляющего соседним имением.

Гувернантка хотела, чтобы дети этих невежественных и жестоких людей выросли другими, ей казалось под силу привить им благородные черты, гуманизм. Но юная Лиза Тистрова не знала еще тогда, что одного ее желания недостаточно, чтобы изменить уклад помещичьей семьи. У них было несколько сот душ крепостных, и дети, которых она обучала грамоте, языкам и музыке,— это тоже будущие помещики-крепостники. Как могла эта хрупкая девушка сохра-

нить себя в этом волчьем логове, заставить помещика держаться от нее на почтительном расстоянии? Однажды вечером он настиг ее на лестнице, когда она, уложив детей, шла к себе в комнату. Она подняла горящую керосиновую лампу, подняла ее как бомбу, готовая бросить ее оземь, чтобы огненной стеной оградить себя. И помещик отступил. На следующий день, встретив ее в саду, просил простить его «вчерашнее поведение», не покидать его дом. Лиза осталась, зная, что теперь ей не грозит опасность.

К своим дочерям Никанор Демидович не заходил, и они его вовсе не интересовали. «Растут четыре девки, четыре невесты, надо готовить четыре приданых — какой из них толк»,— говаривал он.

Однажды рано утром, едва светало, Елизавета Васильевна проснулась от какого-то странного ощущения, от какого-то страшного клекота, гогота и стонов. Накинула на плечи платок и подбежала к окну, прильнула к стеклу. Во дворе большой выводок индеек, потрясая налившимися кровью голыми, безобразными головами, накидывался на рогожный куль, и клевал, клевал с диким гоготаньем. Снег вокруг куля покраснел. Большой мешок, в чем обычно перевозят и хранят зерно, лежал неподвижно. «Это мне показалось, что он корчился»,— старалась отогнать от себя страшные догадки молодая девушка. Поодаль стояли Никанор Демидович и дворецкий. Помещик, сложив руки на груди, мрачно наблюдал, как индюки расправлялись с кулем, выклевывая из него что-то. Дворецкий, осклабившись, переводил взгляд с индеек на хозяина. Наконец помещик махнул рукой и, постучав нога об ногу, чтобы сбить с сапог снег, направился к крыльцу. Два конюха выбежали из сарая и, схватив куль за углы, поволокли куда-то в глубь двора, оставляя на молодом снегу черно-красные полосы...

Весь день эта сцена не давала покоя Елизавете Васильевне. Горничная, встретившись с ней взглядом, отвернулась и всхлипнула. За обедом супруги сидели молча. Девушки,

подававшие обед, были чем-то насмерть перепуганы, руки у них дрожали, одна из них расплескала суп на скатерть. Но сегодня никто не замечал оплошностей. Вечером Елизавета Васильевна вышла в сени, следом за ней выскочила кухарка — жена одного из конюхов, и, прильнув к уху гувернантки распаренным от слез лицом, прошептала: «Наш барин Феклушку до смерти забил и в рогожку с пшеницей зашил, будто индюшки ее, Феклушку-то, заклевали насмерть».

Елизавета Васильевна, запахнув платок, вышла в сад, побежала в дальний конец, где жил садовник со своей дочкой-подростком Феклушей. На землю сыпались крупные белые звезды снега, готовили землю к морозу, укрывали белым теплым одеялом озимые поля, сберегали труд пахарей и с таким же тщанием затягивали белым покрывалом черно-красные полосы во дворе, уничтожая следы страшного преступления.

Елизавета Васильевна долго стучала в темное окошко избушки садовника, позвякивала кольцом у двери. Никто не откликнулся. Куда он ушел, что с ним? Следы маленьких ног гувернантки истоптали за эту ночь все тропинки в саду, а утром она уезжала. Никанор Демидович не вышел проститься, через дворецкого передал деньги. Мавра Яковлевна тоже не спросила о причине столь внезапного отъезда гувернантки — поняла и только, поджав губы, как бы про себя заметила: «Нервы у барышень ноне больно слабые». Все четыре девочки рыдали навзрыд, уцепившись за руки, за платье мадемуазель Элизабет. Они понимали, что вместе с ней уходит все прекрасное из их жизни. Они были просто детьми и еще не ведали, какая дорога им была уготована. И молодая гувернантка горько плакала, освобождаясь от их рук, которые еще были безгрешны, а их слезы — чисты.

Но неужто Наде тоже суждено быть гувернанткой? Других путей нет. Бестужевские курсы, которые давали женщине высшее образование, просуществовав восемь лет, в этом

году, в год окончания Надей гимназии, были закрыты, как был закрыт доступ женщинам во все высшие учебные заведения и отдан строгий приказ, чтобы в гимназии не принимались кухаркины и дворниковы дети. Александр III, перепуганный убийством отца, завинчивал в государстве все гайки, чтобы не было доступа свежим веяниям, чтобы Россия задохнулась в темноте, невежестве. Закрывались учебные заведения. Строились кабаки. Закрывались больницы, возводились тюрьмы. Тень виселицы покрывала всю Россию, петля на этой виселице душила все молодое, яркое. Александр III был личным врагом каждой мыслящей русской женщины. Он начал свое царствование с того, что повесил женщину — Софью Перовскую. Это была первая публичная казнь женщины в России, и этим актом царь возвестил, что он презирает женщину как мыслящее, свободолюбивое существо, женщину, которая производит на свет людей для счастья, для свободы. С каким наслаждением он повесил бы и другую Софью — Софью Ковалевскую, которая уже своим одним существованием возбуждает умы русских женщин. Да не дотянуться до нее царю. Русская женщина — Софья Ковалевская возглавляет кафедру Стокгольмского университета. Какое дело женщине до формы кольца Сатурна, до абелевых интегралов, до преломления света в кристаллах? Рожала бы лучше детей.

Но в черном мраке России светили яркие созвездия, и их не в силах был погасить, затоптать даже такой тяжкий сапог, как сапог российского императора. Трудно пробить мрак, но светильники ума — Чернышевский и Герцен, Добролюбов и Писарев, Некрасов и Белинский освещали путь молодежи. Особой притягательной силой для молодежи был ее современник Лев Николаевич Толстой.

Что делать? — это был вопрос всех вопросов, всех проблем, будущего человечества. Что делать? — спрашивал Чернышевский и в книге под таким названием пытался ответить. Что делать? — спрашивала молодежь. Что делать,

чтобы приносить людям пользу? — спрашивала Надя свою мать, Бориса Андреевича, подруг, саму себя, перечитаны десятки книг, а ответа нет.

«Так что же нам делать?» — переспрашивал и Лев Николаевич Толстой.

Для женщины заказаны все пути и дороги в России. Только материнство, только кухня, только тяжкая работа в поле. Журнал «Русское богатство» №№ 5 и 6 за 1886 год вышли одновременно с царским указом о закрытии женских учебных заведений.

Великий писатель в статье «Женщины» писал, что женщине по ее природе предначертано проводить «большую часть своей жизни в свойственном исключительно ей труде рождения, кормления и возращения детей...».

В другой статье Лев Николаевич развивает эту мысль дальше:

«Идеальная женщина, по мне, будет та, которая, усвоив высшее миросозерцание того времени, в котором она живет, отдается своему женскому, непреодолимо вложенному в нее призванию — родит, выкормит и воспитает наибольшее количество детей, способных работать для людей, по усвоенному ей миросозерцанию.

Для того же чтобы усвоить себе высшее миросозерцание, мне кажется, нет надобности посещать курсы, а нужно только прочесть Евангелие и не закрывать глаз, ушей и, главное, сердце».

Да, великий писатель признавал за женщиной единственное право — быть только матерью. И в сумерки белых ночей гимназистки старших классов слетались, как стайки птиц перед отлетом. И в их гомоне слышались скорбные нотки, нотки отчаяния.

Глава XXV

«УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЮ...»

В тишине прозвенел смелый и уверенный голос Маши Юрковской:

— И все же я считаю, что выход есть: надо идти в актрисы.

Она отодвинула от себя тетрадь с ненавистными геометрическими фигурами, в которую она уже успела зарисовать любимую актрису Полину Стрепетову в разных ролях.

Девочки разом сунули ручки в непроливашки, и вопрос всех вопросов — что же дальше? — заслонил все; подруги забыли, что скоро будут выпускные экзамены и надо к ним готовиться.

Над столом слегка покачивалась лампа-«молния» под белым абажуром, освещала девичьи головки и косы: черные и блестящие у Саши Григорьевой, медные у Маши Юрковской, золотистую длинную пушистую косу—зависть всех гимназисток — у Нади Крупской, тоненькие косички Любы Плещеевой, замысловато, в восемь прядей, заплетенную косу у Лели Крупской, Надиной кузины. Люба Давыдова носила косу, подвязывая кончик ее к затылку, и пышные волосы прикрывали всю спину. На столе в тарелках были насыпаны девчоночьи лакомства: турецкие стручки, коричневую кожу которых могли одолеть только молодые зубы; маковки с орехами, разноцветный прозрачный ландрин, мятные пряники и жареные семечки.

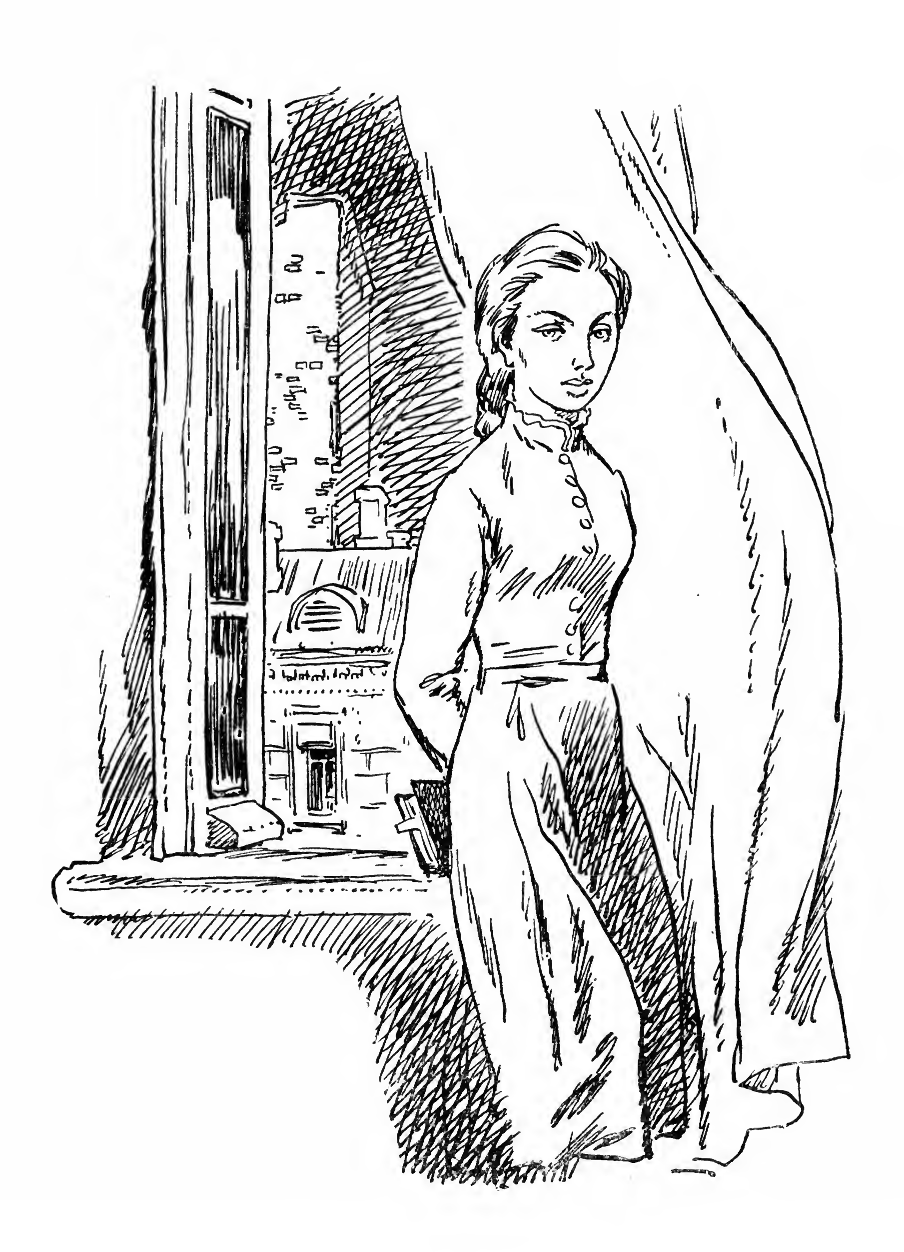
По краю стола — тетради в клеточку, линейки, циркули. А за окном — непроглядная темень.

Каждая девочка примеряла слова Маши к себе.

— А если нет таланта? — спросила Надя.

— Талант есть у каждой, только его развивать надо.

Вопрос о сцене Маша Юрковская решила для себя еще в третьем классе гимназии, когда увидела в гостях у матери



начинающую еще тогда оперную певицу Мравину, первую красавицу Петербурга.

Живая, фантазерка, Леля Крупская вскочила со стула и, зажмурив глаза, раскинув руки, мечтала вслух:

— Девочки, это же самая чудесная профессия! Умопомрачительные костюмы, бриллианты, аплодисменты, дождь цветов... Ты выходишь из театра, и за тобой бегут твои поклонники и поклонницы, хватают снег из-под твоих каблуков и глотают его или выпрягают лошадей и везут тебя домой!

— Если все девчонки станут актрисами, то не хватит ни театров, ни бриллиантов, ни цветов.

В доме директора консерватории собирался цвет театрального и музыкального Петербурга, и маленькая Маруся Давыдова, наслышавшаяся дома всяких историй об актрисах, выглянув из-за кресла, значительно произнесла:

— Самой хорошей артисткой будет Надя: у нее коса длиннее ваших.

Девочки рассмеялись.

— Мышка, если не хочешь, чтобы я тебя отправила домой, сиди и не слушай, о чем мы тут разговариваем, — строго предупредила сестра, сделав знак девочкам, чтобы они сдвинулись ближе. Девочки забрались с ногами на стулья и соединили головы над столом.

— Вы не знаете, девочки, — шептала Люба Давыдова, — какая страшная жизнь у актрис... Сейчас весь Петербург говорит о том, что царь предложил Мравиной быть «подругой» его сына, наследника Николая. А Николай только на портретах красивый. Я его видела из папиной ложи, совсем близко, — он прыщеватый, с водянистыми глазами. Бр-р-р!.. Мравина отказалась стать его подругой, и теперь, говорят, ее артистическая карьера кончилась.

Саша Григорьева тряхнула головой:

— А я бы согласилась стать его подругой!

Девочки ахнули:

— Ты с ума сошла!

— Нет. Я пришла бы к нему и убила его. Еще одним царем стало бы меньше.

Надя содрогнулась. Ей стало жаль Мравину, этого кумира всех молодых людей Петербурга. Попасть в театр, когда пела Мравина, было не просто... Женщина не имеет права даже быть красивой, потому что ее красотой может распорядиться этот слоноподобный, тупой и жестокий Александр III.

— Как, наверно, страшно быть красивой... — задумчиво сказала Надя.

— Ты себя считаешь некрасивой? — удивилась Леля Крупская.

— Конечно.

Девочки наперебой и бесцеременно стали оценивать достоинства Нади:

— У тебя большие, настоящие петербургские глаза!

— У тебя цвет лица, как у Мравиной.

— Такой косы чистого золота нет ни у кого.

— У тебя красивая фигура...

— Оставьте, — слабо защищалась Надя.

Елизавета Васильевна, заглянув в комнату к девочкам, видела, что они взъерошены, встревожены, и очень опасалась, что Надя не подготовится к экзаменам, не получит золотой медали, и тогда ее могут не зачислить на дополнительный учительский класс. Но не в ее правилах было мешать девочкам, когда они собирались у Нади. Девчоночьи мечты, маленькие секреты — лучше матери не вмешиваться в это.

Девочки стали выбирать себе роли. Маша Юрковская мечтала сыграть Марию Стюарт, Леля Крупская — Катерину в «Грозе» Островского, а Надя — Надя пожала плечами. Ей нравился образ Татьяны из «Евгения Онегина», но эта поэма была воплощена не в драме, а в опере, голосок же у Нади был слабый, и вокальных данных у нее не обнаруживалось. Но образ Татьяны всегда прельщал ее.

Она стала просиживать часами перед зеркалом, то ра-

зыгрывая сцену гадания, то, распустив волосы и надев мамин капот, писала Онегину письмо. Но больше всего, глядя в зеркало, твердила себе: «Учитесь властвовать собою... Учитесь властвовать собою...»

...Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.

«Учитесь властвовать собою...» Вот так бы научиться властвовать собою, чтобы никогда и никто не мог прочитать твоих мыслей, перелистать книгу твоей души.

Прочитаны десятки пьес, выучено много ролей, которые произнесены перед зеркалом и редко перед подругами. Но хватит ли смелости пойти в театр, предложить себя как драматическую актрису? Научилась ли она властвовать собою? И при встрече с Лелей, Сашей и Машей Надя понимала, что этим девочкам суждено стать актрисами (они о другом и не мечтали), а она до сих пор не знает, в чем же и где найти себя, найти применение своим силам.

В холодный, дождливый ноябрьский день Надя с Сашей шли по Невскому проспекту. Прижавшись друг к другу под одним зонтиком, девушки говорили о своих думах, о своих бедах, о своих радостях.

С Лиговского проспекта на Невский словно выплескивались группы студентов. Они заполнили тротуары,— заняли торцовую мостовую. Они были возбуждены, громко переговаривались и оглядывались назад, словно за ними кто-то гнался. А за ними и впрямь гнались. Конные жандармы вытесняли их с Лиговского проспекта, а навстречу им со



стороны Садовой двигались отряды полиции и конные казаки. Впереди студентов шагал высокий юноша с шапкой густых волос. Темные глаза его были мрачны и вместе с тем полны решимости.

Студенты при виде встречных казаков приостановились в нерешительности.

— Вперед, друзья! — повернулся к ним лицом юноша, смахнул ладонью с лица дождевые капли и словно умылся бодростью. Глаза его, теперь теплые, почти ласковые, обращенные к студентам, успокаивали и сплачивали.

— Что это? — спросила Саша какого-то студента, когда обе девушки оказались в их толпе.

— О, мадемуазель, — возбужденно ответил студент, — сегодня великий день, сегодня день памяти Добролюбова Николая Александровича. Слыхали о таком?

— Да, но не читала, — простодушно ответила Надя. — Что он совершил?

— О, этот юноша многое успел в жизни! Умер, когда ему было двадцать пять лет. Сейчас ему было бы пятьдесят. Но он вечно останется молодым. И мы, молодые, хотели почтить его память, но нам не разрешили собраться у его могилы. Потребовали разойтись. Мы не разошлись. И вот на нас напустили конников. Видите, какие мы страшные, сколько войска выслали против нас, безоружных студентов! Вам лучше зайти в подворотню, с нами опасно, мадемуазель...

А в это время студенты собрались в кружок, и один из них, встав на круглую каменную тумбу, поддерживаемый товарищами, читал:

— Вспомним, друзья, что о Добролюбове писал Чернышевский: «...невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих».

— Слышите, мадемуазель, это был гениальный юноша. Может быть, и среди нас тоже есть такой, но мы его не знаем. До свиданья, мадемуазель! Зайдите в эту парадную дверь. Вам не следует оставаться среди нас.

Надя потащила Сашу в подъезд. Дождь превратился в ливень. Сквозь стекла двери девушки видели, как студенты бежали лавиной мимо них, гонимые конными жандармами.

Саша и Надя дрожали. Надя была взволнована этой встречей.

Гениальный юноша... Добролюбов... Фамилия-то какая: любящий добро.

— Добролюбов! — значительно произнесла она.— Любящий добро! И гений! Прожил четверть века, четверть века его уже нет, а эти молодые люди хотят быть похожими на него.

— А жаль, что мы не познакомились как следует с этим вихрастым студентом, который толкнул нас в парадное. Он мне понравился,— говорила Саша.— А ведь теперь ищи — не найдешь, потеряла, как в стогу сена иголку. А он чем-то привлек мое сердце. С первого взгляда.

— Любовь с первого взгляда? — спросила лукаво Надя.— Так бывает?

— Бывает. Но я знаю, что я уже потеряла его...— вздохнула Саша.— А может быть, найду? Я попытаюсь догнать его, а ты иди домой.

Саша сунула Наде свой зонтик и выбежала на улицу, в ливень. Мимо двери пробегали последние студенты.

«Любовь! — произнесла про себя Надя.— Этого слова я боюсь. Неужели и у меня будет любовь? Нет. Если не будет большой цели в жизни, не будет и любви. Все было бы значительно проще, родись я мальчишкой. Я сейчас была бы вместе с ними, со студентами... А может быть, моя любовь тоже пробежала мимо меня?»

Надя раскрыла зонтик и нырнула под струи ливня.

...Волновалась ли Надя, когда шла сдавать экзамены за гимназический курс? Нет. Было тяжелое равнодушие. Что изменится в ее жизни, если она наберет очки не на золотую, а на серебряную медаль или просто на аттестат? Как применить свои знания? Кому они нужны? Кто может ей помочь найти себя? Где это Лаго-Маджоре, которое может принести исцеление от ничегонеделания, от разочарований? Где выход? Александр III стал для Нади олицетворением зла, невежества, злобной ненависти к человеку, особенно к женщине, которую он запер в клетку, задушил.

Где эти Добролюбовы, которые ведут борьбу против царизма, и в чем эта борьба? Почему Толстой, кумир молодежи, так жестоко обошелся с женщиной? Есть ли справедливость на земле?

И все же экзамены отняли много сил, но еще больше сил отняли душевные терзания — что делать дальше?

Сдав последний экзамен, как и все предыдущие, на «пять», Надя шла домой с пылающей головой. Даже малявки-первоклашки, которые обожали Надю, заметили, что их любимица грустна.

— Девочки, дорогие мои, не подходите ко мне: у меня, наверно, ангина. Мы еще увидимся с вами.

И действительно, к вечеру у Нади поднялась температура, и она слегла.

Елизавета Васильевна сидела у кровати дочери, прислушивалась к ее бреду, понимала, что девочку что-то мучает. «Учитесь властвовать собою... Учитесь властвовать собою...» Надя тяжело дышала, ей чудилось, что она поднимается по узенькой тропинке в гору, за которой мерещится цветущая долина, широкая дорога, а тропинка привела ее к утесу и обрывалась над глубоким ущельем. Ветер леденил тело, душные испарения, которые поднимались со дна ущелья, спирали дыхание. На другой стороне, на уступе, сидел огромный филин и злобно хохотал. Камни сыпались с гор и с глухим стуком падали в ущелье, и холодный ветер пронизы-

вал насквозь. А филин кричал: «Дороги дальше нет, нет! Ха-ха-ха!»

Борис Андреевич приходил навестить больную утром и вечером. Глубокий бронхит, ангина. Общее переутомление осложнило болезнь.

Когда Наде стало лучше, ее навещали подруги, рассказывали, как прошел выпускной бал, как торжественно объявила попечительница гимназии княгиня Оболенская о присуждении ей, Наде, золотой медали и как все аплодировали, не жалея ладоней; а потом был молебен, после чего в кабинете княгини был накрыт для выпускниц стол. Пили шоколад и ели очень вкусное миндальное печенье.

Надя была рада, что свою золотую медаль она будет получать в будничной обстановке.

Золотую медаль Наде вручала княгиня Оболенская, маленькая, худенькая женщина с белыми волосами, одетая в черное.

Она поцеловала Надю в лоб, протянула ей папку с дипломом, коробочку с золотой медалью:

— Вы были гордостью гимназии, дитя мое! Я советую поступить вам в восьмой класс. У вас есть все данные, чтобы стать отличной домашней наставницей.

Надя наклонила голову в знак согласия. Да, она будет учиться в восьмом классе, куда принимаются лучшие ученицы и где готовят домашних наставниц и домашних учительниц, то есть гувернанток и репетиторов.

Оболенская положила руки на плечи своей любимой ученицы, заглянула ей в глаза, поняла ее состояние:

— Увы, дитя, дальше дорога женщинам заказана.

Глава XXVI

УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАРОД

И наступило 1 марта 1887 года. Поздно вечером в квартиру Крупских постучали. Так поздно могли принести только телеграмму. А телеграмма — это всегда сигнал бедствия. «От кого-то из сестер? Кто-то умер?» — неслись в голове Елизаветы Васильевны мысли, пока она накинула капот, разыскала ногами домашние туфли, зажгла лампу и пошла к входной двери. Надя тоже успела натянуть на себя платье и, встревоженная, шла за матерью.

— Кто там? — приложила Елизавета Васильевна ухо к двери.

— Борис Андреевич. Если вы еще не ложились спать, откройте.

Елизавета Васильевна повернула ключ.

Профессор был бледен, воспаленные глаза щурились под пенсне, левое плечо дергалось — признак сильного волнения.

— Что случилось? Говорите скорее! — Голос у Елизаветы Васильевны срывался.

— Арестовали наших студентов. Пять человек.— Профессор снял шляпу, повесил шубу и, тяжело опираясь на палку, прошел в столовую.

— За что арестовали? — спросила Надя.

— Говорят, покушались на царя.

Елизавета Васильевна ходила по комнате, кутаясь в шаль:

— Несчастные матери...

— На этот раз промахнулись? — спросила Надя.

— Нет, не успели бросить бомбу. Кто-то их, наверно, выдал.

Наде вспомнились студенты на Невском, их вид, когда на них, поперек всего Невского, шли жандармы. Будь у сту-

дентов бомбы в кармане, они швырнули бы их под ноги царя, министров, полицейских. Во всяком случае, тот, вихрастый, в которого влюбилась Саша. Молодые оскорбленные лица, все преступление которых заключалось в душевном благородстве, в том, что они не забыли своего гениального сверстника, юношу с удивительной фамилией: Добролюбов.

— Жалко, что не успели бросить! — вырвалось у Нади, и Елизавета Васильевна с тревогой посмотрела на дочь. «Не дай бог»,— мысленно произнесла мать.

Профессор вытер платком высокий лоб и лысину, покрывшуюся вдруг испариной.

— Удивительный народ эти революционеры! Все — талантливые люди. Господь бог наградил их исключительными способностями, а они сами суют голову в петлю. Кибальчич был отличный инженер и вместе с тем талантливый хирург. Смастерил бомбу, которой был убит Александр II. И представьте себе, сидя в Петропавловской крепости, зная, что его повесят, работал над какими-то чертежами изобретенного им летательного аппарата. Или вот сейчас. Ульянов Александр. Он создан для науки: глубокий аналитический ум, умение обобщать. Студент, получивший за курсовую работу золотую медаль, наверняка будущий профессор... И он пошел с бомбистами, пошел на верную смерть. Царь жив, а Ульянов...

Елизавета Васильевна поставила перед профессором стакан крепчайшего чая, как он любил. Но Борис Андреевич машинально отодвинул от себя стакан и продолжал размышлять вслух:

— Лучшие люди погибают для науки, а неспособные, невежды занимают посты в департаментах, становятся чиновниками. Было бы, наверно, больше пользы, если бы Кибальчич построил летательный аппарат, о котором мечтал, Ульянов стал бы русским Линнеем. А они идут с бомбами, идут на виселицу, вспыхивают, как молния, на один только миг

разрежая мрак, и после этой вспышки тьма становится еще гуще. Нужны не сполохи, а вечно горящий факел.

— Вечно горящий факел,— повторила Надя,— вечно горящий... А как его зажечь?

— Не знаю, девочка, не знаю. Если б знал! Этот немой вопрос я читаю в глазах своих студентов и ничего не могу сказать им. Знаю одно: дальше так продолжаться не может. Кто-то или что-то должно взломать клетку, в которой закована свобода нашего народа. Только не цареубийство. Нет. Убили Александра II, пришел на его место кретин; убьют этого, придет и того хуже, придет дегенеративный Николай — Николай II.

Просидели почти всю ночь. Борис Андреевич говорил, говорил, и Надя поняла: болит сердце у этого старого человека, болит за народ, за своих студентов, и он, который знает каждую клеточку человека, не знает, как помочь человечеству, и оттого мучается.

...Утром перед уроками гимназисток собрали в актовом зале на благодарственный молебен. Отец Симеон призвал отроковиц возблагодарить господа бога за то, что он уберег всемилостивейшего государя императора Александра III, отвел от него вражескую руку. «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!» — шептали гимназистки. Надя шевелила губами, не произнеся ни единого слова. Затем пели «Боже, царя храни».

Надя делала вид, что поет.

Юноши, покушавшиеся на жизнь царя, занимали умы молодежи. Надя жадно ловила каждое слово об этих героях. Ей хотелось понять, что заставило их, у которых была в жизни открытая дорога в науку, которых лично не притесняли, у которых были, наверно, невесты, любящие их матери, пренебречь всем и выйти на поединок с царем. И Надя снова посетовала на то, что она — девушка, а не юноша, тогда ей легче было бы найти пути к революционерам, участвовать в их делах. Она чувствовала себя затерянной в этом мире.

Елизавета Васильевна зорко наблюдала за дочерью, понимала ее смятение, страшилась потерять ее и сама не знала, что ей подсказать, чем заполнить ее жизнь, как удовлетворить ее стремление приносить людям добро.

Девушки негодовали на Толстого. Они писали ему письма, полные обиды за неверие в их силы и способности, за то, что Толстой не признавал за женщиной право на общественный труд. И Толстой опубликовал свой ответ девушкам, сразу получивший известность как ответ «тифлисским барышням». Лев Николаевич призывал барышень, приобретших знания, поделиться этими знаниями, «вернуть их назад тому народу, который воспитал нас». Он предложил помочь издателям книг для народа, и в первую очередь Сытину, исправлять или вовсе переделывать книги, дурно написанные, плохо переведенные. Он обещал желающим выслать такие книги.

Елизавета Васильевна услышала разговор об этой статье в конке, на первой же остановке вышла, купила газету «Новое время» и на крыльях неслась домой. Это предложение Толстого должно заинтересовать Надю. И действительно, Надя загорелась — наконец-то нашлась отдушина. Несколько дней она мучилась сомнениями: как написать великому писателю, какими словами выразить свою готовность помогать в работе издательствам. И, наконец, решила написать то, что лежит на сердце. Толстой поймет.

Надя уселась за письмо.

«Многоуважаемый Лев Николаевич! — писала она.

Вы, в Вашем ответе на обращение к Вам тифлисских барышень с просьбою о деле, говорите, что у Вас есть для них дело — исправление насколько возможно книг, издаваемых для народа Сытиным.

Может, Вы дадите возможность и мне принять участие в их труде.

Последнее время с каждым днем живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим

людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применить их к жизни, даже хоть немножко загладить ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием,— и того я не умею, не знаю, за что для этого надо взяться...

Когда я прочла Ваше письмо к тифлисским барышням, я была так рада!

Я знаю, что дело исправления книг, которые будут читаться народом, дело серьезное, что на это надо много умения и знания, а мне 18 лет, я так мало еще знаю...

Но я обращаюсь к Вам с этою просьбою потому, что, думается, может быть, любовью к делу мне удастся как-нибудь помочь своей неумелости и незнанию.

Поэтому, если возможно, Лев Николаевич, вышлите и мне одну, две таких книги, я сделаю с ними все, что смогу. Лучше другого я знаю историю, литературу.

Простите, что я беспокою Вас своею просьбою, отрываю Вас от дела... но ведь это займет у Вас не особенно много времени.

Н. Крупская.

Мой адрес: Петербург. Угол Знаменской и Итальянской улицы, дом 10/28, кв. 47. Надежде Константиновне Крупской».

Мысль о том, что по поручению самого Льва Николаевича Толстого она может делать какое-то полезное дело, воодушевляла Надю. Пока, в ожидании ответа, она решила заняться самоусовершенствованием, как советовал Лев Николаевич в своих статьях: не пользоваться чужим трудом, отказаться от всякой роскоши.

Подруги были потрясены видом Нади, когда она однажды явилась в гимназию в черном камлотовом платье с высоким глухим воротником, без всяких бантиков, брошек и даже без белого воротничка и манжет. Золотые пушистые волосы, которые так украшали ее, были смазаны лампадным маслом, прилизаны и затянуты в тугой узел на затылке. На ногах были грубые башмаки.

— Ты что, в монастырь собралась? — потешались над ней подруги.— Что за маскарад?

— Не желаю походить на какую-нибудь мамзельку-бездельницу,— коротко ответила Надя.

— Ты решила стать «толстовкой»? — спросила Саша.

— Вовсе нет. Непротивление злу означает сидеть сложа руки, а я буду бороться со злом — как, еще не знаю, но не по-толстовски. Мудрость жизни, величие духа для этой борьбы возьму у Льва Николаевича. Несмотря ни на что. Несмотря на его узость взгляда на женщину.

Дома она сама мыла полы, стирала белье, приносила дрова, топила печь, отказавшись от услуг дворничихи.

Елизавета Васильевна и сетовала и подсмеивалась над причудами своей дочери. Мать явно не одобряла такого «самоусовершенствования», говорила, что лучше совершенствоваться в иностранных языках, чтобы затем преподавать их или переводить на русский язык книги, чем тратить драгоценное время на мытье полов. Но Надя считала, что времени у нее впереди очень много и что она должна познать тяжелый физический труд.

Борис Андреевич не появлялся у них в доме уже больше двух недель, и Елизавета Васильевна попросила Надю проведать профессора — не заболел ли он...

Профессор сам открыл дверь и очень обрадовался приходу Нади. Вид у него был совсем несчастный: борода, за которой он всегда следил, потеряла свою форму, была всклокочена; обычно чисто выбритые щеки заросли; старый суконный халат висел на нем как на вешалке. Борис Андрее-

вич очень похудел, и это его еще больше состарило. Наде было сердечно жаль его.

Профессор пригласил юную гостью к себе в кабинет, в котором царил хаос запустения. Слой пыли покрывал стол и книги на нем, и сквозь мутные от папиросного дыма стекла книжного шкафа сиротливо жались друг к другу книги, к которым уже давно не прикасались руки хозяина. Черепа жалко скалили зубы, а один череп лежал на тумбочке возле кресла, и видно было, что профессор гасил папиросы, тыча их в лобную кость.

Надя с недоумением посмотрела вокруг.

— Вы поссорились с вашими книгами и с вашими неандертальцами?—спросила Надя.— Почему вы не приходите к нам? Мы соскучились.

— Я теперь на «почетной» пенсии,— с горечью сказал Борис Андреевич.— Уволили. За сочувствие студентам. За вольнодумство! Это я-то вольнодумец! Рр-р-еволюционер! Если бы я мог постигнуть тайну, как сделать людей счастливыми, о, тогда я был бы гением!

— Борис Андреевич, разрешите, я наведу у вас в кабинете порядок. И может быть, мы выбросим все ваши черепа? Они на вас наводят тоску.

Борис Андреевич нервно дернул плечом, погасил о лобную часть черепа папиросу и закурил новую.

— Потрясен вашим невежеством. Этот человек каменного века умнее нашего министра просвещения графа Делянова, во всяком случае, благороднее его. Я думаю, что у Александра III все признаки вырождения: у него лицевые кости значительно крупнее мозговой части и коробка вмещает, наверно, не больше шестисот кубических сантиметров, в два с половиной раза меньше, чем вот у этого мыслителя,— показал Борис Андреевич на череп, по мнению Нади ничем не отличающийся от других.

Да она и не старалась внимательно рассматривать их. Черепа — это эмблема смерти, они ее страшили.

Надя отправилась на кухню, разыскала старое полотенце и принялась протирать стекла в книжных шкафах, выбросила из двух огромных пепельниц окурки, открыла форточку, и в комнату поплыл душистый апрельский воздух — запах коры деревьев, напоенной свежими соками, и запах талого снега. Борис Андреевич брился в ванной комнате и, вытирая бритву, кричал оттуда:

— Вы просто молодец, Надюша, что пришли к старику, а то я так бы и погиб! Мы по пути зайдем к Эйнему и купим коробку ваших любимых трубочек крем-брюле. Я за три недели стал просто доисторическим человеком — вот что значит ничегонеделание.

Профессор принес чистую салфетку, тщательно вытер череп и почтительно поставил его на полку.

— Ничегонеделание — это смерть для человека,— повторил он.

Глава XXVII

В МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Наконец-то прибыла ожидаемая с таким нетерпением заказная бандероль с обратным адресом: «Ясная Поляна, Тульской губернии, Л. Н. Толстой». Это был перевод книги Александра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо». Все душевные терзания, обиды на писателя были забыты. Поручение самого Льва Николаевича. Но осилит ли она? Достаточны ли ее знания французского языка, чтобы сверить литературный перевод. Французский отлично знает Елизавета Васильевна, но Надя хочет справиться с этим трудным делом сама, испытать собственные силы.

— Может быть, сядешь за «Графа», когда закончишь восьмой класс? — осторожно осведомилась Елизавета Васильевна.

— Нет, нет. Я подготовлюсь к экзаменам. Править перевод «Монте-Кристо» я буду по вечерам.

Надя готова была сидеть ночи напролет, если бы не материнская строгость: в одиннадцать спать. Вставать надо в семь утра. Рабочий день у Нади был рассчитан до минут. И как мама ни уговаривала, Надя не согласилась отказаться от двух уроков, которые она давала и которые приносили в семейный бюджет четыре рубля в неделю.

Восьмого мая Надя сдавала математику. Получила отличную отметку и в веселом настроении мчалась домой, чтобы сесть за своего «Графа». На углу Литейного проспекта мальчишка, размахивая пачкой листов, выкрикивал: «Правительственное сообщение. Покупайте правительственное сообщение о казни государственных преступников!» Надя протянула мальчишке монетку. «Сегодня казнены через повешение Шевырев, Генералов, Ульянов...» Надя прислонилась к каменной стене дома. Она спала в своей теплой кровати, когда на рассвете пятеро юношей поднимались на эшафот, палач накидывал им на шею петли... Перенять бы у них высокие чувства, готовность к подвигу.

Смахивая слезы со щек, Надя шла домой. Впрочем, не она одна плакала. Плакала, страдала вся передовая молодежь Петербурга, России.

Разное бывает горе. Одно унижает, приземляет человека, застит солнце. Другое — высветляет душу и разум человека, делает его чище, лучше. «Нужен вечно горящий факел...» — вспоминала Надя слова профессора. Эти юноши пытались зажечь его. И снова неудача. Как и кто зажжет этот факел?

«Граф» показался не таким привлекательным. Нужно другое дело. Но какое? Нужно бороться за свободу народа. Но как?..

И вот закончен 8-й класс. Надя получила высшую оценку и диплом «домашней наставницы», другие девочки получили дипломы «домашних учительниц».

Вечером собрались в кафе «Нева», чтобы отпраздновать, а вернее, отметить конец дороги познания. Девушки пришли в шляпках, косы были подобраны по моде в греческий узел на шее, шляпы приколоты к волосам длинными булавками. В светлых тальмах, новых туфлях они выглядели нарядными и красивыми. Одна только Саша Григорьева пришла в черном. «Я ношу траур по моим братьям по идее — Генералову, Шевыреву, Ульянову и буду носить его всегда...» Люба Плещеева принесла девочкам по ветке белой сирени. Девушки выпили по чашке кофе и пошли на набережную Невы.

«Что нас ждет в жизни?» — спрашивали они друг друга. И хоть очень мрачно было вокруг, молодость не может существовать без надежды, а надежды не могут быть черными, мрачными, надежды всегда светлы. Пароль юности всегда — Надежда!

Сидели на набережной, следили, как розовый вечер сменился слюдянистой ночью. Мечтали. О счастливых встречах, о красивой жизни.

— Давайте встречаться на этой скамейке каждые десять лет. Встретимся в 1897 году, затем в 1907, 1917-м, а если доживем, то и дальше. И каждый раз исповедуемся друг перед другом, что полезного сделали, нашли ли счастье, достойно ли прожили десятилетие.

У Саши глаза были мрачные, отрешенные.

— Наперед скажу: не будет нам счастья. Выйдем замуж, народим детей, научимся сплетничать, кривить душой, мужья нас будут обманывать и в старости скажем: ну что ж, жизнь прожита, и не было в ней светлых дней. Только и будем вспоминать, что гимназию.— И столько горечи было в словах Саши!

— Нет, нет,— запротестовали подруги.

Люба Плещеева возмутилась:

— Если ни во что светлое не верить, не верить в свои силы, то и жить тогда нельзя.

— Кругом мрак, Россия превратилась в кладбище, а мы всего лишь ветка белой сирени на этом кладбище.— Саша швырнула цветы под ноги медленно переступавшей ломовой лошади.

Девочки замерли, с ужасом ожидая, что сейчас тяжелое копыто превратит в прах нежный цветок. Но лошадь переступила через него, а огромное колесо раздавило ветку и сровняло ее с грязной мостовой.

— Зачем, зачем ты так сделала? — с отчаянием спрашивали подруги.

— Это наша судьба,— со злым равнодушием ответила Саша.

Наде было больно за подругу.

— Я так не хочу. Я хочу действовать, приносить людям пользу и научусь это делать. Друг моего отца сказал мне, что нужно зажечь вечно горящий факел, который бы светил людям. Я буду искать этой возможности.

Нина Герд, молча наблюдавшая за кипением страстей подруг, сказала:

— Девочки, послушайте лучше старую индийскую сказку, которую рассказал мне папа.

Девочки с готовностью приготовились слушать, чтобы освободиться от тяжелого настроения, которым всех заразила Саша.

— Однажды две лягушки попали в кринку со сметаной. «Какое жуткое болото! — воскликнула одна из лягушек.— Отсюда нам не выбраться. Мы погибнем!» — «Нет,— возразила другая.— Я хочу жить, и мы придумаем, как вылезти из этого болота».— «Все твои попытки будут напрасны. В таком болоте нам не приходилось бывать. Прощай, подружка»,— сказала лягушка-пессимистка и, подняв лапы, опустилась на дно. «Глупая»,— сказала другая лягушка, оптимистка. Она принялась яростно работать лапами, пытаясь выбраться из банки, и так энергично и упорно работала, что в конце концов сбила масло. Вскочила на него и выпрыгну-

ла из банки... Отсюда, девочки, мораль: давайте сбивать масло,— сказала Нина.

И все рассмеялись и повеселели. Надя взяла под руку свою строптивую подругу Сашу.

— И правда, надо сбивать масло. Чего-нибудь в жизни мы добьемся. Будем искать, будем искать.

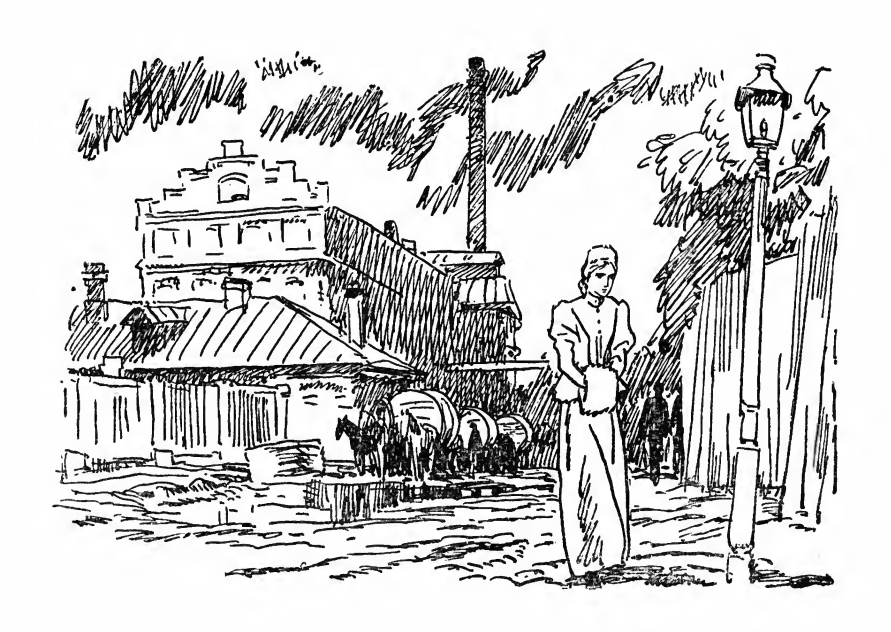
Саша крепко поцеловала Надю:

— Ты вся какая-то светлая.

Девушки шли по Шлиссельбургскому тракту. И над Невой поплыли звуки — протяжные, заунывные, фабричные гудки. Они вступали один за другим — басовитые, дребезжащие, некоторые звенели фальцетом, а потом слились в один мощный хор, будили рабочий люд.

Наступало утро.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

УРОК У МАТРЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Каждый раз Надя едет на Загородний проспект со стесненным сердцем, как бы с пустыми руками. В училище Поспеловой она преподает алгебру и геометрию, а готовят здесь модисток, белошвеек, вышивальщиц и кружевниц. Принимают девочек по окончании трехклассного городского училища.

Надя пытливо всматривается в новый для нее мир. Ученицы профессионального училища отличаются от гимназисток и внешним видом, и поведением, и своим кругозором.

Это дочери мелких чиновников, ремесленников, многие растут без отцов. Одеты девочки в серые «сиротские» платья, поверх белые фартуки, чтобы не загрязнить «товар».

Классы тоже необычные. Вместо парт длинные, во всю комнату, столы. На одних — куски материи и бумажные выкройки, по углам безголовые и безрукие манекены на треножниках, у окон — гладильные доски. Здесь обучают кройке и шитью. На других столах круглые валики, обтянутые черным сукном с подвешенными коклюшками, пяльцы с натянутым холстом, пряди цветных ниток. В этом классе готовят кружевниц и вышивальщиц. В третьем, где делают цветы и украшения для платьев,— гофрированная разноцветная бумага, обрезки шелка, бархата. Во всех помещениях угарный чад от горячих утюгов и острый запах клея.

И педагоги не такие, как в гимназии. Кружевниц готовит малограмотная пожилая женщина Матрена Васильевна. Высокая, плотная, неторопливая. Темный платок, по-монашески заколотый булавкой под подбородком, обрамляет красивое, иконописное лицо. Очки подвязаны суровой ниткой поверх платка. Под стать ей и другие учительницы. Каждая из них опытный мастер своего дела. К молоденькой учительнице-математичке относятся снисходительно, называют ее «барышня», чуждаются ее, и Надя мучительно переживает это.

Ученицы проявляют больше любопытства к самой учительнице, чем к математике. Обычно юркие, подвижные, они на ее уроке становятся вялыми, сонными и часто не могут скрыть зевоты. Надежда Константиновна объясняет алгебраическую формулу. Постукивая по доске мелом, выводит иксы и игреки, круглые и квадратные скобки. Мел хрустит, на черной доске выстраиваются строчки четких букв и знаков.

Одна из девочек не выдерживает и восхищенно восклицает:

— Ну, чистое кружево, до чего вы красиво пишете!

Сами они выходят к доске неохотно, пишут плохо, сображают туго. Построить геометрическую фигуру, доказать теорему для каждой из них мука мученическая. Между тем Надя видит, с каким старанием они обметывают петли, делают мережку, сколько изобретательности проявляют, решая, как уложить волан и подшить невидимым швом кружево.

Алгебра и геометрия в училище введены в программу как обязательные предметы, но всеми почитаются за ненужные.

— Зачем это девчонкам ваши выкрутасы на доске, в жизни-то это им никогда не пригодится,— говорит Матрена Васильевна.— Зря мучаете их и сами изводитесь. Моя бабка и мать были вовсе не грамотны, а уж какие мастерицы были по части кружев! К ним барыни с Невского приезжали и деньги большие платили.

Надя слабо защищается:

— Девочкам нужно общее образование...— но внутри понимает, что старая мастерица права. Судьба каждой ученицы к концу первого года обучения уже определена. Одни, самые способные, пойдут в модную лавку «мадам Жаннет» или «мадемуазель Полин» на Невском, а большинство будет коротать свой век белошвейкой в какой-нибудь маленькой мастерской на окраине Петербурга.

Надя не мастер в рукоделии. Она может пришить по всем правилам пуговицу «на ножке», положить аккуратную заплатку — беда с локтями, всегда на них платье протирается,— может искусно заштопать чулок, пришить воротничок и манжеты. На этом, пожалуй, и кончаются ее познания в рукоделии. В детстве Надя пыталась вязать, но расцарапала себе указательный палец на левой руке вязальным крючком. Палец стал нарывать. И Елизавета Васильевна больше не неволила дочь. Она и сама не любила ни шить, ни вязать, хотя всему этому была обучена в Павловском

институте. В семье Крупских предпочитали скатерти и занавески без кружев, диваны без вышитых подушек. Было не до украшений, да и жаль тратить время, которое можно употребить на чтение книг.

Мать и дочь зарабатывали на жизнь уроками. Елизавета Васильевна преподавала французский язык на дому. Надя репетировала группу девочек в гимназии Оболенской, а теперь вот получила место учительницы.

О многом бы хотелось Наде рассказать своим ученицам, увлечь интересной книгой. Но начальная алгебра и геометрия так строги и ограничены... Надя начертила однажды на доске деревянным циркулем окружность, провела диаметр и, на минуту задумавшись, стала чертить параллели, пересекла их меридианами. Рядом начертила второй круг. Обозначила на полушариях контурами страны света, заштриховала их и принялась рассказывать, как устроен мир...

Увидела в глазах девочек огонек заинтересованности и сама увлеклась. Не заметила, как в дверях появилась директриса. Мадам Поспелова вскинула лорнет к глазам, поглядела на доску, пожала плечами.

— Мадемуазель Крупская, у меня география программой не предусмотрена. Лучше бы вы занимались геометрией,— сказала она холодно.

Надя осеклась. Стерла страны, экватор превратился в диаметр. Стала объяснять, как по радиусу вычислить длину окружности. С горечью отметила, что девочки облегченно вздохнули, когда прозвенел звонок.

На перемене девочки окружили Надю, хвалили ее косу и, искушенные в моде, стали советовать ей фасоны юбок и блузок. «Вам к лицу голубое»,— сказала одна. Другая посоветовала отделать рукава воланами. Надя обещала подумать о своих туалетах. Сердце ее щемило от какой-то неудовлетворенности.

Звонок позвал учениц на очередной урок. Они весело встрепенулись.

— Пойдемте с нами, Надежда Константиновна, очень интересный урок будет.

И Надя пошла.

Матрена Васильевна осмотрела из-под очков своих воспитанниц. Одной велела волосы подобрать, другую послала руки вымыть, третьей сказала, чтобы не сутулилась. Потом бережно расправила на бумаге засушенный кленовый листок, легонько поколотила по нему щеткой, подула и, подняв лист за черешок, показала его девочкам.

— Гляньте-ко, какое кружево господь бог сотворил.

Сложно переплетенные жилки кленового листка действительно походили на затейливое кружево.

— Вот мы с вами и попробуем изобразить это божье творенье на бумаге, а потом подумаем, как его нашими руками в кружеве повторить. С чего начинать-то будем? С черенка?

Матрена Васильевна взяла в руки карандаш и стала наносить на бумагу ажурную вязь жилок.

— У каждой свой глаз, своя сноровка,— приговаривала Матрена Васильевна.— У одной листок получится веселый, легкий, у другой нежный, хрупкий, а у третьей словно из железа кованный. Всяк в деле сам себя выражает.

Надя следила, как карандаш, зажатый в щепоть, быстро скользил по бумаге, оставляя за собой причудливый рисунок кружева. Это был кленовый листок, но увиденный глазом художника, выполненный рукой мастера. Надя вспомнила свои рисунки по ботанике, которые они делали в гимназии. То были добротные фотографии, здесь было ви́дение художника.

Матрена Васильевна подметила восхищенный взгляд барышни-учительницы и, польщенная таким вниманием, продолжала:

— Человек сызмальства должен во всем красоту искать и понимать ее. Гляньте-ко, не поленитесь, рано утречком, какими лучиками сияют на солнце росинки. А зима-затей-

ница такие узоры на окнах распишет, только успевай срисовывать. Что еще в кружеве можно изобразить, а ну-ко, девочки, помозгуйте!

— Снежинки, только рисовать их трудно, тают быстро,— откликнулась девочка с двумя петлицами кос за ушами.

— Паутина!.. Дождь!.. Рябь на воде!.. Одуванчики!.. Облака!.. Макушки деревьев на фоне неба!.. Цветы!.. Бабочки!.. Елочки!..— наперебой выкрикивали девочки.

Матрена Васильевна одобрительно кивала головой. Она обошла учениц, заглянула в тетради.

— Вот, гляньте-ко,— подняла она тетрадь над головой.— Хорошо сделано?

— Хорошо! — раздалось несколько голосов.

— Черенок и все жилки выписаны с отличностью,— подтвердила мастерица.— А вот посмотришь на этот листок и вздохнешь: тяжелый он. А вот у Таиски,— Матрена Васильевна взяла тетрадь у другой девочки,— весь прозрачный, ну просто улыбается, и никакого труда в нем не видно. А я видела, как Таиска мучилась. Труд в красоте должен отражаться...

Девочки смотрели на мастерицу влюбленными глазами, сидели не шелохнувшись.

— Ну, а теперь накалывайте рисунок на кутуз, начнем плести кружево.

Девочки пододвинули каждая к себе подушку (кутуз) и булавками с яркими цветными головками стали накалывать рисунки кружева, подвешивать коклюшки.

Надя рассматривала альбом с образцами кружев, сделанных руками Матрены Васильевны. Здесь были ширококрылые бабочки, сплетенные из золотых и серебряных нитей, целые картины-пейзажи, кружево для полотенец, подзоров, тонкое бельевое, воздушные жабо, воротнички, манжеты.

В классе было тихо, только тоненько позвякивали кленовые коклюшки в пальцах у девочек.

Матрена Васильевна подсаживалась то к одной, то к другой. «Не затягивай нитку, ишь жучок-то у тебя как сжался, бедняга... Перекидывай коклюшку полегче, поласковей, она тогда тебя лучше слушаться будет... Не туда, не туда булавку перекалываешь!..» — слышался ее голос.

«Если бы девочки с таким старанием решали алгебраические задачи...» — думала Надя.

...Вечером она жаловалась матери на свою бездарность, на неспособность привить ученицам любовь к математике.

— Девочек там обучают ремеслу,— возражала Елизавета Васильевна.— Никто не заинтересован, чтобы они получили широкое образование. Всем им суждено зарабатывать себе кусок хлеба в тесных мастерских. Едва ли кто из них прикоснется к книге. И даже такой талант, как у Матрены Васильевны, неизбежно погаснет, превратится в простое ремесло на потребу вкусов петербургских барынь.

— В этом училище я чувствую себя лишней, надо думать о настоящем месте учительницы,— сказала Надя.

— Ну что ж, попытайся,— согласилась мать.— Может, пойдешь в департамент, предложишь свои услуги? Отзывы у тебя похвальные. Попытка — не пытка, отказ — не беда.

На следующий день Надя пошла в министерство просвещения. Сидела в приемной и видела десятки таких же, как она, просительниц.

Директор департамента принял учтиво, внимательно просмотрел Надины документы.

— В Петербурге, мадемуазель Крупская, мы, к сожалению, вам ничего предложить не можем. Нет вакансий. Если пожелаете, будем рекомендовать вас в тамбовскую, иркутскую или калужскую гимназии, там требуются учительницы математики и русского языка. Выбирайте.

Надя сидела и раздумывала. Директор, постукивая пальцами по столу, напомнил ей, что ждет ответа.

— Я согласна ехать в Калугу,— ответила Надя упавшим голосом.

— Прошу вас написать прошение, приложить аттестаты и оплатить гербовый сбор.

Надя пришла домой и с порога сказала матери:

— Я еду учительницей в калужскую гимназию.

Елизавета Васильевна всплеснула руками:

— Из Петербурга в такую глушь? Я решительно против. Сама туда не поеду и тебя не пущу.

— Я уже подала бумаги,— ответила Надя устало.

Глава II

«РАДИ ЧЕГО?»

Елизавета Васильевна поднималась по лестнице, не чувствуя тяжести корзины с продуктами. Хотелось поскорее обрадовать Надю. Наверное, она еще ничего не знает. У дверей поставила корзину и принялась шарить в ридикюле, разыскивая ключ. Не хватило терпения — дернула за шнурок звонка. Мысленно представила себе, как Надя весело и звонко рассмеется — наконец-то! — закружит ее по комнате и весь вечер они будут мечтать и готовиться, а завтра Надя пойдет на Десятую линию Васильевского острова подавать бумаги. Елизавета Васильевна еще и еще раз дернула шнурок. Затем порылась в ридикюле, вытащила злополучный ключ, вставила его в замочную скважину...

На столике перед зеркалом — записка: «Мамочка, я поехала на Бестужевские курсы. Возобновлен прием. Ура!»

Елизавета Васильевна присела на стул, расстегнула пальто, не отрывая глаз от записки. Междометие «ура» было красноречивее всех слов. Для Нади распахнулась дверь в жизнь. Она получит высшее образование.

Три года был закрыт прием на Бестужевские курсы — единственное в России высшее учебное заведение для женщин. Тысячи девушек, желавших приобщиться к науке, не могли этого сделать. Царь Александр III решил парализовать общественную активность женщин. Наука неизбежно приводит к безбожию, к неповиновению, возбуждает умы против богом данной власти. И прием на курсы был прекращен. Девушки потянулись учиться за границу, во Францию, Швейцарию. Возвращались они в Россию «зараженные» всякими социалистическими, революционными идеями. Царизм спохватился: пусть уж учатся дома... И вот прием на Бестужевские курсы возобновлен, но состав слушательниц ограничен — всего четыреста человек. Четыреста женщин на всю Россию! На содержание курсов отпущено три тысячи рублей в год, а фактически расходы превышают сто тысяч!

«Что-то принесут Наде Бестужевские курсы? Какой факультет она выберет? — думала Елизавета Васильевна.—Не принять ее не могут — великолепные отзывы отовсюду, где она преподавала».

Елизавета Васильевна повесила пальто и тут заметила конверт с государственным гербом. Вскрыла его: министерство народного просвещения — департамент женских учебных заведений прислал копию своего письма попечителю Московского учебного округа. Елизавета Васильевна прочитала: «Имею честь препроводить при сем на окончательное распоряжение Вашего сиятельства докладную записку дочери коллежского асессора Надежды Крупской о предоставлении ей должности учительницы русского языка или арифметики в женской гимназии в г. Калуге. Министр народного просвещения статс-секретарь граф Делянов».

Елизавета Васильевна взяла в одну руку записку Нади, в другую письмо Делянова, словно взвешивая их, и счастливо рассмеялась. Ну конечно, Надя тоже все взвесила и все для себя решила.

Но невеселой вернулась Надя домой. Не бросилась на

шею матери, не закружила ее по комнате. Молча вошла и села на диван. Взглянула на мать, увидела ее смятение и, предупреждающе подняв ладони, сказала:

— Не беспокойся, мамочка, на курсы меня приняли. На физико-математический. Уже познакомилась с инспектрисой...

— С инспектрисой? — удивилась мать.— К чему же это для взрослых людей инспектриса?

— Чтобы оградить нас от вредных влияний, следить за нашим поведением, чтобы мы не читали запрещенной литературы! В общем, дама-жандарм, хотя и очень миловидна, вся в кудряшках, с золотым пенсне на носу, с осиной талией. Разговаривает, мешая русский с французским... В общем, все, как полагается.— Надя горько усмехнулась.— Теперь есть кому меня воспитывать!

Елизавета Васильевна нервно вытирала руки о фартук.

— И это тебя так расстроило?

— Не только это. На физико-математическом отделении запретили преподавать естественные науки. Зато богословие входит как обязательный предмет. Остались элементарная математика и механика, физическая география, физика... Ботаника, биология, зоология, агрономия стали опасными науками!.. Что мне даст такой курс?

— Ты получишь высшее образование. Диплом!

Надя встала и прошлась по комнате. Снова села на диван.

— Диплома не дадут. Государственных экзаменов не будет. Окончившим курсы запрещено преподавать в народных школах, я буду лишена даже тех прав, которые имею сейчас, после гимназии. Правительство опасается, что бестужевки понесут в деревню недозволенные идеи. Я потеряю даром четыре года.

Елизавета Васильевна почувствовала, что почва ускользает у нее из-под ног. Она села и сжала голову руками.

— Может, все же поехать в Калугу? — робко спросила Надя.

Мать взглянула на нее с укором.

— Мечешься ты, Надя. Сама не знаешь, чего хочешь. А годы идут. Все твои подруги давно замуж вышли. Счастливы. Неугомонная твоя Саша и та место в жизни нашла. Стала актрисой. Вышла замуж.

— Это все только временная сделка с жизнью. Как ты не понимаешь, мама?

— Я тебя просто не узнаю,— с отчаянием сказала Елизавета Васильевна, сжав в кармане пачку папирос, но не решаясь закурить при дочери.— Ты за все берешься и ничего до конца не доводишь. Литературный кружок бросила. С толстовским кружком порвала...

— Я и не связывала себя с толстовцами. Толстой тоже считает, что образование женщине ни к чему. Литературный кружок жизни не учит, а Шекспира я и сама могу читать.

— Что ж,— вздохнула мать,— поезжай в Калугу. Но решись же наконец на что-нибудь.

— Я ищу, мама, не места учительницы гимназии, а места в жизни. Понимаешь? Свое место в жизни. Обучать купеческих дочек в Калуге — тоже не моя цель. Я помню папины слова: «Я многого не успел, не сумел, не понял». Я хочу все понять, все успеть. А главное, хочу помочь людям, всем забитым и униженным найти подлинное счастье. Вот и мечусь, вот и ищу. И найду. Иначе не стоит жить!

— Тогда иди на Бестужевские курсы. Знания всегда помогут приносить людям добро.

Надя подошла к окну. Между рамами билась муха, стукаясь то в одно стекло, то в другое; она сползала вниз, взлетала, ощупывала лапками стекло, искала лазейку. Муха еще раз взлетела и попала в паутину. Быстро заработала лапками, стараясь освободиться, но только еще больше



запуталась. Откуда-то появился паук, он легко пробежал по своей ловчей сети, перебирая высокими, изломанными ногами, притаился, словно наблюдая, и стремительно бросился на муху... Тончайшие тенета заколыхались, и по их вибрации было видно, какая борьба идет у паука с мухой. Паутина дернулась раз, другой и застыла.

Надя отошла от окна.

— Я обещаю тебе посещать Бестужевские курсы,— сказала она и ушла к себе в комнату.

Елизавета Васильевна хотела пойти за дочерью, но не решилась. Понимала: Надя плачет. Выплачется — станет легче. В кухне она вынула из кармана смятую папиросу, расправила ее, размяла и, встав около плиты, закурила, пуская дым под колпак. Стыдилась своей слабости. Скрывала от Нади. Каждую папиросу заедала кожурой лимона. Папиросы, как ей казалось, помогали справляться с нервами.

Между матерью и дочерью вырастала стена отчуждения, и это больше всего огорчало Елизавету Васильевну. Ей казалось, что если бы Надя нашла подходящего друга в жизни, устроила семью, ей легче было бы вместе с мужем заниматься полезными общественными делами. Столько достойных людей могли составить счастье дочери. Присылают цветы, приглашают в оперу, на благотворительные вечера. Иногда Надя принимает приглашение, на какое-то время оживляется, а потом снова уходит в себя, и когда мать, как бы между прочим, спрашивает, почему перестал приходить «тот симпатичный студент», отвечает коротко: «Нет у него общественного интереса, нет большой цели в жизни. Я ему отказала». И так третий год... А Елизавете Васильевне уже пошел сорок девятый. Подкрадывается старость, все больше седых волос на висках. Неужто не доведется дожить?.. Она глубоко затянулась, разогнала дым рукой, бросила окурок в плиту.

В кухню заглянула Надя.

— Я пойду к Саше. У нее собирается кружок, вернусь не скоро,— сказала она.

Вечером «на огонек» зашел Борис Андреевич. Елизавета Васильевна приготовила чай. Для гостя — крепкий, почти черный, «морской». Профессор уверяет, что такой чай лучшее лекарство для старого сердца. Сидели, пили чай, курили. Елизавета Васильевна сетовала на дочь: Надя все больше замыкается в себе, она какая-то нецелеустремленная, разбрасывается. Все ищет «философский камень»...

Борис Андреевич молча покачивал головой.

— Удивляюсь я вам, Елизавета Васильевна. Разумная женщина, а любовь к дочери у вас слепая. Надюша чудесный, целеустремленный человек. Но она, как матрос, затерявшийся в пустыне, ищет дорогу к морю. Она рождена, чтобы плавать, а под ногами у нее сухой песок.

— Но ведь Бестужевские курсы — это прямой путь к океану познания,— возражала Елизавета Васильевна.— А Наде Бестужевские курсы не нравятся.

— И мне не нравятся,— горячо подхватил Борис Андреевич.— Как это можно естественные науки уложить в прокрустово ложе наших разбойников из министерства просвещения и отрубить от цепи ее главные звенья — ботанику, зоологию, биологию. Физике отводится всего восемь часов в неделю. Богословие становится главным предметом. Это же варварство, вандализм!

— Тогда где же выход? Она так и будет метаться?.. Может, уговорить ее принять место учительницы в Калуге? Дело благородное...

— Нет, Надюшу не надо неволить. Положитесь на нее, доверьте ей самой решать свою судьбу. Она найдет дорогу к морю. Мне нравится в ней это упорство, которое вы принимаете за несобранность. Ее не устраивает быть просто образованным человеком. По-моему, она все время думает, как зарядить людей большой идеей. И она ищет эту идею, ищет ключ от счастья народного, который «заброшен далеко».

Я сам всю жизнь искал его, да так и не нашел... Дай бог Наде не разочароваться!

— Вот этого я и боюсь,— вздохнула Елизавета Васильевна и взглянула на стенные часы.—Сегодня она ушла опять на какой-то кружок. Совсем закружилась.

Надя вернулась в одиннадцатом часу, вся промокшая. Сняла пальто, вытерла платком лицо, обняла мать, чмокнула в щеку Бориса Андреевича.

— Я надеюсь, тебя кто-нибудь проводил? — спросила Елизавета Васильевна, невольно любуясь дочерью. Она стояла разрумянившаяся, стройная. Серенькая блузка подчеркивала молодую яркость глаз.

— Конечно. Я была на собрании кружка народников.— Надя налила себе чаю, взяла из сухарницы сайку.— Шла я туда и надеялась встретить людей, выходивших с бомбами и револьверами на поединок с царем, губернаторами, сенаторами и еще способных на что-то. А увидела...— Надя махнула рукой.— Они вспоминают прошлое, смотрят только назад, словно у них глаза на затылке. У них нет «сегодня» и нет «завтра». Они пытались уверить меня, а скорее самих себя, что сейчас наступила «пора малых дел» и надо довольствоваться тем, чтобы обучать людей грамоте. Я увидела поверженных людей, которым впереди ничего не светит.

Надя встала и, быстро перебирая кончик косы, прошлась по комнате.

— Мне показалось, что я была на похоронах.

— Опять не то? — спросила мать.

— Не то, не то! — убежденно ответила Надя.— Если бы я знала, что именно надо делать, я сумела бы возразить им, а я сама не знаю, не знаю...— В голосе Нади звучало отчаяние.— Я вспомнила, как вы, Борис Андреевич, когда-то сказали, что нужен вечно горящий факел. А может быть, он уже зажжен, только мы этого не видим. Ведь где-то живут и, может быть, уже действуют Добролюбовы, Чернышевские. Они-то могут ответить на вопрос, что делать!

Борис Андреевич, пуская кольца дыма, пронзительно смотрел на Надю и внутренне завидовал ей. Сам он слыл свободомыслящим профессором. А чего стоит это свободомыслие, если оно не приносит пользы народу? Прожита жизнь — и ничего, кроме отрицания, возмущения, чувства протеста. Если бы он мог начать жизнь сначала, наверно, искал бы с таким же упорством, как эта ясноглазая девушка.

А Надя продолжала:

— Мне на этом кружке было страшно... Над столом горела большая лампа, кипел сиятельный самовар, а мне казалось, что я в холодном темном склепе. Говорилось за столом много, но ни одной живой мысли. А впрочем...— Надя помолчала.— Кое-что я, правда, узнала... Один студент рассказывал о законах развития человеческого общества, которые открыл немецкий ученый Карл Маркс.

— Я слыхал об этом ученом,— сказал Борис Андреевич.

Елизавета Васильевна оживилась.

— Этого ученого глубоко почитал покойный муж, он даже был косвенно как-то связан с ним, собирал для него сведения о положении рабочих в Польше.

— И ты никогда мне об этом не говорила! — возмутилась Надя.

— Как-то не пришлось,— сказала Елизавета Васильевна,— тем более что я где-то читала, что этот ученый умер в том же году, что и наш папа, в 1883-м.

— Студент обещал дать почитать его книгу, называется она «Капитал». Ею зачитываются сейчас все студенты. Поскорее бы получить мне ее...

— Ну, а как дела на курсах, Надя? — спросила мать.

— Курсы я, наверно, брошу. Ничего они не дают!..

Мать вздрогнула.

— Надя, милая! Ты не бросишь курсы. Сколько девушек считали бы за счастье...

— Ты ошибаешься, мама. На четыреста вакантных мест

записалось всего сто четырнадцать человек, причем на физико-математический факультет только тридцать семь. Те, кто мечтал о серьезной учебе, узнав, что естественные науки изъяты из программы, не пошли на курсы. Нашлись, конечно, энтузиастки, которые еще на что-то надеются. Я должна знать, ради чего я потеряю четыре года!

Борис Андреевич и Елизавета Васильевна молчали. Надя подошла к столу и стала считать окурки в пепельнице.

— Итак, Борис Андреевич выкурил девять папирос, а мамочка — шесть, вот они, с загнутыми концами. Не слишком ли много, мамочка?

Елизавета Васильевна не ответила.

— Я ведь давно заметила,— продолжала Надя,— что ты куришь. Не скрывайся от меня. Подумала бы ты лучше о своих легких... Вот видите, Борис Андреевич, никакого равноправия у нас с мамой не получается. И взаимного понимания тоже нет. Мама понимала отца, помогала ему во всем, а я для нее все еще несмышленыш...

Надя посмотрела на низко склоненную голову матери, вздохнула, положила руки на ее плечи. Сколько белых прядей вплелось в мамины волосы, и многие из них, может быть, по ее, Надиной, вине.

— Об одном прошу тебя,— сказала она тихо,— не таись от меня. И не бойся, я курить никогда не буду. Но мне надо заниматься не только личным самоусовершенствованием, надо скорее окунуться в жизнь, посмотреть, и не только посмотреть, а своими руками делать работу, которую делают миллионы людей. Пойти работать в прачечную, или белошвейкой, или табачницей на фабрику?

— Зачем?

— Может быть, я стану не только сочувствующей, но и научусь бороться, научу других.

— Поедем весной в деревню,— предложила мать.— Снимем простую избу, вот ты и узнаешь жизнь.

— Так и сделаем. Так и сделаем!

Глава III

В ДЕРЕВНЕ

Со станции ехали на телеге. День был ветреный, хмурый, теплая испарина поднималась от пашен, расстилавшихся на пологих холмах, как лоскутное одеяло. Ухабистая, тряская дорога, раскисшая от весеннего паводка в низинах, пылящая на холмах, вдруг нырнула в лесок, обогнула зыбкое болото, протянулась вдоль речки и повернула на шаткий бревенчатый мостик. Обычная российская проселочная дорога.

Надя, сощурив глаза, вглядывалась в опушенные межами полоски земли, то рыжеватые, словно покрытые ржавчиной, то зеленеющие нестерпимо яркой щеточкой всходов.

— Смотри, мама, как хорошо взошли озимые! Урожай обещает быть хорошим.

Елизавета Васильевна рассмеялась.

— Сразу видно, что начиталась Докучаева и Тимирязева. Даже можешь отличить рожь от овса.

Ямщик, молодой кудрявый парень, назвавшийся Степаном, оглянулся на женщин и усмехнулся:

— Неужто про то, как рожь сеют да овес, книжки написаны? Зачем барышне это знать? Ваше дело хлебушек кушать, а про то, как он растет, один мужик знает. Урожай-то — он от бога.

Надя поежилась. Конечно, для этого парня она «барышня», белоручка.

— А я хочу всей крестьянской работе обучиться,— решительно сказала она.

— Ни к чему это,— отрезал Степан.— Вам лучше в лес ходить по грибы да по ягоды, коли комаров не боитесь. Вон там,— указал он кнутовищем на березовую рощу,— грибов в хорошее лето вдосталь. Ребятишки лукошками таскают.

А возле нашей деревни в лесу полно земляники, малины, костяники — всякой ягоды, только собирать ее некому, да и ни к чему она...

— Почему же ни к чему?

— Ну, от хвори малины насушишь. Хорошо бы, конечно, брусники намочить, но опять же бочки нужны. В Петербург везти продавать несподручно — далеко... В городах варенье варят, а нам сахару-то откуда взять, он в поле не растет, а деньги большие стоит.

— Мы к Сидориным едем, вы их знаете? — спросила Елизавета Васильевна, чтобы сменить разговор, который, видела мать, растревожил Надю.

— У нас полдеревни Сидориных. Вы, наверное, к хромому Якову? Он хвалился, к нему дачники из Петербурга приезжают.

— Да, да, к Якову Захаровичу.

— Ладный мужик,— похвалил Степан.— Детишек у него больно много и жена хворая. Одна у него помощница — старшая дочка Фрося... А ну, окаянная! — стегнул Степан лошадь, которая заупрямилась, вступив на зыбкие гати, уходившие из-под копыт в жидкую грязь.

За речкой дорога круто повернула вверх.

Надя спрыгнула с телеги и пошла по подсохшей обочине. Под ногами шуршала рыжеватая прошлогодняя трава. По склону росли редкие березы сучьями враскидку. Кривоватые, иззябшие за зиму, взлохмаченные февральскими метелями, еще полусонные, деревья, казалось, вытаскивали комли из набухшей земли, карабкались наверх, ближе к солнцу. Весенний ветер распутывал тонкие гибкие ветви, сдувал со стволов прозрачную шелуху.

За пригорком открылись неоглядные дали, поля, пересеченные проселочными дорогами, с островками кустарников и рощ.

— Теперь до нас рукой подать! — сказал Степан.

Лошадь бежала рысцой, весело помахивая мордой, чуя

близость дома. Теплый ветер широким крылом упруго прижимался к земле, согревал ее, пробуждал к жизни.

Ехали молча.

Надя, придерживая сундучок с книгами, думала о том, что здесь, под рукой, у нее истина, которая, возможно, подскажет, как жить дальше. Студент, передавая ей «Капитал», сказал, что Карл Маркс научно доказывает, как рабочий класс может завоевать свободу для себя и для всего народа.

Как много прочитано книг. Но что они ей дали? Пожалуй, воспитали ненависть к существующим порядкам, ненависть к царизму, к людям, которые живут за счет чужого труда... Наблюдательная и критически мыслящая, Надя и сама понимала всю мерзость русского царизма. Но мало научиться ненавидеть, мало уметь различать и изобличать коварство врага, надо научиться бороться с ним. А как бороться? Каким оружием? С кем идти вместе? Надя представляла себе будущее как сообщество людей свободных, умных, грамотных, связанных между собою чувством дружбы, взаимопонимания, лишенных зависти, лени, корысти, злобы. А жила она в мире, которым управляло корыстолюбие, человеконенавистничество, в котором беспощадно гасилось все разумное, доброе. Как же перекинуть мост от несправедливости к добру, от угнетения к свободе, от вражды к братству, от темноты к свету? Она не знала. Борис Андреевич тоже не знал. И ее близкие друзья не знали. И мама, милая, любящая, ненавидящая зло, тоже не может ей помочь. Для мамы главное, чтобы Надя была весела, сыта, здорова. Но такая забота о ней, как о ребенке, уже начинает раздражать.

«Не любит меня Надя, надоела я ей своими нравоучениями,— сокрушала себя горькими мыслями Елизавета Васильевна.— С Борисом Андреевичем она более откровенна, чем со мной. Мать, наверно, не может быть другом дочери. Что я, в самом деле, могу дать ей?.. Что посоветовать? Мо-

жет быть, здесь, в деревне, мы лучше поймем друг друга?»

— Мамочка, помнишь Студенец? Учительницу Тимофейку помнишь? — Голос дочери вывел Елизавету Васильевну из раздумья.

— Конечно, помню. Десять лет назад ехали мы вот так же. И тоже была весна.

— Где она, моя милая Тимофейка? В тюрьме? Или на воле, снова обучает ребятишек? Может быть, и мне податься учительницей в сельскую школу?

Елизавета Васильевна вздохнула.

Навстречу все чаще стали попадаться телеги, груженные навозом, с воткнутыми в него вилами.

Вдоль речушки вытянулся ряд серых изб под соломенными крышами, похожих на нахохлившихся воробьев.

— Здравствуй, Петрович... Здорово, Иван... Бог в помощь!..— приветствовал Степан односельчан.

Хорошее русское приветствие: «Бог в помощь». Не о боге тут речь, а о пожелании удачи, успеха в нелегком мужицком труде, которого и богу не осилить. В городе такое приветствие услышишь редко. На пристани, на стройках в городе слышится: «Раз, два — взяли! Еще раз! Еще раз!..»

У второй избы с краю Степан натянул вожжи.

— Тпру-у-у... Приехали, значит.

С крыльца сбежала девушка, загорелая, стрельнула в Степана глазами, потуже завязала под подбородком концы платка и поклонилась гостям:

— Милости просим! Мы ждали вас после полудня, избу еще не успели приготовить.

Степан развязывал веревки, которыми был закреплен багаж, и, взвалив на плечи большой узел, понес в избу. По дороге шепнул что-то озорное девушке, отчего та зарделась и рассмеялась.

— Фрося я,— сказала девушка, глядя на приезжих ис-

подлобья. Она сняла с телеги Надин сундучок.— Ишь, тяжелый какой, приданое там, что ли?

— Капитал,— таинственно сказала Надя.

— Неужто денег столько?

— Книги там.

Набежали ребятишки, с любопытством разглядывали приезжих, предлагали свою помощь.

Для Крупских была отведена чистая половина пятистенной избы. Все убранство бревенчатой комнаты состояло из икон, украшенных бумажными розами, висевших в красном углу. Между окнами — стеночка от календаря с ярким олеографическим портретом царя Александра III. До блеска выскобленный стол, широкие скамьи вдоль стены. У стола две табуретки.

Вещи сложили на скамьях, и Фрося попросила:

— Пойдите отдохните на вольном воздухе, а я мигом полы вымою.

— Будем мыть вместе,— сказала Надя, проворно снимая туфли и чулки.

Фрося принесла ушат с горячей водой, всыпала в него из совка золу и, уловив вопросительный взгляд барышни, пояснила:

— Зола заместо мыла. Пол будет как желточек!

Подоткнув юбку, Фрося опустила лыковое мочало в ушат и побежала в передний угол, оставляя за собой широкую мокрую полосу.

— Давай я помогу.

— Ладно,— согласилась Фрося.— Ты будешь окатывать доски чистой водой и вытирать вон той тряпкой.

Надя едва успевала за проворной девушкой.

Порог Фрося посыпала крупным песком и тщательно оттирала его березовым голиком. По высохшему полу раскатала от порога до красного угла пестрый половик.

Потом Фрося помогла Наде распаковать узлы. Елизавета Васильевна повесила на окна белые занавески, покрыла

стол клеенкой, разложила на широких лавках тюфячки, застелила их простынями, взбила подушки и покрыла постели старенькими пикейными одеялами. В бревенчатой комнате стало уютно.

Фрося с восторгом осмотрела одеяла, занавески, клеенку, пощупала все руками и одобрительно заметила:

— Богато!

И Надя поняла, что для крестьянской девушки недоступным богатством была просто чистота...

В комнату вошла худенькая старушка с ребенком на руках. Такие же, как у Фроси, карие глаза. Беззубый рот улыбался какой-то младенческой улыбкой. За подол старухи уцепились две девчушки — видно, погодки, четырех-пяти лет.

— Здравствуйте, барыня, здравствуйте, барышня,— поклонилась старуха.— Пожалуйте откушать что бог послал...

— Спасибо, бабушка,— ласково ответила Надя.

— Как ваше имя и отчество, как величать-то вас? — спросила Елизавета Васильевна.

— Зовите просто Степанидой. Чего там по отчеству-то!

— Это ваша бабушка? — спросила Надя Фросю, когда женщина вышла.

Фрося рассмеялась, показав мелкие зубы.

— Какая бабушка? Моя маманя, а то все ее дети.

— Сколько же ей лет? — спросила Надя.

Фрося сморщила брови.

— Ой, много... Поди, сорок два, не то сорок три. Кто у нас годы-то считает, только девки на выданье.

Надя внутренне ахнула, перевела взгляд на мать. Елизавете Васильевне шел пятидесятый год, но ее никто еще не называл бабушкой.

— Сколько же детей-то?

— Было одиннадцать. Осталось восемь. Я самая старшая, а маленькому на Николу полтора будет... Маманя у

нас больно хворая, хоть бы не померла... Тогда мне их всех тащить придется.

Пошли на другую половину избы. На столе стоял чугун с картошкой, полкаравая черного хлеба. Ребятишки облепили стол.

— Марш отседова! Сначала господа поедят.

За стол сели Степанида Ивановна, Фрося, Яков Захарович. Все встали, перекрестились. Первым взял себе картошку хозяин, за ним потянулись остальные.

Степанида Ивановна сидела рядом с Елизаветой Васильевной и легко могла сойти за ее мать, хотя и была на несколько лет моложе ее.

Нечеловеческий труд крестьянки состарил ее прежде времени. Она работала в поле наравне с мужчиной, рожала и нянчила детей, ухаживала за скотиной, готовила еду для семьи, стирала, штопала, зимой пряла пряжу, ткала холсты. Страшная, полуголодная, безрадостная жизнь, покорность судьбе. И Фросе и ее сестренкам тоже уготована такая же судьба... Да, «затеряны, заброшены ключи от счастья женского».

Елизавета Васильевна чувствовала себя неловко, словно виноватой перед этой болезненной, преждевременно состарившейся женщиной.

С Фросей у Нади установились легкие, дружеские отношения. Фрося сразу перешла с Надей на «ты», но называла ее «Кстинна». Впрочем, обеих Крупских в деревне величали по отчеству: «Васильна» и «Кстинна».

Надя вставала спозаранку, едва засветлеет небо над березовой рощей, выбегала на крыльцо и, усевшись на ступеньке, натянув на босые ноги подол платья, ждала восхода солнца. Утренняя заря загоралась каждый раз по-новому: то протекала по окоему золотистой речкой, то щедро раскатывала алое полотнище на полнеба, а сегодня клубилась в прозрачных облаках, играя в них всеми цветами радуги. В такие минуты исчезали сомнения, от предчувствия близ-

кого счастья сильнее колотилось сердце и всему миру хотелось сказать: «Доброе утро!»

— Доброе утро,— послышался позади голос Фроси. Она сняла с гвоздя подойник, и девушки побежали в хлев.

Не сразу Фрося доверила Наде доить корову. Милка была своенравна и не любила чужих рук. Но через несколько дней она брала с теплой Надиной ладони корку хлеба и послушно отставляла правую заднюю ногу. Звенели струи молока о подойник, росла горка белой кружевной пены. Милка, скосив карий глаз, зорко наблюдала сквозь белесые ресницы, когда наполнится ведро, чтобы поддать его копытом и опрокинуть. Но Надя такую повадку коровы знала и вовремя отставляла подойник, выдаивая остатки молока в кастрюлю.

А на крыльце «теть Надю» уже ждали малыши. Процедив молоко, Надя разливала его по кружкам, теплое, пенящееся, пахучее. Ребята пили пыхтя и отдуваясь, наращивая на верхней губе усы белой пены. Надя, глядя на детей, сама испытывала чувство насыщения.

— Сегодня устроим ребятам баню, последний раз. Скоро вода в речке теплая станет, будут сами отмываться,— сказала Фрося.

К вечеру натопили печь, Фрося большим ухватом выдвинула из чела печи большой бурлящий котел. В корыте развели теплую воду. Надя бегала по двору и разыскивала девочек, решивших уклониться от неприятной процедуры. В кухне стоял визг и смех. Девушки старательно оттирали мочалом пятки, коленки и локти малышей. А мыло щипало ссадины на руках и ногах, попадало в глаза. Но зато когда «теть Надя» поливала из ковшика чистой водой и приговаривала: «С гуся вода...», малыши хором подхватывали: «С Вари худоба!» Дети и впрямь были худенькие, с выпирающими назад лопатками, но, вымытые, причесанные, с распаренными блестящими щеками, они были хороши, как все дети. «Теть Надя» осторожно и ласково расчесывала де-

вочкам волосы, заглядывала им в глаза, видела в них такую ясность, доброту и доверие, что у нее сжималось сердце. И с горечью думала о том, что придет время, когда в этих глазах отразится разочарование, страх, недоверие. Обман и насилие ожесточат их сердца. «Ах, как мне хочется, чтобы вы были счастливые, добрые, чтобы жили без страха»,— думала она, прижимаясь к теплой розовой щеке Вари.

Ребятишки устроились на полатях спать, а девушки отправились в баньку. В крохотной бревенчатой баньке ярко пылал огонь в железной печке. По обеим сторонам от печки стояли большие бочки с водой. Надя сунула палец в одну бочку, в другую — вода была холодная.

— Как же мыться будем? — спросила она Фросю.

— Сейчас увидишь, только берегись домового,— усмехнулась девушка. Взяла лопату, поддела огромный раскаленный булыжник в печке и сбросила его в бочку с водой. Из бочки с шипением вырвалось густое белое облако, обожгло горячим паром, вырвалось в полуоткрытую дверь на улицу.— Это домовой сбежал, ему дюже жарко,— серьезно сказала Фрося.

Надя рассмеялась.

— А ты не смейся. У нас домовой в каждом доме под печкой или в бане живет. На святках мы здесь гадаем, и он нам жениха показывает.

— Как же это он делает?

— Поставишь на лавку зеркало, перед ним зажжешь свечку и глядишь, глаз не отрываючи. И домовой его выводит...

— Медведя? — спросила Надя.

— Почему медведя? Жениха. В прошлом году он мне Степана показал, святой истинный крест!

Надя рассказала, что, когда она была маленькая, у них жила девушка Маша, которая рассказывала страшные сказки про леших, про медведей. В сочельник родители куда-то ушли, а Маша решила сбегать к подружке. Она поставила

Надю перед зеркалом и велела в него смотреть «не отрываючись».

— Я долго-долго глядела в зеркало и довела себя до того, что вдруг увидела в зеркале громадного медведя. Я, помню, дико закричала и упала почти без памяти.

— Ну, это ты маленькая была, а если бы сейчас смотрела, то увидела бы жениха.

Девушки уселись на лавку и при свете угасающего огня стали расчесывать волосы широким кленовым гребнем, которым чешут лен. Деревянные тонкие зубья тихо звенели, скользя по длинным волосам Нади.

Фрося рассказывала, как она однажды заблудилась в лесу и ее вывел на дорогу леший, обернувшийся птицей; как в печной трубе загорелась сажа и домовой стал кричать, разбудил людей. Если бы не он, сгорела бы хата. Что в соседней деревне живет колдунья, которую все в округе боятся, потому что она может и злую болезнь накликать, и скот уморить, и молнию на дом направить. Было в этих рассказах что-то из русской сказки и от невежества.

Девушки возвращались в хату по росистой траве, приятно охлаждавшей распаренные ноги. Фрося остановилась, закинула голову и, глядя на тоненький рогалик луны, что-то шептала.

— Месяц народился,— сказала она тихо,— загадай заветное желание — сбудется.

Глава IV

«КАПИТАЛ»

Было еще темно, когда Фрося постучала в окно.

— Кстинна, Кстинна, проснись! — тихонько звала она.

Надя вскочила с постели, накинула сарафан, вышла на крыльцо.



— Выручай, Кстинна,—торопливо шептала Фрося.—Мы всем миром на барщину идем, а батя вчерась на нашем огороде землю взборонил,— грядки надо делать, не то земля выветрится, семена не взойдут.

— Не беспокойся, Фрося, с грядками я справлюсь, а вот как мне разобраться в семенах?

— Небось горох с маком не перепутаешь, а морковь, репу, капусту тебе Егорка покажет. И где чего сажать, он знает. Все семена в поставце, в мешочках. Густо не сей... Бороздки делай поглубже... Полить не забудь... Слышь, уже едут, я побегу!

По дороге тарахтели телеги, ржали лошади. По косогору, на фоне посветлевшего неба, двигались черные силуэты людей, повозок. Внизу, навстречу утру, сверкнула излучина реки.

Надя пошла в хлев.

Милка тяжело поднялась на ноги, стояла неспокойно, молока дала меньше обычного.

За воротами послышался рожок пастуха.

— Слышишь, Милка, тебя зовут. Чего ты сегодня такая ленивая, иди, иди! — Надя похлопала корову ладонью по спине.

Милка вздрогнула всей кожей, лениво взяла с ладони Нади корку хлеба и побрела за ворота.

Пастух Миша, уже пожилой мужик, с бельмом на глазу, щелкнул длинным кнутом, пристроил Милку к стаду и напомнил, что сегодня он «на харчах» у Сидориных.

— Скажи, барышня, чтобы они мне щец пожирней приготовили, отощал я совсем.

Елизавета Васильевна возилась на кухне у печки. Степанида Ивановна редко поднималась с полатей, таяла с каждым днем, и все домашнее хозяйство взяла на себя Елизавета Васильевна.

— Сегодня Милка дала вам только по полкружке,— огорченно вздохнула Надя, разливая ребятам молоко.—За-

ленилась. А нам лениться нельзя. После завтрака пойдем грядки делать, огород сажать.

Елизавета Васильевна втайне улыбнулась, глядя, как дочь, усадив на колени маленького Васю, потчевала его кашей. Вася мотал головой, протягивал руку и просил сделать «сороку». Надя водила пальцем по Васиной ладошке и приговаривала: «Сорока-ворона кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала...— загибала она длинные пальчики ребенка и, ухватив за мизинчик, продолжала присказку: — А ты, маленький пальчик, ты воды не носил, ты дров не рубил, не будет тебе каши!» Вася, улыбаясь беззубым ртом, тянулся к ложке, жадно глотал кашу и опять протягивал ладошку.

— Ты, кажется, теперь все испытала,— сказала Елизавета Васильевна,— и корову научилась доить, и косить, и белье на речке полоскать, и детей нянчить.

Надя помрачнела.

— О нет, это все похоже на баловство, на унизительную благотворительность. Но я учусь чему-то другому, учусь понимать жизнь... Ну ладно, ребятки, поели — теперь за работу,— обратилась Надя к детям.— Егорушка, достань семена из поставца.

Егор разложил на столе маленькие тряпичные узелки.

Надя развязала один, вытряхнула из него мелкие коричневатые семена.

— Это что? — спросила она мальчика.

Егорка засмеялся:

— В землю крошки, из земли лепешки. Репа это, известно. А вот — морковь, вот свекла...

— Разгадай загадку: сидит в темнице красная девица, коса на улице,— спросила Надя.

Егорка снисходительно пожал плечом.

— Кто ж не знает — морковь. А вот ты попробуй угадай: сидит баба на грядке, вся в заплатках, кто ни взглянет, всяк заплачет. А?

Дуся и Настя опередили Надю:

— Лук, лук!

Егорка потер лоб: что бы еще загадать? Вспомнил:

— Баба-яга — вилами нога, весь мир кормит, сама голодна.

Ни девочки, ни Надя отгадать не могли.

— Соха это,— объяснил Егор.— Ну, пошли!

Отмежеванная и взбороненная полоска земли тянулась по косогору к реке.

Надя с Егоркой мотыгами рыхлили землю, делали поперечные грядки. Малыши, уцепившись за юбку Нади, ходили за ней, а за детьми важно вышагивали грачи, выискивая для себя в земле личинок, червячков.

За рекой, на барском поле, работали люди, отрабатывая выкуп за землю.

Надя бросала в бороздки семена и думала о чудесной гармонии в природе. Земля всем распорядится, ничего не спутает, каждому зернышку даст жизнь и только ему присущее обличье, окраску, вкус, запах. Мак, горох, подсолнухи вымахают наружу, свекла, репа, морковь завяжут свои плоды под землей. Невольно вспомнилась старая сказка о том, как мужик с медведем поле засевали и будущий урожай делили — кому вершки, кому корешки.

Егор, несмотря на свои девять лет, был уже настоящий хозяин.

— Этот кусок земли для картошки оставим, — сказал он.

— Картошку сегодня сажать будем? — спросила Надя.

— Не, картошка теплую землю любит, ее напослед. А там посеем лен, гречу, это после Олениного дня. Ты видела, как лен цветет? До того голубой, что глазам больно смотреть, а гречиху дюже пчела любит; когда гречиха цветет, здесь все гудом гудит.

— Ты любишь цветы, Егор?

— А чего их любить? Цветы — это обещанки, а вот что из них получится, один господь бог знает. Яблонька у нас прошлый год цвела — листьев не было видно, а напал червь, и ни одного яблока не увидели. Будет дождь, будет и рожь,— солидно заключил Егорка.

...В начале мая прогремел первый гром. Всю ночь грохотала гроза. Пучки молний зигзагами стреляли над лесом. Но туча скупо оросила землю. И все же гроза освежила лес, разбудила деревья. Разом распустились березы, тополя, клены, и вечером аромат молодых листьев плыл над деревней, врывался в окна, вызывая девчат и парней на гулянки, на хороводы.

Надя с нетерпением ждала вечера, забиралась в своей комнате с ногами на лавку, придвигала к себе керосиновую лампу и раскрывала книгу. «Капитал. Перевод с немецкого. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса. Том первый. Книга 1. Процесс производства капитала. С.-Петербург. Издание Н. П. Полякова, 1872». Книга была издана на русском языке, когда Наде было всего три года. Но до сих пор она так ей и не попадалась на глаза.

Надя научилась читать в четыре года. Больше всего запомнился «Степка-растрепка», потом полюбились сказки. Мишка косолапый долгое время был любимым героем. В девять лет читала и перечитывала «Таинственный остров» и «80 тысяч километров под водой» Жюля Верна. Вместе с отцом читала Пушкина и Некрасова и многие стихи этих поэтов знала наизусть. К двенадцати годам прочитала многое из Толстого, Тургенева. После смерти отца неустанно искала в книгах ответ на вопрос — в чем смысл жизни. Взялась за двухтомную историю Нидерландской революции Мотли. Привлекло слово «революция». История восстаний и войн Нидерландов против испанского владычества, история первой буржуазной революции в Европе не разрешили сомнений, не дали ответа.

А потом на Надином столе выросла пирамида толстых

томов французского ученого-географа и социолога Реклю «Земля», «Земля и люди»... Прочитаны и продуманы тысячи страниц на русском и французском языках. Два десятка томов. А ответа нет. Правда, теперь ее познаниям в географии мог бы позавидовать любой преподаватель географии. В Публичной библиотеке перебрала ящик за ящиком весь каталог. Искала ощупью, как слепая. Просиживала над книгами ночи напролет.

Что-то даст ей эта книга — «Капитал»? Прочитала две первые главы, прочитала еще раз, сделала выписки. Отточенные фразы, таблицы с цифрами, бесстрастные выводы казались сначала такими далекими от того, что она ищет. Читала вечер, второй, третий...

Давно отцвели красные сережки орешника, облетели белые гроздья черемухи, лес загустел молодыми листьями, а Надя страдала и терзалась оттого, что так медленно живет, что с таким трудом одолевает эту книгу. А потом автор завладел ее сознанием, повел за собой, и каждая страница открывала ей новое и вместе с тем знакомое, что она сама видела, но не могла осознать, сформулировать, обобщить.

Лампа горела двумя кривыми рогами, за печкой на все лады верещали сверчки, словно оркестр лилипутов настраивал свои крохотные скрипки. Надя, держа обеими руками книгу, читала шепотом, осмысливая вещие слова ученого... Капитализм — неизбежная фаза развития человеческого общества. Капитализм, создавая фабрики и заводы, объединяет тем самым людей в огромный производственный коллектив, но то, что этот коллектив производит, присваивает небольшая группа капиталистов... Капитализм обрекает огромные массы рабочих на нищенское существование... И пролетариат, который не владеет ничем, восстает против эксплуатации, организуется, ведет борьбу против буржуазии.

Надя читает:

«Бьет смертный час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Снова перечитывает. Вдумывается. От счастливого ощущения сильно бьется сердце. Сделано большое открытие. Это же бьет смертный час капитализма! Земля, ее богатства, фабрики и заводы становятся народным достоянием.

— Бьет смертный час капитализма! — шепчет Надя. И уже не верещанье сверчков, а гул набата слышится Наде, и перед глазами встают тысячи и тысячи пролетариев, они сокрушают капитализм и вместе с ним нищету, бесправие, произвол.

Никогда Надя не испытывала еще такого чувства торжества и волнения, как при чтении этих строк. «Бьет смертный час капитализма...— повторяла она про себя,— бьет смертный час!» И она должна сделать все, чтобы приблизить этот час. Как это сделать? Как найти место среди рабочих? Сердце колотилось нетерпеливо, тревожно, радостно.

Скрипнула дверь. В избу вошла Фрося.

Надя не слышала, а за светом лампы и не видела ее. Вздрогнула, когда Фрося дотронулась до ее плеча и зашептала:

— Ты чего вся такая светлая? А стекло-то вон как закоптила. Всё читаешь?

— Да.

— Занятная книга?

— Очень, очень, Фрося.

— Небось про любовь?

Надя закрыла книжку.

— Про счастье,— убежденно сказала она.— Про твое счастье, про мое, про счастье всех людей.

— Будет оно, счастье-то? — пригорюнилась вдруг Фрося.— Люб мне Степан, а не сватается. Семья у него большая, да и у нас не малая. Приданого у меня — кот наплакал: полдюжины полотенец наткала да вышила, холста аршин двадцать. У Степана корова прошлой зимой пала, а мать

Милку за мной не отдаст: чем она ребятишек-то кормить будет? А? Маманя очень плоха, того и гляди, помрет. Тогда мне вековухой быть суждено. Коли бы знать, что у Степана на уме... Кстинна, ты меня не слышишь? Про свое счастье думаешь?

— Нет, нет, милая Фрося, я слушаю тебя. Степан хороший человек и любит тебя, это всякому ясно.

Фрося сдвинула платок с головы на плечи, присела рядом с Надей.

— Твоими бы устами да мед пить. А у тебя, Кстинна, есть жених?

— Нет.

— Небось гордая, разборчивая? Какого ты себе жениха сулишь? Богатого, ученого?

— Еще не думала. Богатство мне не нужно.

— А любовь? — допытывалась Фрося.

— Любовь — да. Если я выйду замуж, то только за любимого.

— За кого суждено, за того и выйдешь. А мой суженый-ряженый Степа. И цыганка мне на картах гадала — бубновый король выходит. И на крещенье я колечко в стакан с водой бросала, а из колечка Степа на меня глядит. Скоро день Ивана-Купалы, а дождей все нет...— Фрося погасила лампу, отдернула занавеску на окне.

За окном разгоралась полоска зари — нерадостной, мглистой, снова обещающей зной, бездождье...

Глава V

ЗАСУХА

«Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает» — говорит народная поговорка.

Но в этом году после майской грозы не выпало ни капли дождя, и колоски ржи качались на тонких стебельках сухие, легкие, бессильные, а иные гнулись под тяжестью скрутившей их спорыньи.

Вся деревня от зари до зари трудилась в поле и на огородах. Хозяйские ребятишки были теперь всецело на попечении Елизаветы Васильевны. Крестьяне любили эту красивую, спокойную и добрую женщину. Никто ее не называл барыней, все величали ласково и уважительно — «Васильна». Она умела лечить ребят и от простуды и от живота (а животами в это лето маялась вся деревенская детвора), прикладывала вытяжные пластыри к нарывам, давала питье от золотухи. Бабы тянулись к ней за советом, рассказывали о своих бедах, о своем безрадостном житье-бытье. Елизавета Васильевна умела ободрить, погасить ссору, поговорить по душам; составляла прошения о снятии штрафов за потраву, о списании недоимок.

А по вечерам обсуждала с дочерью невеселые деревенские новости.

— Ты подумай, Надя, у нашего Якова Захаровича на десять душ — семь с половиной десятин земли, а пахотной из них только около трех. И за эту землю семья вот уже двадцать восемь лет выплачивает выкуп и еще будет платить двадцать один год. Только через сорок девять лет после отмены крепостного права крестьянин освободится от кабалы... Я только сейчас по-настоящему поняла, как был обманут мужик этой реформой.

— А я помню,— сказала Надя,— как папа пел:

Отпустили крестьян на свободу
В девятнадцатый день февраля,
Только землю не дали народу,
Вот вам милость дворян и царя.
Без земли мужики голодают,
А дворяне и рады тому,
Что дешевле они нанимают
Батраков на работу свою...

Она вздохнула:

— Жуткая, беспросветная жизнь — и вместе с тем никакого чувства протеста, просто покорность судьбе. Фрося сказала, что у них недоимок накопилось почти двадцать рублей. Осенью явятся податные инспектора и, если не будет урожая, платить опять нечем, отнимут корову.

— Да, урожая не предвидится. Дождя все нет и нет. Говорят: «В мае дождь — будет и рожь», а уже июнь...

Солнце в этом году превратилось в беспощадного врага всего живого. Земля словно состарилась, покрылась морщинами — глубокими трещинами. Ветер поднимал тучи пыли, пахнущей пеплом, рыжая метель кружила над деревней, над пашнями.

Надя работала вместе со всеми, научилась косить (блеклая трава уже к вечеру превращалась в ломкое сено), жала серпом траву по кустам и овражкам, где косой не возьмешь.

После захода солнца староста выгонял народ к речке по воду, поливать помещичьи огороды. Извилистая, с высокими обрывистыми берегами речка, обычно глубокая и норовистая, присмирела и мелела день ото дня. Колодцы высохли. Сухая земля оставалась бесплодной, крестьянские огороды гибли...

В лесу не было ни грибов, ни ягод. Кусты малины и смородины пожухли. Истонченные листья на деревьях свертывались в трубочку. Коровы с пастбища возвращались полуголодные, и Милка стала давать молока втрое меньше.

В конце июня ночью засвистел вихрь, загрохотал далекий гром, зачиркали молнии. Деревня не спала — люди прислушивались: когда же по крыше застучит дождь, выходили на улицу, подставляли ладони. Наконец посыпались редкие капли. Запахло теплой мокрой пылью.

— Господи, разразись дождичком!..— взывали люди, а туча, обронив скупые капли, урча и стреляя молниями, медленно проползла над деревней и скрылась за горизонтом.

«В июле на дворе пусто, да на поле густо» — говорит пословица.

В этом году и на поле было пусто, и в лесу пусто. Шишки осыпались с елей и сосен с недозревшими и высохшими семенами. Даже комары исчезли. Птицы прилетали к колодцу, бесстрашно садились на край ведра и пили воду, ошалелые от голода, налетали стаями на поля и выклевывали из худых колосьев зерна. Ребята сгоняли дерзких птиц, возненавидели их, потому что они отбирали у людей последнее.

По деревне поползли слухи, зловещие, темные, как смрадный дым. То какая-то баба видела, как нечистый носился по небу и помелом разгонял тучи, то вспоминали, что весной в деревню приходил юродивый, шел по талому снегу босиком, в рваном армяке, на волосатой груди его висели тяжелые железные вериги; был он покрыт болячками, и его не позвали ночевать ни в один дом. «Это,— говорили крестьяне,— сам Христос через юродивого испытывал народ и наказал его голодом...»

Послали от деревни ходоков к помещику с поклоном дать заработать на кусок хлеба, но помещик ответил, что у него рабочих рук и так избыток. Тогда на сходе поклонились старикам, просили их принести чудотворную икону из церкви, что была за двадцать верст от деревни.

Утром в воскресенье крестьяне потянулись в поле. Женщины несли на руках детей, а в узелках яйца, холстину, кур; вымели по сусекам последние остатки жита, чтобы уплатить попу и дьякону за молебен.

Надя с Елизаветой Васильевной тоже пошли.

Отговаривать баб и мужиков от этой бессмысленной затеи было бесполезно. Люди надеялись на чудо. На какое? Сами не знали. Шли по окаменелой, оцепеневшей от жажды земле, по шуршащей траве опушкой леса, мимо деревьев, с которых ветер срывал и кружил высохшие, не успевшие пожелтеть листья.

Впереди процессии на вышитых полотенцах несли чудотворную икону. Поп помахивал кадилом. По ветру развивался и таял синий дымок. На стол, покрытый белой скатертью, служки поставили икону и сосуд со «святой» водой.

Священник принялся служить молебен.

Люди рухнули на колени.

Надя прижалась к дереву. Жалко было людей, с таким отчаяньем, с такой неистовой верой просящих, взывающих. Деревенские богатеи стояли впереди, крестились степенно, не торопясь. «Они-то голодными не останутся,— думала Надя.— Вон кулак Красноперов, у него восемь лошадей и земли в десять раз больше, чем у Якова. Он в убытке не будет. Втридорога продаст зерно мужикам, закабалит их ссудами, и люди будут готовы платить любые проценты, лишь бы не умереть с голоду».

— Пресвятая мать богородица, заступись за нас, грешных, спаси и помилуй! Спаси наших детушек... Пошли дождичка! — истово крестилась Степанида Ивановна, пригибая голову к земле и с трудом выпрямляя спину.

Священник подошел к столу, окунул веничек из перьев в сосуд, взмахнул им и покропил вокруг землю. По пыльному лицу богородицы пролились струйки воды.

— Плачет, плачет богородица! — ахнула толпа. — Скорбит о нас!.. — кричали люди, протягивая к иконе руки.

Надя, уткнувшись лицом в дерево, плакала от жалости, отчаяния, бессильная чем-либо помочь.

Мутное небо по-прежнему не сулило дождя.

Наде казалось, что теперь все должны разувериться в милости божьей, но люди в нужде, в беде боятся расстаться с богом. «Ты видела, Кстинна, как богородица плакала вместе с нами? Но уж больно мы прогневали господа бога, спасителя Христа, что даже богородица не допросилась их дождя послать». Надя пыталась объяснить Фросе, но поняла, что это все впустую.

Перестала петь гармонь по вечерам. Девушки не ходили в лес и к речке водить хороводы.

Только мальчишки по-прежнему ездили в ночное. Егор тоже выводил лошадь, кликал своего друга Полкана и, взобравшись на клячу, прижав голые пятки к ее худым бокам, отправлялся пасти коней.

Егор напоминал Илюшу из Студенца, с которым Надя в детстве возила дрова из лесу. Десять лет прошло с той поры, а ничего не изменилось. Еще хуже стало. Здесь в деревне нет даже школы, и все ребятишки неграмотны. Ближайшая школа за пять верст. Надя спросила как-то Фросю, почему Егорушка в школу не ходит. «Обувки нет,— ответила Фрося,— одни сапоги на всю семью и те нужны отцу. Он зимой извозом занимается».

Наступила жатва.

Рука захватывала десяток тощих ломких колосков. На поле выстроилось всего три копны. Люди ходили по черствому горячему жнивью, подбирая колоски, выискивая осыпавшиеся зерна ржи.

Ночью Елизавета Васильевна и Надя проснулись от отчаянного женского вопля и визга ребятишек. Наскоро одевшись, кинулись на хозяйскую половину. Пьяный Яков, взлохмаченный, с налитыми кровью глазами, таскал за волосы Степаниду Ивановну. Фрося ухватила отца сзади, стараясь оттащить его от матери. Егор наскакивал на отца, тот отшвырнул его пинком ноги.

— Щенок! Чтоб вы все подохли, окаянное племя! Одни рты кругом, а где работники? Народила мне дармоедов!..

Елизавета Васильевна встала между Яковом и Степанидой Ивановной — гневная, сильная. И Яков сник. Сел на лавку и заплакал, размазывая кулаком по лицу пьяные слезы.

— Ты, Васильна, иди к себе... Нечего на нашу беду смотреть. Иди...

Надя обняла дрожащую Фросю и прижалась к ней щекой.

...Осень наступила ранняя, безрадостная, бурая — ни одного яркого пятна. Земля не вернула даже тех семян, которые человек ей доверил. «Вот она, гармония в природе!» — с горечью думала Надя. Они с Фросей копали картошку, обирали с тонких корешков мелкие сморщенные картофелины.

— Ишь, разнесчастная — чисто старушечка, а в прошлом году-то какие здоровущие клубни брали, каждая картошка по кулаку, а то и боле... Что ждет-то нас, Кстинна? Отец вздумал Егорку в Петербург на заработки послать.

— Так ему десяти нету! Что он там делать будет?

— На фабрику пойдет. Все парни уйдут. Степан мой тоже собирается. Не то всем с голоду помирать. И свадеб ноне не будет... И посиделок зимой не будет... Лен не уродился, из чего холстину-то ткать? Отец зверь зверем стал, забьет он мать, она совсем хворая... И Милку кормить нечем, и для лошади овса нет. Куры с голоду падают. Знать, прогневили мы бога. Как бы грехи отмолить... А, Кстинна?

Голос у Фроси был тихий, жалостливый, слова ее ранили Надю в самое сердце.

И вдруг послышался смех — счастливый, смущенный.

Надя подняла на Фросю глаза. Девушка быстро заправила волосы под платок, одернула кофточку, вся преобразилась!

— Глянь, Кстинна, Степан идет, к нам идет!

Степан шагал по полю широким шагом, пыль дымком вилась из-под его лаптей.

— Бог в помощь! — Он заглянул в мешок, помял картошку.— Не богато...

— Какую бог послал,— ответила Фрося.

Степан сел на межу. Юношеская светлая бородка поблескивала на загорелом лице, выцветшие на солнце волосы спадали на лоб.

— Кстинна,— обратился Степан нерешительно,— вот



хочу я в Петербург идти. Ты не знаешь, как там? Куда на работу берут, сколько платить будут? Чего там делать? Мешки таскать, что ли? На пристань податься?

— На работу возьмут,— сказала Надя.— Только советую вам, Степан, идти на большой завод. Может, там и трудновато придется и платить много не будут, но на большом заводе и мастерству обучитесь и товарищей найдете.

— А баб не берут там? — спросила несмело Фрося.

— И женщин берут на фабрики...

Но Степан прервал Надю:

— Я ж втолковывал, что поеду в Петербург, устроюсь там на работу и тебя выпишу.

Фрося зарделась.

— Кстинна, запомни: при тебе Степан обещанку дал. Ты, Степан, Егорушку там не кинь, пусть он при тебе будет. Мать-то не хочет его в Петербург отпускать, пусть, говорит, наденет суму и пойдет по селам милостыню собирать.

— Нечего ему с протянутой рукой ходить, поедет со мной,— решительно сказал Степан.

— Я вам, Степан, свой адрес дам. Заходите, может быть, вам понадобится моя помощь,— предложила Надя.

— Спасибочко!

— А я на зиму пойду к барину холсты ткать,— сказала Фрося,— он людей набирает. Как-нибудь зиму-то протянем... Коли что, Милку продадим, лошадь продадим. А на следующий год бог урожай пошлет. Бабка Аксинья, что на выселках живет, говорят, сон вещий видела. Явилась к ней богородица: мол, уговорила я своего сына Христа ваши людские грехи простить, урожай послать. Ой, как все хорошо будет! — Фрося с покорной нежностью смотрела на Степана.

Утром в холодный осенний день вся деревня провожала парней, уходящих на заработки. Они шли в старых, стоптанных лаптях: свежего лыка с сухих лип в этом году не

надрали. Котомки за плечами были легки. У околицы постояли, потоптались на месте. Егорка сторонился матери, которая норовила его лишний раз прижать к себе. Парни отошли, потом повернулись, поклонились низко всему миру. Никто не плакал. Казалось, зной за лето высушил и сами слезы. Ветер носился по пустым полям, вздымал холодную желтую пыль. Пыльное облако долго вилось за парнями... Поплелся за Егоркой и его пес Полкан. Егорка оглянулся, махнул ему рукой. Полкан остановился, хрипло тявкнул: словно понимал, что расстается с хозяином навсегда.

Глава VI

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

Четвертый год Надя дает уроки в интернате гимназии Оболенской. Завоевала себе славу педагога, способного самую отсталую ученицу вывести в успевающие. Желающих попасть в группу Крупской много, а должно быть всего десять учениц. И на педагогическом совете Крупской дают самых трудных. Прежде чем приступить к занятиям, Надя подолгу беседует с каждой девочкой, стараясь постигнуть ее внутренний мир, распознать круг интересов, добраться до тайников души.

В методе преподавания старалась сначала подражать своему любимому учителю естествознания Александру Яковлевичу Герду, часто ходила к нему за советом. Но вот уже третий год как он умер, и Надя вырабатывает свой метод, хотя часто заглядывает в книги Герда. И теперь лучше, чем когда-либо, понимает, что человеку надо дать не разрозненные знания, а стройную систему, которая превратилась бы в крепкий сплав, выработала бы правильный взгляд на мир, явления природы.

Надя сидит, перелистывает дневник ученицы Натальи Черновой, густо украшенный двойками по русскому языку, естествознанию, географии. По математике больше четверок. Наталья стоит с опущенной головой, ее крепкие, как налитые яблоки, щеки рдеют.

— Читаешь много? — спрашивает учительница.

— Нет,— признается девочка.

— Не любишь книги?

Наташа жмется.

— У нас дома нет книг. А Четьи-Минеи, Евангелие и Часослов мне неинтересно читать.

— А в библиотеке?

— В библиотеку платить надо.

Надя смотрит на упитанное лицо девочки, ее дорогое шерстяное платье, шевровые ботинки — не из нуждающихся.

— Кто твой отец?

— Купец. Второй гильдии.

Богатый человек, а на книги жалеет пятнадцать копеек.

— В гимназической библиотеке книги берешь?

— Нет. Мама, кроме учебников, не разрешает ничего читать: работы по дому много.

«Надо поговорить с родителями»,— решает Надя и вынимает из-за пояса часы.

— Поди скажи девочкам, что с остальными я буду беседовать завтра,— говорит Надежда Константиновна, укладывая книги в портфель.

Сегодняшний день — особенный. Подруга Нина Герд пригласила Надю к себе домой на «интересное чаепитие». Будет заседание марксистского кружка, который собирается в квартире Гердов, и руководитель кружка разрешил привести Надю.

Надя уже бывала несколько раз на заседании одного марксистского кружка, так называемого «этического». Бы-

вала, еще не читая Маркса. Там спорили по вопросам нравственности, религии, об общественном долге человека. Надя сидела молча, стесняясь вступать в споры, чувствуя себя неподготовленной, а главное, она не видела практической пользы в этих спорах. На этот раз Нина заверила, что это очень серьезный кружок, в него входят главным образом студенты Технологического института, которые изучают Маркса и ведут занятия с заводскими рабочими.

«Ведут занятия с рабочими» — вот что привлекло Надю, вот о чем мечтала она.

В доме Гердов ей все было знакомо с детских лет, она часто бывала у своей подруги Нины. В застекленных горках коллекции минералов, собранные отцом Нины, по стенам развешаны гербарии растений, насекомых, бабочек. При жизни Александра Яковлевича гимназистки приходили сюда целым классом, чтобы познакомиться с богатой коллекцией учителя. В столовой за большим овальным столом проходили практические занятия, а потом веселое чаепитие.

Надя пришла, когда все уже были в сборе.

— Ждут тебя,— сказала ей Нина, открыв дверь.

За столом сидело человек восемь молодых людей. Один стул за этим столом всегда оставался свободным. На нем при жизни сидел Александр Яковлевич, и после его смерти во всех торжественных случаях для него ставился прибор. На стене висел портрет Александра Яковлевича. Красивое лицо, глаза отражают большую мысль; темная пушистая борода, седые волнистые волосы зачесаны назад.

Надя обвела глазами присутствующих. Германа Красина она знала раньше. Была знакома и со студентами-технологами поляками Цивинским и Лелевелем, но не подозревала, что они были марксисты.

— Глеб Кржижановский,— представился ей совсем юный студент в форме технолога.

— Василий Старков,— привстал со стула плотный, с гу-

стой шевелюрой рассыпавшихся волос другой студент в форменной одежде.

Руководитель кружка представился как Михаил Иванович Бруснев. Он здесь был старше всех, походил больше на мастерового, чем на студента; широкоскулое, поросшее редкой бородкой лицо, гладко приглаженные волосы, глаза серые, взгляд спокойный, уверенный.

— Милости просим,— пригласил он Надежду Константиновну к столу, как старую знакомую.

Нина разливала чай.

Бруснев встал и, опершись руками о стол, без всяких предисловий начал:

— Итак, наше «Социал-демократическое сообщество» продолжает свою работу, правда в обновленном составе, поэтому я кратко скажу о наших целях и программе. Наша цель — воспитать из участников рабочих кружков вполне развитых и сознательных социал-демократов, которые будут вести пропаганду среди рабочих.

По мысли Бруснева, эта цель требовала от членов кружка отдачи всех сил, знаний.

— Не сразу мы понесем учение Маркса в рабочие массы. Сначала надо научить рабочего писать, читать, считать... Познакомить со строением Вселенной, с основами естествознания, чтобы рабочий избавился от религиозных предрассудков. Затем мы поднимем его еще на одну ступеньку — познакомим с дарвинизмом, с происхождением жизни на земле, с историей мировой культуры, крестьянского и рабочего движения и подведем его к пониманию и восприятию марксизма. Сейчас в Петербурге действует двадцать рабочих кружков, которыми руководят интеллигенты. Есть уже кружки, которые ведут сами рабочие — это грамотные, образованные люди. Им мы постепенно будем передавать руководство.

Надя слушала и думала о своем месте в этой работе и невольно ловила себя на мысли, что пройдут многие годы,

пока передовые рабочие овладеют марксизмом. А борьба? Борьба против царизма, за свободу. Как ее организовать? Но спросить не решилась.

— Наша конечная цель, наш боевой лозунг — Интернационал! — заключил Бруснев.

«Интернационал,— повторила про себя Надя.— Что это значит?»

Это слово она слышала впервые. Что это? Латынь? «Интер» — это «между», «нацио» — «нация». Но слова «интернационал» на латыни нет, нет его и во французском и в немецком. Интернационал? Междунациональность. Так надо понимать?

— Интернационал был. Интернационал возродится! Его идеи дремлют в миллионах сердец, и нам надо их разбудить! — с пафосом воскликнул поляк Цивинский.

Всем это слово было понятно, и всех оно здесь волновало. А Надя сидит и гадает. Спросить неловко. Карл Маркс в первом томе «Капитала» доказывает необходимость классовой борьбы. Бруснев говорит о междунациональности. Но нация не едина. К одной нации принадлежат враждебные друг другу классы: буржуазия и пролетариат, помещики и крестьяне. Надя почувствовала себя несчастной. Как же мало она знает! Почему это слово озарило всех, а у нее не вызвало никаких эмоций?

Молодежь шумела. Новое для Нади слово произносилось на все лады.

И вдруг в этом гуле голосов прозвучал скептический голос:

— До интернационализма еще ах как далеко! Русский рабочий темен и невежествен. Интернационал понятен только западным пролетариям.

Гул негодующих голосов покрыл голос скептика.

Надя не удержалась и спросила у сидевшего рядом Цивинского:

— Что такое Интернационал?

— Это международное товарищество рабочих для борьбы с капиталом. Его создали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в 1864 году, и просуществовало оно восемь лет. В честь международной солидарности рабочих французский поэт-революционер Эжен Потье написал гимн «Интернационал». Другой рабочий — композитор Пьер Дегейтер написал музыку. Этот гимн французские рабочие поют на своих собраниях. Я не знаю, переведен ли он на другие языки.

Бруснев призвал к тишине.

— Всем товарищам, которые прочитали первый том «Капитала», я рекомендую самым внимательным образом изучить труд Фридриха Энгельса «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом». К сожалению, нет полного перевода его на русский язык. Я достал несколько экземпляров на немецком. Кто знает немецкий, возьмите, читайте, потом расскажете суть книги товарищам. Это энциклопедия марксизма!

У Нади в руках оказалась довольно толстая, продолговатая книга.

— Имейте в виду, что царская цензура считает эту книгу опасной. Берегите ее от посторонних глаз...

Расходились поздно.

Надя шла с Цивинским.

Шли темными переулками. Газовые рожки на улицах гасли один за другим.

Цивинский спросил:

— Хотите знать, как звучит гимн «Интернационал» по-французски?

— Да, да. Вы знаете?

— Первый куплет звучит так.— Владислав вполголоса запел:

C'est la lutte finale:
Groupons-nous, et demain
L'Internationale
Sera ie genre humain.

Надя шепотом переводила на русский:

— «Это будет последняя битва — объединимся! И завтра род людской станет Интернационалом!..» Прекрасно! Это же программа наших действий: объединиться, чтобы пойти на битву и превратить весь род людской в международное товарищество.

Надя дрожала от волнения и попросила Владислава повторить куплет.

В холодной ночи Петербурга, в темном переулке негромко звучало, как туго натянутая струна:

C'est la lutte finale...

Надя запомнит эти слова на всю жизнь. Память у нее была натренированная, отличная. Она помнила наизусть сотни стихотворений, заучивала их, прочитав один-два раза.

C'est la lutte finale...—

пела она про себя, поднимаясь по темной каменной лестнице домой.

Глава VII

КРЕПОСТЬ РАБОЧЕЙ РУКИ

Узкие и мрачные, как осклизлые колодцы, проходные дворы по Воскресенской улице заполнены молодежью. Здесь студенты и курсистки, литераторы и учителя. Застоявшийся чад горелого постного масла, запах кислой капусты, жареного лука, несвежей рыбы — все эти ароматы великого поста перед пасхой «сдобрены» испарениями гниющих отбросов в высоких ларях.

Над Петербургом сияло вешнее солнце, такое редкое в апрельские дни. Оно растопило снег даже в этих темных дворах, и мутные потоки воды устремились на улицы.

Надя с трудом пробиралась сквозь плотную толпу, ища своих кружковцев, но в этом человеческом водовороте немыслимо было найти их. Все прилегающие улицы до Таврического сада запружены народом. Люди шли сюда со всех концов Петербурга, чтобы проститься с покойным писателем-демократом Николаем Васильевичем Шелгуновым.

— Расступитесь, господа, идут путиловцы! — раздался чей-то баритон, и моментально в толпе образовался коридор до самого подъезда, к которому двигалась большая группа людей с обнаженными головами.

У каждого под рукой был прижат картуз. Впереди, мерно шагая, шел атлетического сложения высокий человек с широкой окладистой бородой. На вытянутых руках он нес древко с прикрепленным к нему венком. Двое молодых людей придерживали концы черных лент. Крупными белыми буквами на них было выведено: «Поборнику демократических идеалов от сознательных рабочих Путиловского завода». Венок позвякивал металлическими дубовыми листьями.

— Смотрите, дубовые листья из металла — это символ крепости рабочей руки,— сказал какой-то студент с нескрываемым восхищением.

«От сознательных рабочих,— отметила Надя слова на ленте,— значит, от рабочих-марксистов».

Кто-то тронул ее за плечо. Рядом стоял Цивинский.

— Это наши рабочие-кружковцы, они всё организовали,— с волнением прошептал он.— А несет венок токарь Фунтиков.

— Пришли путиловцы!.. Это прекрасно! Благородно!.. Дерзкий вызов властям! — переговаривались в толпе.

Венки несли один за другим — от литераторов, от студентов Технологического института, Военно-медицинской академии, Петербургского университета... Несли венок «От свободомыслящих» — колючий терновый крест в обрамлении темных листьев и надпись на ленте: «Николаю Васильевичу Шелгунову, почившему со знаменем в руке».

И снова почтительно расступилась толпа, давая дорогу депутации от петербургских заводов и фабрик. Развевались на ветру широкие ленты с надписью: «Указателю пути к свободе и братству от петербургских рабочих».

Чувство гордости переполняло сердце Нади. Словно свежий ветер ворвался в эти затхлые дворы.

Во главе делегации шел среднего роста худощавый человек с жилистой шеей, в очках, сквозь которые смотрели острые и умные глаза.

— Ткач Федор Афанасьевич Афанасьев,— сказал Владислав Наде.— Настоящий вожак. Редкой душевной красоты человек. Рабочие называют его «учителем жизни», «отцом родным».

Расталкивая людей, к подъезду дома пробивался пристав в окружении чинов полиции.

— Господа, господа! — взывал он, ни к кому, в общем, не обращаясь.— Недозволенные венки... Революционные надписи... Это прямо вызов! Господа, господа!..

Толпа безмолвствовала.

Все были ошеломлены участием рабочих в похоронах писателя. Такого еще не бывало. Рабочие были отделены каменными стенами от общественной жизни. И вот теперь они заявляют о себе и выражают солидарность с политическими взглядами писателя.

В свое время Шелгунов в прокламации, которая нелегально распространялась в России, писал: «Нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны... Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране... чтобы личных землевладельцев не существовало... Мы хотим, чтобы все граждане России пользовались одинаковыми правами... Мы хотим, чтобы власть, управляющая нами, была власть разумная, власть, понимающая потребности страны и действующая в интересах народа. А чтобы она могла быть такой, она должна быть... выборная и ограниченная».

Эти слова дошли до рабочих. И когда Николай Васильевич был уже тяжело болен, в марте 1891 года к нему пришли петербургские рабочие и принесли адрес, который заканчивался словами: «...может быть, не одним еще нам придется пасть жертвою любви к бедному пролетарию, но это не удержит нас от стремления достигнуть указанной вами цели».

Под адресом стояло шестьдесят шесть подписей передовых рабочих Петербурга.

Все они были сейчас здесь.

...Толпа увлекла Надю и Владислава за собой по узкой лестнице, ведущей в квартиру писателя.

Двери раскрыты настежь, но в комнатах невыносимо душно. Идет панихида. Мерцают свечи в высоких подсвечниках у изголовья покойного. Священник, бормоча слова молитвы, помахивает кадилом. Хор поет «Со святыми упокой...».

Но вот кончилась панихида. Стали выносить венки. Подняли на руки гроб.

На улице у ворот стояли два траурных катафалка, запряженные каждый парой вороных лошадей с траурными черными султанами на головах.

— Гроб понесем на руках,— раздался властный бас, и Надя узнала голос Михаила Ивановича Бруснева. Он, как всегда, был нетороплив, серьезен. Чуть скошенные наплывами век глаза, большой рот под обвислыми усами придавали ему суровый и вместе с тем энергичный вид.

— Понесем на руках,— эхом откликнулась молодежь.

— Не дозволено на руках,— вмешался подоспевший пристав.— Гроб должно везти на катафалке.

Какой-то старик примирительно поднял ладонь:

— Не будем спорить. Поставьте гроб на дроги.

Молодые люди запротестовали, и гроб на поднятых руках поплыл над головами.

По знаку пристава полицейские стали отрывать руки,

державшие гроб. Студенты оттаскивали полицейских за полы шинелей. Гроб качнулся, Надя закрыла глаза.

Вдова Шелгунова взмолилась:

— Не уроните!.. Поставьте на катафалк!

— Поставьте на катафалк. Венки понесем в руках,— сказал Федор Афанасьев. И эта фраза, произнесенная спокойным голосом, почти тихо, прозвучала как приказ.

В одно мгновение венки были разобраны и высоко подняты. Гроб опустили на погребальные дроги.

— Нести венки высочайше запрещено. Законом запрещено! — надрывался пристав.

— Давай сюда твою крамолу,— протянул полицейский руку к венку, но Фунтиков только плечом повел, и полицейский поспешил прочь.

— Рабочие, вперед! — скомандовал Федор Афанасьев.

— Рабочих вперед, рабочих! — дружно подхватила толпа.

Пристав уже не стеснялся нарушить приличествующую этому случаю тишину, он рявкнул изо всех сил:

— Приказываю сложить венки на катафалк!

Но его никто не слушал. Рабочие не торопясь построились, к ним примкнули другие депутации с венками. Следом за ними сформировался хор из нескольких сот студентов и курсисток.

Когда пристав, ощетинившись усами, еще раз крикнул: «Приказываю!», студент во главе хора, сняв с головы зеленую фуражку Политехнического института, взмахнул ею, и многоголосый хор грянул:

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный...

— ...помилуй нас! — подхватила вся процессия.

Надя, которая шла вслед за хором, оглянулась. Многотысячная процессия растянулась вдоль Воскресенской набережной.

Пристав растерянно посмотрел на хор. Петь молитву

«Святый боже» никакими законами не было запрещено. Но **как** ее студенты поют? Кощунственно поют!

Блюститель власти пошел впереди процессии.

Зеленая фуражка дирижера фонариком мелькала над головами. Зеленые венки плыли по воздуху словно знамена. Зеленый цвет — цвет надежды. В венки вплетены красные розы, герань. Красный цвет — символ борьбы рабочих, символ будущего.

Пешеходы, ломовые извозчики, пролетки сворачивали во дворы и переулки, чтобы дать дорогу процессии, которая двигалась как лавина. На углу Кирочной пристав дал знак, чтобы процессия следовала за ним по Знаменской, но Фунтиков решительно повернул направо, в сторону Литейного. Пристав остался один на перекрестке. Он понял, что не в силах помешать рабочим и студентам пройти по главным улицам Петербурга, и думал о гневе начальства.

А во главе людского потока шел токарь Балтийского завода Фунтиков, человек богатырского вида и роста, живое олицетворение силы и воли рабочего класса.

С Литейного проспекта людской поток вылился на Невский.

Хор, то разделяясь на два, то сливаясь вместе и поддержанный сотнями голосов, исполнял «Святый боже...».

Старый священник за свою сорокалетнюю службу в церкви провел много заупокойных служб. Но никогда не пели эту молитву на похоронах. Ее исполняли после пасхи и пели благостно, а здесь, прости господи, поют как на студенческой вечеринке.

На Невском проспекте, у дома обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева, дирижер взмахнул фуражкой, и молитва зазвучала с особой силой. Энергично размахивая фуражкой, выставив вперед подбородок, на котором еле пробивалась светлая бородка, молодой дирижер сумел придать смиренной молитве боевой характер. Тенора и девичьи голоса выводили: «Святый боже», басы вторили им. Все участ-

ники похоронной процессии поняли замысел студентов, понимали это и полицейские, но что поделаешь, когда поют самую что ни на есть покорную, святую молитву.

Надя пела вместе со всеми. Шествие остановилось. Венки были повернуты к окнам обер-прокурора — составителя самых черных законов против науки, просвещения, всей передовой литературы, преследователя великого Толстого. За зеркальными стеклами мелькали чьи-то тени, а потом невидимая рука задернула тяжелые портьеры на обер-прокурорских окнах.

Шесть часов двигался людской поток до Волкова кладбища, с одного конца Петербурга на другой.

Никогда еще Надя не переживала такого душевного подъема. Новое светлое чувство причастности к чему-то огромному переполняло сердце. Рабочие во главе процессии... Тысячи молодых взволнованных лиц... Незнакомая девушка крепко сжала Надину руку. Надя ответила на пожатие. Хотелось запеть «Интернационал». Может быть, и доживет она до такого дня, когда по Невскому пройдут не отдельные депутации, вкрапленные в огромную толпу, а многотысячная пролетарская манифестация. И во главе ее будут колыхаться красные знамена. И все будут петь «Интернационал», петь по-русски.

Внутрь кладбища, на Литературные мостки, Надя не попала. Полиция преградила путь, и люди стали расходиться. Надя подходила к дому, когда над городом опускались перламутровые сумерки.

Очень обрадовалась, когда застала дома и мать и Бориса Андреевича. Не терпелось поделиться впечатлениями.

— Ты, мамочка, конечно, волновалась,— сказала Надя, целуя мать, и без сил повалилась в кресло.

— Пока не пришел Борис Андреевич и не рассказал мне, что на похороны Шелгунова собралась вся петербургская молодежь.

— Нет, мама, это были не похороны, это было рождение

чего-то нового, необычного, светлого. Я никогда не видела такого огромного людского потока, объединенного общим чувством. — Надя порывисто встала.—Во главе колонны шли рабочие. Их было не так уж много — человек сто, полтораста, — но это придало шествию такую торжественную взволнованность... И если бы вы слышали, как по-боевому хор студентов пел «Святый боже...», за ними пела вся процессия, несколько тысяч человек.

— Я сам только что оттуда,— признался Борис Андреевич. — У меня такое же впечатление, что и у вас, Надюша. Это было грандиозное зрелище. В России назревают огромные силы. Николай Васильевич предвидел это и, конечно, заслужил такое почитание.

— Помню, с каким увлечением читал «Очерки русской жизни» твой покойный отец, — сказала Елизавета Васильевна. — Недавно я перечитывала Шелгунова. Это не просто описание нравов и быта — Николай Васильевич так убедительно показал деспотизм Александра Третьего. Шелгунов был настоящим революционным публицистом. Недаром его высылали из Петербурга.

Надя с радостным удивлением смотрела на мать. Елизавета Васильевна, оказывается, читала то, что приносила домой Надя.

— Мамочка, дорогая! — горячо обняла она мать.

Борис Андреевич не понял ее порыва, у матери же навернулись слезы на глазах. Да, конечно, она читала всё, чем увлекалась Надя, желая понять интересы дочери и, может быть, помочь ей в чем-то, и, сама того не подозревая, тоже включилась в поиск нового пути.

Борис Андреевич допил чай и закурил папиросу.

— Да, Шелгунов был бесстрашным обличителем зла. Его голос не был таким могучим, как у Чернышевского, но был такой же чистый, честный и смелый.

— Даже смерть его превратилась в общественный протест, — заметила Надя.

— Я представляю, как перепуган сейчас царь. Теперь нужно ждать расправы — арестов, высылки, исключений из университета студентов, увольнения рабочих. Ищут зачинщиков. А зачинщик-то сам царь-батюшка. — Борис Андреевич шумно вздохнул. — Я по-настоящему завидую жизни и смерти Шелгунова. Если бы я мог начать жить сначала...

— Как бы вы ее начали? — спросила Надя.

— Так, как вы, — искал бы, искал, Надюша, с таким же упорством. А я был всего только наблюдателем, критически мыслящим, но не активным, а к старости сделался просто ворчуном. В жизни нужно быть борцом, всегда деятельным, всегда ищущим. А теперь поздно... — с горечью заключил профессор.

Елизавета Васильевна закурила папиросу.

— Не думаю, что делать добро было когда-нибудь поздно, — сказала она.

Глава VIII

У АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ

Надя с Борисом Андреевичем шла по Литейному проспекту, блестевшему мокрыми квадратами торцов. Со стороны Невы дул порывистый ветер, гудел как в трубе по проспекту, кидал в лицо пригоршни дождевой воды, выворачивал зонтики. Городовой, втянув голову в поднятый воротник, прохаживался по панели, лениво прогонял нищих, стоявших с протянутой рукой на каждом углу улицы. Нищие ныряли в подворотни и снова появлялись, и под вой ветра вдоль улиц неслось протяжное: «Подайте христа ради погорельцам... не дайте, люди добрые, помереть с голоду малым детушкам...»

Борис Андреевич рассказывал Наде о Калмыковой, к которой они сейчас направлялись. Надя плохо его слушала.

Она вообще ничего не слышала, кроме этого тоскливого «подайте христа ради...». Она раздала всю мелочь, которая была у нее в кошельке, и не могла освободиться от чувства щемящей тоски, неудовлетворенности. Голодная деревня хлынула в город, ищет здесь спасения от смерти. Дамы-благотворительницы устраивают пышные вечера, концерты, лотереи, чтобы помочь «несчастным мужичкам». Наверно, и Калмыкова будет говорить с ней об участии в каком-нибудь благотворительном базаре, чтобы помочь десяткам, сотням, а голодают сотни тысяч.

— Вам понравится Александра Михайловна,— уловила наконец Надя голос Бориса Андреевича.— Она не похожа на петербургских барынь, хотя сама вдова сенатора. Она сторонится светского образа жизни, усиленно занимается делом народного просвещения, самообразованием. Широкообразованный человек... Переписывается со Львом Толстым, который ее высоко ценит...

Надю это заинтересовало. «Толстой ее высоко ценит».

— Да, да...— продолжал Борис Андреевич.— Калмыкова давно увлекается учением древнегреческого философа Сократа. Написала о нем книгу, послала на отзыв Льву Николаевичу. Толстой сам заинтересовался этим учением и взялся редактировать книгу Калмыковой. Из тринадцати глав девять переписал почти заново. Александра Михайловна отказалась поставить свою подпись под книгой, постеснялась быть соавтором великого писателя, а Толстой, которому «не нужно было авторского удовлетворения», тоже ее не подписал. «Сколько бы я ни переделывал книгу — основа-то Ваша»,— сказал он. Книга вышла в 1886 году в типографии И. Д. Сытина без указания автора.

— Читала я эту книгу,— вспомнила Надя.— Читала с удовольствием, но не знала ее истории. Это книга о нравственном воспитании человека.

Калмыкову они застали на книжном складе разбирающей новую партию книг. Она встретила Бориса Андреевича

как старого знакомого. Цепким взглядом серых глаз окинула Надю, крепко, по-мужски, пожала ей руку. Александра Михайловна была проста в обхождении. Русское лицо с крупными чертами, скорее некрасивое, но полное жизни, ума и добродушия. Довольно грузная, она двигалась свободно и легко, говорила низким, грудным голосом, смеялась раскатисто, показывая крепкие зубы.

Борис Андреевич спросил свежие немецкие журналы по медицине.

— Вся неметчина у меня наверху.— Александра Михайловна пригласила следовать за ней и, прихватив пальцами сборки широкой юбки, легко поднялась по лестнице на второй этаж.

Надя с жадным интересом стала осматривать полки с книгами.

— Барышня читает по-немецки? — спросила Калмыкова.— У вас есть какой-нибудь особый интерес?

— Да,— ответила Надя.— Мне очень хотелось бы иметь книги Карла Маркса и работу Фридриха Энгельса «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом».

— Ишь куда хватила! — повернулась к ней Калмыкова и еще раз внимательно оглядела девушку. Заметив, как румянец заливает щеки Нади, отметила про себя, что девушка застенчивая, замкнутая, но... настойчивая.— Мой приемный сын Петруша тоже проявил интерес к этой книге. Она сейчас в моде. Но, прямо скажу, книжка трудная, философская, написана не для барышень, так что если за модой гонитесь, то разочаруетесь. Покажется скучно.

Надя вспыхнула еще больше. В ее глазах блеснул огонек.

— Ладно, ладно, не сердитесь на старуху, я ведь попросту. Вот вам книга этого самого Дюринга, из которого Энгельс сделал мокрое место. (Надя поняла, что Калмыкова читала эту работу.) Заплатите в кассу два рубля сорок копеек... Вы чем занимаетесь?

— Преподавала алгебру и геометрию в профессиональном училище, веду группу гимназисток в гимназии Оболенской, даю частные уроки за курс гимназии.

— Ну и как идет у вас дело? Любите педагогическую работу или преподаете ради заработка?

— Очень люблю свое дело,— ответила Надя.

— А при чем тут Маркс, Энгельс, Дюринг? — спросила в упор Калмыкова.

— Это мое частное увлечение.

Калмыкова протянула Наде книгу и села, тяжело отдуваясь, в кресло.

Надя листала книгу и с горечью думала о том, что Бруснев уехал в Москву, что отсутствие сильного и умного организатора сразу ослабило кружок. «Кажется, моих знаний немецкого будет недостаточно, чтобы одолеть эту книгу». Надя облокотилась на спинку кресла и внимательно просматривала книгу.

Калмыкова наблюдала за ней. «Не проста, не проста,— раздумывала она,— с ней стоит поближе познакомиться». Александра Михайловна позвонила в колокольчик. Вскоре наверх влетела девушка.

— Принеси-ка нам чаю,— приказала Калмыкова.— Мне и профессору покрепче, а барышне — девичий чай, чтоб цвет лица не испортить. Да захвати пирожных... Так, значит, вы не ради заработка преподаете, а из-за любви к педагогической работе? — спросила Калмыкова Надю.

— Ради заработка тоже.

— Жаль, жаль...— Калмыкова продолжала свои наблюдения.— А почему вы, позвольте спросить, одеваетесь так, словно в монастырь собрались? Материя добротная — значит, не от бедности, а вот ни одного бантика, никаких украшений. Самоусовершенствованием занимаетесь? По Толстому?

— Да,— призналась Надя.

— Эх, молодость, молодость! Неужто дело в бантиках

или кружевных воротничках? Благоглупости все это. Можно и бантик носить и сережки в ушах и полезным делом заниматься. И не смотрите на меня так, будто я монстр какой. Я просто приглядываюсь к вам.— Голос Калмыковой потеплел.— Думаю, хорошо бы вас затянуть в вечерне-воскресную школу для рабочих. Это что на Шлиссельбургском тракте. Какой там народ! Каждый — алмаз чистой воды, только весь опутанный невежеством, с виду грязный, и настоящей цены себе они не знают. Я там преподаю, и, ей-богу, это мои самые благословенные часы в жизни.

Надя умоляюще посмотрела на Калмыкову. Преподавать в воскресной школе! Вот где она войдет в настоящий контакт с рабочими. Бруснев так и не дал ей рабочего кружка. «Интеллигентов, желающих заниматься с рабочими, у нас много, а рабочих кружков мало. Десять интеллигентов за одним рабочим гоняются»,— сказал он. И вот вдруг...

Калмыкова молчание девушки поняла по-своему.

— Что, боитесь рабочих? Народ, я вам прямо скажу, светским манерам не обученный; иной раз ввалится какой-нибудь пьяный да такое заглаголет — хоть святых вон выноси!

Надя подошла к Калмыковой:

— Вы даже не представляете себе, Александра Михайловна, за какое счастье для себя я почитаю преподавание в такой школе. Поверьте мне, я справлюсь...

«И верно, справится»,— решила для себя Александра Михайловна.

Девушка принесла чай на подносе.

Калмыкова пригласила гостей к столу. Сама наколола щипчиками сахар на розетку, налила в блюдце чай и, держа его на растопыренных пальцах, как купчиха, вся ушла в чаепитие.

Надя ждала ответа.

— Пейте чай, кушайте.— Калмыкова подвинула ближе к Наде вазу с пирожными.— И не думайте, что от несъеден-

ного вами пирожного сытых на Руси станет больше. И вегетарианство тоже ни к чему.

Борис Андреевич, сдвинув очки на лоб, близорукими глазами пробегал страницы журнала.

Калмыкова поставила блюдце на стол, вытерла ладонью рот и спросила профессора:

— Читали новую пьесу Льва Николаевича «Плоды просвещения»?

— Я пьесы предпочитаю смотреть в театре, не люблю их читать.

— Зря,— отрезала Калмыкова.— А вы?

— Тоже не читала. Не успела,— призналась Надя и дала себе слово сегодня же разыскать и прочитать.

Произведения Толстого она любила так же, как и Елизавета Васильевна, и никогда ничего не пропускала из вновь напечатанного. Эта пьеса была опубликована в прошлом году, когда Надя с матерью были в деревне.

— Очень злая, по-толстовски умная сатира на наш век, на наше безделье, барство... Спиритизм! Вы не начали спиритизмом заниматься?— спросила Калмыкова профессора.

— Нет-нет, что вы! Чего это вы вдруг заподозрили меня в этом?

— Модно! А ведь мода на спиритизм — это знамение времени. Уйти от жизни, от ее сложностей и, эдак уютно устроившись в полутемной гостиной, держать пальцы на опрокинутом блюдечке и вызывать дух, скажем, Наполеона. Пройдитесь-ка вечером по Невскому. Во всех гостиных окна чуть светятся — все прислушиваются, что им с того света подскажут. Будто на небесах больше нашего понимают, как на земле жизнь устроить. Нам надо вызвать дух протеста против мракобесия, против изуверства, нищеты, бесправия! Наполеон поможет нам одолеть голод? Сейчас в России сотни тысяч умирают от голода! Надо всю жизнь перевернуть, иначе русскому народу грозит вымирание...

Александра Михайловна в сердцах отодвинула от себя блюдце и встала.

Борис Андреевич и Надя тоже встали, понимая, что надо уходить. У Нади был холодок на душе.

— За вами, дорогой профессор, лекция по анатомии на наших курсах. Выбирайтесь, выбирайтесь из вашего Саргассова моря.

— Всегда к вашим услугам, дорогая Александра Михайловна,— ответил Борис Андреевич, целуя руку хозяйке.

Надя замерла. Разбередила Калмыкова ей душу своим предложением и... забыла.

— А вы, Надежда... Надежда...

— Константиновна,— подсказала Надя.

— А вы, Надежда Константиновна, если всерьез надумаете идти преподавателем в воскресную школу, поторопитесь подавать бумаги: аттестат зрелости, рекомендации от гимназии и из училища Поспеловой. Приходите утром 29 августа на Шлиссельбургский тракт. Смоленские вечерне-воскресные курсы.

— Это Варгунинская школа? — спросил Борис Андреевич.

— Да-да. Николай Александрович, скажу вам, человечище — фабрикант, богач, ученый...

— Это, наверное, его брат — владелец бумажной фабрики в Угличе? — спросила Надя.—Мой отец работал там фабричным инспектором.

— Подумайте, как тесен мир! — воскликнула Александра Михайловна.— Я поговорю с Николаем Александровичем о вас, но все равно ему нужны две рекомендации. Это я устрою.

— Спасибо. Я вас, кажется, перебила. Извините.

— Что я хотела сказать? Да, о Варгунине. Он человек весьма просвещенный. Юрист по образованию. Защитил диссертацию на тему: «О рабочих союзах Англии». На Шлиссельбургском тракте его знает каждый рабочий, и каждый

снимает перед ним шапку. Семь лет назад он открыл воскресную школу для взрослых. Это вторая такая школа в России. Первую создала госпожа Алчевская в Харькове. Варгунин дал для школы помещение, привлек отличных преподавателей; первого попавшегося он не берет. Несколько лет содержал школу на свои средства, однако школа росла, нашлись пожертвователи, но все равно львиную долю расходов Варгунин берет на себя. Отличный человек! Отдает школе не только средства, но свою душу. Работать у него интересно, хотя и трудно.

— Спасибо! Спасибо! — сердечно благодарила Надя.

— Ругать меня потом будете,— погрозила пальцем Калмыкова.— Преподавать там не сахар. И, кстати, вам надо познакомиться с моим Петрушей, Петром Струве. Он окончил университет и ходит сейчас в марксистах, ужасно важничает и внимательно изучает вот эту литературу,—кивнула она на книгу Энгельса.— Я эти книги не очень-то жалую. Для меня главное — народное просвещение. А Петрушка — модник, модник...

— Я знакома с Петром Бернгардовичем Струве,— сказала Надя.

— А-а, понимаю, понимаю... И вы туда же! Думаете, что изучите политэкономию и эти знания в головы рабочих будете вталкивать. Ну, узнает рабочий, как образуется прибыль с капитала, ему-то от этого легче не станет. Насыщает эта модничающая молодежь свои мозги знаниями, и ходят такие важные, а ведь рабочему надо показать, как из кабалы вырваться, вот он чего ждет.

— А вы, милейшая и глубокочтимая Александра Михайловна, вы-то знаете, как это сделать? — с горечью воскликнул Борис Андреевич.

— Если бы знала! Все в отдельности знаю: и как люди мучаются и как они жить хотят. А вот как от этой омерзительной жизни к хорошей, справедливой народ перевести — не знаю. У Сократа ответ искала, такой богатый биографи-

ческий материал собрала, написала книгу... Да плохо написала... Лев Николаевич тоже увлекся Сократом, переделал мою книгу, вложил свое ви́дение, свою философию. И главная его мысль — учиться жить, не мешая людям, делая им добро. Но вот как заставить фабрикантов быть добрыми, ума не приложу!

— Если бы знать,— сказал Борис Андреевич.

— А вас, батенька, я в покое не оставлю. Глядите вы на мир из своего холостяцкого окошка, вздыхаете, гневаетесь... Действовать надо! И коли ничего другого не можете, будете преподавать у нас анатомию. И то добро...

Надя и Борис Андреевич стали прощаться с хозяйкой.

Калмыкова задержала Надину руку в своей, еще раз изучающе глянула ей в глаза и сказала:

— Обязательно приходите в школу, Надежда Константиновна. Такие люди нам нужны.

Надя уходила с ощущением счастья.

— Удивительная женщина Александра Михайловна! — произнес Борис Андреевич.— Мертвого добудится. Не только Толстой правит ее книжки, но и она не боится ему сказать, какой конец должен быть в рассказе, или дает ему совет относительно украинского фольклора. И Толстой ее слушает. Она вместе с рабочими на паровой конке ездит в воскресную школу. Умеет говорить с ними на равных. А министр Делянов страсть как боится ее колючего языка. У нее нет ни чувства страха, ни чувства барства. Замечательная женщина!

— Вы не представляете себе, Борис Андреевич, как я вам благодарна за это знакомство. Передо мной, кажется, распахнулась дверь в новый мир!

Глава IX

НА ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМ ТРАКТЕ

29 августа 1891 года в кабинете директора вечерне-воскресной школы Фарфорового приходского попечительства собирался на заседание педагогический совет.

Поминутно распахивалась дверь, и в кабинет бесшумно проскальзывали девушки и заходили молодые люди.

— Здравствуйте, Вячеслав Яковлевич! — приветствовали они директора школы.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — отвечал Аврамов и с видимым удовольствием ставил «галочку» против фамилии в списке преподавателей.

Пришли два священника в серых рясах с большими золотыми крестами на груди. Они степенно поклонились и заняли места рядом с директором. Отец Стефан расправил по плечам русые волнистые, как у девушки, волосы, которые, видно, на ночь заплетал в косицы. Отец Серафим был постарше. Его лысый череп обрамляла жиденькая седая бахрома. Сцепив пухлые пальцы рук на животе, он снисходительно поглядывал на молодежь.

Надя вошла в кабинет и нерешительно остановилась у дверей, ища глазами Калмыкову. Гул в комнате постепенно стих, все взоры обратились к новенькой. Аврамов тоже заметил ее и знаком руки пригласил к себе за стол. Надя подала директору свои бумаги.

В кабинете снова стало шумно. Преподаватели собрались после трехмесячных каникул и делились своими впечатлениями. Надя ловила доброжелательные улыбки. Здесь было по-молодому весело.

Ровно в два часа в кабинет стремительной походкой вошел попечитель школы Николай Александрович Варгунин. Разговоры прекратились. Все разом встали. Вслед за ним пришла Александра Михайловна Калмыкова.

Николай Александрович быстрым взглядом обежал присутствующих и весело потер руки.

— С удовлетворением отмечаю, что все учащие в сборе. Очень рад!

Варгунину было лет сорок. Невысокого роста, подвижный, несколько полноватый, с темной бородкой, мягкими чертами лица, он больше походил на земского врача, чем на промышленника.

— Начнем,— обратился он к директору школы.— Прошу вас, Вячеслав Яковлевич!

Аврамов нацепил на переносицу пенсне и встал.

Он был старше всех присутствующих. Высокий, худощавый, с седым ежиком волос на голове. Работал он учителем земской школы в селе Волково и вот уже несколько лет безвозмездно исполнял обязанности директора вечерне-воскресной школы.

— Итак, господа,— начал он свою речь,— мы с вами начинаем восьмой учебный сезон. В этом, 1891 году к нам поступило более шестисот новых заявлений от рабочих Спасской и Петровской мануфактур, Невского механического завода, с фабрик Паля и Торнтона, с завода Невского стеаринового общества. Большинство заявителей неграмотно, а те, кто учился раньше, желают продолжать образование. В этом году наши классы будет посещать около тысячи рабочих. Чего же ждут от нас с вами наши ученики?

Аврамов взял со стола пачку листков. Надя увидела прошения, написанные на тетрадных линованных листах, на оберточной бумаге и даже на синей бумаге из-под сахара.

— Разрешу себе прочитать некоторые из прошений. Вот рабочий с Семянниковского завода пишет: «Хочу узнать, как живут и чем занимаются люди в других государствах». А этот, с Невского механического, интересуется вопросом: «Откуда явился человек и все живущее на земле?» — Вячеслав Яковлевич перелистывал прошения, зачитывал из них

строчки: «Как образовалось государство и для чего оно людям?..», «Почему одни бедные, а другие богатые?..», «Ради чего живет человек?..», «Как понимать законы?..»

Отец Серафим кашлянул в кулак и тихо спросил:

— Ремесленный люд желает познать законы божьи?

— Человеческие тоже,— кратко ответил Аврамов и продолжал: — Рабочий со стеаринового завода желает «понять окружающий нас темный лес», другой пишет, что «хотел бы взглянуть на мир божий открытыми очами».

Надя внимательно слушала и старалась сформулировать ответ на каждый вопрос и поняла, как это трудно. Она пришла сюда не только для того, чтобы научить рабочих грамоте, но и помочь им осознать себя, свою роль, найти в «темном лесу» дорогу к иной, достойной их жизни.

— Итак, господа, поздравляю вас с началом учебного сезона! Желаю успеха,— закончил Аврамов свою речь.— Попросим нашего уважаемого попечителя сказать напутственное слово.

Варгунин поднялся с места.

— Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы так щедро делитесь своими знаниями. Шестьдесят тысяч рабочих и членов их семей живет и трудится на Шлиссельбургском тракте. Это равно населению среднего губернского города России. Семь лет назад почти все рабочие тракта были неграмотны. Сейчас сотни рабочих, а в последние годы многие десятки работниц овладели грамотой. Люди тянутся к знанию. Вчерашний темный, невежественный смоленский, псковский, рязанский мужик берет в руки книгу. Вячеслав Яковлевич наглядно показал, чего от нас ждут рабочие... И целью всякого честного, образованного человека должно стать предоставление людям равенства в обладании средствами к самоусовершенствованию. Дорогие коллеги, приложим все наше старание, все усердие, чтобы приблизить час, когда «мужик не Блюхера и не милорда глупого,— Белинского и Гоголя с базара понесет». В добрый час!..

Преподаватели долго и шумно аплодировали. Надя радовалась возможности тоже выразить свои чувства. До этого она слышала аплодисменты только в театре. Но то было знаком одобрения игры актеров, пьесы. Здесь, в этом кабинете, где со стен из темных рам смотрели взыскательные глаза Ломоносова и Ушинского, Пушкина и Пирогова, Менделеева и Тургенева, молодые люди в рукоплесканиях выражали готовность служить народу. Только священники не участвовали в этом душевном порыве. Отец Серафим неодобрительно крутил большие пальцы сцепленных на крутом животе рук.

— Предлагаю вашему вниманию прошение Надежды Константиновны Крупской,— услышала вдруг Надя и машинально встала.— Мадемуазель Крупская,— продолжал Аврамов,— просит принять ее в число учащих. Надежда Константиновна получила образование в гимназии Оболенской, имеет похвальные отзывы как репетитор и преподаватель математики. К прошению приложено свидетельство полиции о политической благонадежности... Имеются ли вопросы к мадемуазель Крупской? — спросил директор.

Надя стояла вконец смутившаяся.

Александра Михайловна кивала ей головой: держитесь, мол.

Варгунин окинул взглядом тоненькую фигурку девушки с длинной пушистой косой и спросил:

— Известно ли вам, мадемуазель Крупская, что школа потребует все ваши вечера в будни, а в воскресенье мы работаем с десяти утра до шести вечера? И так с первого сентября до пятнадцатого мая. Знаете ли вы, что дирекция оплачивает учащим только проезд на паровой конке в школу и обратно, а преподавание ведется безвозмездно? Мы оплачиваем уроки только законоучителям.

Священники заерзали на стульях. Каждый из них брал полтора рубля за урок, и эти уроки проходили обычно в полупустом классе.

Надя чуть слышно ответила:

— Да, условия мне известны. Я постараюсь быть полезной.

Аврамов пошептался о чем-то с Варгуниным, и тот в знак согласия кивнул головой.

— Вы, мадемуазель Крупская, имеете опыт преподавания в женских учебных заведениях, так не лучше ли вам взять женскую группу? — спросил Аврамов.

«Не доверяют»,— кольнула мысль, а вслух уже твердо сказала:

— Я очень прошу доверить мне мужскую группу.

— Вам трудно будет. Не справитесь. Там нужен крутой характер,— настаивал на своем Аврамов.

Надя совсем разобиделась. Ее считают за хлипкую барышню. Но она должна быть в мужской группе. Именно там ей поручено подбирать людей в марксистские кружки. Среди мужчин надо в первую очередь искать организаторов, пропагандистов. Женщины потянутся за мужчинами.

— Уверяю вас, у меня хватит сил и хватит характера.

— Хватит, всего у нее в избытке — и знаний и воли,— раздался голос Александры Михайловны.

Надя с благодарностью посмотрела на свою защитницу.

— Ну что ж,— вздохнул Вячеслав Яковлевич.— Я полагаю возможным зачислить мадемуазель Крупскую в состав учащих. Но посоветовал бы вам,— обратился он к Наде,— в течение месяца побывать на уроках в разных группах. Вы присмо́тритесь, и мы вас получше узнаем.

Надя чувствовала себя провалившейся на экзамене. Ее душили слезы обиды.

Заседание кончилось. Калмыкова взяла Надю под руку и стала знакомить с преподавателями. «Книпович»,—крепко пожала ей руку девушка в очках, в строгом темном платье. «Мещеряков»... «Чечурина»...

— Не беспокойтесь, Надежда Константиновна,— сказа-

ла Книпович.— Со всеми нами так было. Вячеслав Яковлевич очень строг в отборе.

— Все обойдется...

— Получите вы группу...

Утешали Надю со всех сторон.

Возвращалась домой вместе с Александрой Михайловной. Калмыкова понимала состояние девушки.

— Вы чересчур застенчивы, а здесь нужна напористость, умение держать в руках класс.

— Проклятый недостаток,— призналась Надя,— застенчивость мешает мне всю жизнь. Но контакт с учениками у меня получается.

— Э, здесь совсем, голубушка, другое! Это не ваши девочки, а мужики, некоторые еще и от земли как следует не оторвались. С покрова до пасхи в Петербурге работают, а с пасхи до покрова в деревне. Это фабричные, а заводские — те уже настоящие пролетарии, и ладить с ними легче. Но устают все одинаково. После пятнадцатичасового рабочего дня иной придет в школу — тетрадь на парту, уткнется в нее и спит. Нужно огромное терпение, большие знания и умение заинтересовать, чтобы тебя слушали, иначе через месяц будешь приходить в опустевший класс. Разбегутся. Вячеслав Яковлевич правильно решил: посидите на уроках у других преподавателей, у Книпович, например, она мастер своего дела. У другого, третьего... Всяк на свой лад работает. Увидите ошибки одних, дар божий у других.

На углу Литейного и Невского остановились. За последние дни улицы Петербурга неузнаваемо оживились: съехались студенты, курсистки, вернулись дачники, начинался театральный сезон. Большие афиши на круглых тумбах оповещали, что в Мариинском театре сезон открывается оперой «Евгений Онегин» с участием любимца публики знаменитого тенора Николая Фигнера.

— Вот она, судьба-то! — кивнула головой в сторону афиши Калмыкова.— Сестра Вера Фигнер в пожизненном за-

ключении в Шлиссельбургской крепости, а брат Николай солист императорской оперы.

Помолчали. Каждая думала о своем. Александра Михайловна кончиком зонтика чертила вензеля на панели.

— Почему вы отказались от женской группы? — спросила вдруг она Надю.

Надя замялась.

— Впрочем, понимаю,— взглянула на нее Калмыкова,— вы не зря марксистской литературой увлекаетесь. Что и говорить, на фабриках и заводах наиболее активная сила — это мужчины. Но знаете,— сказала вполголоса и както особенно доверительно Калмыкова,— самое удивительное и прекрасное создание на земле — русская женщина. Это сумели увидеть, пожалуй, только Некрасов, ну, и Пушкин, конечно. Нет сильнее, чище и многострадальнее русской бабы. Нет красивее и отважней ее. Где еще найдете такое созвездие, как Перовская, Фигнер, Засулич, такого подвижника в науке, как Ковалевская! Возьмите, к примеру, наших учительниц в вечерней школе. В любую погоду они идут пешком, едут на паровичке, тащат с собой связки книг, просиживают вечера и все воскресенья в школе, часто голодные, простуженные, но не пропустят ни одного занятия... И все это бескорыстно. Но ведь и себе на хлеб заработать нужно. А мужчин среди преподавателей — раз-два и обчелся... Вы-то на какие средства живете?

Надя пожала плечами.

— Зарабатывала уроками, но все уроки вечерние. Пришлось отказаться. Буду устраиваться куда-нибудь на работу.

— А бухгалтером, учетчиком сможете работать?

— Едва ли. Никогда с этим не сталкивалась.

— Сможете! — отрезала Калмыкова.— Сможете. Мне в книжный склад бухгалтер нужен. Дело не хитрое, и не боги горшки обжигают. Я плачу сорок рублей в месяц. Рабочий день у меня по совести. Когда большие партии книг прибы-

вают, приходится засиживаться, а так шесть—восемь часов в день.

Надя улыбнулась:

— У вас порядки уже социалистические.

Калмыкова заторопилась:

— Подумайте о моем предложении. От полиции свидетельства о политической благонадежности запрашивать не буду. Ну, до завтра! Ровно в десять утра я вас жду.

Глава X

ПЕРВАЯ ГРУППА

Увлеченная разбором книг, Надя не заметила, как вошла Александра Михайловна и присела в кресло.

Калмыкова любила библиотеку, тонкий аромат старых фолиантов, острый, свежий запах кожи, клея, типографской краски новых книг. Александра Михайловна всю жизнь страстно занималась самообразованием, с одинаковым увлечением читала книги по самым разнообразным отраслям знаний, умела, полистав незнакомую книгу, определить для себя, стоит ли тратить на нее время.

Книги, как и люди, на вид обманчивы. Одни, наряженные в сафьян и золотое тиснение, с замысловатыми виньетками, прикрывают внешним блеском скудость мысли, чванство, корыстолюбие и просто обман. Другие щедро обогащают сердце и ум, будоражат мысль и чем дольше живут, тем больше набирают силу и власть над умами и душами людей. На книжных полках все время идет неустанная борьба идей, понятий о долге, чести, справедливости и цели жизни. Слова — это бесчисленная армия солдат, и от степени искусства и таланта писателя зависит, как он выстроит их, чтобы выдержать испытание временем и победить или по-

терпеть поражение. Не многие книги обретают бессмертие. Остальные же, не затронувшие ни ума, ни сердца, беспристрастное время сбрасывают в Лету — реку забвения.

Калмыкова с интересом наблюдала, как ее молодая помощница обращается с книгами. Вот Надя взяла пачку, развязала бечевку, аккуратно сматывает ее в клубок, не отрывая глаз от пакета. Что в нем? Развернула гремящую упаковочную бумагу и радостно ахнула, словно открыла шкатулку с драгоценностями. Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова в шести томах. Первое полное собрание. С легким треском раскрыла переплет. Просмотрела оглавление. Нашла что-то очень дорогое и нужное сердцу. Улыбнулась. Прижала книгу к груди раскрытыми страницами и шепотом читает наизусть. Калмыкова старается угадать, что читает Надя. И по тому, как менялось выражение лица, как залегла у губ девушки горькая складка, а потом лицо приняло торжественное, гордое выражение, Александра Михайловна поняла: читает «Мцыри». Надя закрыла книгу, взволнованной рукой провела по переплету. Вздохнула — видно, трудно было превозмочь нетерпеливое желание тут же сесть и читать, читать...

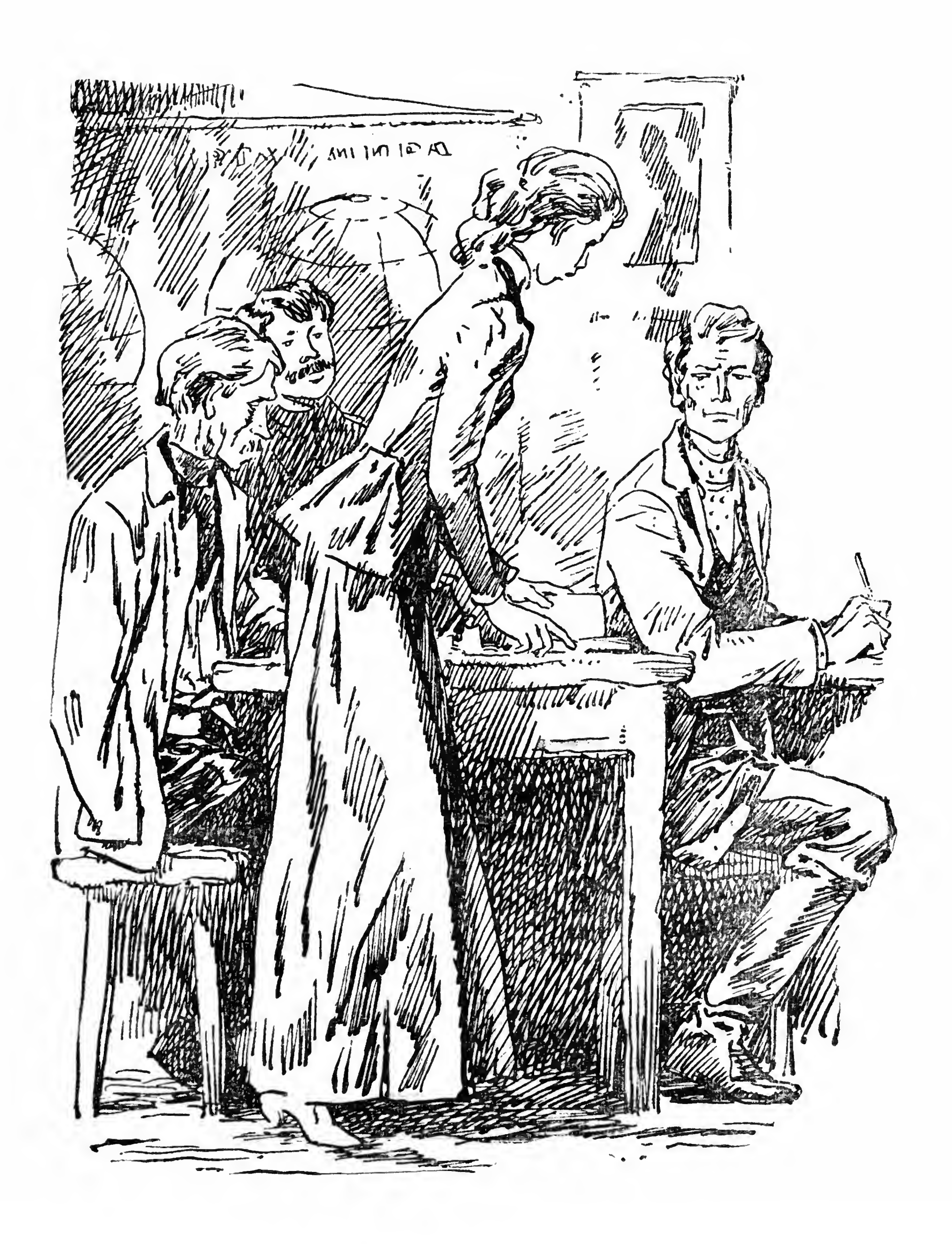
Калмыкова встала с кресла. Надя оглянулась, испытующе посмотрела на Александру Михайловну — не видела ли она ее душевного порыва. Кажется, нет.

— Могу я взять почитать домой? — спросила Надя.

— Разумеется. Я уверена, что у вас нет дурной привычки брать и не возвращать книги. Как я воюю с этим! Взять пятачок и не вернуть считается бесчестным, а забрать книгу и «зачитать» ее у нас считается чуть ли не хорошим тоном. Один экземпляр я отнесу в нашу школу. Кстати, как вам нравится школа, учителя?

Надя вздохнула.

— Я хожу на уроки, присматриваюсь. Мне очень нравится ваш метод и завидное уменье просто рассказывать о самых сложных явлениях жизни. А вот я была на уроке



Маргариты Андреевны — она рассказывала о нумизматике. Сколько остроумных и колких реплик слышалось со стороны учеников, а она никак на них не реагировала и не ответила на самый жгучий вопрос: «Почему у хозяина денег много, а рабочие голодают?» Не понравился мне диктант в одном классе. Ученики чуть не заснули под этот монотонный, изнуряющий диктант. Очень хороша Книпович. У нее какой-то особый дар вызвать учеников на живой, откровенный разговор. Сегодня пойду к Аврамову, буду просить себе группу.

В тот же вечер Надя пошла к директору. Напомнила о своей просьбе дать ей мужскую группу.

— Вы еще не отказались от своей мысли? — спросил Аврамов.

— Нет, я утвердилась в ней.

— Мне нравится ваша настойчивость,— признался Вячеслав Яковлевич.— Вот у меня подобралась группа неграмотных и неполноценных людей. Очень трудные и ненадежные ученики. Такие походят недели две и разбегутся, не под силу им. Возьметесь обучить их грамоте?

— Берусь,— храбро ответила Надя, но почувствовала, как пол закачался у нее под ногами — вдруг не справится?

И вот Надя в сопровождении директора идет в свой класс полноправной учительницей.

— Вот ваша новая учительница,— обратился Аврамов к ученикам.— Прошу любить и жаловать. Не обижайте Надежду Константиновну. А вам желаю успеха,— кивнул он Наде и вышел. В коридоре в нерешительности остановился. Он видел, как побледнела девушка, увидев своих учеников. Может быть, и жестоко он обошелся с этой юной учительницей, привыкшей иметь дело с благовоспитанными гимназистками, а здесь... Впрочем, пусть держит экзамен на зрелость. Аврамов решительно махнул рукой и пошел к себе в кабинет.

А Надя долго не могла справиться с собой, с волнением. Села за стол и стала старательно читать и перечитывать в журнале список учеников, боясь поднять глаза.

Перед ней за замызганными, засаленными столами сидело четырнадцать пожилых рабочих, и каждый имел какой-то физический недостаток. У одного пустой правый рукав рубашки был заправлен за пояс, рядом с другим стояли костыли. Поражал своей худобой и синюшным лицом рабочий неопределенного возраста, он надрывно и беспрестанно кашлял. Его сосед, видимо, страдал от незаживших глубоких ссадин на лице и руках. У одного было бельмо на глазу, другой еле доставал подбородком до стола — он был горбат...

— Вишь, барышня,— прервал наконец тяжелое молчание безрукий,— какие мы все кривые, косые да горбатые. Женихи мы никудышные, но уж дюже хочется грамоте научиться. А в другую группу нас не берут, чтоб добрых людей не пугать. Здесь мы все одинаковые, богом обиженные...

— Не богом, а хозяином!— зло оборвал его старый рабочий с изрытым оспой лицом и широкой гладкой лысиной.

— Ты, Захар Родионович, все свое гнешь — «хозяин, хозяин», а тебя рябым, а меня горбатым хозяин, что ли, сделал? Всё от господа бога,— проворчал горбун.

— Мы будем премного благодарны тебе, барышня, коли ты нас грамоте обучишь. Люди мы смирные.

Надя уже овладела собой.

— Будете стараться — научу,— бодро ответила она.— И начнем с того, что выберем старосту.

— Это зачем же старосту? В деревне — другое дело. Подати да налоги собирать, на барщину скликать, а здесь-то обучают задарма,— возражали ученики.

— Староста будет мне помогать — носить и раздавать книги, собирать тетради, готовить доску, мел, тряпку, следить за порядком и чистотой в классе.

— Это другое дело. Но кого?

— Вон пусть Федька будет за старосту, он помоложе и сильный, ему сподручно книжки таскать,— предложил однорукий.

Старостой выбрали Федора Васильева.

На душе у Нади было невесело. Она не видела среди этих пожилых, искалеченных людей будущих пропагандистов, организаторов. А ее главной целью работы в школе было найти именно таких людей.

— Кто из вас грамотный? Кто знает буквы? Поднимите руку.

Трофимов поднял обожженную руку.

— Я все буквы знаю: аз, буки, веди, добро, глагол... А вот взял священное писание, все одно что слепой.

— Кто еще буквы знает?

Больше никто не знал.

Неграмотных Надя никогда не обучала. Она могла преподавать алгебру и геометрию, географию и физику, литературу, французский и немецкий языки. Наверно, она сумела бы учить детей в начальной школе. Но как найти ключ к этим бородачам, младшему из которых было лет под сорок? Как научить однорукого писать левой рукой, как сможет держать ручку Трофимов обожженными пальцами? С чего же начать?

Надя раздала ученикам тетради и ручки. По программе на письмо отводился час, второй час на чтение и третий на арифметику. Начинать обучение письму полагалось с палочек. Нужно ли это? Она ходила по классу, показывала, как надо держать ручку, потом подсаживалась к каждому и выводила на первой строчке тетради букву «О». Долго примерялась, как надо держать перо в левой руке, сидя рядом с одноруким Павлом Макаровым. Растерянно смотрела на ярко-красную, словно лишенную кожи, руку Трофимова.

— Спужалась? — спросил рабочий.— Теперь уже не бо-

лит. Это я с машиной не сладил, паром обварило. Даст бог, до свадьбы заживет.

Надя подошла к доске и написала крупно букву «О» мелом.

— Пусть каждый из вас напишет эту букву в своей тетради — целую строчку.

В классе слышалось тяжелое дыхание и скрип перьев.

— Больно тебя мудрено звать по батюшке,— раздался вдруг голос Васильева.— Надежда Кс... Кнс...

— Надежда Кон-стан-ти-нов-на, — раздельно и громко произнесла Надя.— И давайте друг друга называть на «вы».

Ученики повторяли, коверкая на все лады отчество учительницы.

Трофимов предложил:

— Надежда Кстинна, мы тебе будем говорить «вы», а нас называй «ты». Идет?

— Нет. Мы будем друг друга называть на «вы», я — вас, а вы — меня. Это уважительно, и так полагается в школе.

Надя прошлась вдоль ряда столов, заглянула в тетради и очень удивилась: у каждого буквы «О» были сцеплены одна за другую, и по линейке вытянулись цепочки из круглых звеньев. В чем дело? Она решила, что сама допустила ошибку. Следовало бы написать эту букву в тетрадь каждого несколько раз и раздельно.

— Посмотрите, как надо писать.

Надежда Константиновна вывела на доске длинный ряд букв «О», отделив одну от другой коротенькой, четкой запятой. Положила мел и стала вытирать тряпкой руки.

Неожиданно для нее Захар Родионович запротестовал:

— Не согласны! Мы эту букву давно умеем писать, только не знали, что она буквой «О» называется.

Учительница в недоумении пожала плечами.

— Не понимаю.

— Ну, к примеру: весной на Торнтоне мы бумагу ин-

спектору подали с жалобой на мастера. Грамотный написал, а мы, по неграмотности, на той бумаге колечки вывели, да так ловко вывели, что каждое колечко за другое цеплялось. Получилась цепь неразрывная. Я ту бумагу инспектору понес. А инспектор приставлен к фабрике, чтобы рабочих с хозяевами мирить...

— И чтоб тот мир на пользу хозяину шел,— добавил однорукий.

— Обождь! — цыкнул на него Захар Родионович и продолжал: — Поглядел инспектор на бумагу и спрашивает: «А подписи где?» Я ему пальцем на цепь показываю. «Не положено! — говорит.— Неграмотные вместо подписи должны ставить крест, а здесь чего написано?» Я отвечаю, что коли кресты друг с дружкой сцепить, получается изгородь какая-то, а у нас сразу видно: мы все заодно. «Кресты, кресты поставьте, каждый в отдельности, иначе ваша бумага законной силы иметь не будет, потому как без подписи». Я ему втолковываю, что это наша общая подпись. А крестами мы за получку расписываемся, там это к месту — от своей получки в пользу хозяина открещиваемся. «Кабы вам за такие дела цепи на ручки да на ножки не надели бы»,— проворчал инспектор. Гляди, мол, на каторгу угодите. Но бумагу взял.

Надя стояла пораженная неожиданным открытием.

— Спасибо, Захар Родионович, за урок,— вырвалось у нее.

Неграмотные рабочие классовым чутьем понимают, что им необходимо организоваться, что их сила в единении. Неразрывная цепочка из звенышек означает: рабочие, соединяйтесь,— это же суть учения Маркса, о котором эти рабочие и понятия не имеют, но хорошо понимают, что в одиночку даже с мастером не сладить.

«Ну что ж,— подумала Надя,— будем считать, что обучение грамоте начали с лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Следующий урок был арифметика.

Все умели считать до ста. Знали сложение и вычитание. О делении и умножении не имели представления. Надя стала объяснять основы четырех действий арифметики. Захар Родионович ворчал:

— Нам сложение, Кстинна, ни к чему. У нас сплошное вычитание. Делить нам между собою нечего, разве кусок хлеба. А вот умножение пригодится, ох как пригодится!..

Прошло недели две, и между учениками и их молодой учительницей установились самые доверительные отношения. Рабочие видели, сколько усердия, доброго терпения и сердечного тепла вкладывала в свое дело Кстинна, и всей душой потянулись к ней.

Улыбчивая и приветливая, она являлась в класс, и становилось светлее, то ли от ее белой блузки, а может быть, от лучистых глаз. Каждый старался показаться ей в самом лучшем виде. И Надя понимала, как душевно богаты эти изуродованные каторжной жизнью люди.

Это были все старые рабочие, давно порвавшие с деревней. Почти все они успели поработать на нескольких предприятиях, знали порядки на всех фабриках и заводах Петербурга, нравы мастеров и управляющих. Им было что рассказать своей учительнице.

— У нас на бумагопрядильне хозяин по дешевке купил хлопок,— рассказывал Захар Родионович.— Ему от этого выгода большая. А нам? Основа из этого хлопка никудышная, слабая. Если мало ее шлихтуешь...

— Что такое шлихтовать? Объясните, Захар Родионович.

— Крахмалить, значит. Мало накрахмалишь, она, чертяка, рвется беспрестанно, посильнее шлихтуешь — ломается. Ну какой заработок может быть у ткача на такой дрянной основе? Я ткач на фабрике что надо. Меньше двадцати рублей в месяц не зарабатывал, а вот уже два месяца едва на двенадцать целковых срабатываю.

— Я тоже ткач,— включился в разговор обычно молчаливый Селезнев.— Мне машиной-сельфактором на рельсе ногу раздавило, потому как ограждения не было. И ничего мне за это уродство не заплатили...

Чахоточный Улькин работал на табачной фабрике Лаферма. Он жаловался на большие штрафы, которые взыскивают с рабочих. Пришел в казармы вечером на час позже — штраф, ругнулся на мастера — штраф, дверью хлопнул — штраф, на гармошке заиграл после десяти вечера — штраф.

Здесь уже все вступили в разговор.

— Говорят, новый закон о штрафах вышел, но мы, как неграмотные, толком ничего не знаем. Что за закон? — спросил Васильев.

Надя тоже не знала и обещала познакомить их с этим новым законом.

Дома Надя записывала всё услышанное от рабочих, а потом рассказывала обо всем на собраниях марксистского кружка.

К новому году ученики Крупской научились читать, писать и считать. Одни лучше, другие хуже. И добилась этого Надежда Константиновна не столько умением и педагогическим опытом, сколько огромным упорством, мягкой настойчивостью. Учительница радовалась вместе со своими учениками каждой самостоятельно написанной строчке, каждой прочитанной странице, каждой решенной задаче по арифметике.

Для Надежды Константиновны этот год был настоящим университетом. Никто в марксистском кружке не знал так обстоятельно и подробно положение на петербургских фабриках и заводах, как это знала Крупская.

И когда в мае ее ученики предстали перед экзаменационной комиссией, никто не получил балла ниже «4». На экзамен не явился один только Улькин. Ранней весной он умер от чахотки. Перед смертью он говорил добрые слова о своей учительнице.

На педагогическом совете Аврамов отметил успехи Надежды Константиновны и признался, что от этой «захудалой» группы все отказались, «отважилась одна мадемуазель Крупская».

Надя понимала, что сдала свой важнейший экзамен в жизни.

Глава XI

«ЧЕТ — НЕЧЕТ»

Прогудел фабричный гудок. Протяжно и тоскливо. Темно и холодно на дворе. Моросит дождь.

Егорка весь сжался, засунул руки в рукава и торопится за сестрой.

Фрося пытается взять братишку за руку, но он сердито поводит плечом: не маленький, мол, не потеряюсь, да и идти недалеко от казармы до фабрики.

Утром Егора всегда колотит озноб, даже летом. Егор не высыпается, поди, уж два года. Даже в воскресенье. Разве в казарме выспишься, когда на нарах лежат голова к голове двадцать человек! Один храпит, другой стонет, третий чего-то бормочет во сне. Каждому свое снится. Егорке снится то сеновал, то полати у теплой печки, где он спал с братишками; сверчок верещит, за стеной мычит корова, а потом вдруг раздается бычий рев... Егорка вскакивает, протирает глаза. Нет сверчков. Нет братишек. И не бык ревет, а фабричный гудок. Окончательно просыпается парнишка на улице.

В широко распахнутые ворота фабрики валом валит народ. Много людей. Тыщи. Егорке не сосчитать. Он может считать только до пятидесяти, больше ему знать не нужно.

Зазвенел звонок. Пора становиться к станкам. Фрося перекрестила Егорку и побежала в женскую гардеробную. Она

работает на третьем этаже ткачихой, Егорка рядом — в сновальной. В ткацкой такой грохот, будто тебя по голове цепами молотят. А в помещении, где ребятишки работают,— тихо. Их здесь двадцать четыре пары, больше мальчишек, но есть и девочки. И всех пробирает дрожь. И все зевают. До слез.

Вошел мастер.

— А ну, гуси лапчатые, за работу!

«Гуси лапчатые» усаживаются на полу по паре, друг против друга,— теперь они проборщики. Между ними две рамы-ремизки с частыми, туго натянутыми нитями. Лицо соседа сквозь эти нити кажется разлинованным вдоль. Посередине каждой нити петелька — глазок. А сверху с барабана бахромой свешивается основа. Каждую нить основы надо продеть в глазок ремизки. Все четные нити — в глазки одной ремизки, все нечетные — в глазки другой. Спутать нельзя, иначе вся работа пойдет насмарку. Для верности каждый проборщик, продевая крючком в глазок свою нить, говорит: «Чет», а второй, продевая свою, отзывается: «Нечет».

Сорок восемь ребят сидят на полу и, не отрывая глаз от ремизок, нащупывая пальцами глазок, повторяют: «чет», «нечет», «чет», «нечет». От этого чоканья и однообразных движений клонит в сон. У детей день короче, чем у взрослых,— десять часов: с четырех утра до девяти, а потом, после трехчасового перерыва, еще пять часов. Работа проборщиков считается за легкую, а для детей — пытка. Попробуй неподвижно просидеть на полу, вытянув ноги или поджав под себя, пять часов подряд. И еще пять часов!

Мастер ходит по рядам и проверяет. Заметит, что две, три нитки основы в одну ремизку подряд продеты, велит переделывать всё сызнова и в конце месяца, в получку, высчитывают из четырех рублей много копеек за брак. Кто виноват, разбираться не будут, высчитают с обоих.

У Егора напарницей Кланька. Маленькая, в материной кофте, ворот болтается, и на шее видна черная полоска от

медной цепочки, на которой висит крестик. Какая она, Кланька? В деревне каждого человека видно — веселый он или бука, задира или тихоня. А здесь все одинаковые, все сидят согнув спины и шепчут: «чет — нечет», «чет — нечет». У Кланьки пальцы тоненькие, как соломинки, она и без крючка нитку в глазок вдевает прямо с ходу. Быстро работает, Егор еле за ней успевает. А получает она только три рубля в месяц, потому что девочка. Скоро два года работают они в паре и ничего друг о дружке не знают. Разговаривать некогда.

«Чет — нечет,— стрекочут ребячьи голоса. — Чет — нечет».

После работы Егорка сбегал в лавку за хлебом, солониной, а потом пошел встречать сестру. В голове стучит, как дятел: «чет — нечет», и хочется спать. Спать. Спать. Увидел, во дворе ребята под фонарем в чушки играют, и удивился: как можно играть в чушки, когда нет сил и хочется спать. А в деревне Егор в чушки играть был горазд: с одного удара с кона пушку вышибал.

Егор еле ноги передвигает, и рот от зевоты разрывается, а Фрося идет ему навстречу, как с посиделок,— легкая и веселая, словно и не отработала пятнадцать часов.

— Скоро покров, Егорушка, праздник пресвятой богородицы.

— Будто не знаю, что скоро,— буркнул Егор.— Я не хочу больше наниматься, хочу в деревню. Хоть бы одну зиму в деревне пожить, на печке поспать.

Фрося рассмеялась.

— Ты как старый дед, о печке думаешь! И думать не моги! — строго сказала она.— Урожай опять небогатый, лишний рот там не нужен, мы лучше мамане да братьям и сестрам на обновки заработаем.— Фрося помолчала, обняла брата за плечи: — Я, Егорушка, замуж выхожу.

— За Степана идешь? — как о само собою разумеющемся, спросил Егор.

— За него! Переедем в семейную казарму, ты к нам по воскресеньям будешь в гости приходить. Видно, нам суждено в Петербурге всю жизнь прожить.

— Кабы в Петербурге, а то в казарме. Я этот Петербург и не видел. Я к мамке хочу. Она старая, хворая, помрет без нас...

— Как бог даст...— Фрося покрепче прижала к себе брата, тот боднул ее в плечо и отстранился — не маленький, чай.

Степан ожидал их у дверей казармы. Он запыхался — видно, бегом бежал с Семянниковского, где работал слесарем.

— Здорово, паря! — будто не замечая Фроси, хлопнул по плечу Егорку.— Чего невеселый?

— Да вот домой, в деревню просится,— ответила за брата Фрося.

В двери казармы ныряли фабричные девчата, поглядывали на Фросю, на Степана. Проплыла, покачивая бедрами, ткачиха Лукерья, зыркнула глазами на Степана, усмехнулась, смерила насмешливым взглядом Фросю.

— Совет да любовь,— произнесла нараспев и подмигнула Степану: — Ты чего, лучше не нашел?

— Тебя, что ли? Тьфу ты! — отмахнулся от наглой бабы Степан.

— Тили-тили тесто, Фроська невеста! — прокричали хором мальчишки.

— Ужо погоди, я с вами расправлюсь!..— пригрозил им вдогонку Степан.— Вот что, Фрося, я с тобой сегодня не пойду. Учиться я определился в вечернюю школу. И знаешь, кто там учителкой? В жисть не угадаешь.

— Кто же? — без особого интереса спросила Фрося. Ее обидел отказ Степана пойти с ней на карусель, как договорились. Может, его учителка завлекла?

— К Надежде Кстинне определен я учиться.

— Врешь!

— Ей-бо, пра! Там и для баб школа есть. Вот я и хотел спросить тебя — может, вместе в школу будем ходить? Грамоте обучимся и завсегда будем вместе. А, Фрося?

— А силушек-то откуда взять? У меня голова гудом гудит. Я из-за тебя стирку отложила, а ты — в школу! Придумал тоже.— Фрося глянула на Степана. В глазах ее были и любовь и обида.

— Больно там интересно, Фрося. Сидишь слушаешь, сон как рукой снимает. Не пожалеешь. Не понравится—уйдешь. Там насильно не держат. Это как душа велит.

Желание быть со Степаном вместе взяло верх.

— Ладно, будь по-твоему. Пойдем — погляжу... Ты, Егорушка, беги, похлебай щей да ложись. Вот тебе еще копейка на бублик. Поешь на здоровье. А ты, Степа, погоди, я обуюсь, переоденусь, не в этих же лохмотах идти...

Фрося скрылась за дверью. Егор вертел в руках копейку. Степан с состраданием глядел на него. В глазах мальчонки была такая тоска, такая недетская усталость.

— Стёп,— нерешительно сказал Егор, переступая с ноги на ногу,— вели Фроське меня в деревню отправить. Я зиму там посплю, а к пасхе обратно вернусь.

— Ты что — медведь? — засмеялся Степан.

— Стёп, вели Фроське, ты ведь ей вроде муж...

В темноте блеснули белые зубы Степана. Значит, решила Фрося, если и Егору сказала. А то Степан сомневался, не очень-то уверенно говорила Фрося о будущей совместной жизни. Все медлила с ответом. Ей хотелось сыграть свадьбу в деревне, чтобы честь честью, чтобы сваты пришли, чтобы девичьи посиделки напоследок справить, попричитать, песни попеть, распрощаться с девичьей жизнью. А здесь какая свадьба! Пойдут пешком в церковь, а потом отправятся на поклон к управляющему Семянниковским заводом, чтобы Степану, как женатому, угол в семейной каморе отвели. И гулянки никакой не будет...

Вышла Фрося, повязанная чистым ситцевым платочком,

в жакетке нараспашку, чтобы была видна новая сатиновая кофточка навыпуск. Нарочно под свет фонаря встала.

— Ты чего, Егор? Иди домой. И мы пойдем.

Степан смотрел на Фросю. Ладная, пригожая будет у него жена.

— А мне можно с вами? — спросил неожиданно Егор.

— Так это школа для мужиков и баб, мы тебя в земскую определим,— возразил Степан.

— Не, я хочу с мастеровыми. В земскую школу надо днем, в обеденный перерыв ходить, я лучше спать буду, а вечером вместе с вами в школу.

Степан переглянулся с Фросей.

— Ну ладно, пойдем, может, Кстинна разрешит тебе со мной на одной скамейке сидеть. Только чтобы не спать там и усердие к учению проявляй. Кстинна строгая, но справедливая. Всю душу школе отдает — нашему брату, мастеровому. Смотришь на нее, и самому хочется стать лучше. Ты как, Фрося, согласна? Возьмем с собой Егорку?

— Коли ты хочешь, давай все вместе.

Глава XII

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Старая Линда в этот вечер едва успевала открывать дверь на звонки. К ее квартиранткам сестрам Невзоровым собирались гости.

Линда не может пожаловаться на барышень: приветливые, чистехи и, по мнению финки, не очень-то легкомысленные, хотя обе хохотушки, любят попеть и потанцевать. Но больше сидят за книгами. Курсистки ведь. Обе учатся на Бестужевских курсах, что поблизости, на Десятой линии Васильевского острова. Курсистки, а не курят, и все их подруги некурящие и нестриженые, у каждой косы ниже пояса.



Значит, благонадежные. А то жил у Линды квартирант, приходили к нему стриженые барышни и молодые люди в косоворотках, все курили, о чем-то спорили, от Линды таились, двери комнаты от нее запирали. Однажды ночью явилась полиция и забрала квартиранта. Линду допрашивали. Но что она могла сказать?

У сестер Невзоровых тоже часто собираются молодые люди. А почему бы им и не собираться? Зина и Соня одна краше другой, завидные невесты. Линда мало знает по-русски, пять-шесть слов, и ее квартирантки заучили десятка два финских слов. Вполне достаточно, чтобы договориться обо всем.

— Терве, терве, Надья! — приветствует Линда очередную гостью.

«Надья» — подруга Зины. Тоже красивая, улыбчивая, коса мягкой кошкой свернулась на спине. Правда, Надя не такая бойкая, как Зина или Соня, но тоже любит петь.

Чаще всех здесь бывает «Хлебушка», как, к восторгу Зины, называет финка студента в зеленой тужурке. Линду не проведешь, влюблен этот Хлебушка в Зину. И сегодня пришел один из первых. А сейчас поет. Поет для Зины. Красивый молодой человек: высокий лоб, ласковый взгляд, приятный голос. Зина, веселая, с искрометными глазами, понимает свою власть над этим студентом и, чего греха таить, тоже влюблена в него. «Ну и с богом! Хорошая пара»,— думает Линда.

— Олка хювя, ракаста Линда, отстака ойкен пальон[1] бублики, калачи, сайки,— просит хозяйку Зина и дает ей деньги.

Финка понятливо кивает головой: много гостей, надо много булок.

На пороге Линда столкнулась с новыми гостями. Один, узколицый, со светлой бородкой клинышком, одет как ба-

---

[1] Пожалуйста, дорогая Линда, купите побольше *(фин.)*.

рин с Невского: в котелке, белоснежный высокий накрахмаленный воротничок подчеркивает смуглость щек, в руках стек. Второй — большой, широкоплечий, с круглой бородкой, в темных очках.

Линда шла по двору и раздумывала: где она видела этого барина в котелке? К сестрам Невзоровым он не приходил. Где же она его встречала? А может, показалось старой, что знаком ей этот барин. Вот еще идут двое. Этих Линда знает: Петр и Поля. Петр в зеленой студенческой тужурке, Поля — с Бестужевских курсов, крупная, сероглазая, ласковая. Всегда сует Линде какой-нибудь леденец или фигурный пряник. Линда улыбается им, старым знакомым.

...Зина хлопочет у стола. Петр Запорожец вернулся с каникул из «ридной Украины», привез деревенские гостинцы: розовое сало, мед и огромную, как блюдо, головку подсолнечника с черными спелыми семечками. Зина устраивает подсолнух посередине стола.

Кажется, все в сборе. Со всеми уже Надя успела подружиться. Степан Иванович Радченко — руководитель кружка, степенный, немногословный, единственный отец семейства в кружке. Его жена, Любовь Николаевна,— ровесница Нади, а уже мать двоих детей, успевшая познакомиться с тюрьмой. Василий Старков — подтянутый, непроницаемый, казалось, навсегда застегнутый на все пуговицы, и только гитара в его руках выдает романтический настрой души. Суховатый, неразлучный с книгой Герман Красин. Немного неуклюжий, милый и красивый, во всем бескомпромиссный, фанатически преданный делу революции Петр Запорожец. Деятельная, душевная и веселая Аполлинария, или попросту Поля, Якубова. Мечтатель и поэт Глебушка Кржижановский, которого немыслимо представить отдельно от Зины Невзоровой, щедро наделенной умом, красотой, живостью характера. Ее младшая сестра Соня писаная красавица, только бледность лица выдает ее болезненное состояние после недавно перенесенной холеры.

А вот у окна примостились трое, к которым у Нади особое расположение. Это замечательные самородки, люди нового мира, рабочие-интеллигенты: слесарь Иван Бабушкин, токарь Сергей Фунтиков. Оба Надины ученики из ее нового класса, оба с Семянниковского завода. Третий, Василий Шелгунов, рабочий с Обуховского завода.

Иван Васильевич Бабушкин одет как заправский щеголь, играет сложенными лайковыми перчатками, «конспиративными» перчатками, как он их называет. Они скрывают руки рабочего со вздутыми жилами, с крепкими, как броня, мозолями.

Сергей Иванович Фунтиков выделяется своей богатырской фигурой — настоящий Илья Муромец. Это он нес на похоронах Николая Васильевича Шелгунова венок от рабочих, высоко подняв его как знамя.

Однофамилец писателя, Василий Шелгунов самый старший в кружке. Ему уже двадцать восемь лет, а темные очки, которые он постоянно носит, делают его еще старше.

Кого же еще ждут? Кого нет? — оглядывает еще раз Надя кружковцев. Нет Саши Малченко, студента-технолога, его-то, наверно, и ждут.

Раздался звонок в дверь.

— Это они пришли.— Зина побежала открывать дверь и вернулась в сопровождении Малченко и еще двух молодых, незнакомых Наде людей.

— Вот наши новые члены кружка, волгари,— торжественно представил Саша собравшимся своих спутников.—Михаил Сильвин. Из Нижнего Новгорода. Лет от роду восемнадцать.

— Почти девятнадцать,— поспешил поправить юноша с широко раскрытыми мальчишескими глазами. По-мальчишески торчали в разные стороны его подстриженные «ежиком» волосы, еле заметная щеточка усов пробивалась над верхней губой.

— Прошу прощения,— засмеялся Саша,— скоро Мише

пойдет двадцатый. Он кончил Нижегородскую гимназию, стал членом тайного гимназического кружка толстовцев, разочаровался в них и два года занимался в марксистском кружке. Сейчас студент первого курса юридического факультета Петербургского университета.

Миша стоял пунцовый от смущения.

— Что вы успели одолеть из марксистской литературы? — строго, как на экзамене, спросил Радченко.

— «Развитие социализма от утопии к науке» — сочинение Энгельса, первый том «Капитала» — сочинение Маркса, «Манифест Коммунистической партии» — Маркса и Энгельса,— скороговоркой выпалил Сильвин.

— Вполне прилично для гимназиста,— заметил Радченко.

— Я — студент, — запальчиво подчеркнул свою взрослость Миша.

— Да я не в обиду, а в поощрение вам сказал. Кто вас может рекомендовать?

Зина встала, откинула черную косу за спину.

— Я и сестра Соня хорошо знаем Михаила Александровича и за верность его делу рабочего класса ручаемся.

— Да, да,— подтвердила Соня,— мы горячо рекомендуем принять в кружок и Мишу Сильвина и Толю Ванеева, как подготовленных марксистов и верных товарищей.

Анатолий Ванеев был на три года старше своего друга. Он несколько лет работал писцом у нотариуса, вечером ходил на занятия марксистского кружка, а по ночам занимался самообразованием. Сдал экстерном за реальное училище. В Петербурге держал экзамены сразу в два института — в Горный и Технологический — и в оба был принят.

Ванеев располагал к себе всем своим видом. Среднего роста, худощавый, он был нетороплив в движениях, не спешил с ответами, серые глаза, опушенные густыми ресницами, смотрели доверчиво и приветливо.

— Я хотел бы,— сказал он,— вашего совета: куда мне идти учиться?

— А вы сами определили для себя — кем вы хотите быть? — спросил Радченко.

— Вполне. Решил быть революционером, а в институт иду, чтобы стать инженером и быть ближе к рабочему классу.

— Конечно, в Техноложку надо идти, а не в Горный... Безусловно, в Технологический. Только там есть настоящие марксисты!.. Только туда! — раздались дружные возгласы.

Ванеев улыбнулся. Ослепительно белые зубы подчеркнули его болезненный цвет лица. Видно, бессонные ночи, проведенные за книгами, подорвали здоровье юноши.

— Спасибо, товарищи, я так и сделаю.

— Знакомы ли вы с основами конспиративной работы? — не унимался Радченко.

Да, Ванеев умел соорудить гектограф, изготовить бомбу, смастерить тайники для хранения нелегальной литературы, знал тюремную азбуку.

— Неплохо, неплохо,— с довольным видом урчал в усы Радченко.— И последний вопрос: где вы поселились?

— Мы с Мишей сняли комнату на 10-й Мещанской улице у одной немки, которая ни слова не понимает по-русски.

— Хорошее пополнение,— заметил Шелгунов.— Предлагаю принять в члены кружка.

— Принять!.. Принять!..

— Принимаем,— согласился Радченко.

Взволнованные и счастливые, Ванеев и Сильвин втиснулись на диванчик. Анатолий вытирал платком вспотевший лоб.

— Сегодня у нас организационное собрание после летних каникул,— продолжал вести заседание Радченко.

— Давно пора за дело, братцы,— отозвался Бабуш-

кин,— у рабочего класса каникул нет. Пока вы отдыхали, мы тут без вас зубрили «Капитал», а кружки бездействовали.

— Мы возобновим работу в кружках.— Радченко обвел глазами присутствующих.— Нас одиннадцать человек; значит, будет одиннадцать кружков по пять-шесть человек в каждом.

— Почему одиннадцать,—возмутилась Зина,—нас здесь шестнадцать!

— Женщины не в счет,— отрезал Радченко.

Девушки запротестовали. Где же равноправие?

— Я настаиваю, чтобы мне дали рабочий кружок,— тихо заявила о своем желании Надя.

Степан Иванович развел руками.

— Во-первых, у нас нет готовых рабочих кружков...

— Я подберу сама из своих учеников,— прервала его Крупская.

— А во-вторых, появление учительниц в рабочих поселках будет грубым нарушением конспирации, вы провалите эти кружки.

Соня Невзорова предложила выход:

— Мы переоденемся работницами.

Все рассмеялись.

— А красоту вашу куда спрячете? — спросил Фунтиков.

Бабушкин помахал в воздухе своими перчатками.

— Главное — руки. Я, чтобы быть похожим на барина, надеваю перчатки, а вы в перчатках, что ли, к рабочим пойдете? Ваше дело вечерне-воскресная школа. В ней вы делаете настоящее дело. По себе знаю. Вот, к примеру, наша учительница Надежда Константиновна. Она ни разу не произнесла «марксизм», «стачка», «революционное движение», а рабочие в ее классе хорошо разбираются, как наживаются капиталисты на нашем труде, знают, что царь заодно с

богатеями, как объединяются рабочие в борьбе за свои права в других странах. Каждый у нас спасибочко говорит Константиновне.

— Что правда, то правда,— подтвердил Фунтиков.— Когда Надежда Константиновна лекцию по географии читает, тут только слушать умей да на ус наматывай.

— Хватит, хватит! — отмахивалась Надежда Константиновна.— Школа не может решать революционных задач, а Маркс говорит о революционной организации рабочего класса.

— Мы к этому придем, нужно время. Передовые рабочие должны овладеть марксизмом. Терпение и еще раз терпение,— внушал Радченко.

И тут-то терпение в кружке взорвалось. Все заговорили разом.

Молодые люди пришли в этот кружок по зову совести, готовые на любые жертвы, никто из них не думал о собственной карьере. Все они были чисты в своих помыслах и бескорыстны, как только может быть бескорыстна юность. Каждый из них раз и навсегда определил цель своей жизни — служение рабочему классу. И каждый понимал свою ответственность за дело освобождения рабочего класса от нищеты, угнетения, несправедливости. Но для этого нужна организация, большая, сплоченная. Как ее создать? В Петербурге действовало всего два десятка глубоко законспирированных кружков. Нужно единство действия этих кружков. Как это сделать? Нужно, чтобы идеи Маркса стали достоянием передовой части рабочего класса. Как это осуществить?

Загорелся спор — горячий, страстный, заинтересованный.

И Надя вспомнила слова отца: «Мне стыдно, что так медленно живу я». И это чувство владело всеми.

В самый разгар спора в дверь постучала хозяйка. Принесла бублики.

— Киитоксиа пальон [1],— поблагодарила Зина и сунула корзинку куда-то в угол. Было не до бубликов.

...Линда пошла к себе. Уселась за вязанье и задумалась. Нет, не для гулянки собрались эти молодые люди. Не поют, не танцуют. И недаром околоточный околачивается возле двора. Спросил Линду: «Что это за гости у тебя?», приоткрыл салфетку в корзине: «Хорошие калачи». И барин тот вовсе не барин, в котелке его Линда не признала, а когда передавала Зине корзину, увидела, что это токарь с Семянниковского завода Иван Бабушкин, с ним в мастерской работал муж Линды Аксель. Иван был на похоронах Акселя.

Три года как овдовела Линда. Маленький сын умер, не дожив до года. Одна теперь Линда. Сдает комнату, вяжет добротные чулки и шарфы на продажу.

Тревожно что-то на душе Линды. Отложила вязанье, вышла во двор. Околоточный стоял под окном квартиранток и глядел в щель неплотно задернутой занавески. Линда неслышно повернула обратно. Постучалась в дверь, поманила пальцем Кржижановского, что сидел поближе.

— Хлебушка, надо танцевать, петь надо. Полиси [2] ходит.

Глеб обнял за плечи женщину.

— Будут песни, рова [3] Линда. Самую красивую песню спою для вас.

Линда улыбается. Зазвенели струны гитары, и Глебушка запел. Хорошо поет, песня нежная, жалобная. А вот и девушки затянули. Когда люди поют, тогда полицейским делать нечего.

Линда сидит, вяжет чулок, слушает песню, вспоминает свою молодость. Линда тоже любила петь и танцевать. На танцах и Акселя встретила. Вместе пели грустные песни Финляндии, негромкие, суровые. Линда играла на кантеле,

[1] Большое спасибо *(финск.)*.

[2] Полицейский *(финск.)*.

[3] Госпожа *(финск.)*.

Аксель на берестяной трубе — туохиторви. Теперь Линда не поет. Иногда читает священное писание на финском языке. Вот и остались воспоминания, бесконечный чулок на спицах и священное писание...

Кончили петь. Стали расходиться. Иван, как видно, узнал хозяйку, поклонился ей, хотел что-то сказать, но надвинул котелок на самые глаза и поспешил уйти.

Нет, не для гулянки собирается молодежь у сестер Невзоровых.

Глава XIII

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

— Борис Андреевич, поздравляю! Вы очень понравились моим новым ученикам. «Ученый, а объясняет очень понятно»,— говорят они. Это ли не лучшая похвала?

Надя застала профессора за работой: он вычерчивал схему кровообращения.

— Очень рад, очень рад.— Борис Андреевич отложил в сторону перо.— Жалею, что поздно за это взялся. И вообще жизнь прожил не так, как надо, сторонкой шел. Да и сейчас не больше чем наблюдатель.

— Не казните себя. Вы много за два года сделали. В прошлом году после ваших лекций половина учеников перестала ходить на урок закона божьего, а вчера один из ваших слушателей объяснял другим, что все они состоят из клеточек, и очень толково пересказывал ваши лекции о происхождении видов и человека.

— Я сам многому научился за эти два года. Никогда так тщательно не готовился к лекциям в университете, как готовлюсь сейчас для вашей воскресной школы. Бьюсь над каждым словом. Мы привыкли к научным штампам, к латыни. Когда я вижу, с какой жадностью слушают меня ра-

бочие, я благословляю свою судьбу. Но я должен делать что-то большее. Спасибо, Надюша, что растормошили меня, старика. Располагайте мною во всех ваших делах, понимаете — во всех.

Надя обняла профессора.

— Замечательные вы человеки! Ей-богу! Вы и мама. Я так счастлива, что у нас с мамой установилась настоящая дружба, мы понимаем друг друга с полуслова.

— Елизавета Васильевна редкой души человек,— уважительно отозвался Борис Андреевич,— любит вас без памяти и очень боится за вашу судьбу. И думаю, беспокоится не без основания...

— Вы чем-то сегодня взволнованы,— подметила Надя.

— Очень взволнован, очень, Надюша. Взгляните, какие шедевры приготовлены для вашего подвижного музея.

— Черепа? Я за ними и пришла.

— Черепа я уже упаковал. Но обратите внимание на это.— Профессор подвел Надю к столу, загроможденному листами картона.

Это были гербарии. Каждый гербарный лист — произведение искусства. Надя рассматривала мхи — серые, зеленые, бурые, красноватые,—они составляли изумительный по красоте ковер. На другом картоне кусочек луга — яркого, словно освещенного солнцем. Цветы на нем не потеряли своих красок. Черемуха — белая гроздь цветов и иссиня-черные ягоды на фоне ярких продолговатых листьев. Лесной орех. Рябина.

— Откуда эти сокровища? — спросила Надя.

— Это делали узники Шлиссельбурга. Они очень хотят установить связь с вашим подвижным музеем,— ответил Борис Андреевич.

— Узники Шлиссельбурга? — Надя вздрогнула.

Шлиссельбург! Это слово заставляло содрогаться сердце. Крепость на Ореховом острове Невы у Ладожского озера. Всего шестьдесят верст от Петербурга. Крепость-тюрьма, в

которую заточали самых опасных для царизма людей, народовольцев, революционеров. Тюрьма, о которой в народе слагались страшные легенды. Крепость, куда не проникали никакие вести с воли, где не разрешалось ни свиданий, ни переписки.

Борис Андреевич взял Надю за руку, усадил рядом с собой. Помолчал.

— Вам, Надюша, я могу рассказать. Мой однокашник по Московскому университету работает там врачом. В Шлиссельбурге сорок заключенных. Среди них две женщины — Вера Фигнер и Людмила Волькенштейн. Была третья — Софья Гинзбург, но выдержала только тридцать восемь дней. Не вынесла мертвящей тишины и одиночества. Покончила с собой. Человек не приспособлен жить в абсолютной тишине и одиночестве. И слабые гибнут. Там находится в заключении один из моих учеников — Иосиф Лукашевич. Он вместе с Александром Ульяновым был приговорен к смертной казни. Потом казнь заменили ему пожизненным заключением в крепости...

Профессор продолжал свой взволнованный рассказ. Надя сидела, сцепив пальцы на колене. Ей представился тюремный двор и на фоне серой крепостной стены рябина — единственное дерево. В белую майскую ночь тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года под рябиной был сооружен помост с тремя виселицами. На заре сюда привели Александра Ульянова и его товарищей. Александра казнили последним. Он ждал своей очереди, закинув голову, глядел в небо, а над ним шелестела молодыми листьями рябина, украшенная белыми зонтиками цветов. Золотистая пыльца сыпалась на голову. А сейчас, в зимний день, с голых, словно обуглившихся ветвей свисают кроваво-красные кисти ягод, горьких и терпких. И на гербарном листе, как капли крови, ягоды рябины — наверно, той самой рябины...

Надя слушала профессора. Слезы застилали ей глаза.

Борис Андреевич медленно ходил по кабинету.

— Я тоже плакал,— признался он.— Люди, обреченные на медленную и мучительную смерть, думают о живых, хотят быть полезными даже там — кажется, за пределами самой жизни...

Надя вытерла слезы.

— Мы ответственны и перед мертвыми и перед живыми. Разве вся Россия сейчас не Шлиссельбург? Разве вы, насильственно оторванный от науки,— не узник?

— Нет, Надюша, теперь я не чувствую себя узником. Каждый четверг, когда я читаю лекцию для наших рабочих, превращается для меня в воскресенье, в праздник.

...Надя явилась в музей нагруженная папками, картонками. Музей занимал пока одну комнату в библиотеке Николая Александровича Рубакина. Но учительницы воскресных школ мечтали о большом подвижном музее — музее необычном, где экспонаты не лежали бы праздно на полках, а путешествовали бы по вечерним рабочим классам, профессиональным училищам, народным школам.

— Вы, Надюша, как верблюд, всегда чем-нибудь нагружены,— встретила ее Лидия Михайловна Книпович и стала помогать распаковывать свертки.

— Какая прелесть эти гербарии, настоящая живопись! А мхи похожи на мозаику. Но на гербариях нет этикеток, неизвестны авторы, нет указаний о времени и месте сбора. Это большое упущение.— Лидия Михайловна любила во всем точность.— Кто составлял их?

— Гербарии цветов делала Вера Фигнер, коллекции минералов — Николай Александрович Морозов. Эту карту развития растительного и животного мира на земле рисовал Иосиф Лукашевич. И обратите внимание на расцветку. Черная краска — это копоть с тюремной лампы, синюю он соскоблил с полоски на стене, а красная — кровь Лукашевича.

Лидия Михайловна дрожащими руками вынула из ридикюля папиросу и закурила.

— Шлиссельбуржцы? Возможно ли это? — Книпович благоговейно перекладывала гербарные листы.— С каким изяществом все это сделано, и сделано в каменном мешке... Вы понимаете, Надя, что это за люди?

— Я преклоняюсь перед ними.

— Преклоняться мало. Надо продолжать их главное дело.— Лидия Михайловна взяла еще одну папиросу, прикурила ее от первой и, нервно попыхивая, отошла к окну.

Была она худощава, одевалась с подчеркнутой строгостью, русые волосы гладко зачесаны назад и закручены в тугой узел на затылке. Во взгляде серых глаз огонь подвижничества и твердая воля. Женственными были только мягко очерченные губы, да редкая улыбка вдруг добрым светом освещала лицо.

Лидия Михайловна, казалось, ждала ответа.

Надя молчала.

Книпович повернулась, внимательно посмотрела на Надю, склонившуюся над гербариями.

— Я — человек решительного действия.— В голосе Лидии Михайловны звучали императивные нотки.— Вы, по-видимому, другого склада. Поначалу вы показались мне просто хрупкой застенчивой барышней. Потом я увидела целеустремленного человека, когда вы сражались за право преподавать в мужских классах. Каждый день вы в школе, каждый день приходите нагруженная книгами. Тихая и незаметная, вы перевернули всю школу. Заставили Варгунина и Аврамова превратить литературные четверги в лекции по географии, а на самом деле в лекции по марксизму. Ваши ученики установили очередь для посещения уроков закона божьего, чтобы отбывать эту повинность. Во всех классах к рождеству остается половина учеников, а ваш класс не редеет. На ваши лекции приезжают рабочие с других концов Петербурга, с Путиловского завода. Половина

десятого вечера занятия в школе кончаются, а в вашем классе до одиннадцати горит свет и ученики уходят через черный ход. Все ваши ученики мечтают быть второгодниками, чтобы остаться в вашем классе...

— Вы меня в чем-то обвиняете? — недоумевающе спросила Надя.

— Нет. Я восхищаюсь вами и сожалею, что вы не в рядах народовольцев, но вы ведь тяготеете к марксизму?

— Почему «но»? — спросила Надя.

— Потому что быть марксистом сейчас модно. Во всех политических салонах, в студенческих кружках читают Маркса, изучают Маркса. Что ж, это безопасно, за это не сажают в тюрьму, не ссылают на каторгу, «Капитал» Маркса разрешен цензурой. Вам надо идти с теми, кто продолжает дело Софьи Перовской, Андрея Желябова, Веры Фигнер...

— Нет,— спокойно ответила Надя.— Я очень долго искала заветную дверь, потеряла много времени, набила себе шишек, стукаясь не в ту дверь, и наконец я нашла ее.

— Боитесь жертвовать жизнью?

— Я не люблю слов «жертвенность, жертва». Я просто решила отдать все свои знания, всю себя делу рабочего класса, его освобождению. Очень хочу дожить до того дня, когда восставший пролетариат сметет власть экспроприаторов. И буду всячески содействовать приближению этого часа. И вы, Лидия Михайловна, тоже доживете до этого. Вы, человек отважный и высоконравственный, неизбежно придете в ряды марксистов.

Книпович рассмеялась жестковатым смехом.

— Я на тринадцать лет старше вас. Разубедить меня невозможно. Я верю в полезность и необходимость того, что я делаю.

— Но вы, Лидия Михайловна, сами того не желая, подрываете веру рабочих в свои силы. Вы по-прежнему надеетесь на крестьянина, верите в сильную личность, героя, ко-

торый один способен повести за собой народ. Я верю в рабочий класс, верю в организацию.

— Каждый волен защищать свои убеждения,— пожала плечами Книпович,— но я понимаю, что террористки из вас не получится.

— Не получится,— холодно согласилась Надя.— Хотя именно подвиг и судьба Софьи Перовской заставили меня по-настоящему задуматься о цели жизни. Но разве можно одиночными выстрелами поразить самодержавие, дать народу свободу?

— Увы, мой друг. Книга всегда остается книгой, это не бомба, не метательный снаряд. «Капитал» Маркса никому не угрожает.

— «Капитал» сильнее бомбы. Это стали понимать и царские чиновники. Цензура спохватилась и запретила печатать сочинения Маркса.

Лидия Михайловна резко оборвала разговор.

— Давайте займемся делом, будем заполнять карточки на поступившие экспонаты.— Книпович придавила недокуренную папиросу о дно большой разлатой раковины.— Диктуйте, я буду записывать.

Надя вынула из картонки два черепа.

— Череп интеллигентной женщины начала девятнадцатого века. Поступил из частной коллекции.— Надя провела рукой по гладкой черепной коробке.— Профессор говорит, что она была хороша собой. А что она оставила людям?

— Не отвлекайтесь. Дальше.

— Гербарий. — Надя взяла в руки гербарный лист. — Рябина обыкновенная... Сорбус аукупариа... Листья сложные, непарноперистые. Цветки белые... Плоды шарообразные, ярко-красные... Рябина обыкновенная,— задумчиво повторила Надя.

Глава XIV

ДИРИЖЕР

В этот февральский морозный день по улицам плыл запах жареного теста. В каждом доме пекли блины. Пекли в ресторанах, трактирах, кабаках и прямо на улицах — в жаровнях. Казалось, даже снег, обильно сыпавшийся на землю, пахнет блинами.

Древний славянский праздник проводов зимы. Веселый, пестрый, шумный праздник Ярилы — языческого бога солнца, плодородия и любви. И сами блины — эмблема солнца — круглые, золотистые, горячие.

Справлялся этот праздник и в доме инженера Роберта Эдуардовича Классона.

К подъезду двухэтажного дома на Большой Охте подкатывали извозчики: к Классону собирались гости.

Аполлинария Якубова с Зиной Невзоровой хлопотали на кухне. Поля энергично заталкивала поварешкой тесто, которое пузырилось и пыталось выбежать из дежи. Плита раскалилась докрасна. Зина раскладывала на блюда закуски. Мужчины собирались в кабинете хозяина, курили, переговаривались, просматривали свежие французские и немецкие журналы.

Наде дверь открыла Зина, раскрасневшаяся у плиты.

— Куда же ты запропастилась? Классон отпустил прислугу и блины поручил нам. Вот она, женская доля.

— Трудно сегодня пробираться по улицам,— оправдывалась Надя,— то ряженые улицу запрудят, то толпа вокруг медведя соберется... А ученый волгарь пришел? — шепотом спросила Надя.

— Нет еще. Ждут. С минуты на минуту придет, вместе с Мишей Сильвиным. Ты займешься сейчас сервировкой стола; все, что надо, найдешь в буфете, Поля будет печь

блины, а я — подавать.— Зина взмахнула салфеткой, зажала ее под мышкой и побежала на кухню.

— Чур, блины буду печь я,— раздался в передней густой голос Калмыковой.— Насчет теста я мастер,— заявила она, входя в кабинет вместе с хозяином и здороваясь с гостями.— Да, да. Сам Лев Николаевич признал. Он как-то проездом заглянул ко мне в Харькове. Я в то время Сократом увлекалась, писала о нем книгу. Послала рукопись на суд Толстому. Ждала его приговора. Пришел он ко мне, я его самодельными пирогами попотчевала. Лев Николаевич ел с удовольствием, а я со страхом ждала — не скажет ли он что про моего Сократа. Поел Толстой, присел на диванчик, поднял на меня свои хитрые голубые глазки и так прямо мне говорит: «Вы, Александра Михайловна,— талант!» У меня руки похолодели, ноги обмякли. Я даже к стене прислонилась, чтобы не упасть. Стою не дышу, ушам своим не верю. Лев Николаевич повторяет: «Талант, истинный талант, дорогая Александра Михайловна, я таких пирогов отродясь не едал. А вот что касается вашего Сократа, я его прочитал и должен вам сказать, что...» Что уж он дальше говорил, не помню. Помню только, будто меня из кипятка в ледяную прорубь сунули...

Девушки смеялись до слез. Мужчины вежливо улыбались. Петр Струве покачал рыжей шевелюрой— придумает же мать! — прищурился сквозь золотое пенсне и, покрутив пешкой над шахматной доской, подставил ее под удар. Герман Красин углубился в расчеты, взвешивая, что кроется за этим жертвоприношением партнера.

Надя расставляла тарелки, когда в комнату вошел Сильвин с незнакомым молодым человеком. «Ученый волгарь»,— догадалась она. «Приветлив... в нем нет провинциальной скованности и нет той высокомерной развязности, которой отличается Петр Струве»,— отмечала про себя Надя, наблюдая за гостем, пока он обходил собравшихся и здоровался, называя каждого по имени и отчеству.

— Да вы здесь со всеми уже знакомы, Владимир Ильич,— заметил Сильвин,— а впрочем, нет. Разрешите представить нашу Надежду, веру и всеобщую любовь.

— Как, сразу три имени? Очень приятно. Ульянов,— отрекомендовался гость.

— Надежда Константиновна Крупская.— Надя ощутила энергичное и вместе с тем мягкое рукопожатие, на нее глянули дружески яркие карие глаза.

Здороваясь со Струве, Ульянов с любопытством посмотрел на шахматную доску, увидел замешательство Красина.

— Гм... Интересная ситуация. Но я бы на такую приманку не пошел и жертву не принял.

— Не желаете ли доказать это на деле? — тоном превосходства спросил Струве.

— Попытаюсь. Разрешите? — обратился он к Герману.

Красин охотно уступил место.

Надя, перетирая тарелки и бесшумно ставя их на стол, наблюдала за Ульяновым. Мужчины окружили шахматный столик.

Ульянов еще раз оценил обстановку на доске, откинулся назад, на секунду замер и затем, лукаво прищурившись, решительно передвинул фигуру. Струве запустил пальцы в рыжие кудри, впился в шахматную доску и сделал ответный ход.

Надя услышала смех — молодой, звонкий, торжествующий. «Как хорошо он смеется, весь смеется, и не обидно, подоброму»,— отметила она.

— А не угодно ли вам принять теперь от меня сию посильную жертву? — спросил Ульянов.

Большие уши Струве зарделись.

Наступило молчание.

Надя замерла. Вот они сидят друг против друга. Струве — ярко-рыжий, веснушчатый, взлохмаченный, плечи пиджака засыпаны пеплом, вид неряшливый, а напротив — его противник, пышущий чистотой, здоровьем.

— Жертвы не принимаю,— сказал наконец Струве,— победу будем считать за вами. И нам пора начинать.

— Весьма ценное признание,— ответил Владимир Ильич, вставая со стула.

Надя с облегчением вздохнула. Ей почему-то очень хотелось, чтобы выиграл он, Ульянов, умеющий так хорошо смеяться.

Степан Иванович Радченко пригласил мужчин к столу.

— А наши дамы? — поинтересовался Ульянов.

— Пекут блины,— ответил Радченко,— потом присоединятся. Итак, здесь собрались представители марксистских кружков Петербурга...

— Разрешите уточнить,— перебил его Струве,— собрались марксисты разных направлений.

— Как это «разных направлений»? — спросил Бабушкин.— Мы, рабочие, считаем, что марксисты — это единый, сжатый кулак.

Сидевший поодаль за ломберным столиком барственного вида человек, играя золотыми брелоками на жилете, заметил:

— Может быть, Петр Бернгардович хотел сказать, что собрались марксисты — рабочие и интеллигенты.

— Вот вы куда гнете! — Шелгунов нервно поправил темные очки на носу.— Хотите марксистов по полочкам разложить. Марксисты-рабочие, марксисты-интеллигенты и среди тех и других тоже есть разные направления? Это чего ж мы с вами добьемся?

Надя стояла у дверей столовой с поварешкой в руках. Ей не нравилось такое начало. Не доброе оно. Она видела, что и Ульянову и всем ее друзьям это тоже не по душе.

— Уточняю,— прорвался сквозь общий шум голос Струве.— Я примыкаю к марксизму по некоторым основным вопросам, но буквой и кодексом этой доктрины себя не связываю. Я — свободный человек!

— Гм... гм... свободный от революционного марксизма,— четко и раздельно произнес Ульянов.

— О, вы ортодокс! Я имел удовольствие читать вашу работу «По поводу так называемого вопроса о рынках». Любопытная работа. Кстати, в ней досталось нашему уважаемому Герману Красину, которого вы только что изволили выручить за шахматной доской.

— И я читал ваши «Критические заметки об экономическом развитии России». Вы пытаетесь обезвредить марксизм для царского правительства, для буржуазии. Я примыкаю к марксизму по всем его положениям и готовлюсь дать вам ответ.

— Р-р-революционного содержания? — с вызовом спросил Струве.

— Безусловно. Мы должны готовить рабочий класс к революционной борьбе.

— Совершенно верно! — поддержал Ульянова Радченко.— И мы будем это делать, создавая строго законспирированные рабочие кружки.

— Сколько таких кружков в Петербурге? — спросил Ульянов.

— Пятнадцать—двадцать, по пять-шесть человек в каждом,— ответил Радченко.

— И заметьте, сотня начинающих рабочих-марксистов на пятьсот фабрик и заводов,— вставил Струве,— о каком революционном движении может идти речь? Россия не Европа.

— Мало! — согласился Ульянов.— Но надо полагаться не на одни только кружки.

— Что же вы предлагаете? — спросил обеспокоенный Радченко.

— Нам нужна еще широкая массовая агитация. Мы должны научиться говорить с тысячами рабочих.

— Как? Кто же разрешит? — послышались голоса.

— Разрешения спрашивать не будем. Будем выпускать

листки, распространять их среди рабочих. Будем откликаться на каждое событие в фабричной и заводской жизни, разъяснять рабочим их задачи, объединять их на решительные действия.

— Не согласен,— решительно возразил Радченко.— Мы поставим под удар кружки. Выпускать листки — значит объявить о нашем существовании. Мы должны действовать конспиративно, оберегать кружки от провала.

— Надо объединиться с народниками,— раздался чей-то голос.

— Народники выступают против социал-демократов, мы должны их разоблачить, расчистить путь для марксизма,— парировал Ульянов.

— Прежде всего надо обучить рабочих грамоте, не с народниками надо воевать, а идти в комитеты грамотности,— раздался голос барина с брелоками.

Ульянов рассмеялся сухо и зло и забарабанил пальцами по столу.

— Мне помнится, что покойный Николай Васильевич Шелгунов в свое время подсчитал: для того, чтобы население России могло стать поголовно грамотным, потребуется сто двадцать лет, а для того, чтобы все получили среднее образование, нужно пятнадцать тысяч лет. Пятнадцать тысяч лет,— повторил он,— мы же должны подвести рабочий класс к победе за пятнадцать—двадцать лет. Совершить это должно наше поколение, а вы мыслите тысячелетиями.

— Вы, стало быть, против обучения рабочих грамоте?— спросил Классон.

— Отнюдь нет! Но мы сейчас говорим о создании революционной организации рабочего класса, и подменять ее комитетом грамотности нельзя. Вечерние рабочие школы нужны. Они будут нашим резервом. Насколько я осведомлен, наши доблестные соратницы не только обучают рабочих грамоте, но и подводят их к восприятию марксизма.

Надя понимала, что Ульянов распахивает новые, неви-

данные горизонты. Новизна и смелость его суждений покорили не одну ее: Запорожец, Кржижановский, Старков весело переглядывались — каково?

— Так до чего же мы договорились? — спросил растерявшийся Радченко.

— Просто каждый высказал свою точку зрения,— ответил Ульянов.— Но я думаю, что те, кто выступал здесь против массовой агитации, в конечном счете поймут ее необходимость, а вот кто вместо революционной организации пролетариата предлагает работу в комитетах грамотности или, того хуже, отрицает революционную сущность марксизма, очевидно, пойдут своей, не нашей дорогой. Я, к сожалению, спешу. Не последний раз встречаемся,— вдруг улыбнулся Ульянов.

Девушки спохватились: на плите корежились, горели на раскаленных сковородках блины, из кухни валил чад.

— Не удались блины, не удались,— сокрушался Роберт Эдуардович после ухода Ульянова.

Споры взорвались с новой силой. Старков, Ванеев, Кржижановский, Запорожец, Шелгунов, Сильвин безоговорочно поддерживали Ульянова. Бабушкин выразил опасение, что массовая агитация разрушит кружки. Девушки горячо выступали за Ульянова. Кипятился больше всех Струве, считавшийся в студенческой среде Петербурга знатоком учения Маркса.

— Петруша, Петруша, не петушись,— успокаивала своего приемного сына Александра Михайловна.— Прав-то он, Ульянов, а не ты, и большинство поддерживает его, а не тебя.

— Кто его поддерживает? Волгари, земляки — Ванеев, Сильвин, Малченко, сестры Невзоровы... Волга решила впадать в Неву, но Волга впадает в Каспийское море. Это факт!

— Юпитер, ты сердишься — значит, ты неправ! — бросил ему Ванеев.

Запорожец, до сих пор молчавший, помотал большой кудлатой головой и широко распахнул руки.

— Я не волгарь, но за Ульяновым пойду в огонь и в воду: он знает, как надо служить рабочему классу. У нас же с вами нет цели выше.

— Он знает, чего он хочет,— отозвался о своем госте Классон.

— Ульянов знает, что хочет рабочий класс,— поправляя темные очки на носу, восхищенно произнес Шелгунов.— И ты, Ваня, насчет агитации неправ: Ульянов великое дело задумал.

Бабушкин был смущен.

— Но вот Степан Иванович тоже не согласился с ним. Начнем эту самую агитацию и загубим кружки.

Кржижановский сидел обхватив голову руками, а потом словно очнулся.

— До чего же он хорош и ясен, этот Ульянов. Он сказал новое, свежее слово, до которого мы сами не могли додуматься. Я не боюсь высоких слов — он гениален, этот замечательный волжанин. Мы тут пиликали каждый на своей скрипочке, он пришел, послушал, кто на что горазд... У нас теперь будет слаженный оркестр, товарищи. У нас есть дирижер!

Глава XV

ГРОЗА

Надежда Константиновна и Владимир Ильич вышли от Книпович последними.

Только что состоялся большой и обстоятельный разговор Владимира Ильича с учительницами-марксистками Смоленских классов. Разговор продолжался несколько часов. Учительницы поняли, какое большое значение придает Вла-

димир Ильич их работе в школе, что он видит в них не обычных просветительниц, а боевых товарищей. Никто из марксистов-интеллигентов не был так тесно связан с рабочими, как учительницы вечерне-воскресной школы. Они знали положение на каждом заводе и фабрике на огромном Шлиссельбургском тракте, знали своих учеников, умели среди них отбирать таланты и выверять их готовность к революционному делу. Ульянов подробно расспрашивал девушек, вникал во все детали их работы, деликатно и вместе с тем убедительно поправлял их и так сумел очаровать своим тактом, доверием и пониманием, что даже скупая на выражение эмоций Лидия Михайловна в конце концов воскликнула:

— Да что говорить! Надежда Константиновна долго и настойчиво совращала меня на путь марксизма, а вы, Владимир Ильич, окончательно меня доконали. Честное слово! Теперь я с вами.

Владимир Ильич шел молча, все еще под впечатлением этой встречи, изредка покачивал головой, улыбался и издавал характерное: «Гм, гм».

— Замечательные девушки, бесценные помощники! — искренне вырвалось у него.— Мне просто везет. Я вырос в окружении чудесных, необыкновенных женщин — это моя мама, сестры. А теперь вы...

Надя не поняла, кого под словом «вы» он подразумевает. Решила, что учительниц, с которыми только что беседовал.

Шли по Французской набережной, перешли мостик через Фонтанку. В купах зелени Летнего сада белели мраморные фигуры. Было тепло и солнечно. С Невы поддувал прохладный ветерок.

— Здесь я часто гулял с Олей,— с горькой нежностью произнес Владимир Ильич.— Мы выросли с ней вместе, она была моей подругой, любимой сестрой. Удивительная девушка! Трудолюбивая, целеустремленная. Я у нее многому

научился, хотя она моложе меня на полтора года. И сейчас она была бы вместе с нами...

Сердце Нади сжимала боль.

От Зины Невзоровой она знала, что Оля Ульянова училась на Бестужевских курсах, поражала и подруг и преподавателей глубокими знаниями. Умерла от брюшного тифа три года назад.

— А мне здесь все напоминает отца,— призналась Надя.— Уже много лет прошло, а я до сих пор помню, где какие стихи он мне читал, о чем мы говорили с ним, о чем мечтали. Он знал множество стихов наизусть из Пушкина, Лермонтова, Мицкевича и особенно любил Некрасова.

— Подумайте! Я тоже воспитан на Некрасове и тоже обязан этим отцу.

И как-то так случилось, что Надя стала рассказывать о своем отце, и перед Ульяновым возникал не только благородный образ Крупского, но и раскрывалась сама Надежда Константиновна с ее неутомимым поиском цели жизни, душевной чистотой и горячей верой.

— Пойдемте в Александровский сад, посидим,— предложил Владимир Ильич, когда они перешли через Троицкий мост.

Пыльная горячая мостовая, цоканье копыт, окрики извозчиков, людской говор остались позади. Их встретила прохлада, гомон птиц.

Владимир Ильич остановился и прислушался.

— Слышите — щегол поет. А вон черный дрозд — словно на флейте играет.

Надя смущенно пожала плечами.

— Я горожанка. Очень люблю птичьи голоса, но совсем не различаю их. Разве только кукушку от жаворонка, да соловья от грача.

— А я с детства хорошо знаю птиц. Мама учила, а потом дружба с деревенскими ребятишками. У нас всегда была какая-нибудь живность — собака, кошка, голуби; как-то



мы завели лечебницу для подбитых птиц, брошенных котят. Однажды мне подарили щегла...

Владимир Ильич вдруг замолчал и остановился. Они вышли к крутому обрыву. Внизу журчал ручей. На другом, пологом берегу густые заросли высоких деревьев. Надя с тревогой смотрела на побледневшее лицо Владимира Ильича.

— Что с вами, Владимир Ильич?

— Смотрите... вот... видите? — показал он рукой.

Ветер распахнул деревья и обнажил круглое, как цирк, красное каменное здание и над ним золоченый шпиль.

— Петропавловская крепость,— сказал Владимир Ильич, овладевая собой.— Я никогда не видел ее с этой стороны. Этот шпиль возник так неожиданно.

Надя поняла, чтó его взволновало: в этой крепости был заключен брат — Александр Ульянов. Здесь ему был объявлен приговор. Отсюда везли его на казнь в Шлиссельбург... Надя вспомнила... Рябина обыкновенная... Золотистая пыльца сыпалась на голову Александра... Он стоял у эшафота и ждал...

Надя молчала. Боялась неловким словом ранить Владимира Ильича. Его боль становилась ее болью.

Сильный порыв ветра взвихрил на дорожках пыль, взъерошил кустарники и устремился вверх.

— Нам угрожает дождь. Видите, какая темная туча наползает? — Владимир Ильич осмотрелся вокруг.— Вон там есть убежище, беседка.

Бежали против ветра.

И вдруг все притихло. Насторожилось. Умолкли птицы. В парке стало сумеречно.

В круглой старой беседке пахло пылью, по полу метались прошлогодние бурые листья. Вспугнутая птица забилась под потолком и вылетела прочь.

И снова налетел ветер; неистовый, он обрывал ветви, выворачивал наизнанку листья, пригибал вершины деревьев, словно расчищал дорогу туче, которая, урча и постреливая

далекими молниями, медленно надвигалась на парк. По крыше застучали тяжелые капли дождя. Молния длинным зигзагом вспорола тучу. Грохнул гром, и на беседку обрушился каменный шквал.

— Это град, град! — кричал на ухо Наде Владимир Ильич и взял ее под руку, и Надя почувствовала себя защищенной.

Ярко вспыхивали зеленым огнем листья при свете молнии, и не успевал заглохнуть раскат грома, как небо над головой вновь с треском раскалывалось. Сверкающие льдинки прыгали по дорожкам, заскакивали в беседку. Силуэты деревьев еле просматривались сквозь матовую стену дождя и града, по дорожкам бурлили мутные потоки, взлохмаченные ветром.

— Великолепное зрелище! — услышала Надя сквозь гром и грохот восторженный голос Ульянова, и вдруг он запел сильно и страстно:

Там, в кровавой борьбе, в час сраженья,
Клянусь, буду первым в первых рядах...

Надя смотрела на озарявшееся вспышками молний лицо Владимира Ильича, и он открылся ей еще одной прекрасной своей стороной. Его голос, мужественный и по-юношески чистый, вплетался в огромный оркестр стихии.

Там, в кровавой борьбе, в час сраженья,
Клянусь, буду первым в первых рядах...

Надя поняла, что тоже поет. Буйный восторг охватил ее. Ей казалось, что это они, двое, зажигают в небе молнии, это его голос перекликается с громом. И Надя пела...

Гроза прекратилась внезапно. Вдали устало перекатывался гром, молнии иссякли. Шумливо бежали желтые ручьи по дорожкам. Осколками хрусталя лежал на ступеньках беседки град. Промытая трава полегла на полянах зелеными космами. Стало необычно тихо. Прорвалось ослепительное

солнце. И, словно подхватив последние звуки песни, на все лады запели птицы.

Надя стояла потрясенная величием сил природы, песней, с таким торжеством прозвучавшей под аккомпанемент града и грома.

— Как хорошо и как сильно все в природе! Звуки, краски, запахи,—тихо и умиротворенно сказал Владимир Ильич.

Надя высвободила свою руку.

— Вы не осуждаете мое «буйное» поведение? — спросил серьезно Владимир Ильич.

— Нас никто не слышал. Разве птицы?

— Вы тоже пели.

— Кажется, пела. Не петь было нельзя!

— Не петь было нельзя,— согласился Владимир Ильич.

Парк затянуло голубым маревом испарины, в лужах отражались опрокинутые деревья, взметнувшие вверх стволы.

Набежали мальчишки и, закатав штанины, с наслаждением мерили босыми ногами лужи.

Было тихо.

Только Нева не могла успокоиться и тяжело плескалась о крутые гранитные берега.

Глава XVI

БУНТ

— Эх, Егор, Егор,— Степан виновато посмотрел на мальчонку,— не будет тебе, видно, сапог к святкам...

— А обещал ведь. Сапоги, говорил, всамделишные, голенища бутылками. Чего зря обещал? — обиделся Егор.

— Я, что ль, виноват? Хозяин заработка не платит. Два дня артельщик с деньгами не едет. Как скрозь землю про-

валился! Коли и сегодня не приедет, останемся на рождество без харчей. Я и Фросе сулился платок купить.

— Платок — это что, а я вот на праздники без обувки остался.

Давнишняя мечта Егорки выйти на улицу в сапогах, как настоящему мастеровому, рушилась. Сапоги снились ему во сне — черные, пахучие, со скрипом. Натягивал он их на ноги за два крепких полосатых ушка и сразу чувствовал себя взрослым. Фрося портянки купила под сапоги, и все зазря. Так и ходить ему в сестриных стоптанных полусапожках. Уж лучше бы в лаптях, в них теплее, коли ноги онучами обмотаешь, а в дырявые полусапожки снег забивается, и всяк видит, что это бабья обувка. Срамота! Но с лаптями Егорка покончил. Теперь он мастеровой.

Степан с Егоркой подошли к проходной Семянниковского завода. У трехэтажного здания главной конторы толпился народ. Мастеровые ждали получки. Сыпался колючий сухой снег. Дым столбами валил из труб. По Шлиссельбургскому тракту пыхтел паровичок с тремя вагонами. Паровоз посвистывал, требуя освободить путь.

Рабочие толкались без дела, собирались группами во дворе механических мастерских, на судоверфи — по другую сторону тракта, выжидали на улице, не появится ли закрытая повозка, на которой обычно приезжал артельщик с деньгами.

Нетерпение рабочих нарастало.

— Что же это такое, братцы? У людей рождество, а у нас? Господам небось елки тащат, окорока запекают... Слышь, из дома управляющего жареным тянет? Управляющему что? Наплевать ему на нас!.. Говорят, артельщик с деньгами убег... Хозяева небось опять завод в карты проиграли...

У многих еще было в памяти, как шесть лет назад завод закрыли за долги, рабочих выгнали с работы и из жилых казарм. Два года молчали гудки, ржавели машины. Не-

сколько раз переходил завод от одного хозяина к другому. Первый хозяин, поди, уж двадцать лет как умер, но завод по-прежнему называется по его имени — Семянниковским.

Рабочие всё громче высказывали свое беспокойство и метались по тракту с одного заводского двора на другой. Мальчишки бегали следом за взрослыми, ловили разные байки, передавали другим.

Мороз свирепел, зернистый снег обжигал щеки, слепил глаза. Мальчишки, чтобы согреться, прыгали, налетали друг на друга, сшибались, засунув руки в рукава кацавейки. Каждый из парнишек уж давно рассчитал, как истратить получку. Егорка ждал Степанову получку. Он свою на Максвеле уже получил, от нее 28 копеек осталось. Из четырех рублей высчитали штрафу семьдесят копеек. Он с Настей раз с «чета-нечета» сбился, пришлось ремизку заново заправлять — штраф; утром перед началом работы книжку читал на подоконнике — штраф. Других своих грехов Егорка не помнит. Полтора рубля за харчи отдал, рубль за казарму, полтинник матери в деревню послал да две копейки на пряники истратил. Считает теперь Егорка, как взрослый. Читать и писать тоже научился. Любит Егорка читать. Посидишь за книгой, поводишь пальцами по строчкам, и она тебе столько интересного расскажет! Только не ленись, читай. Хотели Егорку по малолетству из школы отчислить, но Надежда Кстинна заступилась. Никому Егорка не мешает, сидит тихо, горазд задачки решать. Бывает, правда, что заснет на уроке, но никто за это в школе не ругает, не штрафует. Только Степан иногда локтем в бок толкнет. А вчера в школу с Семянниковского никто не пошел. И Егорка без Степана не пошел.

...Народу на тракте собралось тысячи две. Паровая конка едва пробивалась сквозь толпу, паровоз свистел изо всех сил.

Егорка с мальчишками бегал через проходную туда-сюда. Заглянули в механическую мастерскую. Там на станках

горели свечи. Рабочие окружили Ивана Бабушкина; он слушал их и записывал что-то в маленькую книжечку. Ивана Васильевича на Семянниковском каждый знает. А Егорка с ним в одном классе учится. Один раз Иван Васильевич предложил Егорке к ним на завод переходить: «Обучу тебя на токаря»,— говорит. Сказал и, наверно, забыл. А Егорка помнит. Очень хочется ему на этих станках поработать, это не то что ткацкие. На Максвеле мануфактуру выделывают, а на Семянниковском — паровозы, военные корабли. Может, и возьмут сюда Егорку, если хозяин завод в карты не проиграл.

Мальчишки побегали по мастерской, набрали в карманы железных стружек, из озорства погасили несколько свечей; взрослые на них цыкнули и выгнали прочь.

Ватага мальчишек побежала через двор к проходной. Сторожу надоело хлопанье дверью, надоели мальчишки, особенно тот, белобрысый, что свояком слесарю Степану приходится. Сторож схватил парнишку за шиворот и вышвырнул из проходной: «Чтоб я тебя больше не видел!» Егорка вылетел на улицу и уткнулся руками в сугроб, полные рукава снега набрал и пальцы оцарапал.

Обозлившись вконец, Егорка выхватил горсть стружек из кармана и запустил в сторожа и в тот же миг почувствовал, как чьи-то пальцы крепко схватили его за ухо. Вскинул глаза — городовой. Егорка завопил не столько от боли, сколько от страха.

— Ишь, прохвост, иди-ка сюда, я тебя проучу! — Городовой потащил его к проходной.

Егорка отчаянно отбивался. Вокруг них моментально сомкнулась толпа: «Отпусти мальчонку!.. Не трожь мальца!.. Окаянная рожа... Убери поганые руки!..» Кто-то надавил плечом, зазвенело разбитое стекло...

И тут взорвалась накопившаяся ярость. В окна конторы, дома управляющего полетели куски каменного угля, льда. Посыпались стекла. Вспомнились разом все обиды,

унижения, которые каждый испытывал от сторожа и управляющего, от лавочника и мастера, от артельщика и городового. Гневная сила протеста швыряла людей из стороны в сторону... Искали обидчика, а обидчики были кругом. Толпа рабочих ринулась к деревянному строению с закрытыми ставнями. Это была ненавистная лавка, в которой рабочие обязаны были забирать продукты в счет получки. Продукты были лежалые, несвежие, а не брать этот несъедобный харч было нельзя — вылетишь с завода.

Усталость, голод, двухдневное ожидание получки мутили сознание. И вот ярость обрушилась на лавку. Рабочие отрывали ставни, выбивали стекла, ворвались в лавку, и оттуда полетели бутылки, куски мыла, селедки, вываливались кули с солью, мукой. Мальчишки поддавали ногой селедки, забирали в пригоршни муку из лопнувших мешков и пускали ее по ветру. Мука смешивалась со снежной вьюгой. Егорка тоже кричал, бил, ломал, топтал... Он был обижен. Его вышвырнул сторож, как собачонку. Его ни за что штрафуют. Степану не платят получки, и у Егорки не будет сапог к празднику. Еще горело ухо от железных пальцев городового...

Увидев, как группа парней пыталась сбить с перекладины над воротами позолоченный царский герб, Егорка поспешил туда.

Град камней летел в орла. Но тот крепко уцепился за железную перекладину и только вздрагивал от ударов. Может, и слетел бы орел с ворот, но подоспела полиция...

...Иван Васильевич Бабушкин в механической мастерской записывал жалобы рабочих и горячо убеждал их составить требования хозяину, выбрать уважаемых людей и послать их для переговоров с управляющим.

В мастерскую вбежал запыхавшийся Степан:

— Иван Васильевич, беда! Мастеровые громят лавку!..

Бабушкин сунул книжку в карман, побежал к воротам и сразу попал в людской водоворот. Его захватил гнев толпы,



он схватил увесистый кусок угля, прицелился в орла, размахнулся, и... вдруг рука повисла как плеть, уголь упал на землю. Он опомнился. «И ты, Иван, туда же! Где же твоя пролетарская сознательность... А еще называешься марксистом!» — попрекнул он себя. Провел рукой по лицу, оглянулся. Двое рабочих несли снятый со столба фонарь, раскачали его и швырнули в дверь дома управляющего. Кто-то чиркнул спичку, и рыжее пламя распласталось на двери. К крыльцу тащили второй фонарь. Бабушкин преградил путь.

— Братцы, опомнитесь! Что мы, разбойники какие?!

Но его голос потонул в грохоте, в гуле голосов. По мостовой скакали верхом на лошадях вооруженные казаки. Звонил пожарный колокол. Три лошади тащили на полозьях огромную красную бочку. Отсветы огня плясали на медных касках пожарных. Свистел паровоз паровой конки. Поезд остановился, и пассажиры поспешно покинули вагоны. Пожарные разворачивали кишку, качали воду из бочки. Водяная струя слизала пламя с двери и, погасив огонь, тут же повернулась против людей. Словно ледяной пилой полоснуло по лицу Егорки. Он захлебнулся. Кто-то заслонил его. Кто-то поднял и взвалил на плечи...

Очнулся Егорка в казарме. Над ним стоял Степан и тряс за плечи. В свете керосиновой лампы одежда Степана искрилась. Когда он нагибался, телогрейка с треском ломалась, и на пол сыпались льдинки. С бороды на Егорку лились струйки воды.

— Очухался! — с облегчением вздохнул Степан. Он был страшен — со спутанными волосами, лицо в грязных разводах, глаза ввалились. Стуча от озноба зубами, он принялся стаскивать с себя насквозь промокшую и промерзшую одежду.

Рядом сидела и тихо плакала Фрося. За перегородками в казарме кто-то стонал, кто-то причитал...

Глава XVII

НАСЛЕДНИЦА

Надежда Константиновна вышла из поезда на станции Царское Село. На пустынных улицах зябко и сыро. Для такой погоды больше подошло бы теплое драповое пальто, а не весенний костюм и соломенная шляпка. Но что поделаешь, если «так полагается» на пасху, даже если она в марте, а сегодня второе апреля. В первый день пасхи солнцу тоже полагается «играть», а оно закуталось в плотные облака.

В дворцовой церкви ухает колокол. Ему откликается множество разнозвучных колоколов, и над городом несется веселый, неумолчный перезвон. В этот серый утренний час все окна светятся огнями, топорщатся белоснежные занавески, на подоконниках выставлены деревянные, фарфоровые «пи́санки» — пасхальные яйца. Выстояв ночное богослужение и утреню, люди вознаграждают себя за шестинедельный пост — пьют, едят, разговляются. Поэтому и пусто на улицах. Поэтому и решил Владимир Ильич собрать сегодня членов центральной марксистской группы в Царском Селе на квартире Сильвина.

На одной из аллей Надежда Константиновна увидела высокую, сутуловатую фигуру Запорожца, свернула на боковую улочку, а там вышагивал Глеб Кржижановский. «Где-то поблизости должна быть и Зина». Надежда Константиновна посмотрела по сторонам: голый, еще не опушившийся зеленью парк просматривался насквозь. Так и есть: по параллельной аллее идет Зина. Голубой шарф на ее шляпке развевается по ветру. Все идут на Конюшенную улицу к Сильвину окольными путями, проверяя, нет ли «хвоста».

Сзади кто-то покашливает, слышится скрип песка под ногами. Кто-то ее обгоняет, уже поравнялся с ней.

«Это он, он, его шаги...» — и из-за какого-то радостного

озорства Надя убыстряет шаг, не идет, а летит. Стук собственного сердца вплетается в песенный перезвон. Надя прижала ридикюль к груди, подставила лицо ветру, смешавшему запахи готовых распуститься почек.

И все же он ее обогнал.

— За вами «хвоста» нет. Проверено,— произнес на ходу Владимир Ильич, и в тот же миг Надя увидела на сомкнутых руках своих золотистый зонтик примулы — первого весеннего цветка.

...Михаил Александрович Сильвин встречал гостей внизу, и по скрипучей лестнице они поднимались к нему в мансарду, а попросту в комнату на чердаке со скошенными стенами, с дымоходом посередине.

— Хозяйка уехала к дочери в Петербург, я теперь полновластный домовладелец,— предупредил друзей Михаил Александрович.

— Милости прошу,— приветствовал он Надежду Константиновну,— все уже в сборе.

Сильвин накинул большой железный крюк на входную дверь и следом за Надей поднялся наверх.

К печному дымоходу, от которого тянуло теплом, был примкнут стол, покрытый белой скатертью и уставленный яствами: приземистый кулич, облитый глазурью и посыпанный разноцветным маком, высокая пирамида творожной пасхи с выдавленными буквами «ХВ» («Христос воскрес»), окорок с бумажной хризантемой на ножке, рыба и на блюде, в зеленой щеточке овса, традиционные крашеные яйца. И даже бутылка вина.

— Роскошно живете, господин студент,— иронически заметил Ванеев, обходя стол.

— Надеюсь, все это, по христианскому обычаю, освящено в церкви,— съязвил Старков.

— Да нет, нет,— оправдывался Миша.— Это супруга писателя Гарина-Михайловского прислала мне. Я репетирую у них детей. Сам Гарин совершенно разочаровался в народ-

ничестве, он очень близок к нам, марксистам, его жена хотя и миллионерша, но...

— Жена Гарина душечка! — прервала Сильвина Зина.— Такой вкусный кулич, и пасха настоящая, не то что конспиративные блины у Классона.

Сели за стол. Надежда Константиновна с горечью отметила, что Владимир Ильич бледен, еще не совсем оправился после перенесенного воспаления легких. Очень напугала тогда всех болезнь Владимира Ильича. Воспаление легких — болезнь опасная, и лекарств против нее нет. Надя вспомнила, как она с Марией Александровной и Анной — матерью и сестрой Владимира Ильича — сидели у постели больного и ждали исхода кризиса: справится организм с болезнью или... Эти бессонные ночи сблизили, сдружили всех трех женщин, и Надя поняла тогда, что не мыслит себе жизни без Владимира.

«Хорошо, что он ест с аппетитом,— отметила про себя Надежда Константиновна.— А о чем с таким увлечением говорит Глеб?»

— ...Нет, только подумайте, друзья, совсем рядом с нами, за углом Конюшенной, царь Николай тоже разговляется в своем дворце. Еще прошлую пасху он был цесаревич и говорил о себе «я», а теперь величает себя «мы». «Божиею милостию,— загнусавил Глеб,— мы, Николай Вторый, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, прочая, прочая...» Он дал торжественную клятву «охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его незабвенный покойный родитель Александр Третий».

Запорожец, глядя влюбленными глазами на Владимира Ильича, подхватил слова Глеба:

— Да, этот царский манифест напечатан во всех газетах, расклеен вместе с красочным портретом Миколки, переведен на все языки. И под эту царскую клятву охранять самодержавие заложена бомба — маленькая желтенькая тетрадь

нашего Владимира Ульянова. Книжечка, отпечатанная на гектографе всего в пятидесяти экземплярах под названием «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». И это наш манифест, друзья. А как он заканчивается?

— О, это прочту я! — Глеб встал.— «...Русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!» — с пафосом закончил он.

Эти слова здесь, на чердаке, в нескольких десятках саженей от царской резиденции, прозвучали особенно значительно и взволновали всех.

Петр погрозил кулаком:

— Слышишь, царь Николай Вторый, ты не только вторый, но ты царь последний!

— Тсс, не так громко,— остановил его Владимир Ильич и предложил: — Давайте-ка к делу. Задачи мы ставим огромные, но мы еще так слабы, нас еще так мало. Нам нужна газета, нужна собственная типография, нам нужно досконально знать, чем живет и как живет рабочий класс, нам нужна сильная боевая организация. Будет у нас организация — мы перевернем Россию. На днях я еду за границу, встречусь в Швейцарии с Плехановым. Его «Группа «Освобождение труда» близка к нашим задачам. Договоримся о совместном издании газеты, пока там, за границей. Надо познакомиться с работой германских социал-демократов...

Надежда Константиновна слушала и понимала: огромные планы у Владимира Ильича. И, закладывая основы российской социал-демократической организации, он уже думает об интернациональных связях, думает, как претворить в жизнь марксистский пароль: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»



— Нам надо обеспечить бесперебойную деятельность нашей организации,— продолжал Владимир Ильич.— Царское правительство понимает, что рабочий класс поднимается на борьбу и полиция прежде всего будет целиться в нашу организацию. На днях у Степана Ивановича Радченко был обыск. Наш опытный конспиратор остался верен себе — у него ничегошеньки не нашли. Но это нас должно насторожить. Я стал часто наблюдать за собой слежку.

— За мной тоже топают,— признался Запорожец, — но сегодня я пришел абсолютно чистым.

— И не заметили, как я «топал» за вами? — рассмеялся Владимир Ильич.— Вы почему-то решили по выходе со станции обогнуть вокзал, потом вышли на центральную аллею...

Запорожец был смущен. Он действительно не видел Владимира Ильича.

— А как вы? — спросил Владимир Ильич девушек.

Аполлинария Якубова слежки за собой не замечала. Зину Невзорову шпик часто провожает из школы до дома, но эти новгородские связи Зины с марксистами не дают покоя петербургским ищейкам. У Нади Крупской в класс затесался подозрительный тип. Рабочие предупредили ее, что этот новый ученик шляется в охранное отделение на Гороховую.

— Но мне кажется, что следят не за мной, а за Иваном Васильевичем Бабушкиным,— высказала предположение Надежда Константиновна.

— Бабушкина надо всячески оберегать от провала. Это замечательный организатор, горячо преданный делу товарищ,— уважительно отозвался Владимир Ильич.

— Очень способный человек, драгоценный самородок,— подтвердила Надежда Константиновна,— и наконец-то он уверовал в силу листковой агитации.

— Не сразу, не сразу, но теперь наверняка.

Владимир Ильич напомнил, что когда он с Бабушкиным

написал листовку к рабочим Семянниковского завода после бунта, Иван Васильевич взялся ее распространить, но там шли аресты, и листовка не всколыхнула рабочих. Бабушкин приуныл. Но зато когда он распространил листовку в Новом порту, то начальство порта, перепугавшись грозящей забастовки, сразу пошло на уступки рабочим.

— Бабушкин пришел тогда в школу сияющий, счастливый,— сказала Надежда Константиновна.— «Подумайте, какая силища у нашей листовки»,— сказал он мне.

— Нам надо его беречь,— повторил Владимир Ильич,— и нужно нам всем подумать о наследнике. Мы не можем не считаться с возможностью провала кружков, арестом их руководителей. Нам нужен человек, который в случае нашего ареста продолжал бы наше дело. Мы передадим ему все наши связи, конспиративные квартиры, адреса, явки, пароли. И если придется засесть в тюрьму, этот товарищ возглавит нашу организацию.

Надежда Константиновна мысленно перебирала всю организацию — кто же, кроме Владимира Ильича, может ее возглавить. Кто?

— А кого вы предлагаете, Владимир Ильич?— спросил Ванеев.

— Я думаю, что таким человеком может быть Надежда Константиновна.

Надя вздрогнула от неожиданности.

— Что вы! Помилуйте! — с отчаянием воскликнула она.— И зачем так мрачно думать? Почему вы говорите об аресте?

— Потому что мы набираем силу, потому что рабочий класс поднимается на борьбу. Нас будут преследовать всегда. И по мере накала этой борьбы все яростнее будут нападки. Клевета и провокации, тюрьма и ссылка, расстрелы и виселицы — все будет пущено против революционеров. Так будет всегда, пока не победит рабочий класс.

Запорожец побледнел, сжал кулаки и, привстав, дро-

жа от внутреннего волнения, стал читать стихи любимого им Тараса Шевченко:

Другого и не жди,
не ожидай желанной воли —
она заснула. Царь Микола приспал ее.
Чтоб разбудить больную волю поскорее,—
обух придется закалить,
и наточить топор острее —
и волю миром всем будить.

— И волю миром всем будить,— тихо повторил Владимир Ильич.— Всем миром. Итак, товарищи, какие у нас будут предложения по поводу наследника?

— Мы избрали вас руководителем, вам и решать.

— Разумеется, Надежда Константиновна!

— За ней нет слежки. Она у нас самая «чистая».

— Надя! Кто лучше ее знает рабочих?

Надежда Константиновна сидела оглушенная, скорее подавленная, чем обрадованная доверием товарищей. «Дали бы любую другую работу. Какой я руководитель?» — думала она с отчаянием.

— Мы хотим слышать ваше согласие, Надежда Константиновна. Вы согласны. Да?

Это голос Владимира Ильича.

— Я согласна,— спокойно и твердо ответила Надежда Константиновна.— Но я думаю, до этого дело не дойдет,— поспешила добавить она.

— Великолепно!— обрадовался Владимир Ильич.— Сегодня же, сейчас, вы примете от каждого наши связи, постарайтесь все это записать условным языком. Вы принесли какую-нибудь подходящую, «дамскую» книгу, как я просил?

— Да.— Надежда Константиновна вынула из ридикюля толстую книжку «Подарок молодым хозяйкам, или Наука об экономном ведении хозяйства» Елены Молоховец.

Все рассмеялись, так как знали нелюбовь Нади к стряпне и домашнему хозяйству.

— Итак, начинайте с меня,— сказал Владимир Ильич.— Я веду кружки в комнате у Василия Шелгунова... кружок рабочих Невской заставы у Ивана Бабушкина... кружок рабочих порта Нового Адмиралтейства у Князева... кружок семянниковцев у Жукова... кружок рабочих с завода Сименса и Гальске у Яковлева... кружок рабочих Александровского завода у Меркулова и у братьев Бодровых...

Надежда Константиновна подумала и, раскрыв книгу, стала листать ее.

— «Шарлотки мы отведем для Шелгунова, «бублики очень вкусные» — для Бабушкина, «кулебяки»— для Князева, «жаркое»— для Жукова.

— И, кстати, запишите в книгу наши псевдонимы. Пусть каждый сам себе придумает кличку,— предложил Владимир Ильич.

— Глебушка будет «Суслик». Ведь правда он похож на мелкого грызуна?— сказала Зина.

— А Зину наречем «Булочкой»,— парировал Глеб.

— Нас с Сильвиным запишите как Минина и Пожарского,— предложил Ванеев.

— Князь Пожарский — это я,— отозвался Сильвин.

— А как будете называться вы?— спросил Владимир Ильич Надежду Константиновну.

Она посмотрела на стол. Перед ней стояло блюдо с недоеденной рыбой, посередине лежала нетронутая минога.

— Рыба... Минога,— ответила Надежда Константиновна и повторила: —«Минога».

Владимир Ильич усмехнулся и покачал головой:

— Ну и ну!

— Я — честь имею представиться — «Гуцул»,— сказал Запорожец.— А вот как будем величать вас?— спросил он Владимира Ильича.

— У Владимира Ильича уже есть кличка. Как мы его зовем между собою?— спросил Глеб.

— «Старик»!— ответили все хором.

— Это, наверно, из-за моей лысины,— рассмеялся Владимир Ильич, проведя ладонью по голове.— Ладно. «Старик» так «Старик»! И еще одно условие,— он многозначительно поднял палец,— самое трудное, самое тяжелое, но архинеобходимое. Мы прекращаем всякие дружеские посиделки. Встречи только по делу, только конспиративные. Большинству из нас придется сменить квартиры, надо рассредоточить наши силы, чтобы затруднить работу шпиков.

Наступило тягостное молчание. Лишиться дружеских встреч, утратить возможность запросто зайти к товарищу, поговорить по душам, сыграть партию в шахматы, посидеть за чашкой чая, попеть, потанцевать.

— Такой жестокости я от тебя, Владимир, не ожидал,— с тяжелым вздохом выдавил из себя Глеб.

— Прав Владимир Ильич, прав,— тряхнул кудрями Петр Запорожец,— конспирация есть конспирация.

— Мы все хорошо понимаем, на что идем. Решение правильное,— одобрил Ванеев.

Надежда Константиновна молчала, наклонившись над книгой, накалывала булавкой буквы, зашифровывала адреса, клички... Она боялась поднять глаза.

— Итак, решили... решили...— Владимир Ильич на секунду задумался. Какая-то тень набежала на лицо. Видно, не легко ему было принимать такое решение — он не сможет теперь каждое воскресенье бывать у Нади, а это стало уже сердечной необходимостью. Он бросил взгляд на Надю и энергично продолжал: — Теперь распределим между собою районы Петербурга, назначим ответственных за работу в каждом районе, затем освоим рецепты тайнописи, научимся шифровать. За время моего отсутствия каждый из вас будет собирать сведения о положении рабочих на крупнейших предприятиях Петербурга. Я вот тут подготовил подробный вопросник. Собранные сведения передадите Надежде Константиновне. Главное, что сейчас волнует рабочих,— это незаконные и непомерно большие штрафы.

— Низкий заработок тоже...

— Рабочим не под силу четырнадцатичасовой рабочий день...

— Дороговизна жилья...

— Гнилые продукты в заводских лавках...

Владимир Ильич слушал, наклонив голову набок.

— Совершенно верно. И все же вопрос о штрафах самый острый и наиболее уязвимый для фабрикантов. В России нет закона о продолжительности рабочего дня. Нет закона о расценках, о размерах платы за жилище, о качестве продуктов. Но есть закон о штрафах, и этот закон грубо нарушается. Мы начнем с этого. Надо объяснить рабочим этот закон и показать, как его обходят фабриканты.

— А как объяснить?— спросила Надежда Константиновна.

— Вы соберете сведения, я напишу брошюру по возвращении из-за границы. Напечатать эту брошюру надо в типографии. Своей у нас нет. Надо использовать типографию народовольцев. И об этом должны позаботиться вы, дорогой наследник.

Работали напряженно под непрерывный колокольный звон.

Возвращались в Петербург последним поездом, в разных вагонах, переполненных подгулявшей публикой.

Надежда Константиновна сидела у окна. «Итак — наследница. Итак, никаких личных встреч. Только деловые, только конспиративные. А любовь?..»

Она раскрыла ридикюль, вынула из книги стиснутый зонтик примулы, расправила лепестки.

Глава XVIII

ЗАДАЧА НА ДЕЛЕНИЕ

Прозвенел звонок. В классе Надежды Константиновны кончился урок арифметики, но ученики не хотели расходиться. Сегодня Надежда Константиновна принесла газету «Биржевые ведомости». Рабочие эту газету не читают, ни к чему она им. Но в ней печатаются любопытные вещи. Надежда Константиновна прочитала, что доход одного из владельцев петербургской фабрики шерстяных изделий англичанина Чарльза Торнтона за десять лет составил 14 252 242 рубля. Этот Торнтон в другой газете напечатал, что в 1894 году на его фабрике работало 2577 рабочих и им было выплачено заработка 257 987 рублей 50 копеек. Учительница предложила высчитать, сколько получает в неделю Торнтон и сколько в среднем зарабатывает рабочий на его фабрике.

Попотели над этой задачей ученики. Никогда им не приходилось иметь дело с такими большими цифрами. Егорка — тот вовсе запутался. Для него любая цифра больше ста была одинаково непостижимой величиной. Но общими усилиями в конце концов подсчитали. Подсчитали и ахнули: Торнтону приходится в неделю 27 408 рублей 16 копеек, а рабочему — 3 рубля 93 копейки.

Эти цифры ошеломили рабочих.

— Врет Торнтон. Я — ткач, а никогда больше двух с полтиной в неделю не зарабатывал, да и с этого каждую третью копейку Торнтон вычитает за штрафы. Вот те крест! — перекрестился Семен Кроликов.

— Кровосос! Сколько у него глоток-то!

— С каждого заработанного нами рубля он за баню копейку берет,— хоть мойся, хоть нет. Вот бы с него взять за баню по копейке с рубля, дорого бы обошлась ему баня!

— Устроим ему когда-нибудь баню и копеечки не возьмем! — потряс лиловыми руками красильщик Петр Захаров.

— И наш Максвел не дурак,— вставил свое слово Захар Родионович,— сам во дворце живет, рысаков держит, а нас загнал в красный дом, мы там как клопы... Одна постель на двоих. Не успевает остывать. Один работает, а другой, сменщик, спит. И хозяин за это вычитает два рубля с каждого.

Егорка сидел и прикидывал, сколько пар сапог у Торнтона. Каждый день небось новые надевает и с утра до вечера пряники жует. И в воображении Егорки под кроватью Торнтона выстроился ряд черных, пахучих сапог с крепкими полосатыми ушками на голенищах.

А Егорке сапог не видать. Степан после бунта заболел и не поднимается. Одна Фрося работает и еще ребенка ждет. Какие теперь сапоги!

Тут разговор повернулся на то, как бы проучить этого Торнтона.

— Он не уважает наш труд,— говорил прядильщик Авдеев,— так давайте и мы будем работать ни шатко ни валко — мол, лучше не умеем.

— Ну и выгонит нас тот англичанин.

Егорке по душе пришлась мысль работать кое-как. Притворишься, будто слепой и не можешь быстро вдевать основу в глазки ремизок.

Предложение Авдеева озадачило рабочих. Они сидели, раздумывали, пожимали плечами.

— Ну, а что думает об этом Захар Родионович? — спросила Надежда Константиновна старого прядильщика с Максвела.

Захар Родионович не спешил с ответом. Он раскрутил кисет, захватил понюшку табаку и покачал головой.

— У меня сноровка в работе такая, что ежели я себя лениться заставлю, то товара должной доброты не дам, брак пойдет.

— Ну и что? — горячился Авдеев.— Ты вот стараешься, а другим за это расценки снижают. Кому добро делаешь?

— Значит, ты считаешь, что леность лучше трудолюбия?— спросил его Кроликов.

— Лентяй он и есть лентяй, никудышный человек,— сказал рабочий стеаринового завода.

Его поддержали остальные.

Надежда Константиновна вопросительно посмотрела на Бабушкина. Что он скажет?

Иван Васильевич усмехнулся.

— Я тоже раньше так думал и других к этому призывал — давайте работать спустя рукава, зачем стараться для хозяина. Попробовал сам — не выходит. Признаюсь, братцы, не умею я плохо мастерить. Рабочая гордость не позволяет. Когда распахиваются заводские ворота и выезжает красавец паровоз, у меня душа играет. Я каждую гайку, каждую втулку помню и понимаю: это мы смастерили такую чудо-машину и люди будут радоваться. Плохо работать — это самому себе в душу наплевать.

— Правильно говоришь, Васильич,— похлопал Бабушкина по плечу Захар Родионович,— работать кое-как нам не сгодится. У хозяина совести нет, а у нас честь рабочая. Но нам надо подумать, как заставить хозяина наш труд уважать.

— Вот на Семянниковском зимой бунт учинили, а чего добились?— не унимался Авдеев.— Стали хозяева ваш труд уважать?

Бабушкин протестующе замотал головой.

— На Семянниковском много дров наломали. Да уж очень накипело. А действовать надо по-другому. Против несправедливостей от всего рабочего мира надо хозяину требования предъявлять. Не согласится выполнить — рабочие останавливают машины. Завод замирает, и замирает сердце хозяина — плачут его барыши. И теперь уж кто кого. Мы ждем, терпим, ничего не ломаем, но и рук к машинам не прикладываем. И если мы не дрогнем, на своем стоять будем, хозяину ничего не останется делать, как идти на уступки.

— А ты что, не знаешь, как с забастовщиками расправляются?— спросил Авдеев.

Иван Васильевич рассмеялся:

— Дурья твоя голова! Разве я говорил о забастовке?

— А как же это называется?

— Называй как хочешь, но видит бог, что я слово «забастовка» не произнес. А кто умный, сам поймет, что я разумел.

Чернявый, о котором предупреждали Надежду Константиновну, что он на Гороховую ходит, сидел, вжавшись в стенку, только беспокойно блестели его глаза.

— Иван Васильевич действительно ни о каких забастовках не говорил,— подтвердила Надежда Константиновна.— Он говорил о рабочей чести... И нам пора расходиться.

Семен Кроликов, уходя, передал учительнице тетрадь.

— Я тут сочинение написал, проверьте, не откажите.

Оставшись одна в пустом классе, Надежда Константиновна раскрыла тетрадь. В нее были вложены два пропуска на фабрику Торнтон и «сочинение»— сведения о фабрике.

Кроликов писал: «Владельцы фабрики Бэкман, Чарльз и Вильям Торнтоны, они же директоры фабрики, подданные Великобритании. Управляющие конторой: Либстер, Котос, Иогансон, Ланге, Брандерс, Бертранд, Дворцов и Колотушкин». Надежда Константиновна усмехнулась: только двое русских и к тому же с такими примечательными фамилиями. «Мастеров шестнадцать: девять англичан, шесть немцев и один русский. Рабочие все русские, большинство со Смоленщины, есть тверские, псковские. Подростков на фабрике 190, из них 110 девочек. Рабочий день начинается в пять часов утра и кончается в семь часов пятнадцать минут вечера». Четырнадцать часов пятнадцать минут!

Надежда Константиновна сложила листок бумаги и спрятала его вместе с пропусками в ридикюль.

Остальные сведения они соберут с Аполлинарией сами, для этого и добыл Кроликов пропуска на фабрику.

Ехала домой в полупустой конке. Шлиссельбургский тракт погрузился во тьму. Редко в каком домишке мерцал огонек. Сошла на углу Лиговской улицы, перешла на Знаменскую, остановилась в нерешительности возле дома. Может быть, пойти к маме? Она живет на другом конце Знаменской. Надя — в комнатушке, Елизавета Васильевна снимает огромную, многокомнатную квартиру на углу Гродненского переулка. Мать и дочь живут теперь раздельно.

«Милая мамочка, дорогой наш помощник!» — с нежностью подумала Надежда Константиновна. С какой легкостью и пониманием Елизавета Васильевна согласилась отказаться от уроков, снять большую квартиру, пустить в нее квартирантов и давать «дешевые домашние обеды и ужины». Квартира Елизаветы Васильевны стала явочной квартирой для марксистов. Квартиранты были вполне благонадежные: коллежские регистраторы, почтовые и железнодорожные чиновники. А «дешево пообедать» мог зайти каждый. Квартира Елизаветы Васильевны была вне подозрений. Очень хочется зайти к матери, прижаться к ней щекой, взглянуть на нее, но, наверно, уже спит, устала, подумала Надежда Константиновна и поднялась к себе домой.

Комната Нади должна быть «чистой». Сюда из товарищей никто не заходит. Все книги в комнате вполне пристойные для барышни и учительницы, никакой запрещенной литературы. И только круглый столик на толстой ножке молчаливо хранит тайны. Обыкновенный столик, на котором стоит самовар и чайник. На обыкновенной граненой ножке, украшенной круглыми точеными большими пуговками. Отвернешь одну пуговку, и открывается просторное и глубокое дупло, в котором все секретные бумаги организации — списки членов кружков, пароли и явки, адреса. Но и они зашифрованы. А ключ к этим шифрам в толстой книге «Подарок молодым хозяйкам», которая небрежно лежит на столе.

Надя вынула из сумки сведения о фабрике Торнтон, открутила пуговку, засунула бумаги в дупло, вновь закрути-

ла и придирчиво посмотрела — не стерся ли лак с этой пуговки от частого пользования. Нет, лак крепкий.

Этот столик по просьбе Владимира Ильича заказал Иван Васильевич Бабушкин одному знакомому столяру и сам привез его к Надежде Константиновне на квартиру, когда она переезжала с Невского в эту комнату.

Надежда Константиновна взяла в руки «Подарок молодым хозяйкам», раскрыла книгу. Желтые глазки примулы не утратили своей яркости, но им было душно, не хватало воздуха — наверно, так же, как не хватало Наде Владимира Ильича.

Она сорвала листок с настенного календаря. Год 1895-й. 11 сентября. Понедельник. Сегодня пошел сто сорок первый день, как Владимир Ильич уехал за границу. Сто сорок первый листок срывает она. И ни одной весточки. И только из писем Марии Александровны и Анны Ильиничны знает, что жив и здоров.

Глава XIX

НА ТОРНТОНЕ

Владения Торнтона расположены на правом берегу Невы, в девяти верстах от Петербурга. Но начинаются они с левого берега, с парома. Моста через Неву здесь нет. Переправляются люди, грузы, скот на пароме, а паром — собственность Торнтона.

Надя и Аполлинария подождали, пока на паром въедут подводы, груженные огромными тюками шерсти, бочками с краской, ящиками. За подводами на палубу стали заходить люди. Приказчик собирал деньги за переезд.

Девушки пристроились у перил. Паром, тяжело переваливаясь, выглаживал зыбь на реке, оставляя за собой зеленовато-серую полосу. Крестьяне с котомками, в лаптях и армяках жались друг к другу.

Крутой, невысокий правый берег Невы бурно зарос лопухом и крапивой. С пристани к фабрике идет топкая дорога.

Девушки на пристани, в толпе, оглядели друг друга. Надя сделала знак Аполлинарии пониже надвинуть на глаза платок. Подобрали длинные юбки и, еле вытаскивая ноги из вязкой грязи, двинулись к проходной. Вывеска «Товарищество шерстяных изделий Торнтона» сияла золочеными буквами на солнце. Шестиэтажные здания из красного кирпича казались раскаленными. Мелко зарешеченные окна делали фабрику похожей на тюрьму. Справа у фабрики в тенистом саду большое двухэтажное здание — жилой дом Торнтонов. Ажурная железная решетка отделяла ярко-зеленые лужайки и цветники от кривой, ухабистой дороги.

Фабрика представляла собою недоступную крепость, окруженную глубоким рвом, наполненным водой.

— Ну и ну!— пробормотала Надя.— И сад английский, и ров вокруг крепости. Как в средневековом замке.

— Считай, что мы попали в Шотландию, — сказала Аполлинария.

— Нет, скорее в английскую колонию.

Крестьяне, сойдя с парома, присоединились к толпе у фабричной стены. Это была биржа. Здесь хозяин фабрики отбирал себе рабочих.

Девушки вошли в проходную, показали сторожу пропуска и пошли уже было дальше, но сторож — видно, бывший унтер — гаркнул:

— Обождь! Пронос есть?.. Дай проверю,— и протянул руки к Наде.

Она поняла, что унтер собирается их обыскивать, живо вынула из кармана двугривенный и сунула ему:

— Никакого проноса у нас нет.

— То-то! Проходь!

На фабричном дворе было безлюдно. Из зарешеченных окон доносился гул, скрежет, лязг. И вдруг воздух разорвал

гудок. Казалось, гудела во всю свою глотку фабричная труба, вблизи выглядевшая огромной башней.

Заскрипели одна за другой железные двери фабрики-тюрьмы, и во двор серым потоком хлынула людская масса. Огромная чаша двора заполнилась людьми, вынесшими с собой тяжкий запах мокрой шерсти, красок, машинного масла, людского пота. Этот поток подхватил и увлек девушек с собой к широким воротам, за которыми были жилые казармы.

Три длинных шестиэтажных корпуса вытянулись в одну линию. Только крайний левый подался назад, и участок перед ним был обсажен деревьями и обнесен изгородью. На зеленой лужайке хорошо одетые дети играли в серсо, бегали, качались на качелях, шумели, как и полагается детям. Их звонкий смех звучал неестественно в этом тюремном дворе. Девушки подошли к изгороди. На площадке появилась строгая дама в пенсне. «Чилдрен, лет ас гоу хоум! Куикли!» [1]

— Это, наверно, дети английских служащих,— сказала Надя.

Рабочие толкались и переругивались в дверях первых двух корпусов. Трудно было представить, что эти два дома могут вместить в себя такое несметное количество людей.

Надя пошла в семейный корпус, Аполлинария — в холостой. Поднявшись на шестой этаж, Надежда Константиновна глянула вниз. На дне широкого лестничного пролета как муравьи копошились люди. «Хорошо отсюда листовки сбрасывать,— мелькнула мысль,— разлетятся по всем этажам, попадут в руки сотен людей». Лидия Михайловна Книпович обещала устроить печатание листовок и брошюр в народовольческой типографии. Ждали только возвращения Владимира Ильича из-за границы, чтобы приступить к делу. А сейчас все члены центрального марксистского кружка собирали материалы по вопроснику, составленному Влади-

[1] Дети, пойдемте домой! Быстро! *(англ.)*

миром Ильичем. Для этого пришли сюда Надя и Аполлинария.

Постепенно лестница пустела, люди разбрелись по этажам, по своим каморкам.

Надя толкнула дверь и снова попала в муравейник. По бесконечно длинному коридору сновали люди, по обе стороны бесчисленные двери. В конце коридора кухня, где на полуторасаженной плите стояло несколько десятков пузатых чугунков. Женщины их быстро расхватывали, кто тряпкой, кто концом фартука, и уносили в комнаты. На чугунках были метки — белые, синие, красные кружочки, завитушки, чтобы не перепутать — который чей. Все чугунки источали одинаково тяжелый запах пареной капусты и картошки.

На Надю никто не обратил внимания. Она зашла в первую попавшуюся комнату. За длинным столом сидело человек десять, они обедали.

— Хлеб да соль,— приветствовала Надя.

— Просим! Хлеб-соль на столе, а руки свои,— ответила пожилая женщина.

Вторая, помоложе, с ребенком на руках, внимательно оглядела девушку,— видно, признала в ней барышню.

— С чем бог послал?— спросила она не очень-то радушно.

— Я учительница из церковноприходской школы. Хочу познакомиться с вашей жизнью,— просто ответила Надя и улыбнулась. Эта добрая улыбка сразу сломила стеночку недоверия.

— Сидайте,— пододвинула пожилая женщина табуретку.— Чего с нашей жизнью знакомиться, мы все тутотка.

Надя осмотрела жилье. Пестрые ситцевые занавески отделяли широкие деревянные кровати с пирамидами цветных засаленных подушек. Как видно, на каждой кровати спала целая семья. Серые стены словно забрызганы бурой краской — следы раздавленных клопов. А в красном углу темная икона задрапирована полотенцем, вышитым травчатым



узором с бело-красным кружевом по концам. Это было настоящее произведение искусства, так не гармонировавшее с казарменной обстановкой комнаты.

— Какая красивая вышивка!— невольно вырвалось у Нади.

— Это наши смоленские украсы, сама вышивала, когда еще молодайкой была,— ответила пожилая женщина, вытирая рот ладонью.— Вот и это я делала,— показала она рукой на кружевной подзор, выглядывавший из-под замусоленного лоскутного одеяла.

Такому кружеву могла позавидовать и Матрена Васильевна — старая кружевница из школы Поспеловой. Кони, березки и человеческие фигуры словно в вихре снежинок.

За столом наступило молчание. Видно, люди вспомнили родные смоленские перелески, тихие реки в глубоких берегах, пестрое многотравье. И как память о родных краях захватили с собой эти «украсы», потому что человеку свойственно чувство прекрасного.

Надя посмотрела на двух девочек-подростков и, чтобы прервать молчание, спросила:

— Девочки в школу ходят?

— Куды им в школу, обои работают,— ответила женщина с ребенком.

— Вы все работаете на фабрике?

— Все. Почему не все? Только вот мой мужик свое отработал — машиной руку испортил. С фабрики уволили. Податься некуда.

Надя заметила, что мужчина, хмуро поглядывавший на нее, ест левой рукой, а правая кисть закутана в какое-то тряпье. Он отложил ложку в сторону.

— Барышня, вы учительница, стало быть, грамотная. Мне тут писарь бумагу написал, а что в ней, я плохо понял. Почитайте мне, христа ради.

— Давайте, давайте.

— А ну-ка, Дарья, вынь ту бумагу.

Женщина пошла в передний угол и вынула из-за черной доски иконы, с которой смотрели большие скорбные глаза, бумагу. Протянула Наде.

Надя читала вслух. Все положили ложки на стол и слушали.

Каллиграфическим почерком, с завитушками и хвостиками, на бумаге было выведено:

«Расписка.

Я, нижеподписавшийся Егор Петров Сапожников, из крестьян Смоленской губернии, Гжатского уезда, Воробьевской волости, деревни Груздево, даю сию расписку в том, что получил от Товарищества шерстяных изделий Торнтон в Санкт-Петербурге единовременное вознаграждение в размере 75 (семидесяти пяти) рублей серебром за несчастный случай с потерей указательного пальца правой руки, приключившийся 2 января 1895 года на фабрике Товарищества шерстяных изделий Торнтон, и удостоверяю, что таковой суммой я вполне удовлетворен и никаких дальнейших претензий Товариществу шерстяных изделий Торнтон я не имею и иметь не буду, и обязуюсь как за себя, так за жену и детей моих никаких жалоб и исков по поводу данного случая никогда не возбуждать.

За неграмотностью поставил три креста».

— Вам здесь все понятно? — спросила Надя.

— Понятно-то понятно, да только слова какие-то непонятные. У меня вся рука не действует, а доктор говорит: рука целая, один только палец оторван, стало быть, и цена поставлена за один палец. Конечно, что и говорить, семьдесят пять рублей деньги агромадные, но это на всю жизнь, а рука-то пропащая — ни на машине работать, ни пахать, ни косить.

— За палец семьдесят пять рублей...— вздохнула Надя.

— Я ничего не говорю, барышня, большие деньги, но за

всю руку двести бы отвалили, а на кой она мне рука, когда она недвижная.

— За руку, говорите, двести, а за жизнь?

Здесь в разговор вступили все.

— Нашей сватье, Лизавете Яркиной, за мужика Торнтон аж целых восемьсот рублей серебром отвалил. Ейного мужика Михаила тюком ушибло. Подымали тюк с пряжей, веревка оборвалась, и тюк на него. Он так, скорчимшись, и остался сидеть. Пятеро детишек у него... Теперь, слава богу, не погибнут. Хочь и лютый Торнтон, а коли беда придет, так без помощи не оставит.

— Не Торнтон это, а вы сами себе помогаете. Он вычитает у вас из заработка деньги, вносит их в страховое общество «Россия», и это общество выплачивает за увечья, да еще прибыль от этого имеет.

— Вон оно что,— помрачнел Егор Петрович,— а я еще хотел за него свечку поставить.

— А как у вас со штрафами?— спросила Надя.

— Вот со штрафами хочь в петлю лезь. Обирают нас Торнтоны.

— Покажите ваши расчетные книжки.

Дарья из-за той же божницы вынула пачку книжек, обернутых в газетную бумагу. Все окружили учительницу. Она перелистывала книжки.

Прав был Владимир Ильич: штрафы — самое больное место. Два раза в месяц, по средам, выстраивалась очередь к артельщику, и ни один рабочий не знал, сколько он получит. Часто вычеты составляли четверть, а то и треть заработка.

— Но у вас тут ни одной отметки о штрафах,— сказала Надя, возвращая книжки.— Отмечены вычеты за квартиру по два рубля с человека, за баню, за паспорт, а штрафа — ни копейки.

— Так мастер у себя в книжице записывает. Он-то знает, сколько с кого вычесть. А по-русски он не умеет писать.

— Вы должны знать, сколько уплатили штрафа и за что. Есть закон о штрафах. Если вычеты будут записывать, то можно проверить, по закону вычли или нет.

— Неужто такой закон есть?— недоверчиво спросил Егор Петрович.

— Есть, есть. И этого закона добились такие же рабочие, как вы, ткачи и прядильщики Никольской мануфактуры, что под Москвой. Хозяин, Тимофей Морозов, такие большие штрафы с них взимал, так притеснял, что жить стало невозможно. Они бросили работу...

— Забастовали, стало быть?

— Да. И правительство издало закон о штрафах. У вас на фабрике есть фабричный инспектор. Он должен следить за тем, чтобы закон исполнялся. Вы ему жаловались?

— А...— махнул рукой другой обитатель комнаты, рослый мужчина с рябым лицом.— Инспектор на задних лапках перед хозяевами ходит, он за нами следит.

— Может, Торнтон про тот закон не знает, ведь он по-нашему, по-русски, не разумеет,— усомнилась Дарья.— Мастера тоже все иноземцы. Знают только «русски свинья», «русски сволочь» да еще разные ругательства.

И полились жалобы.

Торнтон не разрешает в вечерне-воскресные классы на левый берег ездить, считает их опасными. Завел свою школу... Приходят семинаристы из духовной семинарии, читают священное писание... Не велит жениться и выходить замуж за рабочих с левой стороны Невы... Велит хоронить людей только на своем кладбище. С покойников и то прибыль... Два рубля с человека за жилье берет, а здесь дышать нечем, вши заедают, клопы спать не дают...

...Якубова ждала подругу внизу. После обеда население казармы толкалось во дворе. Особенно людно было на площадке между конюшней и холостой казармой. Здесь играли в карты, в орлянку. Пиликала гармошка, брань перемежалась с разухабистыми песнями.

Поля сжала руку подруги, ее глаза были полны отчаяния и горести.

— Как страшно люди живут,— шепнула она.

В проходной сторожу снова пришлось дать двугривенный, чтобы избавиться от обыска. «Выноса нет?» — спросил он. «Нет, нет»,— поспешила ответить Надя.

— Уфф! — вздохнула Поля, когда они вышли за ворота.

— Одни продают совесть, другие — труд. Смотри-ка, Торнтон покупает себе рабочую силу.— Надя потянула подругу к площадке, где толпа крестьян вытянулась в два ряда, как солдаты на смотру.

Высокий мужчина в светло-сером костюме и перчатках медленно шел между рядами. За ним семенил приказчик. Торнтон остановился перед молодым парнем, потряс его за плечи, пощупал мускулы, оттянул подбородок, заглянул в рот. «Хи из ол райт, зэт уан уил ду» [1],— бросал он через плечо приказчику. Осмотрев таким же манером стоявшую рядом женщину, брезгливо сказал: «Ши вонт ду!» «Не подходишь»,— объяснил ей приказчик. Женщина рухнула на колени. «Эвей, эвей!» [2]— поморщился англичанин.

Девушки поспешили к парому.

В перламутровом освещении белой ночи фабричные здания, казалось, раскалились докрасна. Труба-башня попыхивала дымом, как кратер действующего вулкана.

Глава XX

СВИДАНИЕ

За толстым стеклом витрины не спеша покачивается огромный, как полнолуние, маятник напольных часов, с веселых расписных ходиков свешиваются продолговатые гири,

1 Этот мне подходит *(англ.)*

2 Прочь, прочь! *(англ.)*

тоненькой золотистой струйкой течет время в песочных часах; на черном бархате — затейливые музыкальные шкатулки, будильники, брегеты, крохотные дамские часики...

Надю интересовали не часы, а время. Какие же идут правильно?

Позвякивал колокольчик на дверях, и из магазина доносился перезвон часов.

Неподвижно, замерев, отстаивали свое время часовые стрелки, опадали или устало поднимались вверх по крутым ступенькам времени минутные, и только длинноногие секундные бежали без устали, без остановки. Это они тянули за собой минутные стрелки, это они сдвигали с места короткие, толстые часовые.

Вот бы суметь, как секундная стрелка, так же деятельно, стремительно, не останавливаясь, не мешкая, идти вперед, все время вперед.

Владимир Ильич так умеет. А она? Надя пожала плечами: пожалуй, нет. Иногда останавливается в нерешительности, а потом спешит, спешит...

Все пять месяцев разлуки очень медленно двигалась для Нади секундная стрелка. Но вот уже двадцать два дня, как Владимир Ильич вернулся из-за границы в Россию, дал весточку, что границу «проскочил» благополучно. А сейчас ездит по России, встречается с людьми, создает организацию. И вот на днях получила из Москвы условную открытку. Сидела, расшифровывала, высчитывала количество букв в первой строчке, умножала, делила... Смеялась — ну и хитрый же шифр придумали, еле разобралась! Владимир Ильич назначал свидание у часового магазина на четыре часа. А здесь все часы показывают разное время. Так нужно хозяину, чтобы непрерывный перезвон часов привлекал внимание прохожих, зазывал покупателей. За стеклом то ухает удар колокола, то прокукует кукушка, то несколько музыкальных шкатулок вызванивают каждая свою мелодию.

На зеркальном стекле отражается жизнь улицы, мелька-

ют лица прохожих. Чужие равнодушные лица. Возникают, проплывают мимо и исчезают. И вдруг Надя увидела глаза. Веселые карие глаза. В них нескрываемая радость. И нежность. И восхищение. Надя смотрела в стекло, не решаясь повернуться. Рядом увидела свое отражение, свою растерянную и счастливую улыбку. И обернулась. Встретилась лицом к лицу с Владимиром Ильичем.

— Здравствуйте, Надежда Константиновна!

«Здравствуйте!» — как много может вместить в себя простое слово.

— Здравствуйте, Владимир Ильич! — Сказала, кажется, очень тихо, но проходивший мимо пожилой человек взглянул на них сквозь очки и понимающе улыбнулся.

— Ну вот, — развел руками Владимир Ильич, — ничего не поделаешь!

Надя поняла. Действительно, ничего не поделаешь, не справишься с сердцем, когда оно любит. А секундные стрелки на всех часах бегут, и их обгоняет вихрь невысказанных слов, понятных только им двоим.

Шли молча, оба взволнованные, не видя ни людей, ни притуманенного осеннего питерского дня. Шли, все убыстряя шаг, изредка взглядывая друг на друга.

— Куда мы так спешим? — остановилась, запыхавшись, Надя.

— В наше будущее, — весело и задорно ответил Владимир Ильич и взял ее под руку. — В наше будущее, — повторил он. — Я очень верю в него. Оно прекрасно!

Стало легко и празднично. Оба понимали, что тайна, которую каждый носил в себе, стала явью.

Дул холодный ветер. Было пасмурно. Облака низко летели над Невой, под ногами шуршали пожухлые листья, но для них было солнечно, ясно и по-молодому весело.

— Вы сегодня не торопитесь? — спросил Владимир Ильич. — Мне так много надо вам рассказать. Расспросить. Посоветоваться.

— Нет, не тороплюсь. У меня свободный вечер. Маму предупредила, хозяйке сказала, что вернусь поздно.

— Отлично! Я сегодня тоже вольный человек. Приехал в Петербург чистенький, без «хвоста», сыщики меня давно потеряли, а я пока нигде не прописан. Хожу как в шапке-невидимке.

— Вы хорошо выглядите, поправились.

Владимир Ильич рассмеялся.

— Поправился за счет нелегальщины: за пазухой и в карманах у меня полно литературы.

— Это рискованно. Куда вы ее денете?

— Передам наследнику.— Владимир Ильич хитровато скосил глаза на спутницу.— У наследника есть столик с толстой ножкой, на котором, надеюсь, по-прежнему стоит самовар.

— Да. Но столик переполнен материалами, которые мы для вас собрали. Литературу я спрячу у мамы. У нее огромная квартира, и место найдется. Ну, расскажите же, как вы съездили, с кем виделись? Довольны результатами?

— Очень! Поездка была полезная. Встречи интересные. И каждый вечер ловил себя на мысли, что мне позарез необходимо написать вам, получить от вас весточку. И знаете,— признался вдруг Владимир Ильич,— писал! Писал и сжигал. Не мог ставить вас под удар. Ведь каждое письмо из-за границы охранка берет на особый учет, даже если оно весьма и весьма личное. Считайте, что вы получили от меня много писем.

— В таком случае, я послала вам столько же в ответ,— пошутила Надя.— А в общем, я счастлива, что вы благополучно вернулись... Плеханова видели? Понравился?

— Плеханов великолепен!— с жаром воскликнул Владимир Ильич.— Это поистине лучший знаток марксизма, энциклопедически образован. Но, видно, пятнадцать лет отрыва от России дают себя знать. Не верит он в силу и талант рус-

ского рабочего класса. Вот Лафарг видит в рабочем классе самостоятельную революционную силу.

— Так вы были в Париже, виделись с зятем Маркса и Лаурой? — ахнула Надя.— Что это за люди? Лаура похожа на отца?

Владимир Ильич восторженно отозвался о докторе Лафарге и его жене Лауре.

— Поль Лафарг талантливейший из учеников Маркса и пропагандистов марксизма. Поль и Лаура — два великих труженика, очень красивые, хотя уже пожилые люди, влюбленные друг в друга и отдающие себя делу революции.

Надя слушала, и перед ее глазами возникала высокая, стройная фигура доктора Лафарга с белоснежной шевелюрой и рядом с ним живая, черноглазая Лаура.

Увлеченный разговором, Владимир Ильич не забывал обходить места, где могли бы натолкнуться на шпиков, время от времени проверял — не подцепили ли «хвост». Вышли на Большой Сампсониевский проспект, присели на скамейку. Улица была пустынна. В редких окнах горели огни.

— Когда я познакомился с супругами Лафарг, мне вспомнился брат, Саша,— продолжал Владимир Ильич.— Как я теперь понимаю, перед отъездом в Петербург он переживал свою первую юношескую любовь. Об этом знали мама и Аня. Маруся была нашей дальней родственницей, славная девушка. Но Саша отошел от нее, когда понял, что у нее нет общественных интересов и что она не сможет стать его настоящей подругой в жизни.

Владимир Ильич встал, подтянулся и сорвал с дерева гроздь рябины, казавшейся совершенно черной в этот ночной час.

Надя вздрогнула, осторожным движением забрала у Владимира Ильича рябину и незаметно бросила ее в кусты.

— Пойдемте отсюда, здесь очень холодно; чего доброго, простудитесь,— сказала она.

Страх, страх вдруг обуял ее, страх за него, Владимира.



«Саша... Рябина обыкновенная...» — мелькало в мозгу. И эта гроздь рябины в руках Ильича.

Владимир Ильич по-своему понял ее. Он снял с себя пальто и накинул на плечи Нади.

— Я вовсе не чувствую холода! — сказал он. — Я в костюме, а вы одеты очень легко.

И как ни протестовала Надя, он заставил надеть его пальто.

— Рассказывайте, рассказывайте, где вы еще были? — допытывалась Надя, стараясь справиться с волнением.

— Два месяца провел в Берлине, работал в библиотеке, прочитал уйму марксистской литературы. Очень хотел поехать в Лондон, повидаться с Фридрихом Энгельсом. Но увы: двадцать четвертого июля газеты сообщили горестную весть — Энгельс скончался. Этот человек очень любил русский народ, называл его великим и высокоодаренным и верил в его будущее.

— Да, весть о смерти Энгельса потрясла здесь многих. Иван Васильевич Бабушкин организовал собрание рабочих в лесу, рассказал о жизни Маркса и Энгельса. Хотели послать венок, но не знали, как это сделать, — сказала Надя.

— Ну, а у нас что нового? — спросил Владимир Ильич.

— У нас успехи небольшие. Занимались сбором материалов по вашему вопроснику. Только месяц как начала работать школа после каникул, но новостей много. Настроение на фабриках боевое.

— Ах, какую мы работу сейчас развернем, как много надо успеть сделать! — воскликнул Владимир Ильич. — Успеть! Чудес на свете не бывает. Наша активность вызовет ответную реакцию полиции. A la guerre, comme a la guerre. На войне как на войне.

Владимир Ильич понимал, что поездка за границу даром для него не пройдет, понимал, что начнется бешеная слежка, хотя и не знал, что уже в мае департамент полиции

занес его как руководителя под номером один в список лиц, занимающихся революционной пропагандой среди рабочих.

— Но что бы ни случилось, давайте условимся, что в книгах самого невинного содержания, которыми мы будем обмениваться, на предпоследней строчке книги будет знак, с какой страницы начинается письмо. Текст накалывать по буквам. Особо важные места зашифровывать, как мы условились. Старайтесь писать экономно: две-три согласных буквы из слова. Например: «плц» — «полиция», «зб» — «забастовка», «лст» — «листовка». Я буду писать таким же манером.

— Вы словно и впрямь в тюрьму собрались,— упавшим голосом заметила Надя.

— О нет. Буду делать все возможное, чтобы как можно дольше продержаться на свободе. Но, как говорят, «от сумы и от тюрьмы не отрекайся». Всё может случиться, а работа должна продолжаться. И еще одно условие: личные письма только тайнописью.

— Личные письма? — с недоумением спросила Надя.

— Да, да,— подтвердил Владимир Ильич, как само собою разумеющееся.— Личные письма только тайнописью.— И, помолчав, тихо добавил: — Боюсь чужого прикосновения.

...Первые лучи солнца уже позолотили Адмиралтейскую иглу, а они ходили по улицам Петербурга, не чувствуя ни времени, ни усталости. Иногда присаживались на скамейку, и тогда нелегальная литература из карманов Владимира Ильича перемещалась в объемистый ридикюль Надежды Константиновны.

Расстались на Знаменской площади, когда разгорелось утро, прошли первые конки, затарахтели по мостовой ломовые извозчики, открывались ставни булочных, бакалейных лавочек. Владимир Ильич взглянул на часы.

— Пока я в шапке-невидимке, пойду сейчас в общежитие рабочих, что на Невском, у Лавры.

Надя поняла, что ему просто необходимо посмотреть, как

живут рабочие, с каким настроением идут на работу, что их волнует.

— Потом отправлюсь снимать себе комнату. Когда пропишусь, сразу начнется слежка, тогда в общежитие рабочих путь мне будет заказан.

— Когда мы встретимся?— спросила Надя и поспешно добавила: — Чтобы я могла передать материал о штрафах.

Владимир Ильич вздохнул.

— Помните у Пушкина: «...чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Но... у нас с вами есть большое и ко всему обязывающее «но».— Владимир Ильич задержал руку Нади в своей, поднес ее к губам и крепко поцеловал.— Берегите себя, очень берегите! Материалы о штрафах передайте через Бабушкина. В добрый час!

— В добрый час!

На углу Лиговской улицы Надя оглянулась. Владимир Ильич, видно, ждал этого: улыбнулся, прикоснулся пальцами к полям шляпы и зашагал по Гончарной.

Все спорилось у Нади, все ладилось. Никогда, кажется, уроки не проходили так живо и интересно, как теперь. Никогда так доверчиво и щедро не раскрывались перед ней ученики со своими думами, бедами и мечтами. Да, мечтами! Привыкали мечтать о лучшей, достойной жизни. И большинство из них было готово к борьбе за эту жизнь. Вот и сейчас Надя перелистывает сочинения учеников на тему «Моя жизнь». Владимир Ильич страсть как любит читать эти сочинения, бесхитростные, откровенные, большей частью горестные, но с мечтой и надеждой на будущее. Владимир Ильич умеет из множества разрозненных фактов выбрать главное, объединить большой мыслью. И Надя учится у него. Жизнь ее теперь была соткана из работы и любви. «Как хорошо, что есть он»,— думала Надя.

Стук в дверь прервал ее мысли.

Пришла Леля. Надя крепко обняла свою кузину.

— Леля, Ленка, милый Ленок, как же давно мы с тобой не виделись!

В детстве они встречались часто, ходили друг к другу в гости, оставались ночевать. Лежа в кроватях, рассказывали друг другу истории, одна страшнее другой, а то затевали игру в индейцев, строили из подушек крепости, вместе читали первые детские книжки. А теперь так редко видятся! Надя поглощена работой. У Лели своя жизнь. Она зарабатывает нелегкий хлеб в адресном бюро; дежурит по ночам, днем занимается музыкой и пением, готовится стать актрисой. Отец ее тоже рано умер, мать, больная женщина, всецело на попечении Лели.

— Надюша, я к тебе на минуточку прямо с ночного дежурства забежала.

Надя заметила, что Леля чем-то встревожена.

— Что-нибудь случилось? Как мама?

— Мама все прихварывает, но сейчас ей лучше. Я пришла по делу, которое тебя, наверно, интересует. Помнишь, ты меня познакомила с молодым человеком, Владимиром Ульяновым? Мне показалось, что он тебе дорог. Тетя Лиза тоже говорила о нем добрые слова.

— Да, это мой товарищ, а мои друзья — мамины друзья,— как можно хладнокровнее ответила Надя.— Но что случилось? Ты чем-то обеспокоена?

— Сколько ему лет?— спросила Леля.

— Двадцать пять!— Краска медленно сползала с Надиных щек. Она села на стул.

— Значит, это он! Уроженец города Симбирска, помощник присяжного поверенного.

— Что с ним? Говори скорее! Что случилось?

— Пока ничего страшного. Ты, пожалуйста, не волнуйся. На тебе лица нет. Успокойся. Сегодня ночью я дежурила в адресном столе. Сидела и нанизывала на дужки карточки

с новыми адресами. Под утро явился чиновник из жандармского управления и принялся сам перекидывать карточки на дугах. Я хотела ему помочь, а он цыкнул на меня: «Сам справлюсь. Ищем важного государственного преступника. Отойдите!» Я села за свой столик. Он перебирал карточки на букву «У». Потом спросил — есть ли новые, неразложенные. Я-то их как раз и сортировала. «Ищите,— приказал он мне,— Ульянов Владимир Ильин, родом из Симбирска, 25 лет».

Надя умоляюще смотрела на кузину: скорее, скорее, что же дальше?

— Я стала перебирать карточки,— продолжала Леля,— хотела незаметно спрятать, но он следил за каждым моим движением и, когда увидел фамилию «Ульянов», схватил карточку и прямо впился в нее глазами. «Прибыл, значит, в Петербург. Наконец-то! Его брата повесили, теперь и он от нас не уйдет!» Он записал адрес и велел никому не говорить, кого он искал. Я сменилась с дежурства — и сразу к тебе.

— Спасибо, Леночка, спасибо, дорогая. «Важный государственный преступник... Теперь не уйдет...» — повторяла Надя.— Больше он ничего не сказал?

— Нет. Это все.

— Я спешу в школу,— спохватилась Надя.— Давай как-нибудь встретимся.

— Давай. Я ухожу из адресного бюро, меня берут в театр. Не знаю, что получится, но мечта моя, кажется, осуществится. Мама, правда, не очень одобряет мой выбор.

Надя не слушала Лелю. Мысли ее летели вихрем. Как предупредить Владимира Ильича? К нему идти нельзя — запретил категорически. Рассеянно попрощалась с кузиной и побежала на паровую конку.

Сидя в конке, обдумывала план действий.

В женской школе разыскала Фросю.

— Фрося, милая, ты мне очень нужна!

Прозвенел звонок, приглашающий на урок. Опустели ко-

ридоры, захлопнулись двери в классные комнаты. Надежда Константиновна сидела с Фросей на подоконнике и растолковывала, как проехать к Таирову переулку, что сказать.

— Не беспокойся, Кстинна, все сделаю как нельзя лучше. Мигом слетаю и к большой перемене вернусь обратно.

— А если там полицейская засада и тебя спросят, зачем приходила, что скажешь?

Фрося пожала плечами.

— Скажу — приходила за бельем в стирку, я ведь прирабатываю этим. Не беспокойся, теперь я грамотная. «Капитал» стала изучать. Небось не забыла, как ты мне про счастье-то говорила.

Надя опоздала на свой урок. Такого с ней еще не случалось. Извинилась, сказала, что приболела. Вид у нее и впрямь был нездоровый. Ученики сидели тихо и старались отвечать как можно лучше, чтобы вызвать улыбку одобрения любимой учительницы.

На большой перемене пришла Фрося. Еще издали весело подмигнула: мол, все в порядке.

— Поклон просил передать и чтоб не беспокоилась. А мне спасибочко сказал.

Глава XXI

ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ

Это был необычный, торжественный вечер. Вечер 8 декабря 1895 года.

На квартире Елизаветы Васильевны собралось руководство Петербургской организации социал-демократов.

Собрались, чтобы отредактировать первый номер газеты «Рабочее дело». Первой нелегальной марксистской газеты в России. Еще день-два, и сотни пахнущих свежей типографской краской листков разойдутся по фабрикам и заводам.

Ждали Запорожца, у которого хранился весь материал для газеты. А он запаздывал.

Елизавета Васильевна освободилась от хозяйственных дел и теперь была на вахте.

— Все спокойно,— шепнула она Наде, вернувшись с улицы.— Мороз страшнейший, ни один шпик не выдержит.

— Черный ход открыт? Дверь на чердак тоже?— спросила Надя.

— Да, да, все, как условились.

Надя зашла в комнату, обвела взглядом товарищей, а на сердце было неспокойно, тревожно: почему нет Запорожца?

Владимир Ильич ходил по комнате и, потирая руки, говорил:

— Мы хорошо с вами поработали. Подумать только: год назад мы выпустили первую листовку по поводу бунта на Семянниковском заводе. Написали от руки, в четырех экземплярах. А теперь — газета!

— И счет мы теперь ведем на тысячи,— заметил Ванеев.— Ваша брошюра, Владимир Ильич, «Объяснение закона о штрафах», уже печатается. Обещают оттиснуть три тысячи.

— Отлично! А газету?

— Тысяч десять хватит?

Все дружно рассмеялись. Об этом недавно и мечтать не могли.

— Великое спасибо надо сказать Лидии Михайловне Книпович, это она нам устроила типографию,— с сердечной теплотой сказал Владимир Ильич и обратился к Наде:— А сколько нелегальных квартир для хранения литературы мы сейчас имеем?

— Двенадцать,— ответила Надя,— и еще проверяем несколько адресов у моих учеников.

— Очень хорошо. Но будьте архиосторожны. Министр внутренних дел Дурново заинтересовался вечерне-воскресны-

ми школами.— Владимир Ильич вынул из нагрудного кармана листок бумаги.— Нам удалось добыть текст секретного письма Дурново обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву. Министр считает безвозмездную работу учителей одним из средств борьбы с существующим в России государственным порядком. А, каково?

— Дурново, как видно, не дурак. Понимает, что к чему,— заметил Кржижановский.

— Да, да. Он считает, что нужно заняться тщательной проверкой лиц, допускаемых к занятиям в школу, поскольку, мол, это все бывшие студенты да курсистки, а ему, вероятно, хотелось, чтобы преподавателями были бывшие унтеры. Я тут подготовил комментарии к этому письму.

— Воображаю, как будет дурно Дурново, когда он узнает, что его секретное письмо попало в наши руки,— сострил Старков.

Владимир Ильич незаметно взглянул на часы, и Надя поняла, что его тоже беспокоит опоздание Запорожца, хотя он и не показывал вида.

Запорожец явился весь заснеженный, расстегивая негнущимися от мороза пальцами шубу.

— Прошу прощения за опоздание.

— Отрывали «хвост»?— с беспокойством спросил Владимир Ильич.

— Нет, пришел чистый, как алмаз, но задержался с перепиской.

Все зашумели.

— Мы тут бог знает что передумали, а он «задержался с перепиской»!— налетел на Петра Кржижановский.

— Надя тебе уж передачу в тюрьму готовила, спрашивала нас, любишь ли ты вареники в сметане.— Ванеев пытался шутить, но яркие пятна на щеках выдавали, как он переволновался.

— Я обдумывал план твоего побега из тюрьмы, а ты...— ворчал Старков, помогая Запорожцу освободиться от шубы,

у которого руки зашлись от холода и не справлялись с крючками.

Все провели этот час в большом напряжении, но каждый щадил нервы товарищей.

— Чур, братцы, чур,— отмахивался Запорожец,— смените гнев на милость! Я переписал все статьи Владимира Ильича. Попадись эти рукописи в руки полиции, там по почерку сразу бы установили авторство Ильича. Что тогда? У меня почерк, правда, корявый, но переписал все внятно. А о тюрьме — бросьте... Боюсь я неволи.

— Не следовало этого делать, вы ставите себя под удар,— тихо и растроганно сказал Владимир Ильич.

Глеб крепко обнял Запорожца.

— Прости меня, окаянного, Петруша! Ты правильно поступил. За это тебе отпускаются все твои грехи.

Владимир Ильич раскладывал на столе материалы газеты, произнося: «Гм... гм...», что выдавало его крайнее волнение.

Надя с нежностью посмотрела на Запорожца, решившего своей грудью прикрыть Ильича. Вот оно, подлинное братство и дружба. Что может быть прекраснее...

— Итак, приступим.

Владимир Ильич начал читать передовую, написанную им. Это была программная статья, которая разъясняла необходимость создания самостоятельной революционной партии рабочего класса и борьбы за политическую свободу. Статьи прочитаны; обдумана и обсуждена каждая строчка. Что-то надо поправить, переписать. Это берет на себя Ванеев. Он же должен к утру вычертить заголовок газеты.

— Второй экземпляр останется у Надежды Константиновны,— решил Владимир Ильич.

Условились, что утром Надежда Константиновна заберет у Ванеева материал и передаст его Книпович.

— У нас будет газета... У нас будет партия,— мечтательно произнес Владимир Ильич.

Глеб вполголоса запел:

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Все подхватили; пели шепотом:

Вставай на врага, люд голодный!
Раздайся клич мести народной:
Вперед! Вперед!
Вперед!
Вперед!
Вперед!

В комнату заглянула Елизавета Васильевна, верный часовой. Оглядела всех, ставших ей такими близкими, родными. Улыбнулась.

— Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева? Не пора ли по домам?

— Спасибо, дорогая Елизавета Васильевна, за напоминание. А то мы тут размечтались. Спасибо вам за все.— Владимир Ильич встал.— Кому прикажете идти через черный ход, кому через парадный?

...Рано утром Надя вышла от матери. Дворники расчищали снег, выпавший за ночь. Мглистая дымка висела над городом. Надя забежала к себе домой, спрятала второй экземпляр статей в заветное «дупло» столика и отправилась к Ванееву.

Светлое, радостное чувство не покидало ее. Уж очень хорош и значителен был вечер, проведенный накануне. «Газета выйдет дня через два. Надо привлечь к ее распространению Егорушку,— обдумывала Надя.— Он рвется к делу. За пять лет стал ладным мастеровым. На ее глазах произошло чудесное превращение неграмотного крестьянского паренька в сознательного рабочего. И Фрося может быть хорошим помощником. Она теперь настоящий вожак у себя на фабрике. И из новеньких можно подобрать несколько человек».

Вот и 1-я рота Измайловского полка. Дом 22. Надя взбежала по ступенькам и позвонила два раза. Дверь откроет сам Анатолий и передаст готовый пакет. Чего же он медлит? Позвонила еще раз.

— Кто там?— послышался женский голос из-за двери.

— Откройте, пожалуйста. Я к Анатолию Александровичу.

Кухарка открыла дверь. Вид у нее был перепуганный.

— Нет его. Съехал он. Нет его, нет его,— повторяла она и махала рукой — уходите, мол, уходите.

Дверь захлопнулась.

«Съехал...» Но всего восемь часов, как они распрощались. Неужели арестован? Если Анатолий арестован, значит, и Ильич вместе с ним?

Еще не зная, что предпринять, поехала на работу в Управление железных дорог.

Сидела, стучала одним пальцем по клавишам разбитой машинки, буквы расплывались как в тумане. Было зябко и страшно. Просто невмоготу оставаться в неведении. Сославшись на головную боль, Надежда Константиновна отпросилась домой.

Вспомнила: «Если я вдруг исчезну — справляйтесь у Чеботаревых...»

Владимир Ильич приходил к Чеботаревым обедать ежедневно ровно в два часа дня. И это была не только пунктуальность, которой отличался Владимир Ильич, но и непременное условие: если не пришел обедать — значит, что-то стряслось. Никаких конспиративных встреч здесь Владимир Ильич не проводил, нелегальную литературу не хранил.

Был уже четвертый час. Какая-то слабенькая, как паутинка, надежда трепетала в сердце, когда она нажала на звонок.

— Владимир Ильич обедать сегодня не пришел,— сообщила Чеботарева.— Мой муж очень волнуется — не случилось ли что с ним.

Паутинка порвалась.

Надя вышла с Верейской улицы на Загородный проспект, свернула в Большой Казачий переулок. На углу, перед входом в дом, где жил Владимир Ильич, снег был вытоптан многими сапогами, следы лошадей, глубокие колеи от полозьев.

Шла по улице как по высоко висящей жердочке — кругом было пусто, зыбко. Надя вдруг почувствовала, что потеряла уверенность, лишилась опоры. Что делать дальше?

У школы ждал Бабушкин. Повел ее через черный ход под лестницу.

— Арестованы Ульянов, Кржижановский, Старков, Ванеев, Шелгунов, Запорожец, многие рабочие из марксистских кружков. Видна рука провокатора,— как в тяжелом сне, слышала Надя.— Шум идет по заводам,— шептал Бабушкин,— полиция заслала провокаторов, говорят, что политических преступников арестовали. Надо разъяснить, что социал-демократы не преступники, а защитники рабочих. Вот я тут листовку написал. Напечатать бы ее. Сможете? Мы распространим.

— Да, Иван Васильевич, обязательно напечатаем.

«Действовать надо!» Надя словно очнулась: да, она должна действовать. Дать знать в Москву родственникам Ильича. Бедная Мария Александровна... Полгода назад они вместе боролись за жизнь Владимира Ильича, когда он тяжело болел. И снова беда... «Куда девать второй экземпляр материалов для газеты? — раздумывала Надя.— Уничтожить? Но там статьи Ильича. Статьи, которые переписал Запорожец своей рукой и теперь будет за них отвечать. Петр действительно прикрыл собой Ильича. Статьи Ильича во что бы то ни стало надо сохранить. Отнесу их Нине Герд. Она собирается замуж за Петра Струве, а тому ничего не грозит: он легальный марксист, безопасный для правительства».

Глава XXII

«СОЮЗ БОРЬБЫ» ДЕЙСТВУЕТ

В Управлении железных дорог закончились присутственные часы. Надежда Константиновна уложила папки с бумагами в большой деревянный шкаф, закрыла блестящим железным колпаком новенькую пишущую машинку «Ремингтон» и с вожделением посмотрела на старую, накрытую потертым клеенчатым чехлом. И вдруг решилась. Вышла в коридор, постучала в дверь к своему начальнику.

— О, Надежда Константиновна, я вас вчера не видел! С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем!— приветствовал ее начальник отделения.

— Взаимно и вас, Василий Васильевич!

— Как вам понравилась новая пишущая машинка? Из Североамериканских Соединенных штатов! Я дал распоряжение, чтобы ее выдали вам. Очень ценю ваше усердие.

— Сердечно благодарю, Василий Васильевич. Но я печатаю очень медленно. Нельзя ли мне взять домой старую машинку и попрактиковаться на ней?

Чиновник нерешительно пожал плечами.

— Казенное имущество. А впрочем, возьмите. Если хозяйственная часть потребует, немедленно вернете.

— Разумеется.

Надя вышла из кабинета сияющая. Давно они мечтали приобрести машинку, чтобы печатать листовки. Пишущая машинка и восковая бумага — это же целая типография.

Спускаясь по лестнице, Надежда Константиновна увидела внизу в вестибюле Чеботарева. В гардеробной было уже пусто.

— Я вас жду, Надежда Константиновна,— сказал он, целуя ей руку.— Вы просили билеты в консерваторию, вот, пожалуйста, два билета на сегодняшний концерт.

Никаких билетов она не просила, но, привыкшая ко всяким неожиданностям, не растерялась, взяла конверт — ого, какой увесистый! — сунула его в муфту.

— Мерси, — улыбнулась она. — Очень мило с вашей стороны. Соскучилась по музыке.

— Приятно вам, барышня, провести вечер, — сказал швейцар, подавая Надежде Константиновне пальто.

— Привет вашей матушке, — попрощался с ней Чеботарев.

Надежда Константиновна шла, ощупывая пальцами конверт. Что это могло быть? Не терпелось скорее посмотреть. Окликнула извозчика.

— На Знаменскую!

Дома у себя в комнате накинула крючок на дверь, вынула из муфты конверт и ахнула. Его почерк. «Санкт-Петербург. Верейская улица, дом № 12. А. К. Чеботаревой».

Извлекла из конверта объемистое письмо. Вверху дата: «2.I.96». Без обращения.

«У меня есть план, который меня сильно занимает со времени моего ареста и чем дальше, тем сильнее... — читала Надежда Константиновна. — ...Литературные занятия заключенным разрешаются... ограничений в числе пропускаемых книг нет... книги разрешается возвращать обратно... Книг нужно много... Список прилагаю длинный...

Цитируя на память, я, кажется, перепутываю кое-что в заглавиях и ставлю в этом случае ?».

Надежда Константиновна читала, смеялась и плакала. Читала и искала второй смысл в словах. Все понятно! «Литературные занятия» — значит, Владимир Ильич решил писать давно задуманную книгу «Развитие капитализма в России». «Скоро сказка сказывается...» — пишет дальше Владимир Ильич. Надо понимать — засел надолго, необходимы выдержка и терпение. «Обмен книг — и по условиям работы и по условиям выдачи из библиотеки — потребует, конечно, правильности и аккуратности, так что это необходимо наладить».

Это требование — считаться с условиями тюремного режима, накалывать и шифровать письма в книгах аккуратно, наладить регулярную переписку.

Читала длинный перечень нужных Владимиру Ильичу книг и поражалась его остроумной выдумке. Он спрашивает книгу Брема «О мелких грызунах» и ставит знак вопроса — спрашивает о «Суслике», Глебе Кржижановском. Далее в списке значится книга «В. В. Судьбы капитализма в России» — интересуется судьбой В. В. Старкова. А вот название книги дано по-английски: Mayne Rid «The Mynoga» — «Минога». Это о ней, Надежде, спрашивает Владимир Ильич. Нужна ему книга какого-то неизвестного французского автора под мудреным названием «Goutehoul». Надя долго вчитывается и хохочет: так это же «Гуцул», это о Запорожце.

«Может быть,— пишет Владимир Ильич,— вы сочтете небесполезным передать это письмо кому-нибудь, посоветоваться, а я буду ждать ответа».

И Чеботарев понял, кому надо передать.

Надя прижала письмо к сердцу, затем спрятала его в тайник столика и побежала в книжный магазин.

Ночью сидела и накалывала в толстом томе «Историко-статистического обзора промышленности России» буквы. Накалывала тонкой иглой. Сообщала Ильичу, кто арестован. Сообщала, что на шестой день после его ареста напечатали и распространили листовку о том, что «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» продолжает свое дело... Брошюра Владимира Ильича о штрафах напечатана. Распространяется. Успех огромный. Настроение боевое... В Петербург приехали мать и сестра Владимира Ильича Анна...

На следующий день жена Чеботарева передала в тюремное окошко для Ульянова пачку книг, среди них толстый том — «Историко-статистический обзор промышленности России».

Через два дня от Владимира Ильича снова письмо. Просит взять у его матери лампу Аладдина. Надежда Констан-

тиновна, привыкшая понимать эзоповский язык Владимира Ильича, на этот раз смутилась. Но Мария Александровна вспомнила. Давно это было. Дети писали молоком на бумаге и, нагревая на лампе листок, проявляли написанное. Теперь все понятно! Владимир Ильич просит писать молоком. Очевидно, опасается, что точки под буквами могут привлечь внимание тюремной администрации. Итак, вместо точек — молоко.

С болью в сердце писала Надежда Константиновна это первое письмо тайнописью, сообщала Владимиру Ильичу о том, что 5 января арестовали Бабушкина и многих рабочих — членов «Союза».

Тяжело начался 1896 год для организации социал-демократов. Из «стариков» на воле оставались Степан Радченко с женой. Во избежание провала к активной работе их решили не привлекать, держать в резерве. На свободе был Михаил Сильвин и девушки: Надежда Константиновна, сестры Невзоровы, Аполлинария Якубова и Лидия Михайловна Книпович.

Казалось, все рухнуло.

— Вы теперь как солдатки,— грустно пошутила Елизавета Васильевна, когда к Наде пришли ее подруги по «Союзу».— Проходите. Надя скоро придет, а я сейчас чай приготовлю, пирожки подогрею.

— Наша милая солдатская всехняя мама!— прижалась к ней Зина.

...Надя сидела в своей комнате над большой книгой, нетерпеливо листала страницы, искала условный знак. Вот он. Послюнявила пальцы, тронула утюг — ух как раскалился! Потерла его о мокрую тряпку и приложила к странице. Понимала, как должен быть огорчен Владимир Ильич арестом Бабушкина. Чем он может помочь? Наверно, старается ободрить. Отняла утюг от книги и глазам своим не поверила... Между печатных строчек проступили четкие коричневые буквы, написанные уверенной рукой: «ПРОЕКТ ПРОГРАМ-

мы». Владимир Ильич пишет проект программы русской социал-демократической партии! Возможно ли это? Да, да!.. «Эта борьба рабочего класса с классом капиталистов... может окончиться лишь переходом политической власти в руки рабочего класса, передачей всей земли, орудий, фабрик, машин, рудников в руки всего общества для устройства социалистического производства, при котором всё производимое рабочими и все улучшения в производстве должны идти на пользу самим трудящимся»,— бежали перед глазами Нади горячие строчки. «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих...» «Русская социал-демократическая партия требует...» Пять разделов программы. Тридцать пять пунктов, которые определяют цели борьбы, задачи партии.

Кратко.

Ясно.

Точно.

А на отдельном листе Владимир Ильич пишет, что надо готовиться к съезду партии, объединить все марксистские кружки России в единую партию.

«Вот он какой, Володя... Владимир Ильич»,— с восхищением думала Надя, проглаживая всё новые и новые страницы.

Бережно вырезала ножницами теплые листы из книги с тайнописью, свернула их в трубку и заложила в хранилище — ножку стола.

Побежала к матери.

— Есть какие-нибудь вести от наших солдат?— спросила Зина, едва Надя переступила порог столовой.

Надя недоумевающе вскинула брови.

— Это я вас солдатками назвала,— пояснила Елизавета Васильевна.

— Чего это ты красивая да радостная такая, словно со свидания пришла?— спросила Зина.— Через несколько дней наконец-то я увижу Глебушку. Я сегодня в тюрьме справки наводила. Свидания будут разрешены по два раза в неделю:

в среду и в субботу. Одно личное — полчаса, в присутствии надзирателя, а другое — через решетку. Б-р-р-р!..

Надя пригласила всех к столу.

— Не солдатки мы, а сол-да-ты! — произнесла она торжественно. — Мы здесь на свободе раскисли, руки опустили, а Владимир Ильич в тюремной камере написал программу русской социал-демократической партии. Мы считаем, что чуть ли не все кончено, а он требует созыва съезда партии.

— Золотая голова у Владимира Ильича! — с восторгом воскликнула Лидия Михайловна Книпович, затягиваясь папиросой.

— Итак, нам надо собирать силы... Привлекать новых людей... Работать, работать...

Елизавета Васильевна слушала девушек, с нежностью и гордостью думала об их нелегкой судьбе, а тревога за них, за дочь Надю непрестанно точила сердце матери.

Приближался праздник 1 Мая. Владимир Ильич прислал текст боевой листовки, призывающей рабочих к организации забастовок.

Вслед за этим написал подробное руководство, как организовывать и проводить стачки. Написал так, словно сам ежедневно бывал на заводах, а не сидел в тюрьме.

Переписка с Владимиром Ильичем стала для Надежды Константиновны и всех его единомышленников большой школой.

Печатание листовок и брошюры «О стачках» взяла на себя Лидия Михайловна Книпович в народовольческой типографии.

Каждый раз, проявляя тайнопись, Надежда Константиновна надеялась, что будет и для нее лично несколько строк. Вот закончился текст делового письма. Надежда Константиновна продолжает гладить дальше. Страницы желтеют под утюгом, корежатся, дымятся, но желанных строк все нет и нет.

«Наверно, напряженная работа, тюрьма отодвинули все

личное. А может быть, и не было ничего, ей только казалось».

Так хотелось бы взглянуть на него. Сестры, брат Владимира Ильича и Мария Александровна видятся с ним дважды в неделю: по средам и субботам. Ходят по очереди. А ей туда путь заказан. Она — «наследница». И не пишет он ей, чтобы в случае обнаружения тайнописи в книгах не «впутывать» ее в дело, не подвергать ее опасности. Все, все понимает разумом, но сердце...

Прошлый раз она сообщила Владимиру Ильичу, что напечатали первомайскую листовку в двух тысячах экземпляров, распространили ее на сорока предприятиях. Листовка всколыхнула рабочих. Заводы и фабрики бурлят.

Что-то он сегодня пишет? Безусловно, что-то важное, неожиданное и новое. «Весьма важно» — означает значок на книге. Провела по странице утюгом, и сердце шибко забилось. Просит ее приходить каждый день, в полдень, на Шпалерную улицу и постоять против тюрьмы на углу несколько минут. В это время его выводят на прогулку и, проходя по коридору, он видит этот кусочек тротуара.

Жизнь снова наполнилась до краев...

А вскоре от Владимира Ильича пришло поручение — выехать ей на Украину, договориться с руководителями марксистских кружков о созыве Первого съезда социал-демократической партии.

В Полтаве получила телеграмму Аполлинарии. Из условного текста поняла: рабочие бумагопрядилен поднимаются на борьбу.

Срочно в Петербург!

Глава XXIII

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

На фабрике кончился рабочий день. Женщины толпились в гардеробной, стягивали с себя мокрые от пота «размахайки», обряжались в юбки, миткалевые кофты. Пух от пряжи из цехов проникал и сюда, в гардеробную, щекотал ноздри, уши, набивался в рот, глаза, налипал на потное тело, раздражал и без того измотанные нервы, ошалевшие от грохота машин головы.

Дверь распахнулась, и вместе с вечерней прохладой в гардеробную влетела Фрося. Сдвинув энергичным движением руки платок со лба, крикнула:

— А ну-ка, бабоньки, послухайте, что я вам скажу!

Женщины притихли, окружили Фросю. Она была их сверстницей, но в чем-то мудрее, сильнее их. Они почитали ее за старшую. Может быть, потому, что умела стойко переносить горе. Два года выхаживала она своего Степана, облитого жандармами ледяной водой во время бунта на Семянниковском. Родила мертвого ребенка, а вскоре похоронила и Степана. И не ожесточилась, не стала сварливой, злобной, а отдала всю свою неистраченную материнскую нежность, свою молодую тоску им — бабам — и в женском бараке стала их главным советчиком и судьей. Фросе можно было излить душу до самого донышка и знать, что она никогда во зло не употребит доверие.

После смерти Степана она крепко подружилась с Надеждой Константиновной и стала ее помощницей. Надю поражала и душевная стойкость этой молодой женщины, и ее жадность к знаниям, и ее организаторская жилка. Эта дружба взаимно обогащала обеих.

— Слухайте, бабоньки!— повторила Фрося.— Слухайте меня внимательно. Мужики решили бастовать. И мы должны быть вместе с ними.

— Пущай себе бастуют, наше дело — бабье,— отозвалась старая ткачиха Ферапонтовна.

— Незачем детей на голод обрекать,— поддержала ее другая.

— Не спешите, не спешите.— Фрося миролюбиво похлопала по плечу старуху.— Царь взошел на престол, фабрики два дня были закрыты не по нашей вине, а по царской милости. За эти два дня нам не заплатят. Это правильно?

Женщины заволновались.

— Само собой неправильно!.. Чем мы виноваты? Они там обжирались, а нам голодных два дня устроили!..— послышались со всех сторон голоса.

— Так вот мы потребуем, чтобы нам за два коронационных дня сполна заплатили. Это раз.— Фрося загнула на руке палец.

Пальцы ее от постоянного ссучивания пряжи утончились, и вся Фрося стала городская — бледная, усохшая, быстрая. Ее неброское лицо с серыми в карюю крапинку глазами было привлекательно и широкой улыбкой и добрым взглядом.

— Еще мы потребуем, чтобы рабочий день был установлен в десять с половиной часов — это два.— Фрося загнула второй палец.

— Ишь чего захотела!— снова заворчала Ферапонтовна.

И другие женщины засомневались.

— Правильно Фроська говорит!— выступила вперед Лукерья.

— Ну уж ты-то помолчала бы лучше. Тебя первую с фабрики выгонят и нас вместе с вами!— огрызнулась старуха.

Лукерья славилась своим норовистым характером — задиралась с мужиками, не давала спуску мастерам, но была добра к бабам и в каждой красоту искала, даже в старой Ферапонтовне. «Каждую бабу бог пригожей сотворил,— говорила она,— только слезы ту красоту смывают, да окаянная работа сушит».

— Заработок пусть нам платят два раза в месяц, а не тогда, когда хозяину вздумается,— продолжала Фрося.

— Чтобы штрафы по-честному, по закону брали,— вставил кто-то.

— Чтоб мастерам руки пообкорнали!— добавила Лукерья.

— Тухлятиной в лавке чтоб не торговали!

— Мужиков в кутузку не сажали!

Работницы наступали на Фросю, выказывая всё новые и новые требования.

— Не все разом, не все,— успокаивала женщин Фрося.— Все ваши требования запишу.

Женщины с уважением следили, как двигался по бумаге карандаш в Фросиной руке. В прошлом году во всем бараке она была одна грамотная, а сейчас десятка два пошли учиться в вечернюю школу, даже Лукерья.

— А кто слушать-то нас будет?— допытывалась Ферапонтовна.

— Управляющий!— решительно ответила Фрося.— Мы ему все требования выложим.

— Будет он с нами разговаривать!— засомневались женщины.

— Он будет слушать, а говорить будет наш представитель.

— Пусть Фроська от всего бабьего мира говорит с ним,— предложила Лукерья.

— Нет, хорошие мои, мужского и женского мира здесь нет, а есть мир рабочий. Общий. Вместе с мужиками будем дела наши решать, вместе голосовать за наши требования будем.

— Это что ж, мужики вместе с нами голосить будут?— съязвила Ферапонтовна.

Раздались смешки.

— Не голосить, а го-ло-со-вать,— раздельно произнесла Фрося и старалась вспомнить доподлинные слова, которыми ее вразумляла Надежда Константиновна. Сама Фрося тоже

раньше думала, что голосовать — значит брать голосом, кричать, буянить.

— Нет, бабоньки, руками, вот этими руками голосовать будем.— Фрося подняла руку вверх.

— Ну кто ж руками голосит?— не унималась старая ткачиха.

— Помолчи, старая, не мешай!— отмахивались от нее женщины и теснее окружали Фросю.

— Когда мы все вместе поднимем руки, хозяин увидит, что в них власть огромная.

Фрося, волнуясь, заправила выбившиеся из-под платка волосы. Как бы лучше внушить им мысли Надежды Константиновны, которые теперь стали и ее мыслями, и нужно, чтобы они стали достоянием всех этих женщин.

— Понимаете, бабочки дорогие, мы завтра утром соберемся на фабричном дворе, никто из нас за станок не встанет. И не мы одни. Все бумагопрядильни Петербурга бастовать собираются. И у всех у нас будут одинаковые требования к хозяевам. Всех нас одинаково притесняют, у всех у нас одна судьба. Мы соберемся чин чином, без крика, без шума. Если полиция явится — не пужайтесь. Коли мы ничего ломать не будем, бунтовать не станем, полиция не посмеет тронуть. Захар Родионович прочитает наши требования управляющему, и мы за них проголосуем. На работу не встанем, пока эти требования не будут выполнены. Согласны?

— Согласные! Согласны! Только ты будь рядом: коли что — подскажешь.

— А куда мне от вас деваться-то, я завсегда с вами...

...Надежда Константиновна шла по Шлиссельбургскому тракту. Нева после половодья еще не вошла в свои берега, и ее воды плескались у самой дороги. Проклюнулись первые почки на деревьях. За пять лет работы в школе Надежда Константиновна узнала здесь каждый камень, каждое дерево, а главное, узнала людей. И сегодня решающий день. Что-то он принесет?

Готовились к этому дню основательно. Давно готовились. Три года налаживал Владимир Ильич агитационную работу на предприятиях, три года социал-демократические кружки, объединенные затем в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», будили сознание рабочих к активной борьбе.

Листовки сейчас печатаются каждый день, разъясняют цель забастовки. Не легко и не просто было объединить сотни и тысячи обид и жалоб на притеснения, обман и прямой грабеж со стороны хозяев и полиции в единые, четко сформулированные требования, удовлетворяющие рабочих. Не раз собирались представители от фабрик и заводов, чтобы сообща выработать эти требования.

И как трудно без Владимира Ильича. Его совет, его помощь требуются каждый час, каждую минуту, а нужно ждать среды или субботы. Да разве напишешь обо всем?

Страшит ответственность. Все ли предусмотрели? Сработает ли организация, с таким трудом создаваемая в эти дни? Успеют ли приехать Сильвин из Новгорода и Аполлинария из Вологды. Послала им вызов.

Тридцать тысяч рабочих текстильной промышленности Петербурга поднялись на борьбу, поднялись на бой. Такого еще не было. И этот бой во что бы то ни стало надо выиграть.

Сегодня по воле рабочих должны замереть около миллиона веретен, остановиться девять с половиной тысяч ткацких станков. Нужно сделать все возможное, чтобы семьи забастовщиков не голодали, а забастовочный фонд ничтожный: всего немногим больше шестисот рублей. Надо раздобыть средства. Этим делом сейчас занимаются Зина и Радченко. Вчера поздно вечером удалось повидаться с Зинушей, она сказала, что о готовящейся стачке говорит весь Петербург и в кассу стали поступать средства... Досадно, что не успели напечатать брошюру Владимира Ильича «О стачках», как бы она сейчас пригодилась...

По тракту идут толпами рабочие. Надежда Константиновна всматривается в их лица, старается угадать, все ли готовы принять участие в забастовке. Судя по отрывочным фразам, настроение боевое.

Надежда Константиновна одета как работница, на ней широкая сборчатая юбка, кофточка навыпуск, на голове ситцевый платок. Не впервой ей ходить по рабочим общежитиям и заводским дворам. Если случалось встречать учеников, они делали вид, что незнакомы.

Замешавшись в толпе, Надежда Константиновна вошла во двор фабрики, уже переполненный рабочими.

Управляющий-англичанин стоял на крыльце. Он старался сохранить независимый вид, сосредоточенно сбивал стеком пыль с ботинок и слушал с иронической улыбкой переводчика. Только на скулах у него нервно двигались желваки. Наконец он поднял глаза и оглядел двор. Толпа стояла молча. Настроение мирное, а требования, которые сейчас зачитывает старый ткач Михеев, возмутительные. Вместо четырнадцатичасового рабочего дня требуют десять с половиной. С ума сошли! Бессовестно лезут в карман хозяина, разорить хотят. Хотя бы кулаками угрожали, начали бы ломать машины, тогда он позвонил бы градоначальнику: «Бунт!» Так нет же! Стоят спокойно. И вот эта дьявольская девка с синими глазами. Как портят ее воспаленные веки и дрянненькие сережки в ушах. Красивая, ведьма, и злая...

Лукерья поймала взгляд управляющего и, усмехнувшись, подбоченилась.

А вон та маленькая, худощавая, продолжал свои наблюдения управляющий, шныряет среди женщин, в движениях грация и властность во взгляде. Видно, вожак среди работниц... «Отметьте, выясните фамилию»,— указал управляющий переводчику на Фросю.

Захар Родионович громким, мерным голосом читал требования рабочих. «Дерзкий старик»,— отметил управляющий. В былое бы время в пояс кланялся, а сейчас разговаривает,



как с равным. Видно, тоже лидер. Так в Англии даже тред-юнионисты не разговаривают. А здесь, в России, даже профсоюзов нет. Дикари. Почти все неграмотны. Но какие-то изменения произошли за эти годы среди рабочих. Откуда это достоинство, эти ясные и грамотные формулировки требований? Ясно, что у них появился сильный и умный руководитель, какая-то тайная организация. Чего же полиция смотрит?

Надежда Константиновна из-под платка наблюдает за управляющим и понимает ход его мыслей.

Захар Родионович кончил читать. Передал бумагу переводчику, разгладил усы и обратился к рабочим:

— Все слыхали? Все! Теперь проголосуем, чтобы господин управляющий видел, что мы все и каждый в отдельности согласны с этими требованиями, и пока они не будут выполнены, мы к работе не приступим. Мы встанем за станки, когда все наши законные жалобы будут рассмотрены и удовлетворены. Поднимите руки, кто согласен с тем, что я прочитал?

В наступившей тишине поднимались руки. Поднимались медленно. Многие не справлялись с этой новой задачей. Руку заносило куда-то вбок. Иные поднимали кисть руки боязливо, чуть выше плеча. Лукерья вышла вперед и, встав перед управляющим, высоко вздернула руку, обращенную маленькой огрубевшей ладонью к нему. Надежда Константиновна тоже подняла руку и почувствовала, как дрожали ее пальцы от чрезмерного волнения и какой-то торжественной радости.

Лес рук — мужских и женских — вырос перед управляющим. Он стоял и нервно перебирал брелоки на животе. Понял вдруг, что в его руке не было власти, что он сейчас пленник, что он беззащитен.

Надежда Константиновна оглянулась и увидела, как похорошели люди: они понимали свою силу и свое человеческое достоинство.

«Все это надо запомнить,— думала она,— запомнить и написать обо всем Владимиру Ильичу».

Долго, без устали держали женщины поднятые вверх руки. Фрося, освещенная лучами поднимающегося солнца, приложила левую ладонь козырьком к глазам и оглядела свое бабье воинство и радовалась, что Надежда Константиновна с ними и счастлива не меньше их.

— Видали?— значительно спросил управляющего Захар Родионович.— Вот наше рабочее слово. На том стоим.

Управляющий услышал ржание лошадей за стеной фабрики, понял, что прибыли казаки, снова почувствовал землю под ногами и обратился к переводчику:

— Скажите им, что они прежде подохнут с голоду! Требований я их не признаю, считаю их незаконными.

Переводчик перевел эти слова на русский.

Женщины зашумели.

Фрося сдвинула брови.

— Тише, бабоньки, уваженье к себе не теряйте. Спокойно.

— Приказываю, чтобы все рабочие немедленно встали на рабочие места,— заявил управляющий.

— Не будет этого!— дружно ответили рабочие.

— Требуем ответа по каждому пункту наших требований,— строго сказал Захар Родионович и, обращаясь к рабочим, скомандовал:— Расходись по домам!

Управляющий, хлопнув себя стеком по ноге, повернулся и пошел. Шел нарочито медленно, зная, что за его походкой, за его состоянием следят сотни глаз и что он уходит, потерпев поражение.

Как только управляющий скрылся за дверью конторы, Фрося сдернула с себя платок и высоко взмахнула им.

— Бабоньки, коли мы решили бастовать, давайте дадим знать соседям, чтобы присоединялись!

Женщины срывали с себя платки, даже Ферапонтовна стянула с себя платок, не постеснялась стоять перед всем миром простоволосой, как деваха.

Концы разноцветных платков взлетали выше забора. Мужчины, забравшись на железные фермы, махали картузами. Из-за стены соседней фабрики тоже затрепетали платки, как язычки пламени.

Надежда Константиновна торопилась домой: скорей написать Владимиру Ильичу, обрадовать его! Тридцать тысяч рабочих Петербурга поднялись на борьбу. Три года напряженного, вдохновенного труда Владимира Ильича и его товарищей вложено в это дело. И вот первая победа.

1971—1974



СОДЕРЖАНИЕ

Зоя Ивановна Воскресенская

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 3-х ТОМАХ

Том 3

✻

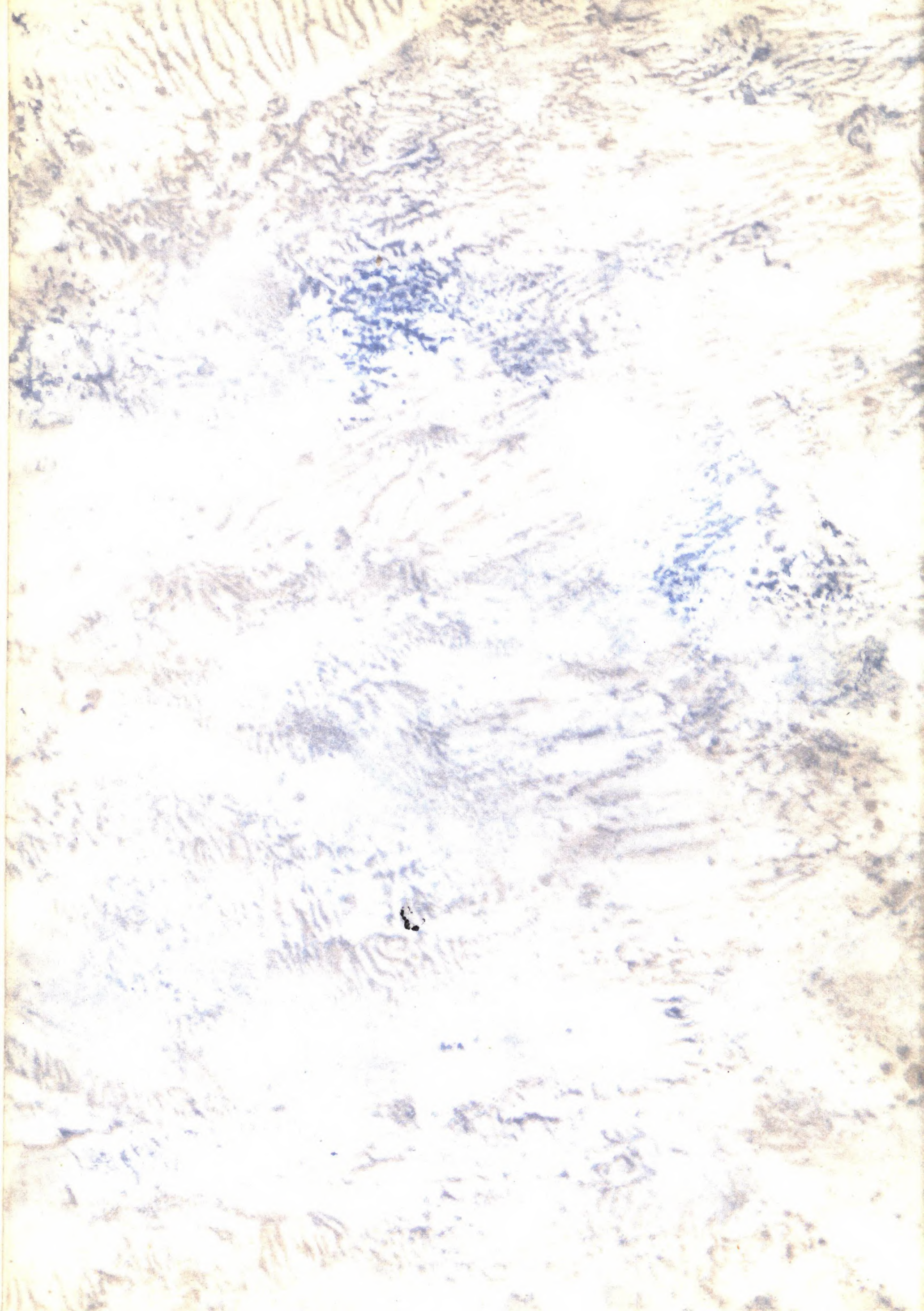
Ответственный редактор
С. М. ПОНОМАРЕВА

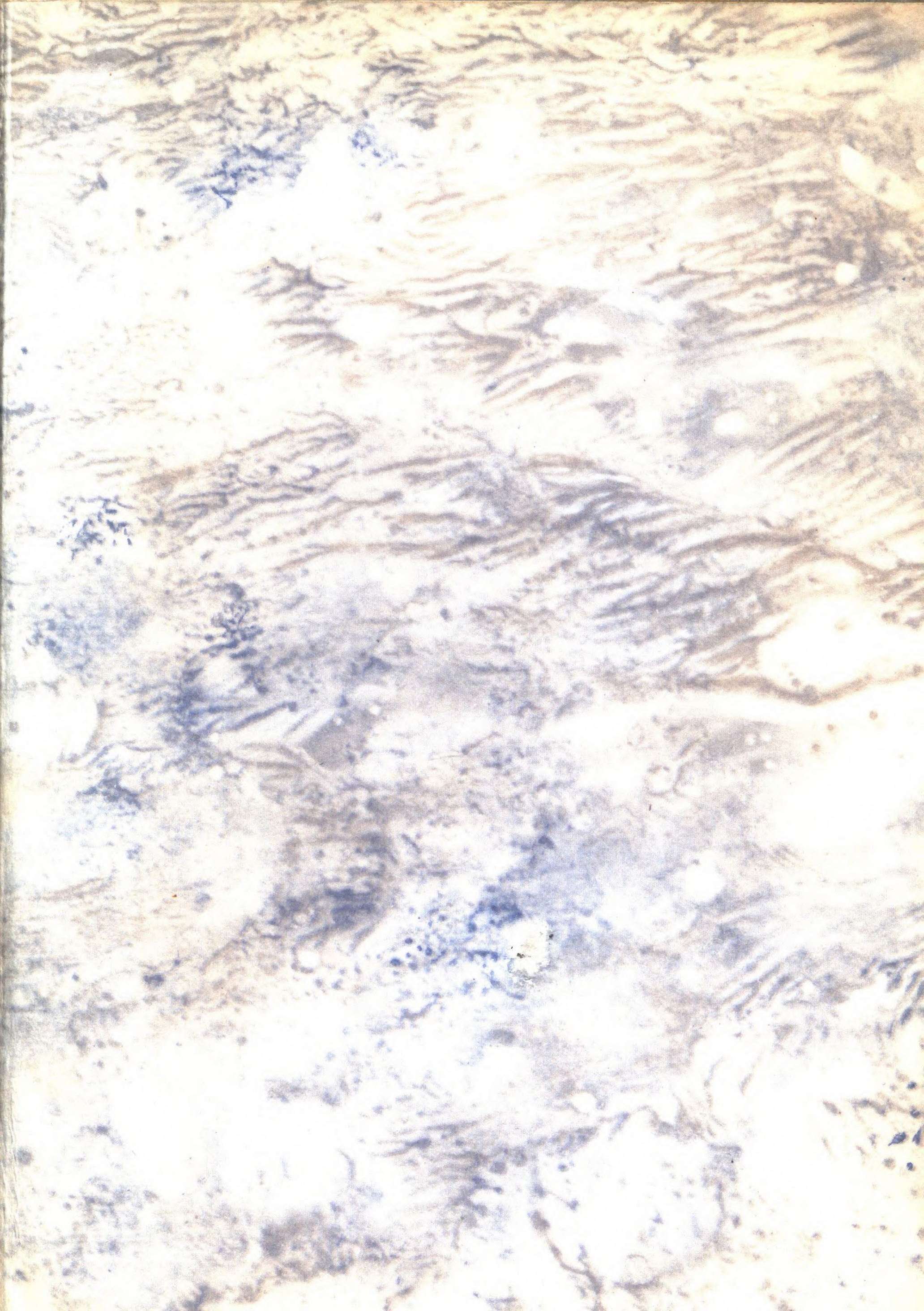
Художественный редактор
М. Д. СУХОВЦЕВА

Технический редактор
Е. М. ЗАХАРОВА

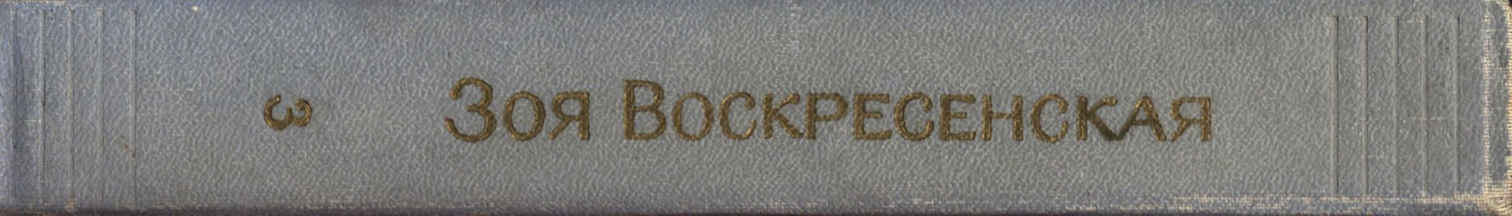
Корректоры
Э. Н. СИЗОВА
и З. С. УЛЬЯНОВА

Сдано в набор 26/III 1975 г. Подписано к печати 4/VIII 1975 г. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 38. Усл. печ. л. 35,34. Уч.-изд. л. 28,43. Тираж 300 000(1—150 000) экз. А03920. Заказ № 589. Цена 1 р. 20 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.





1р. 20 к.


3
Зоя Воскресенская